This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 472419

Library of the University of Michigan
Bought with the income
of the
Ford - Messer
Bequest

891.78
G64
A

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1886.

Собственность Глазунова.

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ, № 8.

ЧЕТЫРЕ ОЧЕРКА

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ	1
МИЛЬОНЪ ТЕРЗАНІЙ.	121
ЗАМѢТКИ О ЛИЧНОСТИ БѢЛИНСКАГО.	167
ЛУЧШЕ ПОЗДНО ЧѢМЪ НИКОГДА	199

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ.

«...Лебедь рвется въ облака,
Ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду!»
Крыловъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧТЕНІЕ.

Къ одному изъ домовъ, на Конногвардейскомъ бульварѣ, къ подъѣзду подъѣхало, около восьми часовъ вечера, въ маѣ мѣсяцѣ, нѣсколько экипажей — одинъ вслѣдъ за другимъ, и, высадивъ господъ, отправились по домамъ. Ровно въ восемь часовъ швейцаръ получилъ приказаніе не принимать никого болѣе.

Человѣкъ тридцать гостей обоего пола собрались у Григорія Петровича Уранова слушать въ этотъ вечеръ чтеніе новаго романа.

Автора романа, какъ писателя, знали немногіе. Онъ напечаталъ, безъ имени, нѣсколько статей по финансовымъ и политико-экономическимъ предметамъ, замѣченныхъ и оцѣненныхъ по достоинству только спеціалистами. Кромѣ того, онъ написалъ опытъ дипломатическихъ мемуаровъ и напечаталъ ихъ въ весьма небольшомъ количествѣ, для немногихъ. Онъ занималъ нѣкогда дипломатическій постъ на югѣ Европы и провелъ молодые лѣта за границею. Теперь онъ былъ, какъ и хозяинъ дома, гдѣ назначалось это чтеніе, членомъ одного совѣта и, кромѣ того, предсѣдательствовалъ

*

въ какой-то комисіи по разнымъ преобразованіямъ. Въ свѣтѣ его любили, за огромное богатство, за открытое гостепріимство, за привѣтливость; а близкіе люди—за капитальныя достоинства ума и характера.

Извѣстіе о романѣ однако проникло въ общество его круга. Авторъ, на вопросы, обращаемые къ нему, не отрицалъ, что романъ пишется, но болѣе не распространялся объ этомъ. Извѣстно было, что онъ читалъ тò, что было написано, кое-кому изъ пріятелей, у себя дома, но эти лица хранили о романѣ скромное молчаніе.

Ближайшій пріятель и сослуживецъ автора, Григорій Петровичъ Урановъ, и тотъ не былъ посвященъ въ тайну о романѣ. Напрасно добивался онъ отъ автора отвѣтовъ на эти вопросы—онъ ничего не узналъ.

— Ты не читаешь романовъ, говорилъ ему авторъ: — зачѣмъ тебѣ знать, чтò я написалъ? — Я тебя оттого и не пригласилъ въ свой домашній кружокъ послушать.

— И обидѣлъ меня! возразилъ Урановъ.—Если ты считаешь меня равнодушнымъ къ романамъ, или вообще къ литературѣ, то все же это не значитъ, чтобы я былъ равнодушенъ къ тебѣ и къ твоему произведенію.

Автора тронулъ этотъ упрекъ и онъ обѣщалъ прочесть свое произведеніе у него въ домѣ. Урановъ послалъ ему списокъ приглашенныхъ лицъ, которые большею частью принадлежали къ кругу ихъ общихъ друзей и знакомыхъ. Авторъ возвратилъ съ своимъ согласіемъ и съ просьбою прибавить еще одну, тоже общую ихъ знакомую, графиню Синявскую съ дочерью, и двухъ своихъ сослуживцевъ. Урановъ торжествовалъ.

Вотъ это именно общество и собралось въ означенный вечеръ въ большемъ и богатомъ домѣ Григорія Петровича и размѣстилось въ обширной комнатѣ, между кабинетомъ

и столовою, окнами на дворъ, чтобы ѣзда экипажей не мѣшала чтенію.

Григорій Петровичъ мало интересовался собственно романомъ, какъ справедливо упрекнулъ его авторъ, въ чемъ онъ и самъ сознавался. Но слухъ о романѣ произвелъ сенсацію въ свѣтѣ, сталъ событіемъ дня, и поэтому сталъ и для него событіемъ. Съ утра до вечера онъ обыкновенно жилъ въ толпѣ, никогда не былъ и не умѣлъ быть одинъ. Все, что дѣлалось въ свѣтѣ—болѣе или менѣе касалось и его. Онъ былъ вдовецъ, принималъ у себя больше мущинъ, рѣдко дамъ.

Онъ и совѣтъ свой, въ которомъ служилъ, любилъ потому, что онъ занималъ у него три утра въ недѣлю. Онъ называлъ его утреннимъ клубомъ, въ отличіе отъ вечерняго, т. е. англійскаго клуба. Въ свободныя утра, онъ или самъ ѣхалъ, или къ нему ѣхали съ визитами; потомъ онъ обѣдалъ у знакомыхъ, или у него обѣдали знакомые. Онъ щеголялъ гастрономическими обѣдами, на которые приглашалъ тонкихъ знатоковъ изъ гастрономовъ-пріятелей. Вечера—тоже въ свѣтѣ, или у себя, а больше въ клубѣ, за картами.

Такъ проходило незамѣтно восемь мѣсяцевъ въ году. Въ маѣ начиналась для него трудная пора, застой, истома. Всѣ разъѣзжались—кто въ деревню, кто за границу, многіе на дачу: всѣ врознь. И онъ переѣзжалъ поневолѣ куда нибудь, больше на острова, чтобы не удаляться отъ города. Но небольшой, относительно, кружокъ остававшихся знакомыхъ мало удовлетворялъ его. У него оставались незанятые вечера. Да и что за вечера лѣтомъ въ Петербургѣ, безъ темноты, безъ огней! Ему нужно было всѣхъ, весь городъ, и онъ не зналъ, что съ собою дѣлать. Онъ угрюмо встрѣчалъ „лучезарнаго Феба“, когда тотъ, вскорѣ послѣ полу-

ночи, начиналъ опять сіять на горизонтѣ и просился въ окна, когда онъ еще и заснуть не успѣлъ.

Вообще, такъ называемую природу, лѣса, горы, озера и прочее, онъ терпѣть не могъ.

— Нашли какую рѣдкость—хорошій воздухъ! Еще рекомендуютъ, какъ лекарство! ворчалъ онъ сердито, нюхая воздухъ въ аллеяхъ елагинскаго парка. — А чѣмъ воздухъ дуренъ въ клубѣ, или хоть въ нашемъ совѣтѣ, если только не садиться близко къ Петру Ѳомичу, да къ Семену Яковлевичу!

Такъ и теперь въ маѣ онъ началъ скучать, не досчитываясь, то сосѣда за столомъ въ совѣтѣ или въ клубѣ, то партнера въ вистѣ—и всякое утро вставалъ съ вопросами: „Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратитъ онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убьетъ вечеръ?“

И вдругъ, какая находка: созвать гостей на чтеніе романа!

Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями — дѣло для него совсѣмъ не въ томъ. А въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разъѣзды, приглашенія и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ того, послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!

Однако онъ, обдумывая (прежде и старательнѣе всего) menu ужина, позаботился, надо отдать справедливость его умѣнью жить, и о томъ, чтобы общество слушателей имѣло и авторитетныхъ представителей литературнаго міра. Онъ пригласилъ, прежде всего, извѣстнаго профессора словесности, написавшаго много книгъ о литературѣ; потомъ одного старика, Красноперова, своего сослуживца и прія-

теля, предполагая въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ Греча и Булгарина; наконецъ, одного пожилаго беллетриста, знакомаго ему по клубу.

Сверхъ того, Григорій Петровичъ поручилъ племяннику своему, студенту, который жилъ у него въ домѣ и котораго онъ, не имѣя своихъ дѣтей, любилъ, какъ сына, помочь ему сдѣлать вечеръ занимательнымъ и привести кого нибудь изъ новыхъ литераторовъ. Тотъ обѣщалъ представить редактора одного извѣстнаго журнала и критика, по части белетристики, какой-то газеты.

Авторъ явился за пять минутъ до восьми часовъ и прежде всего выразительно и дружески привѣтствовалъ приглашенную по его желанію графиню Синявскую, потомъ поздоровался со всѣми прочими знакомыми и бѣгло познакомился съ неизвѣстными ему слушателями, которыхъ представлялъ ему хозяинъ, называя ихъ по именамъ. Авторъ отвѣчалъ кому пожатіемъ руки, кому поклономъ или полупоклономъ, инымъ сказалъ нѣсколько словъ.

Потомъ онъ подошелъ къ столу, взялъ у своего сослуживца, съ которымъ вмѣстѣ пріѣхалъ, портфель, отперъ его, выложилъ нѣсколько мелко и красиво исписанныхъ тетрадокъ и, окинувъ бѣглымъ взглядомъ общество, сказалъ любезно:

— Я готовъ, прикажете начать?

Всѣ поклонились и поспѣшили занять свои мѣста. Онъ бережно отодвинулъ отъ себя подносъ съ сахарною и зельтерскою водою, съ лимонадомъ, оршадомъ и всѣмъ, что́ ставятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ подъ носомъ чтеца, чего почти никогда не пьютъ и отъ чего бываетъ только тѣснота на столѣ. Потомъ онъ началъ читать пріятнымъ, густымъ баритономъ.

Взглянемъ прежде на гостей, потомъ послушаемъ.

Гости расположились на креслахъ, патэ, dos-à-dos и

другой покойной мебели, неправильнымъ полукругомъ, въ три ряда.

Впереди сидѣли дамы. Одна—княгиня Тецкая съ дочерью. Княгиня, въ темномъ платьѣ моаръ-антикъ, въ бархатной мантильѣ, которую сбросила на спинку стула, съ сафьянымъ красивымъ мѣшкомъ, откуда она достала какое-то вязанье, съ бѣлыми костяными спицами, и начала работать, впрочемъ, кажется, больше для вида, потому что изъ пяти только одинъ разъ попадала спицею, какъ слѣдуетъ. Она часто опускала руки съ вязаньемъ на колѣни, безпрестанно вздрагивая, будто отъ испуга или отъ внезапной боли, и сильно мигая. Иногда даже у нея вырывалось нѣчто въ родѣ „аха“ или „оха“, сопровождаемаго опять вздрагиваніемъ. На это почти никто не обращалъ вниманія; всѣ знали, что у нея „нервы“ и привыкли къ этому.

На лицѣ и во всей фигурѣ княжны, ея дочери, напротивъ, покоилось ненарушимое спокойствіе; ни удовольствія, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморнымъ изваяніемъ, если бы—когда въ романѣ заходила рѣчь о любви—это лицо не принимало внезапно выраженія ничего не понимающей невинности.

Княжна сидѣла нѣсколько впереди всѣхъ. Свѣтъ лампы съ боку ярко освѣщалъ ея голову, бюстъ и руки.

Она была одѣта въ розовое съ бѣлымъ отливомъ платье, въ рукѣ держала черепаховый вѣеръ, на колѣняхъ былъ небрежно брошенъ кружевной платокъ. Мать часто оглядывала туалетъ дочери: не отдѣлилась ли какая нибудь непокорная прядь волосъ, правильно ли лежитъ на шеѣ и на груди цѣпочка съ бриліантовымъ крестикомъ, красиво ли драпируется шлейфъ около ногъ. Носокъ розовой миніатюрной ботинки кокетливо выглядывалъ изъ-подъ платья и все время, пока продолжалось чтеніе, оставался на виду.

Подлѣ нихъ, немного позади, помѣстилась полная, кругленькая, невысокаго роста дама лѣтъ тридцати, съ голубыми, какъ небо, дѣтскими глазами, въ голубомъ платьѣ, съ голубымъ же головнымъ уборомъ. На ея большомъ и красивомъ, какъ у здоровой кормилицы, лицѣ разливались широкія пятна румянца и съ губъ не сходила улыбка, тоже дѣтская. Она вошла съ этой улыбкой, здоровалась ею же со всѣми, съ улыбкой слушала чтеніе и уѣдетъ съ тою же стереотипною улыбкою, которая такъ же извѣстна была всѣмъ ея знакомымъ, какъ и вздрагиванія и „ахи“ княгини Тецкой, или выраженіе непониманія при намекахъ на любовь, на лицѣ княжны. Она являлась съ этою улыбкою вездѣ, даже на похороны—и теперь таяла отъ удовольствія, еще до начала чтенія.—Ça doit être joli! шептала она сосѣдямъ. Это была извѣстная въ свѣтѣ вдова Лилина, всегда всѣмъ довольная, всѣхъ любившая и всѣми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтеній и концертовъ.

Подлѣ самаго автора, въ плотную къ нему, присѣлъ старикъ графъ Пестовъ, свѣтская окаменѣлость, напоминавшая Тугоуховскаго. Онъ уже лѣтъ десять смотрѣлъ тусклымъ взглядомъ вокругъ себя, не всегда и не все понимая, что́ происходитъ. Онъ поминутно забывалъ о чемъ говоритъ, иногда и съ кѣмъ говоритъ, подъ часъ не узнавалъ даже родныхъ внуковъ. За то, какъ это часто бываетъ съ долговѣчными стариками, онъ помнилъ до мелочей свой вѣкъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, и служилъ живымъ архивомъ для справокъ; онъ помнилъ всѣхъ современниковъ, крупныя событія и мелкія сплетни, хронологію, анекдоты, даже у кого въ домѣ когда собирались, чей лучше былъ поваръ и т. п. Его возили вездѣ, какъ и Тугоуховскаго, между прочимъ и потому, что онъ боялся оставаться одинъ дома и умереть. Привезутъ его, посадятъ въ покой-

ное кресло и посылаютъ то того, то другаго гостя по очереди, поговорить съ нимъ, потомъ оставятъ. А онъ посидитъ, пожуетъ губами, пошепчетъ что-то и задремлетъ.

Онъ, приставивъ руку къ уху, внимательно слушалъ чтеніе.

Далѣе, въ тѣни абажура лампы помѣстилась на маленькомъ патэ та дама, которую пригласилъ авторъ, графиня Синявская, и рядомъ, близко, почти на колѣни къ ней, прильнула семнадцатилѣтняя прелестная брюнетка, ея дочь, въ простомъ розовомъ бареженомъ платьѣ, съ кисейнымъ шарфомъ на шеѣ, безъ вѣера, даже безъ перчатокъ, которыя она сняла, лишь только сѣла, и положила на столикъ рядомъ. У нея съ кистей рукъ еще не спала, какъ у многихъ подростковъ, краснота молодой крови. Ея свѣтло-каріе глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой радости отъ всего, что она тутъ видитъ и слышитъ. Она робко, стороной, бросала застѣнчивые, но любопытные взгляды на все и на всѣхъ: на автора, на глухаго графа Пестова, на нервныя вздрагиванья княгини Тецкой, на туалетъ княжны и Лилиной — и потомъ смотрѣла на мать, какъ будто спрашивая, такъ ли она держитъ себя, какъ слѣдуетъ.

Мать отвѣчала на ея взглядъ улыбкой, какая бываетъ только у матерей. Видно было, что дочь выѣзжаетъ недавно и что все ей было новость.

У самой графини былъ изящный профиль, матовая бѣлизна лица, темно-сѣрые умные глаза, и какая то тонкая, загадочная улыбка, такъ что нельзя было угадать, порицаетъ она ею или одобряетъ что нибудь, радуется, или смѣется про себя.

За эти умные глаза и загадочную улыбку—ее прозвали сфинксомъ. Она была еще молода, и въ особенности моло-

жава, такъ что казалась скорѣе старшею сестрою, нежели матерью своей дочери.

Она мелькомъ давно оглядѣла слушателей, потомъ почти не спускала глазъ съ автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, съ улыбкой, слова два; и опять слушала чтеніе.

Авторъ, отрывая глаза отъ рукописи, каждый разъ прежде всего обращалъ взглядъ на графиню, очевидно справляясь съ ея впечатлѣніемъ, потомъ уже переходилъ къ сидѣвшему близь нея старику Чешневу, а на остальныхъ изрѣдка кидалъ общій, неопредѣленный взглядъ.

Старикъ Чешневъ сидѣлъ на стулѣ, скрестивъ руки на груди, положивъ ногу на ногу.

У него были рѣдкія и мягкія сѣдины, благодушное, почти женское выраженіе лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинувъ немного назадъ голову, съ большимъ, открытымъ лбомъ, онъ слушалъ внимательно чтеніе, какъ будто вокругъ никого и ничего не было.

За нимъ, во второй шеренгѣ, помѣщались: профессоръ словесности, потомъ тотъ гость, котораго въ качествѣ литературнаго эксперта, пригласилъ на чтеніе хозяинъ, потому что онъ былъ знакомъ съ Гречемъ и Булгаринымъ, и еще пожилой беллетристъ Скудельниковъ.

Профессоръ слушалъ съ строгимъ, офиціальнымъ вниманіемъ, склонивъ немного голову на бокъ и сохраняя приличную случаю мину.

Пріятель Греча и Булгарина—слушалъ, опустивъ подбородокъ въ широкое жабо галстуха, иногда покачивалъ головою или зѣвалъ въ ладонь и разсѣянно поглядывалъ на картины, развѣшенныя на стѣнахъ.

Сосѣдъ ихъ, беллетристъ Скудельниковъ — какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ бу[illegible]

росъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на автора и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ—вообще ко всему вокругъ себя.

Григорій Петровичъ вытащилъ его изъ его гнѣзда, обѣщалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ, даже прекрасныхъ дамъ, и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ.

Дальше сидѣлъ приглашенный племянникомъ-студентомъ, по просьбѣ дяди, редакторъ журнала, средняго роста, среднихъ лѣтъ, довольно полный блондинъ, приличной наружности, во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и съ gibus въ рукахъ, слушавшій чтеніе съ выраженіемъ учтиваго равнодушія на лицѣ.

Потомъ сидѣли человѣка два, три, такихъ слушателей, которые находили, что если зовутъ на чтеніе чего нибудь, то это должно быть очень хорошо. За ними помѣщались и такіе, которые были всегда того мнѣнія, что если зовутъ на чтеніе, то непремѣнно будетъ очень скучно.

Между послѣдними особенно выдавался гость, пожилой, полный, съ одышкой, Иванъ Ильичъ Суховъ, который былъ приглашенъ потому, что былъ короткій пріятель и любимый застольный товарищъ хозяина — и въ совѣтѣ, и въ англійскомъ клубѣ. Онъ обнаруживалъ кое-какіе знаки нетерпѣнія при чтеніи: дышалъ громко, то ртомъ, то носомъ, иногда прикрывалъ рукою зѣвоту и пробовалъ заговаривать съ сосѣдями, чаще всего съ военнымъ генераломъ, еще не старымъ, крѣпкимъ, здоровымъ человѣкомъ, съ бодрой осанкой и простымъ, но энергическимъ выраженіемъ лица. Онъ былъ извѣстенъ, какъ отличный боевой генералъ и вмѣстѣ хорошій администраторъ по военной части, и на литературу смотрѣлъ нѣсколько съ боевой точки зрѣнія, читая, что попадется, въ видѣ отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Онъ, съ хозяиномъ, съ Суховымъ и съ са-

мимъ авторомъ романа—былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и въ службѣ, и въ обществѣ, и они составляли собою свой тѣсный кружокъ.

Не далеко отъ нихъ сидѣлъ на плетеномъ, простомъ стулѣ, одѣтый, такъ же, какъ и журналистъ, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, одинъ изъ приглашенныхъ сослуживцевъ автора, человѣкъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, съ серьезнымъ лицомъ, съ крупною морщиною на лбу отъ напряженнаго вниманія, съ какимъ онъ слушалъ, сидя прямо и держа шляпу на колѣняхъ.

Онъ, казалось, съ трудомъ или неохотно вникалъ въ смыслъ чтенія, пытливо поглядывая, то на автора, то на того или другаго изъ слушателей.

Это былъ Иванъ Ивановичъ Кальяновъ, сослуживецъ и одинъ изъ главныхъ помощниковъ автора въ комисіи по преобразованіямъ и по другимъ дѣламъ, какія на того возлагались. Онъ считался столпомъ въ администраціи и правою рукою своего предсѣдателя. Вѣрнѣе, точнѣе и свѣдущѣе по своей части исполнителя, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, не было даже ни у одного министра. Самъ онъ никогда ничего не придумывалъ и не предлагалъ новаго, но бралъ предложенный ему матеріалъ—проектъ ли закона, новую какую нибудь мѣру и, вооруженный уставами, положеніями, сводомъ законовъ, указами, инструкціями, органически воплощалъ идею, давая ей плоть и кровь.

Онъ удивлялся производительной головной дѣятельности своего предсѣдателя, изобрѣтательности и блеску его ума, а тотъ чувствовалъ, что безъ такого техника—организатора, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, его идеи и планы, указанія и desiderata—не достигали бы своей цѣли.

Они были тѣсно связаны узами, если не дружбы, такъ службы, и взаимно уважали другъ друга.

Внѣ комисіи у нихъ все было разное: вкусы, склонности, удовольствія. Одинъ жилъ въ свѣтѣ, въ большомъ кругу, другой — дома, за бумагами, а вечеромъ дома же, за картами съ двумя, тремя пріятелями, partie fixe.

Какъ такой человѣкъ попалъ на это чтеніе? Онъ и самъ не могъ надивиться этому. Это случилось нечаянно.

Заглянувъ однажды съ бумагами въ кабинетъ къ предсѣдателю комисіи и увидѣвъ, что тотъ углубленно пишетъ, Кальяновъ на цыпочкахъ вышелъ вонъ. Но дверь скрыпнула и предсѣдатель воротилъ его.

— Это вы, Иванъ Ивановичъ: чтоже не вошли? спросилъ онъ.

— Вы, кажется, очень заняты.

— То, что вы принесли и вообще приносите мнѣ, всегда важнѣе того, что я дѣлаю безъ васъ, и особенно въ эту минуту! любезно, съ улыбкой, сказалъ тотъ, отодвигая свое писанье въ сторону и приглашая его сѣсть.—Что у васъ?

Тотъ подалъ ему двѣ бумаги и какіе-то чертежи и прибавилъ длинное, словесное объясненіе.

— Вотъ тутъ планъ, смѣта и справки, сказалъ онъ, указывая другую бумагу:—и чертежи, и заключеніе. Угодно вамъ согласиться, такъ я велю заготовить докладъ, потому что всѣ члены согласны.

— Знаю, знаю! Хорошо, оставьте. Я посмотрю — и завтра возвращу вамъ съ отвѣтомъ. Больше ничего нѣтъ?

— Есть, но то можно оставить до слѣдующаго засѣданія, а это намъ поскорѣе бы сбыть. Тамъ ждутъ.

Кальяновъ всталъ.

— Куда же вы? Сейчасъ чай подадутъ, вотъ сигара! удерживалъ Левъ Иванычъ Бебиковъ—такъ звали предсѣдателя.

— Благодарю, меня дома ждутъ, да и вы заняты!

— Знаете, чѣмъ я занятъ? сказалъ Левъ Иванычъ, придвигая къ себѣ тетрадь, которую писалъ до того.

Кальяновъ молчалъ.

— Романъ пишу.

Тотъ все молчалъ, только немного поднялъ брови.

— Вы не вѣрите? спросилъ Бебиковъ улыбаясь.

Тотъ отвѣчалъ тоже улыбкой.

— Хорошъ долженъ быть романъ, сказалъ онъ, поглядывая на тетрадь —Пожалуй, отъ него канцеляріи на полгода работы хватитъ, а дѣлопроизводителю, т. е. вашему покорному слугѣ, опять по ночамъ не спать!

Левъ Ивановичъ засмѣялся.

— Не бойтесь! вамъ угрожаетъ одна опасность: выслушать его и сказать ваше мнѣніе.

— Я такъ и зналъ, что будетъ работа! А позвольте узнать, о чемъ этотъ романъ? Не опять ли о введеніи предварительныхъ мѣръ въ видѣ опыта?.. Мнѣніе мое вы уже знаете...

— Нѣтъ, нѣтъ! со смѣхомъ возразилъ Бебиковъ,—романъ, настоящій романъ! Почему вы не вѣрите?

— Не станете вы заниматься...

— Такимъ вздоромъ, да? Говорите прямо!

Кальяновъ молчалъ изъ учтивости.

— Какое варварство, Иванъ Ивановичъ! Вы не знаете, что въ наше время газеты и романъ сдѣлались очень серьезнымъ дѣломъ! Газета—это не только живая хроника современной исторіи, но и архимедовъ рычагъ, двигающій европейскій міръ политики, общественныхъ вопросовъ; а романъ пересталъ быть забавой: изъ него учатся жизни! Онъ сдѣлался руководствующимъ кодексомъ къ изученію взаимнымъ отношеній, страстей, симпатій и антипатій.... словомъ, школой жизни!

Кальяновъ сталъ небрежно смотрѣть въ сторону.

„Знаю, что мастеръ говорить!“ думалъ онъ: „вонъ какъ— точно зубы заговариваетъ; и о чомъ же—о романѣ! Дудки! Этакій богачъ—и станетъ писать!“

— Теперь всѣ бросились на романъ, продолжалъ Бебиковъ: — одни пишутъ, другіе читаютъ. Государственные люди, политики, женщины, даже духовныя лица написали много романовъ, и всѣ учатъ, или учатся уловлять тонкіе законы индивидуальной, общественной, политической, соціальной и всякой жизни—изъ романовъ!

„А все-таки это вздоръ!“ подумалъ Кальяновъ, но не рѣшился сказать въ слухъ, думая: „а ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ пишетъ этотъ... вздоръ! Неловко! Да нѣтъ, не можетъ быть!“

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Все не вѣрите? сказалъ Бебиковъ,—а вотъ повѣрите, когда я приглашу васъ послушать! Вы не откажетесь?

— Нѣтъ, я всегда слушаю все, что вамъ угодно мнѣ читать... сказалъ онъ покорно.

— И часто опровергаете, но всегда съ успѣхомъ и пользой для дѣла...

— Развѣ это дѣло? вдругъ сорвалось съ языка у Кальянова.

Оба засмѣялись.

— Вы запомнили только одно слово „вздоръ“, сказалъ предсѣдатель,—а мое разсужденіе о значеніи романа...

— Принялъ, къ свѣдѣнію, подсказалъ Кальяновъ.

— Примите же его и къ исполненію! добавилъ Левъ Ивановичъ,—и когда я приглашу васъ послушать, скажите свое мнѣніе. Да?

Кальяновъ поклонился, еще разъ недовѣрчиво взглянулъ на начальника, покосился на тетрадь—и вышелъ, все раздумывая о томъ, насколько хватитъ всей комисіи и ему работы.

„Вотъ тебѣ и будетъ романъ!“ заключилъ онъ.

Предсѣдатель не то, чтобы интересовался знать мнѣніе Ивана Ивановича о романѣ, но пригласилъ его потому, что пришлось кстати, и потому еще, что хотѣлось оказать любезность своему помощнику. Кальяновъ и забылъ объ этомъ разговорѣ.

Но каково было его удивленіе, когда, черезъ мѣсяцъ послѣ того, именно въ маѣ, Левъ Ивановичъ, однажды, послѣ доклада, сказалъ, что Григорій Петровичъ Урановъ заѣдетъ къ нему, Кальянову, пригласить его на чтеніе романа.

— Какого романа? вдругъ спросилъ Кальяновъ и тутъ только вспомнилъ бывшій разговоръ.

— Вы слово дали! напомнилъ начальникъ.

— Ужели это... не мистификація? спросилъ онъ нерѣшительно.

— Вотъ какая мистификація—полюбуйтесь!

Бебиковъ показалъ ему кучу мелко исписанныхъ тетрадей.

— Смотрите же—я ожидаю вашей критики! прибавилъ онъ.

Кальяновъ ушелъ въ раздумьи, все не вѣря и предполагая какой нибудь сюрпризъ.

„Соберетъ, чего добраго, всю комисію туда, на вечеръ къ Уранову, да и прочтетъ какой нибудь проектъ или „идею“... отъ него станется! Охъ ужъ эти мнѣ идеи!“.

Однаковъ назначенный вечеръ, онъ надѣлъ фракъ, бѣлый галстухъ и поѣхалъ къ Уранову.

„И женщины тутъ: что-жъ это въ самомъ дѣлѣ—ужели такъ-таки романъ и есть?“ шепталъ онъ, робко усаживаясь въ третьей шеренгѣ слушателей.

Другой сослуживецъ автора, Фертовъ, напротивъ вовсе не садился. Онъ рѣялъ, какъ зефиръ, между слушателя-

ми и, наклоняясь то къ тому, то къ другому, особенно къ дамамъ, ронялъ по нѣскольку словъ восторженныхъ похвалъ о романѣ, который уже слышалъ.

Онъ былъ высокій красивый и отлично одѣтый господинъ, лѣтъ сорока, юркій, свѣтлоокій блондинъ, съ проборомъ посреди головы, съ бакенбардами, струями падавшими къ плечамъ, съ изящными манерами, — словомъ, представительная салонная фигура.

Фертовъ былъ тоже необходимое лицо у автора — и по службѣ, и по всякимъ другимъ дѣламъ, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Кальяновъ. Онъ добывалъ особенныя, предварительныя справки по дѣламъ, дѣлалъ развѣдки, tâtait le terrain въ томъ или другомъ вѣдомствѣ—не путемъ бумажныхъ отношеній, а лично: былъ употребляемъ для компромисовъ, углаживалъ пути, устранялъ, своимъ ловкимъ и пріятнымъ характеромъ, недоразумѣнія и т. д. Онъ же былъ вѣрнымъ эхомъ городскихъ новостей и слуховъ, особенно въ высшихъ сферахъ.

Сзади всѣхъ, въ углу, у камина, помѣстился газетный критикъ, Кряковъ, котораго привелъ, согласно обѣщанію, племянникъ хозяина. Онъ былъ средняго роста, съ темнорусой густой бородой, въ которой пряталась вся нижняя часть лица и отчасти носъ. Одѣтъ онъ былъ въ коротенькомъ пиджакѣ и въ свѣтлыхъ брюкахъ, по лѣтнему. Онъ жалъ въ рукахъ сѣрую, мягкую шляпу и, повидимому, не зналъ, что съ собой дѣлать. Онъ укрывался въ тѣни угла, куда его привелъ студентъ, представивъ сначала дядѣ. — Сиди тутъ: я помогу дядѣ принять гостей, потомъ приду къ тебѣ! сказалъ онъ.—Смотри не надуй, а то я удеру! отвѣчалъ тотъ.

И онъ сталъ смотрѣть на каждаго гостя, на самаго хозяина, на автора, на все окружающее, задѣвалъ ногою за щипцы, которые гремѣли о рѣшотку камина, и, кажется,

не разъ хотѣлъ встать и въ самомъ дѣлѣ уйти. Но все притихло, началось чтеніе—и онъ усѣлся.

Черезъ четверть часа послѣ начала чтенія, явились еще три слушателя, двое военныхъ молодыхъ людей и третій—статскій. Первые два осторожно несли сабли въ рукахъ—и всѣ трое, a pas de loups, подкрались къ кружку, взяли три стула, безъ шума поставили ихъ на коверъ и тихо опустились на нихъ, за спиною автора.

На нихъ никто не обратилъ вниманія, только хозяинъ дома ласково погрозилъ имъ пальцемъ, да княжна Тецкая бросила быстрый взглядъ на статскаго. Онъ поклонился, больше глазами, но она не повторила своего взгляда.

Романъ начался съ описанія блестящаго бала, на которомъ являются два главныя лица романа, или герой и героиня. Онъ—графъ, она—княгиня. Она блестящая звѣзда большаго свѣта, по красотѣ, изяществу, уму. Онъ—красивый, ловкій и тоже блестящій молодой человѣкъ, офицеръ одного изъ первыхъ гвардейскихъ полковъ.

Онъ, подъ маскою строгаго приличія, едва сдерживаетъ пылъ страсти къ своей княгинѣ: онъ ищетъ ея взгляда, хочетъ ей сказать слово; но она будто не замѣчаетъ его, и отъ нея, какъ отъ Онѣгинской Татьяны, вѣетъ холодомъ и неприступностью. Онъ въ ужасѣ: отчего такая перемѣна! Еще такъ недавно, дня три тому назадъ, на немъ покоился ея взглядъ, полный такого сочувствія, ему говорились тихія рѣчи нѣжной страсти — и вдругъ теперь даже не глядитъ! Что такое произошло? Онъ ходилъ изъ залы въ залу, слѣдя за княгинею, и ловилъ минуту, чтобы узнать, что значитъ эта перемѣна, отчего у нея какая-то тревога, сдержанное страданіе на лицѣ?

— Я не видалъ васъ цѣлую вѣчность — и вотъ прі-

емъ! тихо упрекнулъ онъ, подходя къ ней, когда она была одна.

— А я видѣла васъ вчера, сухо отозвалась она, не глядя на него.

— Гдѣ? когда?

— Я проѣзжала по мосту, черезъ Фонтанку, и издали видѣла, какъ вы гуляли по набережной... съ дамою кажется... да?

— Да... правда... запинаясь сказалъ онъ.

— Кто эта дама? не секретъ? небрежно спросила она, обмахиваясь вѣеромъ.

Онъ не вдругъ отвѣчалъ, ему и не хотѣлось отвѣчать, но дѣлать было нечего.

— Это... это... m-me Armand... французская артистка...

— А! холодно сдѣлала она и пристально поглядѣла на него.

— Я встрѣтилъ ее нечаянно и прошелся съ нею...

— Я не требую объясненій и подробностей! сухо перебила она и отошла.

Онъ слѣдилъ, какъ она, поговоривъ съ тѣмъ, съ другимъ, подошла къ дѣвицѣ Лидіи N. и сѣла подлѣ нея.

— Я вчера заѣзжала къ вамъ, chère Lydie, около трехъ часовъ, но васъ не было; гдѣ вы были? спросила она.

— Да, мнѣ maman сказывала; я очень жалѣла... Мнѣ необходимо было выѣхать... отвѣчала Лидія, но не сказала куда.

— Мнѣ показалось, что я васъ видѣла на улицѣ и я заѣхала узнать, не ошиблась ли я?

Она взглянула на Лидію и видѣла, что та смутилась. И княгиня сама измѣнилась въ лицѣ.

„Mon Dieu!“ воскликнула каждая изъ нихъ про себя.

„Ужели она замѣтила!“ подумала Лидія.

„Это была она!“ подумала княгиня.

Балъ былъ къ концу, княгиня тронулась съ мѣста и направилась къ выходу; графъ предупредилъ ее. Онъ подалъ ей руку.

— A demain... n'est-ce pas? Puis-je vous suivre? бормоталъ онъ.

Она не взяла руки.

— Vous croyez vous adresser à Lydie N. peut-être? сказала она:—vous vous trompez; la voilà!—Она указала вдаль вѣеромъ, гдѣ сидѣла Лидія. — Restez auprès d'elle. —Général! donner moi votre bras! обратилась она къ проходившему мимо генералу и пошла подъ руку съ нимъ по лѣстницѣ, не бросивъ на героя взгляда.

Онъ оцѣпенѣлъ на мѣстѣ, потомъ медленно воротился въ залу. Онъ посмотрѣлъ на Лидію, прелестную молодую блондинку, въ цвѣтѣ лѣтъ, стройную, граціозную, съ умными глазами, просто и со вкусомъ одѣтую.

Онъ сказалъ ей какую-то банальную фразу и глядѣлъ ей пристально въ глаза, въ надеждѣ, не объяснитъ ли она намекъ княгини.

Глаза ея дѣйствительно высказывали что-то особенное. Взглядъ ея блуждалъ разсѣянно кругомъ, ни на чемъ не останавливаясь; очевидно мысль ея была не тутъ. Она была задумчива, почти печальна, вѣроятно подъ вліяніемъ бѣглаго разговора съ княгиней. Но графъ не слыхалъ этого разговора, да если бы и слышалъ, то все не добился бы ключа къ намеку княгини.

Постоявъ съ минуту передъ нею, графъ пошелъ къ выходу и на лѣстницѣ столкнулся, съ адъютантомъ, барономъ В., который вертѣлся около и видѣлъ сцену прощанія съ нимъ княгини: какъ она не приняла руки графа и пошла съ генераломъ. Баронъ бросился за нею и, проводивъ ее вмѣстѣ съ генераломъ до кареты, возвращался на балъ. Онъ

съ ироніею взглянулъ на графа. Онъ былъ неравнодушенъ къ княгинѣ и терпѣть не могъ графа, какъ предпочтеннаго соперника. Графъ понималъ его положеніе и прощалъ ему, т. е. былъ равнодушенъ къ его ненависти. Но тотъ, какъ шекспировскій Яго, искалъ случая мстить ему.

Между тѣмъ, графъ, мучимый холодностью княгини, написалъ ей письмо, въ которомъ объяснялъ, какъ онъ наканунѣ бала, встрѣтилъ m-me Armand, выходившую изъ одного дома и не нашедшую своей кареты. Онъ вышелъ изъ саней и пошелъ съ нею пѣшкомъ по набережной Фонтанки до Невскаго проспекта, гдѣ они и разстались. Онъ предложилъ ей свои сани и она уѣхала. Онъ прибавилъ, что эта m-me Armand извѣстна всей jeunesse dorée Петербурга, что она состоитъ въ тѣсной зависимости отъ одного извѣстнаго лица, что весь городъ это знаетъ и что подозрѣвать его было бы недостойно ни княгини, ни его собственнаго характера, и такъ далѣе.

Но онъ не прибавилъ, какъ онъ весело болталъ съ француженкою, наклонялся къ ней, шутилъ, смѣялся, велъ съ нею живой, маскарадный разговоръ.

А княгиня видѣла это. Съѣхавъ съ моста, она велѣла кучеру остановиться и пристально слѣдила за ихъ прогулкою. Она видѣла ихъ сзади и не могла разглядѣть лицо дамы; она видѣла только ея фигуру и ростъ—все это было поразительно похоже на фигуру и ростъ Лидіи, особенно двѣ длинныя букли были точь-въ-точь такія, какъ у той: и цвѣтъ такой же, и такъ же выпущенныя изъ подъ шляпки назадъ, онѣ скользили по ея плечамъ. Остальные признаки подсказало воображеніе, т. е. ревность. Княгиня нашла похожею и походку дамы, и такую же соболью шубку, какъ у Лидіи, и все.

Здѣсь авторъ романа вошелъ въ тонкій психологическій анализъ ревности: какъ эта послѣдняя наблюдаетъ всѣ мел-

кіе признаки, сама создаетъ многіе, групируетъ ихъ, и творитъ адъ въ душѣ своей жертвы.

Княгиня, проводивъ ихъ далеко глазами, велѣла ѣхать въ домъ Лидіи N, чтобы увѣриться, дома ли она, или нѣтъ, и не застала ее. Вотъ причина ея допроса у Лидіи, гдѣ она была? Смущеніе Лидіи подтвердило ея догадки, а слѣпая ревность превратила ихъ въ увѣренность. Она отгоняла спасительныя сомнѣнія, которыя просились ей въ умъ въ видѣ вопросовъ: „какъ Лидія, дѣвица, принадлежащая къ лучшему обществу, у которой есть родители—люди съ положеніемъ со связами въ большомъ свѣтѣ, вдругъ будетъ играть своей репутаціей, уѣзжать одна изъ дома на секретныя свиданія, гулять открыто вдвоемъ съ молодымъ человѣкомъ, котораго всѣ знаютъ?“ Княгиня отгоняла эти вопросы, какъ „докучливыхъ мухъ“, по словамъ автора, потому что ревность, разъ потерявши главную точку опоры, здравую логику, какъ всякая горячка, т. е. страсть, питается и поддерживается галлюцинаціями и сама создаетъ себѣ рядъ пытокъ. Кстати княгиня вспомнила, что Лидіи уже двадцать лѣтъ, что отецъ ея поглощенъ службою, а мать—болѣзненная женщина и выѣзжать съ нею не можетъ; что Лидія выѣзжаетъ съ компаніонкою, а часто и одна; что на ней даже лежатъ обязанности по управленію домомъ и что она, не въ примѣръ многимъ другимъ дѣвицамъ, пользуется значительною долею самостоятельности. Это всѣ знали въ свѣтѣ, но никогда никому не приходило въ голову видѣть что нибудь таинственное и лукавое въ ея поведеніи: это противорѣчило бы личному ея характеру, воспитанію и нравственному складу и тону всего ихъ дома и семьи, всѣми уважаемыхъ.

Но княгиня не слушала этихъ голосовъ разума. Въ глазахъ ея сверкало какое-то красное пламя, внутри жгло.

„А отчего она смутилась, когда я намекнула, что ви-

дѣла ее? Отчего не договорила, гдѣ была?“ терзала она себя вопросами... „Да, это была она! А Paul говоритъ... нѣтъ, какой онъ Paul: c'est un traître de la plus pire éspèce!“ казнила она его про себя:—„онъ вздумалъ увѣрять, что это m-me Armand! Онъ съ нею и не пошелъ бы: онъ презираетъ этихъ...“ Она не досказала эпитета.

Она кляла себя за то, что не бросилась вслѣдъ гуляющей парѣ, что не остановила графа, не взглянула вблизи на женщину, а бросилась въ домъ Лидіи. „Теперь я знала бы все!“

Она не думала, даже не вѣрила, чтобы свиданья графа съ Лидіей, заходили далеко, чтобы въ нихъ скрывалось что нибудь похожее на то, что было между ею самою и графомъ... Нѣтъ, но она видѣла въ этой нѣжности графа къ Лидіи зарю—не пылкой страсти, а молодой, свѣжей—такъ сказать—законной любви, той любви, которая охватываетъ всего человѣка и наполняетъ тепломъ всю его жизнь. И она уступитъ, когда сама только что покорила этого рыцаря чести, мужской красоты, какой-то силы души и характера—и отдастъ его другой, едва расцвѣтшей, еще не начавшей жить!

„У той“, разсуждала она,—жизнь вся впереди: ее ждетъ своя доля счастья! А она вдругъ отнимаетъ его у нея, изломаетъ ея страсть и вмѣстѣ съ нею и ее самоё, княгиню: потому что ей больше ничего не останется въ жизни... Нѣтъ, нѣтъ! А онъ! Заплатить ей измѣной за все... какая низость! какая низость!“

Она вздрагивала, ворочаясь, послѣ бала, въ постели и уснула только подъ утро.

Послѣ полудня ей доложили, что пріѣхалъ баронъ В., адъютантъ. Она, давно зная его чувства къ ней и виды на нее, избѣгала его и принимала неохотно и рѣдко. А теперь велѣла просить.

Она ужаснулась, поглядѣвъ на себя въ зеркало, и старалась пудрой, и даже немного румянами, скрыть слѣды безсонной и мучительной ночи.

Баронъ пріѣхалъ не спроста. Онъ вчера уловилъ кое-какіе симптомы разлада между княгиней и графомъ, замѣтилъ сцену ихъ прощанія, потомъ разговоръ съ Лидіей N, у которой, послѣ отъѣзда княгини, онъ искусно развѣдалъ, о чемъ ей говорила княгиня. Та наивно отвѣчала, что княгиня думала, что видѣла ее на улицѣ, и заѣзжала къ ней узнать, не ошиблась ли она. И только. Но баронъ принялъ это къ свѣдѣнію и поѣхалъ къ княгини выпытать что можно. У него уже шевелилась мысль о возможности разрыва графа съ княгиней: надо помочь этому, довести до конца— и... и... Словомъ, у него заиграло въ головѣ.

Ему не стоило труда узнать въ чемъ дѣло. Княгиня, послѣ, пустыхъ фразъ о вчерашнемъ балѣ, сама спросила: знаетъ ли онъ m-me Armand? Онъ конечно сказалъ, что знаетъ ее, какъ и многіе другіе, т. е. весь кругъ золотой молодежи; что онъ бываетъ иногда у нея; что она очень живая, умная, любезная женщина, и наконецъ, въ свою очередь, спросилъ, почему она такъ интересуется ею.

— Такъ! сказала княгиня: — я видѣла ее на улицѣ, спросила, кто это, и мнѣ назвали ее... больше ничего.

Баронъ ничего не сказалъ. У него уже была нить въ рукахъ—и онъ, простившись съ княгиней, поѣхалъ прямо къ m-me Armand—постучаться тамъ, выяснить эту исторію и на ней основать свой планъ дѣйствія.

Онъ безъ труда узналъ отъ m-me Armand, что она недавно встрѣтилась съ графомъ, прошлась съ нимъ по набережной Фонтанки и доѣхала въ его саняхъ домой.

Барону стало ясно все. Чтó онъ далѣе говорилъ француженкѣ, осталось неизвѣстно; но только когда, послѣ этого, княгиня осторожно, стороной, черезъ преданныхъ ей

людей, изъ третьихъ рукъ, стала узнавать о прогулкѣ съ нею графа, m-me Armand jurait ses grands dieux, что она съ нимъ не встрѣчалась и не гуляла.

Отсюда начинается сложная драматическая путаница романа! Прежде всего значительно огласились въ свѣтѣ, до тѣхъ поръ только подозрѣваемыя отношенія княгини къ графу. Потомъ прошелъ глухой, неизвѣстно кѣмъ пущенный изподтишка (конечно барономъ) шопотъ о какой-то прогулкѣ Лидіи съ графомъ наединѣ. На нее стали смотрѣть съ страннымъ любопытствомъ, которое она относила вовсе не къ прогулкѣ съ графомъ, чего и подозрѣвать не могла, а къ тому, что узнали, какъ она предполагала, одинъ ея секретъ.

А секретъ ея состоялъ въ слѣдующемъ. У нея была самая любимая, ея, по институту, подруга и лучшій по уму и симпатичнымъ качествамъ души и сердца другъ, Лиза Ф. Онѣ вмѣстѣ росли, учились и вмѣстѣ вступили въ свѣтъ. Лиза Ф., по выходѣ изъ института, жила въ домѣ Лидіи, потому что у ней не было состоянія. Мать ея, вдова, сама жила въ деревнѣ у родной сестры, и предоставила дочери свою пенсію, тысячу двѣсти рублей. Обѣ онѣ не могли содержать себя этими средствами въ Петербургѣ и Лиза пріютилась въ семействѣ Лидіи N, какъ ея лучшій другъ, какъ сестра.

Такъ ихъ признавалъ и свѣтъ; онѣ два зимнихъ сезона являлись неразлучно всюду. На третій сезонъ Лидія вдругъ осталась одна. Лиза Ф. уѣзжала на лѣто къ матери и не возвращалась изъ деревни.

Такъ объявлено было въ кругу всѣхъ знакомыхъ — и только. Ни Лидія, ни ея отецъ и мать болѣе не распространялись объ этомъ. Это породило нѣкоторое сомнѣніе; стали наводить справки и узнали, что въ деревнѣ, у тетки, съ Лизой разыгрался какой-то романъ, кончившійся потомъ

такими послѣдствіями, за которыя тетка не захотѣла держать ее у себя, и что Лиза вернулась въ Петербургъ и живетъ съ матерью гдѣ-то въ глухомъ уединеніи, на маленькой квартирѣ, въ большой нуждѣ.

Это всѣ узнали, судили, рядили и казнили Лизу безпощаднымъ приговоромъ. О Лизѣ перестали говорить въ свѣтѣ; никогда не произносили имени ея и въ домѣ Лидіи. Всѣ какъ будто условились забыть ее и наконецъ забыли. Не могла забыть въ ней лучшаго, единственнаго друга только Лидія — и не забыла. Она не сочла себя вправѣ быть ея судьею, и не только сохранила, но удвоила къ ней свою нѣжность, окружила ее заботами, утѣшеніями, помощью— всѣмъ, въ чемъ такъ нуждалась теперь бѣдная, обманутая любовью, выброшенная изъ привиллегированной среды женщина. Дружба не обманула ее. Лидія объявила отцу и матери, что она не покинетъ друга въ бѣдѣ и нуждѣ, когда именно необходимъ другъ.

Отецъ обнялъ ее, мать заплакала: оба предоставили дѣлать ей чтó говоритъ ея сердце; они сами любили и жалѣли эту Лизу, но умоляли только дѣлать это втайнѣ, поберечь себя и не оскорблять законовъ свѣта.

Лидія, разъ въ недѣлю, посвящала свободный вечеръ или утро, иногда цѣлый день, своей подругѣ и ѣздила въ наемной каретѣ, по вечерамъ въ сопровожденіи вѣрной и скромной горничной, а днемъ—одна, въ отдаленную улицу, въ маленькую квартиру, къ своей милой и дорогой Лизѣ Ф.

Наканунѣ бала, она провела тамъ утро, и вотъ причина ея смущенія, когда княгиня сказала, что видѣла ее гдѣ-то на улицѣ.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отвѣчала на его письма. Только на одномъ изъ нихъ, возвращенномъ нераспечатаннымъ, она написала карандашемъ:

„vous avez menti. Adieu!“. Онъ былъ въ ужасѣ. Свѣтскій судъ не пощадилъ ее; его толки дошли до нея и она, съ первыми весенними лучами, уѣхала въ свое родовое имѣніе, заперлась, съ компаніонкой, въ замкѣ — и никуда не выѣзжала.

Лидія тоже не выдержала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шепота... она занемогла. Отецъ и мать ея были въ отчаяніи и наконецъ отправили ее, съ одной старой теткой, за границу. Свѣтъ не узналъ настоящаго ея секрета, а только привязалъ, „какъ бумажку къ ея шлейфу“, по выраженію автора романа, имя графа къ ея имени, пока еще не зная, что̀ говорить далѣе.

Графъ тоже не вынесъ пытки. Онъ рѣшился на смѣлый шагъ, взялъ отпускъ за границу, переодѣлся въ статское платье, пробрался въ имѣніе графини, поселился въ деревнѣ и бродилъ каждый день въ сумерки, съ ружьемъ на плечѣ, около парка княгини. Наконецъ онъ увидѣлъ ее, сидящею въ глубокой задумчивости на скамьѣ, подъ вязомъ; возлѣ на травѣ валялась книга. Онъ тихо подошелъ кустами сзади; на него вдругъ залаяла ея собачка, но узнавъ его, начала радостно визжать и ласкаться къ нему.

— Кто тутъ? съ испугомъ спросила княгиня.

— Я! сказалъ онъ, упавъ на траву и прижимая ея руки къ губамъ.—Простите!

— Вы... ты... вы! оторопѣвъ произнесла княгиня и залилась слезами... Отъ чего? Отъ негодованія? Отъ оскорбленной гордости? Нѣтъ, отъ радости, отъ счастья!

— Я ждала тебя, я знала, что ты будешь! шептала она, отвѣчая на его поцѣлуи.—Еслибъ ты не пріѣхалъ, я не простила бы тебѣ...

— О рай! о небо! твердилъ онъ и т. д., и т. д.

— Они провели тайкомъ въ этой глуши такое лѣто, ка-

кого, по словамъ автора, еще не было ни у нея, ни у него въ жизни. Она даже не потребовала у него объясненій эпизода прогулки съ m-me Armand и зажала ему рукою ротъ, когда онъ заикнулся объ этомъ.

— Я здѣсь, наединѣ съ собою, сама добралась до истины, и только... женскій стыдъ мѣшалъ мнѣ написать тебѣ. Я знала, что ты пріѣдешь!

При этомъ онъ падалъ на коверъ или на траву и катался, вмѣстѣ съ собаченкой, у ея ногъ.

Онъ воротился въ Петербургъ, гдѣ объяснилъ, что ѣздилъ устроить дѣла въ имѣніи, и отправился за границу; а княгиня заперлась опять въ своемъ замкѣ.

Въ романѣ, кромѣ самого героя, героини и дѣвицы Лидіи, большія роли даны еще отцу ея, умному администратору, потомъ отставному генералу, съ твердымъ, упрямымъ и нѣсколько желчнымъ характеромъ, и, наконецъ, общему другу того и другаго — Здравомыслу всего этого круга, пожилому князю.

Вся группа представителей старыхъ поколѣній въ романѣ исполнена житейской мудрости, высокихъ правилъ чести, рыцарскаго благородства.

Въ молодомъ, ближайшемъ къ нимъ поколѣніи—дѣтей и племянниковъ ихъ, еще молодыхъ офицерахъ, замѣтно отражаются родовыя черты характера старшихъ, ихъ образа мысли и традиціонныхъ убѣжденій. Обѣ линіи представляютъ собою два паралельныя поколѣнія извѣстнаго, такъ называемаго, высшаго круга.

Преобладающій элементъ въ романѣ—военный. Гражданскій занимаетъ второстепенное положеніе.

Между прочимъ, цѣлая глава посвящена описанію маневровъ войскъ, между Гатчино, Краснымъ Селомъ и Павловскомъ. Мѣстами приводятся черты образа жизни, нравовъ, быта военныхъ высшаго круга.

Женскій кругъ тоже богатъ персоналомъ. На первомъ планѣ, кромѣ молодыхъ героинь—княгини и Лидіи, являются нѣсколько свѣтскихъ матронъ, двѣ княгини, одна—важная, добродѣтельная, другая—суетливая и говорливая, потомъ мать дѣвицы, мать героя и другія.

Между дѣйствующими лицами, почти нѣтъ лицъ изъ другихъ, низшихъ сферъ; только въ деревнѣ явился неожиданный поклонникъ княгини—уѣздный врачъ. Видя ея „меланхолію", какъ онъ говорилъ, онъ сталъ увѣрять ее, что послѣдняя можетъ повести къ серьезной болѣзни и что ему судьбою предназначено посвятить всю свою жизнь на сохраненіе „ея драгоцѣнныхъ дней". Но когда, съ пріѣздомъ графа ея „меланхолія" мгновенно прекратилась, княгиня перестала принимать врача, и онъ, въ свою очередь, какъ графъ, сталъ бродить съ ружьемъ около парка—но конечно безуспѣшно.

Изъ простаго званія—въ романѣ не было никого. Авторъ постоянно держался на высотѣ только одного высшаго круга и утонченнаго воспитанія.

Княгиня инкогнито тоже пробралась за границу—и соединилась съ героемъ въ какомъ-то уединенномъ уголкѣ.

За границей дѣйствіе происходитъ, частью на водахъ въ Германіи, а потомъ въ Южной Франціи и Италіи. Романъ изобиловалъ описаніями видовъ природы, граціозныхъ и цѣломудренныхъ сценъ любви, тонкихъ замѣтокъ о произведеніяхъ искусства въ музеяхъ и т. п.

Герой и героиня, насыщенные страстью, оба, наконецъ, смутно начинаютъ чувствовать неловкость своего взаимнаго положенія. Кромѣ того, книгиня замѣчаетъ—сначала усталость въ своемъ другѣ, потомъ и симпатію его къ Лидіи, которую онъ встрѣтилъ гдѣ-то въ Парижѣ, а потомъ въ Швейцаріи, съ тёткой.

Графъ между тѣмъ давно просрочилъ свой отпускъ и былъ уволенъ отъ службы. Онъ былъ до того поглощенъ страстью къ княгинѣ, что не исполнилъ даже обычныхъ формальностей, не попросилъ отсрочки. Онъ и не хотѣлъ дѣлать этого; законныхъ причинъ у него не было: онъ былъ здоровъ, никакія дѣла не удерживали его за границей—а лгать, выдумывать предлоги, было не въ его характерѣ. У него былъ предлогъ, и самый уважительный, по законамъ чести—это долгъ принести въ жертву все женщинѣ, которая пожертвовала всѣмъ для него—и онъ подчинился этому закону, къ крайнему отчаянію его матери и всѣхъ военныхъ gros bonnets его круга.

Но когда, послѣ многихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ наединѣ, насыщенная страсть успокоилась, потомъ ослабѣла и, наконецъ, совсѣмъ упала—героиня украдкой уѣзжаетъ отъ героя, возвративъ ему свободу.

Графъ и Лидія хотя еще не сблизились между собою, но уже замѣтны были первые признаки сближенія. Въ частыхъ встрѣчахъ въ уединенныхъ затишьяхъ, среди красотъ природы, они пристальнѣе вглядывались другъ въ друга, такъ что можно уже было предвидѣть „зарю“ той любви, которую, въ припадкахъ ревности, предугадывала княгиня.

Романъ кончался пока этимъ. Далѣе, по словамъ автора, еще не было написано.

Прочитавъ первыя главы, авторъ всталъ и предложилъ отдохнуть. Слушатели поднялись съ мѣстъ молча, какъ будто раздумывая, что́ сказать о первыхъ главахъ—и ничего не сказали; кто позѣвывалъ, кто разминалъ ноги, только Лилина, сіяя улыбкой твердила „très joli“, да молодая графиня, дѣвица Синявская, крѣпко сжимая руку матери,

влажными глазами смотрѣла ей въ глаза и встала вмѣстѣ съ нею съ дивана.

Авторъ и графиня стали ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Вы, графиня, конечно еще ничего теперь не скажете мнѣ? спросилъ онъ.

— И послѣ не скажу—зачѣмъ?

— Развѣ вы не знаете, какъ я цѣню ваше мнѣніе.

— У меня нѣтъ мнѣнія, а только впечатлѣніе.

— Скажите ваше впечатлѣніе.

— Не умѣю, его надо угадать.

— Въ глазахъ сфинкса трудно угадывать, развѣ измѣнить улыбка ваша: она у васъ добрѣе глазъ...

— Надѣюсь, не добрѣе улыбки Лилиной; посмотрите, она такъ и сіяетъ, такъ и горитъ нетерпѣніемъ сказать вамъ свое впечатлѣніе!

Онъ пожалъ плечами и подошелъ къ Чешневу.

— Вы что скажете, Дмитрій Ивановичъ? спросилъ онъ старика, въ раздумьѣ поникнувшаго головой.

— Ничего—я все еще слушаю! отвѣчалъ тотъ коротко.

Слушатели, стоя группами, говорили совсѣмъ о другомъ. Иные пошли къ буфету „прохладиться", кто сельтерской водой съ шампанскимъ, кто просто шампанскимъ; другіе ушли въ кабинетъ хозяина, выкурить папироску.

Опоздавшій статскій юноша, пробрался къ княгинѣ Тецкой и поцѣловалъ у нея руку, съ словами:—Ma tante!

— Ай! закричала та и вздрогнула.

Онъ выразительно улыбнулся княжнѣ.

— Eh bien? спросила она чуть слышно.

— C'est fait, ma cousine!

— Où donc?

Тамъ, въ швейцарской, въ вашемъ пальто.

— Merci!

Между тѣмъ принесли чай, мороженое, конфекты. Григорій Петровичъ предлагалъ автору — оршаду, лимонаду, спросилъ, не хочетъ ли онъ шампанскаго въ зельтерскую воду, наконецъ, принесъ какой-то флаконъ съ утоляющими жажду лапешками, купленный въ англійскомъ магазинѣ.

— Въ Лондонѣ, въ парламентѣ, у всякаго оратора непремѣнно есть въ карманѣ такой флаконъ! объяснилъ онъ. —Я буду возить съ собой въ совѣтъ!

— А ты собираешься говорить тамъ рѣчи, какъ въ парламентѣ? спросилъ его пріятель, толстый Суховъ, — и оба засмѣялись.

— Лучше вози въ клубъ, въ субботу, послѣ кулебяки прохлаждаться! прибавилъ онъ.

Урановъ успокоился только тогда, когда авторъ выпилъ вина съ водой и предложилъ читать далѣе, прибавивъ: „если не наскучило!“

— Пусти меня, или пойдемъ къ тебѣ на-верхъ! шепталъ газетный критикъ Кряковъ, косясь на звѣзды мужчинъ: — еще пожалуй, проврешься — вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь!—Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся.

— Вздоръ какой! сказалъ онъ.—Пойдемъ лучше въ буфетъ.

Всѣ опять усѣлись. Лакеи обирали пустыя чашки, блюдечки отъ мороженаго. Григорій Петровичъ поставилъ хрустальныя вазы съ конфектами на столикахъ передъ дамами, а передъ авторомъ успѣлъ таки положить флаконъ съ прохладительными лепешками.

Фертовъ облетѣлъ опять всѣхъ слушателей.

— Comme c'est beau! On se croirait transporté à l'époque d'Homère! говорилъ онъ, то тому, то другому.

— C'est joli! вторила ему Лилина.

— C'est peu dire joli—c'est sublime! кинулъ онъ ей въ отвѣтъ и нагнулся было къ графу Пестову, чтобы сказать что-нибудь въ этомъ родѣ. Но авторъ бросилъ на него внушительный взглядъ и онъ присмирѣлъ.

Кромѣ Чешнева, еще двое гостей не вставали съ мѣстъ: это пожилой беллетристъ, отъ лѣни должно быть, только вытянувшій немного ноги впередъ, будто потягиваясь, да Иванъ Ивановичъ Кальяновъ, сослуживецъ автора, точно застылъ въ своей позѣ. Даже толстый Суховъ, и тотъ уходилъ „освѣжиться" и принялъ стаканъ зельтерской воды съ шампанскимъ—отъ одышки, говорилъ онъ.

Въ буфетѣ хозяинъ учтиво предложилъ и Крякову „освѣжиться".

— Не вредитъ! сказалъ онъ и выпилъ стаканъ шампанскаго.

Кальяновъ просто не зналъ, какъ ему быть. Надежда на мистификацію рушилась—онъ видѣлъ это ясно: ни пересмотра проектовъ, ни дополнительныхъ штатовъ, никакихъ смѣтъ, ничего такого въ романѣ не было. А все что́ было—ему было чуждо и даже противно, въ родѣ какой-то дѣтской забавы.

Сдавая вступительный экзаменъ въ университетѣ, по факультету камеральныхъ наукъ, между прочимъ и изъ словесности, онъ запомнилъ имена Вальтеръ-Скота, Бальзака, у насъ—Загоскина и Лажечникова. Позднѣе, въ журналахъ, онъ встрѣчалъ имена Жоржъ Занда, Виктора Гюго, помнилъ, какого шума надѣлала „Капитанская дочка" Пушкина, затѣмъ романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но онъ, ставъ на практическую точку служебныхъ занятій, уже ничего этого послѣ не читалъ—и на романъ смотрѣлъ... просто никакъ не смотрѣлъ. Онъ считалъ это женскимъ или, какъ онъ выражался, бабьимъ дѣломъ, и нахмурясь смотрѣлъ, какъ у его сестры, старой дѣвушки,

цѣлый уголъ, точно дровъ, навалено было русскихъ и французскихъ романовъ.

А теперь вдругъ зовутъ его слушать романъ,—да еще требуютъ критики!

„Что я ему скажу?“ раздумывалъ онъ про себя.—„А онъ непремѣнно спроситъ—вонъ, то и дѣло поглядываетъ на меня! Сказать коротко, „никуда не годится“, это было бы всего удобнѣе и искреннѣе съ моей стороны—да нельзя, еслибъ и хватило духу; надо объяснить, почему не годится. Сказать „очень хорошо“,—я рискнулъ бы и на это, а какъ спросятъ: что именно и почему хорошо? И когда романъ бываетъ хорошъ, когда не хорошъ—чортъ знаетъ! Нѣтъ, не одинъ чортъ: вотъ этотъ журналистъ, сосѣдъ мой, знаетъ; вонъ и тотъ, лѣнтяемъ смотритъ—тоже знаетъ; и старикъ Чешневъ сидитъ, точно всенощную слушаетъ—и тотъ видно, что въ своей тарелкѣ!“

Онъ съ завистью поглядывалъ на того, на другаго изъ слушателей, стараясь уловить, по выраженію ихъ лицъ, что имъ нравится, что нѣтъ, чтобы заготовить по этому себѣ какой-нибудь запасъ заемныхъ впечатлѣній, и продолжалъ тупо и напряженно вслушиваться.

Авторъ между тѣмъ выводилъ лицо за лицомъ, рисовалъ рядъ тонкихъ сценъ, пейзажей; чередою текли благородныя, возвышенныя мысли, блистали искры остроумія слышались тоны нѣжныхъ чувствъ, или являлись штрихи наблюдательности. Все это свободно вязалось между собою, какъ будто разыгрывалось по нотамъ; и послушно выражало главныя задачи или тезисы автора.

Герои были представители принциповъ чести, человѣческаго достоинства и высокой степени умственнаго и моральнаго развитія—до внѣшней выработки включительно, до умѣнья выражать въ каждомъ шагѣ и словѣ уваженіе

къ себѣ и къ другимъ, до изящныхъ, простыхъ и естественныхъ манеръ, до языка и всѣхъ формъ общежитія.

Это была чистая сфера джентльменовъ, салонъ жизни, гдѣ скорби и радости, заботы, труды и удовольствія, мысли, знаніе, искусства, даже самыя страсти, подчинялись строгому регулятору традиціонной школы вершинъ жизни, доступной въ европейскихъ обществахъ ограниченному меньшинству.

Ничего вульгарнаго, никакой черновой, будничной стороны людскаго быта не входило въ рамки этой жизни, гдѣ все было очищено, убрано, освѣщено и украшено, какъ въ свѣтлыхъ и изящныхъ залахъ богатаго дома. Прихожія, кухни, дворъ, со всею внѣшнею естественностью,—ничего этого не проникало сюда; сіяли одни чистые верхи жизни, какъ снѣговыя вершины Альпъ.

Авторъ читалъ слѣдующія за первыми главы—одушевленнѣе, гости слушали напряженнѣе. Всѣхъ охватывалъ интересъ широко раздвинувшагося въ рамкахъ романа.

Только газетный критикъ Кряковъ становился все сердитѣе, по мѣрѣ того, какъ развивался ходъ романа, да еще толстый Суховъ вздыхалъ вслухъ отъ нетерпѣнія. Среди одной сцены, происходившей гдѣ-то въ Италіи, онъ даже сказалъ въ полголоса своему сосѣду генералу:—завтра дождь будетъ!

— А что? спросилъ тотъ.

— Мозоли ноютъ. У тебя есть мозоли?

Тотъ отрицательно покачалъ головой.

— Мозоли бываютъ только у учителей да почтальоновъ, прибавилъ онъ почти обидчиво.

На нихъ разомъ взглянули и авторъ, и хозяинъ; они смолкли и Суховъ началъ громко дышать носомъ.

Княгиня Тецкая, когда читались сцены свиданія молодыхъ людей наединѣ — вздрагивала, а при описаніи одной дуэли нервно ахнула.

Княжна разъ шесть напускала на лицо непониманіе невинности.

— Mais elle est prude, ta cousine, не можетъ переносить такихъ цѣломудренныхъ сценъ! тихо говорилъ офицеръ статскому, поймавъ раза два такое выраженіе на ея лицѣ.

— C'est vrai! c'est pour cela que je lui fournis les volumes de Zolà; il y en a un—dans ce moment qui l'attend dans l'antichambre: „La Curée". Elle le supporte parfaitement bien...

Оба старались подавить смѣхъ. Хозяинъ издали погрозилъ имъ.

Авторъ все чаще и чаще обращался взглядомъ къ графинѣ Синявской, стараясь уловить ея впечатлѣніе.

При слабыхъ мѣстахъ, длиннотахъ, глаза ея разсѣянно оглядывали стѣны, останавливались на дочери, или смотрѣли внизъ, на коверъ. Не то—такъ она машинально доставала конфекту изъ вазы и подавала дочери.

Напротивъ, при живыхъ сценахъ, она не сводила глазъ съ автора, а когда появлялись лучи поэзіи, тонкіе штрихи наблюдательности, и сверкала, неожиданностью или смѣлостью оборота, мысль—взглядъ ея дѣлался мягокъ, на губахъ бродила свойственная ей загадочная улыбка. И авторъ читалъ тогда увѣреннѣе и оживленнѣе. Когда за то брови ея немного сходились, глаза теряли загадочное выраженіе и улыбка исчезала—онъ бралъ со стола карандашъ и отмѣчалъ на поляхъ NB; это значило—худо. Чешневъ, при такихъ мѣстахъ, тоже—или глубже опускалъ голову, или перекладывалъ одну ногу на другую.

Авторъ мелькомъ замѣчалъ эти критическіе симптомы. Пожилой литераторъ гладилъ себя, при слабыхъ мѣстахъ, по лысой головѣ, какъ будто внутренно одобрялъ себя мыслью, что самъ онъ лучше написалъ бы эти мѣста.

Авторъ читалъ описаніе военныхъ маневровъ. Всѣ замерли въ безмолвіи. Въ стереотипное батальное изображеніе воинскихъ рядовъ—авторъ вдохнулъ огонь, далъ душу стройной живой массѣ и связалъ органически это цѣлое однимъ чувствомъ и одной мыслью. Кромѣ того онъ нѣсколькими деталями смягчилъ суровость и однообразіе картины.

Графиня Синявская не сводила глазъ съ автора. Чешневъ тоже во всѣ глаза смотрѣлъ на него, очевидно съ одобрительнымъ чувствомъ.

— C'est bien écrit, n'est-ce pas? сказалъ вдругъ точно проснувшись и отнявъ руку отъ уха, графъ Пестовъ, ища глазами вокругъ, къ кому бы обратиться.

— Très bien écrit! oui, très bien, très bien! энергически подхватили два-три голоса изъ тѣхъ, что́ находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

— Pourquoi n'avez vous pas écrit cela en français? спросилъ графъ, обращаясь къ автору и приставивъ руку къ уху, чтобъ выслушать отвѣтъ.

— И какъ вѣрно, замѣтилъ офицеръ, — а вѣдь онъ не военный! Откуда онъ знаетъ?

— A! c'est une grande capacité! Une tête, ce qu'on appelle! говорилъ въ полголоса статскій. — Мы къ Борелю отсюда? какъ бы не заперли! шепотомъ прибавилъ онъ.

— Bah! on nous ouvrira! увѣренно замѣтилъ офицеръ.

— Comme c'est joli! говорила Лилина княжнѣ Тецкой.

— Oui, ch-ar-ma-nt! протяжно отвѣчала княжна, играя вѣеромъ.

— C'est divin! c'est Homère, doublé de Tasse! прибавилъ подскочившій Фертовъ, наклоняясь къ княгинѣ Тецкой.—N'est-ce pas, princesse?

— Охъ! сдѣлала она, вздрогнувъ.

Фертовъ отскочилъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое, эти маневры!.. Казар-

ма! довольно громко ворчалъ въ углу Кряковъ, такъ что нѣкоторые на него оглянулись.

Студентъ потихоньку смѣялся. Редакторъ журнала держалъ себя скромно и не выражалъ ни одобренія, ни порицанія. Профессоръ одобрительно покачивалъ головою. Пріятель Греча и Булгарина, старикъ Красноперовъ, сложилъ руки на брюшкѣ и, повидимому, скучалъ.

По мѣрѣ того, какъ чтеніе подвигалось къ концу, Иванъ Ивановичъ Кальяновъ становился покойнѣе; онъ даже повеселѣлъ и смѣлѣе поглядывалъ на автора и на присутствующихъ, почти не вслушиваясь въ послѣднія страницы романа, какъ будто онъ пришелъ къ какому нибудь критическому заключенію.

Въ половинѣ двѣнадцатаго часа авторъ кончилъ, всталъ и наклонилъ слегка голову, благодаря за вниманіе.

Стулья шумно задвигались, всѣ встали, громко апплодируя, громче всѣхъ тѣ, которые меньше всѣхъ слушали, особенно толстый Суховъ—отъ удовольствія, что кончилось.

— У меня ноги затекли! говорилъ онъ пріятелю Греча и Булгарина, потирая икры.

Хозяинъ обратился было съ благодарственными объятіями къ автору, но тотъ съ улыбкою уклонился отъ нихъ.

— Mesdames и messieurs! сказалъ онъ, укладывая тетради въ портфель и передавая его Фертову:—мнѣ поздно становиться въ положеніе начинающаго автора, и я не ищу авторскихъ лавровъ, а представляю этотъ опытъ пера пріятельскому кругу просто, какъ плодъ моего досуга. Мнѣ давно хотѣлось высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ и взглядовъ на нашу общественную жизнь, на наши дѣла, досуги, даже страсти (въ томъ кругу, какъ вы видѣли, къ которому я имѣю честь принадлежать), между прочимъ, взглядъ мой и на искусство, на литературу, и на романъ тоже, ка́къ именно я его понимаю. Кромѣ того, я

еще избралъ романъ, какъ форму, въ которой мнѣ легче высказывать, а слушателямъ удобнѣе узнать мои тезисы и мои цѣли. Вотъ точка, съ которой я желалъ бы, чтобы слушатели взглянули на этотъ плодъ моихъ досуговъ! Благодарю еще разъ за вниманіе и терпѣніе!

Рукоплесканія усилились. Всѣ окружили автора: одни протягивали руки, прочіе кланялись. Только Кряковъ сердито смотрѣлъ изъ своего угла и на автора, и на гостей.

— Merci! говорилъ графъ Пестовъ автору.—C'est bien écrit!

— Très bien écrit! tout-à-fait bien! подхватили хвалители.

— Vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau.

— Oui, mon prince, je vous l'apporterai...

Авторъ старался пробраться къ графинѣ, которая стояла съ дочерью у своего мѣста и собиралась уѣхать. Молодая дѣвушка съ наивнымъ удивленіемъ смотрѣла на автора, какъ на героя. На щекахъ у нея рдѣли два розовыя пятнышка, она отъ волненія сильно сжимала обѣ руки у матери. Мать съ улыбкою смотрѣла на автора. Глаза у нея тоже смѣялись, должно быть благосклонно, потому что авторъ глядѣлъ на нее съ улыбкою скромнаго торжества. Она молча подала ему руку и онъ молча пожалъ ее.

— Позвольте проводить васъ до кареты, сказалъ онъ.

— Merci, сейчасъ; вотъ она остынетъ немного, отвѣчала графиня, указывая на дочь. — Посмотрите, какъ она взволнована! Вотъ вамъ живое и непритворное впечатлѣніе! Довольны вы?

— А вы сами что́ скажете?

Она улыбнулась по своему.

— Впрочемъ, нѣтъ, не говорите, не надо: я уже знаю ваше мнѣніе, прибавилъ онъ:—я его „видѣлъ“.

— Запишите это выраженіе въ романъ, замѣтила она: —„видѣлъ мнѣніе!“ Оно характеристично, какъ весь романъ.

Гости стояли толпой. Хозяинъ куда-то изчезъ. Офицеры и статскій ускользнули къ Борелю, однако послѣдній успѣлъ напомнить своей кузинѣ, чтобы она не забыла въ швейцарской „La Curée“ Zolà, положенной ей въ пальто.

Иванъ Ивановичъ Кальяновъ осторожно пробирался къ выходу — еще шагъ и онъ на лѣстницѣ, какъ вдругъ его кто-то мягкою рукою взялъ за плечо. Онъ вздрогнулъ, какъ княгиня Тецкая, и оглянулся. Это былъ авторъ.

— Ухóдите, не сказавъ ни слова! Нѣтъ, вы не отдѣлаетесь, говорилъ онъ, — подождите одну минуту: вотъ меня зоветъ княгиня, я сейчасъ ворочусь.

Онъ подошелъ къ княгинѣ.

— Charmant, charmant! говорила она, вздрагивая и мигая:—я очень довольна и Катѣ понравилось... Catherine, n'est-ce pas?

Дочь отвѣчала условною улыбкою.

— Жаль только, что молодой человѣкъ, продолжала княгиня съ разстановкой, — бросилъ службу; онъ испортилъ всю карьеру и огорчилъ мать!

— Вѣдь это бываетъ, замѣтилъ небрежно авторъ.

— Да, какъ же: вотъ молодой Ступицынъ — тоже самое! Зачѣмъ же описывать дурное! Это надо скрывать!

Она вздрогнула, а авторъ пожалъ плечами.

— Онъ бы лучше посватался къ другой... какъ ее зовутъ — Лидія? говорила она. — Comme elle est gentille, cette petite Lydie; n'est ce pas, Catherine?

— Oui, maman, elle est très bien!

— Онъ женится, на ней потомъ? спросила княгиня.

— Можетъ быть... вѣроятно...

— А какъ же княгиня... что же она? Одна, въ дерев-

нѣ, съ графомъ... Это ужасно! Зачѣмъ вы вывели княгиню: лучше бы простую!

Она сильно вздрогнула. Авторъ сталъ раскланиваться. —Attendez donc, еще я хотѣла спросить. Какъ же это Лидія ѣздитъ одна къ этой... потерянной Лизѣ... шепотомъ прибавила она, чтобъ не слыхала дочь. — Supprimez cela!

Она охнула и вздрогнула. Авторъ подошелъ къ Кальянову.

— Что же вы скажите: довольны или нѣтъ? спросилъ онъ.

— Прекрасно, отвѣчалъ тотъ,—какое перо!.. Онъ не зналъ какой эпитетъ прибрать.—Только...

— Только—что? пожалуйста не стѣсняйтесь, если не служба такъ дружба обязываетъ васъ къ откровенности. Чтó вы замѣтили?

— Вотъ у васъ, смѣло заговорилъ Кальяновъ:—сказано, что восточный вѣтеръ нагоняетъ тучи, дождь... а я живу на дачѣ, на Выборгской сторонѣ, такъ сказать, подъ самымъ восточнымъ вѣтромъ, и всегда замѣчалъ, что онъ именно приноситъ ясную погоду. Бывало, въ ненастье, ждешь его, какъ благодати...

Авторъ засмѣялся.

— А когда вы живете на дачѣ! спросилъ онъ.

— Вотъ на дняхъ переѣзжаю, на той недѣлѣ, лишь только подуетъ восточный вѣтеръ! отвѣчалъ смѣясь же Кальяновъ.

— И останетесь тамъ...

— До половины сентября, если вы разрѣшите.

— Нѣтъ, я дамъ вамъ предписаніе остаться, по дѣламъ службы, до января, сказалъ Бебиковъ:—и наблюдать, какую погоду приноситъ восточный вѣтеръ осенью!

Онъ съ улыбкой глядѣлъ на Кальянова, который въ раздумьи старался припомнить, какова бываетъ погода при этихъ условіяхъ.

— Но я вамъ благодаренъ, прибавилъ авторъ:—что вы даже и на мелочи обратили вниманіе.

— За то все остальное уже безупречно! рискнулъ Кальяновъ кинуть вслѣдъ уходившему автору, но тотъ, улыбаясь, какъ бомбу, бросилъ ему въ отвѣтъ фразу:

— Мы еще объ этомъ поговоримъ!

„Вотъ тебѣ разъ!“ размышлялъ онъ, спускаясь съ лѣстницы,—„а я думалъ, что ужъ и отдѣлался! Постой, постой!“ вспоминалъ онъ, — „у меня еще мелькали какія-то два замѣчанія: одно—ошибка противъ гражданскаго права, а другое... другое... что, бишь такое?“ И онъ, очень довольный, уѣхалъ домой.

Въ залѣ слушатели вполголоса разбирали романъ, стараясь выказать критическій тактъ другъ другу. Авторъ опять ходилъ съ графинею взадъ и впередъ, ожидая хозяина, чтобы проститься и уѣхать. Княгиня тоже собиралась уѣхать и укладывала свою работу въ мѣшокъ. Дочь накидывала ей мантилью на плечи.

— Et ou est Woldemar? вдругъ спросила княгиня, оглядываясь.

— Il est parti maman.

Княгиня вздрогнула.

— И не проводилъ насъ! сказала она: — завтра ему надо голову вымыть; онъ такой же непослушный, какъ этотъ офицеръ, про котораго читали. N'est-ce pas?

— Oui, maman!

Старикъ Чешневъ подошелъ къ автору.

— Что скажете, Дмитрій Ивановичъ? спросилъ онъ.

— Скажу, что вы сдѣлали подвигъ. Говорить, какъ вы сдѣлали, надо бы долго говорить и, пожалуй, пришлось бы кое о чемъ спросить. Но что это подвигъ, сказать все это, стать смѣло противъ потока,—въ томъ спорить нельзя! Вы ополчились за добрыя общественныя начала, за религію, за

нравы, за благовоспитанность, за чистоту вкуса въ искусствѣ; будьте же мужественны и доведите подвигъ до конца!

— Аминь! сказала графиня.

— Подвигъ съ вашей стороны—выслушать! прибавилъ, улыбаясь, всегда находчивый авторъ.—Если у васъ достанетъ терпѣнія—я почерпну въ немъ силу довершить свое дѣло.

Пока авторъ выслушивалъ эти привѣтствія, Кряковъ собирался уходить, но студентъ его не пускалъ. Лилина вертѣлась около автора, чтобы въ десятый разъ сказать ему свое „très-joli". Графа Пестова—Фертовъ и другой гость вели подъ руки къ выходу.

— Dites-lui, qu' il écrive cela en français! говорилъ графъ спутникамъ.

— Oui, mon prince, отвѣчали они.

Нѣкоторые гости позѣвывали въ руку и тоже готовились уѣзжать.

— Гдѣ же Григорій Петровичъ? спросилъ кто-то громко:—бросилъ насъ и проститься не хочетъ!

Въ это время отворилась дверь изъ столовой и явился Григорій Петровичъ съ метръ-д'отелемъ, который на всю залу возгласилъ:

— Messieurs et mesdames sont servis!

Всѣ оцѣпенѣли на минуту. Въ столовой видѣнъ былъ длинный сервированный столъ, ярко освѣщенный канделябрами, и толпа офиціантовъ.

— Прошу! mesdames, messieurs! Чтó это—вы собираетесь уѣхать! Какъ это можно, отъ ужина!

Онъ бросился къ гостямъ, къ дамамъ, упрашивалъ, у мущинъ отнималъ шляпы. Но дамы, кромѣ Лилиной, отказались. Отказался и авторъ, извиняясь усталостью. Онъ подалъ руку графинѣ Синявской и повелъ ее съ дочерью до кареты.

Хозяинъ чуть не плакалъ; онъ убѣждалъ всѣхъ другихъ остаться, а упрямыхъ почти силою толкалъ въ столовую, въ томъ числѣ и Крякова.

— Не откажите мнѣ въ удовольствіи отужинать съ нами! вѣжливо просилъ онъ его.

— Хорошо, хорошо, сказалъ тотъ:—это кстати я проголодался!

Онъ гостепріимнаго хозяина какъ рублемъ подарилъ.

— И прекрасно! сказалъ онъ, пожимая ему руку,—я очень радъ. Митя! веди гостя и постарайся занять его, чтобы онъ не соскучился у насъ!

Митя засмѣялся и повелъ его въ столовую, куда, подъ руку съ Лилиной, вошелъ Чешневъ, потомъ журналистъ, профессоръ, Красноперовъ и всѣ прочіе. Толстый Суховъ и военный генералъ были уже тамъ и закусывали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Ужинъ.

— Господа! сказалъ хозяинъ, когда всѣ усѣлись за столъ:—теперь моя очередь: я авторъ menu ужина. Поваръ только слѣпой исполнитель моей программы. Прошу подарить и мое произведеніе вниманіемъ, какимъ вы почтили нынѣшнее чтеніе. Прочти menu, обратился онъ къ Сухову:—вонъ оно подлѣ тебя лежитъ, чтобы гости знали, какъ распорядиться апетитомъ.

Суховъ хватился за карманъ достать очки, но тамъ ихъ не оказалось.

— Potage—nids d'hirondelles, читалъ онъ наизусть:—filets d'éléphant и pattes de crocodile à la tortue; légumes—jonc d'Espagne au jus de scorpions...

Всѣ засмѣялись.

— Какая гадость! сказалъ Урановъ:—вѣдь ты аппетитъ отобьешь.—И самъ прочиталъ menu.

Вмѣсто крокодила и слона оказались: дикая коза, стерлядь, перепелки, всѣ примѣры зелени и фруктовъ.

Послѣ первыхъ двухъ блюдъ, заговорили о читанномъ романѣ. Первая подала голосъ Лилина.

— Comme c'est joli, n'est-ce pas? Я все еще подъ вліяніемъ этого чтенія! Кажется, никогда не забуду! Charmant! Charmant! твердила она съ своею дѣтскою улыбкою, какъ дѣвочка, которой подарили новую куклу.

— Вамъ нравится? насмѣшливо спросилъ ее Кряковъ,— поздравляю васъ: у васъ хорошій вкусъ!

Она сконфузилась и посмотрѣла на другихъ.

— Вы не конфузьтесь! продолжалъ Кряковъ и самъ въ то же время ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Отъ чего мнѣ конфузиться? я думаю... и другіе того же мнѣнія! сказала она.

— Это дамское кушанье, конфетка! продолжалъ онъ, наливая себѣ краснаго вина.—„C'est joli, très-joli" хвалили вы: это достойная похвала автору изъ вашихъ устъ!

Всѣ улыбались, глядя на него, а онъ допилъ стаканъ съ виномъ и, кажется, не замѣчалъ улыбокъ.

— Славное у васъ вино! обратился Кряковъ къ хозяину, —и стерлядь отличная, жирная!

— Очень радъ, что мое скромное угощеніе вамъ нравится! сказалъ Урановъ,—не прикажете ли еще? Человѣкъ, подай блюдо!

— Что-жъ, я возьму!

И онъ взялъ другую порцію. Всѣ стали смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— А романъ все таки очень хорошъ! сказалъ хозяинъ.

И какъ хорошо авторъ читаетъ, какой пріятный голосъ,

и манера благородная. Языкъ тоже славный!—хвалилъ профессоръ.

— Да... это замѣчательное произведеніе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ!... сдержанно замѣтилъ редакторъ журнала.

— Хорошо, очень хорошо! я съ удовольствіемъ слушалъ! похвалилъ генералъ. — Теперь что-то не пишутъ такъ!

— Какъ это „такъ"? спросилъ Урановъ.

— Такъ пріятно, плавно, по-русски, чтобы всякій понималъ! Возьмешь книгу или газету—и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплуатація, инспирація, конкуренція, интелигенція — такъ и погоняютъ одно другое! Вмѣсто швейцара пишутъ тебѣ портье, вмѣсто хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово „игнорировать"!

— Да и по-русски-то стали писать, Боже упаси, какъ! вздохнувъ, вмѣшался старикъ Красноперовъ, пріятель Греча и Булгарина:—напримѣръ, выдумали—„немыслимо", а чѣмъ было худо слово „невообразимо"? Нѣтъ, оно, видите, старое, такъ прочь его! Или, всѣ говорили и писали: „такой-то или такіе-то обращаются къ тому, другому, или другъ съ другомъ такъ-то"; не понравилось имъ, давай мѣнять: такой-то относится-де такъ-то". Лучше ли это, я васъ спрашиваю?

Онъ обратился къ редактору журнала.

— Одно другому не мѣшаетъ, отвѣчалъ тотъ небрежно,—„немыслимо" и „невообразимо" вовсе не одно и то же, такъ же, какъ и слова: обращаться и относиться!

— Совершенно справедливо, подтвердилъ профессоръ:— это даже и не синонимы. Зачѣмъ стѣснять свободу языка? пусть онъ обогощается путемъ печатнаго слова! Неологиз-

мы, чуждые духу языка, никогда не войдутъ въ плоть и кровь его. Чѣмъ больше словъ, тѣмъ лучше!

— Ты, Иванъ Петровичъ не связывайся съ ними, сказалъ Суховъ тихо Красноперову:—они загоняютъ тебя. Народъ ученый!

Иванъ Петровичъ обидѣлся.

— Пожалуйста! не загоняютъ! вслухъ возразилъ онъ.— Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ не чета были нынѣшнимъ, а и тѣ уважали мое мнѣніе? Это правда, что языкъ обогащается постепенно, какъ вы изволите говорить, обратился онъ къ профессору:—только позвольте доложить, что это обогощеніе производится писателями съ вѣсомъ. Напримѣръ, вотъ Николай Михайловичъ Карамзинъ ввелъ слово промышленность, его всѣ и приняли. Василій Андреевичъ Жуковскій тоже много обогатилъ россійскую словесность и облагородилъ простонародный языкъ; передъ нимъ еще Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. Такъ вѣдь какіе же это были и люди! Одинъ—исторіографъ, другой—министръ, третій—наставникъ царскихъ дѣтей! Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ уже шелъ по ихъ слѣдамъ. Вотъ они-то и поставили нашъ языкъ на твердое основаніе. А Николай Ивановичъ Гречъ и Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ были на стражѣ и бдительно охраняли правильность и неприкосновенность слога. Не стало ихъ—и ворвались нововводители! Кто ихъ послушаетъ? Откуда они явились?

— Оттуда же, я думаю, откуда и Карамзинъ съ Жуковскимъ и Дмитріевымъ, и мы съ вами тоже: все изъ одного мѣста! сказалъ Кряковъ.

Всѣ улыбались. Лилина вспыхнула.

— Что правда, то правда! съ этимъ спорить нельзя! подтвердилъ и Суховъ.

— При тѣхъ не смѣли бы такъ вольничать! продолжалъ Красноперовъ, не слушая его:—бывало, сочините-

ли по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось къ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивало отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ!

— Который вамъ годокъ? вдругъ спросилъ Кряковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что? спросилъ Суховъ, которому очевидно нравился задоръ въ противникахъ.

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ временемъ! отвѣчалъ тотъ безцеремонно.—Вы, я думаю, родились при „старомъ и новомъ слогѣ“?

— А чтожъ, худо было, что ли, тогда, при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ? сердито возразилъ Красноперовъ.— Тогда умѣли слушаться старшихъ—и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сѣкли, а Булгаринъ и Гречъ приговаривали! вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо бы и теперь! ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ сосѣдямъ: Уранову, Сухову и генералу,—а то ужъ очень расходились! Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что такъ немилостиво? спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ.—Вѣдь уже это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторовъ... Но и это

не помогло: сами же вы говорите, что сочинители ушли изъ—подъ ферулы...

— А зачѣмъ выпускали? Правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! горячился Красноперовъ: — вотъ и порядка нѣтъ! Страху бы намъ, страху! вотъ что нужно, а не свободу печати!... Далъ бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой, сколько зла!

— Какое же зло? и будто все зло? спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы еще спрашиваете! Развѣ не видите! Все колеблется, разсыпается врознь, ни у кого нѣтъ ничего святаго!

— Не печать же виновата, помилуйте! сказалъ журналистъ.

— Вездѣ смуты, раздоры... твердилъ Красноперовъ не слушая.

— Потопы, трусы, братъ лѣзетъ на брата, подсказывалъ Суховъ.—Такъ, такъ, Иванъ Петровичъ, молодецъ! Хорошенько ихъ! За твое здоровье! — У тебя нынче весело, Григорій Петровичъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Вы сами потакаете этимъ новымъ!. горячился еще больше Красноперовъ, — что мудренаго послѣ этого, что дѣти чуть не рѣжутъ родителей...

— А родители дѣтей! подсказывалъ опять Суховъ. — Правильно!

— Да! и правильно! Перестанешь смѣяться, какъ вонъ эдакіе новые умники (онъ кивнулъ на Крякова, а Кряковъ въ отвѣтъ кивнулъ ему) придутъ къ тебѣ, да объявятъ, что домъ твой въ Большой Конюшенной не твой, а ихъ; что все общее... А тебя вытолкаютъ вонъ! Будетъ тогда „весело“!

— Господи помилуй! Что ты это на ночь пугаешь! говорилъ Суховъ. — Слышите, что онъ говоритъ! обратился онъ къ Уранову и генералу.—Не бойся, мой другъ, прибавилъ онъ успокоительно:—всѣ эти отрицатели и разрушители, если не обо что либо другое, такъ о собственность лобъ себѣ разобьютъ!

— Я старѣе васъ всѣхъ тутъ — и могу говорить... настаивалъ на своемъ Красноперовъ.

— И говоришь по опыту, что ли?

— Богъ миловалъ пока, а коли вы такъ равнодушно глядите на всѣ затѣи, да идеи этихъ мальчишекъ, что̀ величаютъ себя новымъ поколѣніемъ, и мѣръ не принимаете... такъ дождетесь, что и у насъ заведутъ комуну! Смотри-ка, что теперь дѣлается! Старшихъ нѣтъ, перемерли, учить уму-разуму некому! Что если бы они возстали изъ гробовъ!...

— Ихъ теперь посадили бы въ кунсткамеру, а съ ними и васъ! сказалъ Кряковъ.

Красноперовъ разсердился, особенно когда это замѣчаніе встрѣтило смѣхъ даже около него.

— А васъ, милостивый государь, и всѣхъ подобныхъ вамъ сочинителей, которые такъ разсуждаютъ, ужъ, извините, я бы не туда посадилъ! горячо замѣтилъ онъ учительскимъ тономъ.

— Сажаютъ, успокойтесь, господинъ Фамусовъ: вы еще не всѣ перевелись на Руси!

Всѣ смѣялись, глядя на задоръ противниковъ.

— Что это, какъ здѣсь весело сегодня! повторилъ Суховъ.

— Ты не обижайся, Иванъ Петровичъ! шепнулъ хозяинъ старику,—лучше послушаемъ! Любопытно, до чего онъ договорится.

Но Красноперовъ не слушалъ.

— Что смѣетесь! говорилъ онъ раздражительно гостямъ постарше:—вы ему въ руку смѣетесь и угождаете новому поколѣнію; да, вы унижаетесь передъ нимъ, стыдно показаться отсталыми! Что? неправда?

— Что ты! внушительно сказалъ хозяинъ,—что намъ за надобность угождать, вѣдь мы не ребята; чего намъ заискивать у новаго поколѣнія? Мы его не боимся и ничего не ждемъ отъ него дурнаго. — Вонъ онъ (онъ указалъ на племянника) тоже новое поколѣніе: чтожъ, дуренъ что-ли? Въ большинствѣ и всѣ они такіе, и дай Богъ, чтобъ были такіе.

— Кланяйся и благодари! сказалъ Кряковъ, погладивъ студента по головѣ.

— Какая же намъ причина потакать такимъ ужасамъ, какіе ты разсказываешь? продолжалъ Урановъ.

— Какая причина... изволь, я скажу.

— Говори.

— Вы всѣ сами нигилисты, вотъ что! брякнулъ онъ.

Всѣ весело, со смѣхомъ, глядѣли на него.

— C'est trop fort! замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! говорилъ Урановъ. — Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами за одно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ, иные изъ васъ — и я знаю кто — вѣруютъ въ Бога по своему, а не такъ, какъ указываетъ православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на исповѣдь, „для примѣра“ — говорятъ; другіе исповѣдуютъ противный господствующему строю правительства образъ мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукой съ пріятелями, а сынки слушаютъ, да на усъ мотаютъ! Что мудренаго послѣ этого, что они не признаютъ и не уважаютъ ничего и никого!

Всѣ смотрѣли на него съ любопытствомъ и слушали съ улыбкою.

— Вотъ извольте видѣть, замѣтилъ журналистъ!—а вы все на печать!

— А печать поддерживаетъ, подстрекаетъ! говорилъ Красноперовъ.

— Нельзя ли указать, гдѣ и какъ?

— Да вездѣ! Гдѣ я теперь припомню? Да и припоминать нечего.

Красноперовъ очевидно затруднялся.

— Чего тутъ указывать, все никуда не годится! ворчалъ онъ. — Вотъ Николай Ивановичъ или Ѳаддей Венедиктовичъ, тѣ сейчасъ бы указали, за словомъ въ карманъ не полѣзли бы! Я не цензоръ—что мнѣ!

Онъ не зналъ что сказать. Но заговорилъ неожиданно новый собесѣдникъ. Это былъ худощавый господинъ въ синихъ очкахъ, съ легкою просѣдью, въ бакенбардахъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ, прилично одѣтый. Онъ все молчалъ и слушалъ прилежно, смиренно потупляя взоръ въ тарелку и по временамъ вглядываясь изъ подъ очковъ то въ того, то въ другого изъ собесѣдниковъ.

— Вы изволите спрашивать подтвержденіе тому, что Иванъ Петровичъ излагали сейчасъ на счетъ распространенія путемъ печати превратныхъ идей... сказалъ онъ вкрадчиво журналисту.

— Да-съ! не возьмете ли вы на себя трудъ доказать, чѣмъ это подтверждается въ печати?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ... положительнымъ образомъ не подтверждается, это точно-съ...

— Вотъ видите! сказалъ журналистъ Красноперову.

— Противнаго религіи, продолжалъ новый собесѣдникъ,—въ печати нѣтъ-съ, это правда. Оно и понятно: не не позволили бы. Но за то ни одинъ журналъ не ополчается и за религію...

— Зачѣмъ же, когда вы сами говорите, что на нее не нападаютъ?

— Не нападаютъ, это такъ-съ, продолжали синія очки, — но упадокъ религіознаго начала въ обществѣ ощутителенъ, а поддержки ему никакой нѣтъ... Напримѣръ, въ журналахъ, — и въ вашемъ тоже, извините, — на трехъ-четырехстахъ страницахъ нигдѣ не встрѣтишь, чтобы упоминалось имя Божіе. Это очень знаменательно...

Всѣ съ любопытствомъ глядѣли на него и на журналиста.

— Dieu-Dieu-Dieu-Dieu! зачастилъ кто-то въ концѣ стола.

— Что, не правду я говорилъ? подтвердилъ Красноперовъ.—Не я одинъ, а и другіе заключаютъ...

— Я ничего не заключаю-съ, я только хотѣлъ бы прояснить этотъ вопросъ изъ любопытства... поспѣшно прибавилъ гость въ синихъ очкахъ.

— Кто это? въ полголоса спросилъ генералъ у Сухова про синія очки.

— Не знаю! сказалъ тотъ. — Надо спросить Григорія Петровича.

— Сикофантъ, развѣ не видите! вдругъ брякнулъ Кряковъ, услыхавшій вопросъ генерала. Чешневъ даже слегка вздрогнулъ.

— Что это, фамилія, что ли его? спросилъ генералъ и немного смутился, когда нѣкоторые засмѣялись и даже Чешневъ улыбнулся.

— Нѣтъ! это имя ему при крещеніи нарекли! добавилъ Кряковъ.

Всѣ старались сдержать смѣхъ.

Гость въ синихъ очкахъ должно быть не слыхалъ.

Урановъ тихонько объяснилъ, что фамилія его Трухинъ.

— Онъ служитъ у Алексѣя Петровича, прибавилъ онъ, —тотъ прислалъ его на чтеніе вмѣсто себя; онъ говорилъ, что этотъ господинъ все печатное читаетъ; ни слова не пропускаетъ, все знаетъ и ему обстоятельно докладываетъ, такъ что тому ни газетъ, ни журналовъ читать самому ненужно.

— Что же это, по вашему мнѣнію, значитъ, что имя Божіе не призывается въ журналахъ всуе? спросилъ журналистъ у Трухина:—это скорѣе показываетъ уваженіе къ религіи...

— Та-та-та, не лукавьте милостивый государь! остановилъ его Красноперовъ:—вовсе не отъ избытка благоговѣнія не упоминаете вы о Богѣ, а потому, что не вѣруете! Или вѣруете по Ренану: Спаситель-де принесъ въ міръ прекрасное ученіе, а самъ былъ хорошій человѣкъ, а не Богъ! Вотъ вѣдь что у васъ на умѣ?

Всѣ улыбались.

— Почему же вы это знаете? спросилъ журналистъ, тоже улыбаясь.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ! теперь этого и не скрываетъ никто, до того дошло! Даже щеголяютъ этимъ: вотъ-молъ какіе мы умные! Иначе какъ бы не напечатать объ упадкѣ религіи и не поддержать ее? А вы только объ упадкѣ курса пишите, да перечите правительству!

— На то спеціальные духовные журналы есть, замѣтилъ журналистъ:—тамъ и пишутъ о подобныхъ предметахъ...

— Да вѣдь вы сами говорили, что поповъ трогать нельзя; тронь, такъ вы грозите посадить куда-то автора! замѣтилъ Кряковъ Красноперову.

— Вы хитры! возразилъ тотъ:—изъ воды сухи выйдете! Трогать духовныхъ особъ не велятъ, такъ какъ вы обзовете ихъ клерикалами, да и давай глумиться надъ ними!

— Это точно, бываетъ... подтвердилъ Трухинъ.

— За то, кажется, печать оказываетъ и не малую пользу—и правительству, и обществу. Согласитесь съ этимъ! возразилъ ему журналистъ.

— О, конечно-съ, конечно-съ... большую, большую пользу! согласился Трухинъ.—Печать горячо преслѣдуетъ кражи, убійства, всякіе скандалы! Сломаютъ ли кружку у церкви, или расхитятъ кассу въ банкѣ—вся пресса дружно игромко предаетъ гласности и кражу, и вора; всякія публичныя безобразія, также неисправности администраторовъ, особенно повыше, тоже непремѣнно обличитъ, по косточкамъ разберетъ.

— Даже если пьяный съ барки упадетъ въ воду и вылѣзетъ—и то не пропуститъ! прибавилъ Суховъ.

— Чего же вы еще хотите?

— Но она нерѣдко пропускаетъ безъ вниманія очень серьезныя вещи, и это меня иногда удивляло, признаюсь: отъ безпечности ли, или отъ чего другаго? Вотъ въ чемъ мнѣ любопытно бы попросить разъясненія... продолжали синія очки.

— Напримѣръ, какія вещи? спросилъ журналистъ.

— Напримѣръ, вотъ хотя бы въ прошломъ году произошла смута между молодежью: разнесли столы, стулья, выгнали профессора...

— Что же, пресса не умолчала; объ этомъ всѣ журналы прокричали.

— Заявила, одиногласно заявила,—это правда, правда! И какъ вѣрно, точно, отчетливо...

— Такъ что же?

— Мнѣ только любопытно бы знать, смиренно продолжали синія очки:—отчего пресса поскупилась на осужденіе этого поступка по достоинству... не прибавила ни слова отъ себя? Не пожурила, не разъяснила неприличія. Это

бы не могло не подѣйствовать на молодые умы благотворно, я полагаю...

— А случись противное, печать бы не молчала! замѣтилъ Красноперовъ.

— То есть, взбунтуйся профессоръ противъ учениковъ, тогда бы печать напала на него! Такъ ли, по вашему? спросилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Да! такъ, такъ! не смѣйтесь! ораторствовалъ Красноперовъ:—чуть гдѣ нибудь учитель выдеретъ ученика за вихоръ, по нашему, по старому, или вытуритъ директоръ изъ училища лѣнтяя, а тотъ съ дуру топиться пойдетъ— сейчасъ газеты такъ и завопятъ: „ахти, какой директоръ злодѣй!“

— Если одни журналы умалчиваютъ, по вашему мнѣнію, о чемъ вы говорите, и преслѣдуютъ какія нибудь свои задачи, замѣтилъ журналистъ гостю въ синихъ очкахъ:— за то другіе становятся на защиту тѣхъ вопросовъ, о которыхъ упомянули сейчасъ.

— Что̀ нынѣшніе журналы! Вотъ Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ—тѣ съумѣли бы постоять за порядокъ! сказалъ Красноперовъ.—То былъ вѣкъ, когда...

— Когда водились еще гориллы, отъ которыхъ и произошли нынѣшніе сикофанты! досказалъ Кряковъ, поглядывая на синія очки.

Кругомъ его засмѣялись, больше всѣхъ студентъ.

— Что это за неурядица такая, право! ну что бы всѣмъ дружно, да мирно идти однимъ путемъ, рука въ руку! мечталъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— И нога въ ногу, по военному! договорилъ Суховъ. —А ты что не идешь въ своемъ комитетѣ рука въ руку и не ходишь нога въ ногу съ Кураковымъ и Петрищевымъ, а все вздоришь?

Генералъ такъ и затрясся весь.

— Съ этими... началъ онъ.

— Сикофантами, что ли? подсказалъ Суховъ — и оба захохотали.

— Ну, и у сочинителей тоже самое! прибавилъ Суховъ.

— Духъ вѣка пробивается, генералъ! сказалъ профессоръ:—кипитъ работа, совершается великая борьба идей, понятій, интересовъ... исхода которой мы, конечно, не увидимъ. Сила вещей приведетъ все къ должному концу. Нужно терпѣніе... не мы, такъ дѣти увидятъ тотъ порядокъ, который долженъ выработаться изъ этого хаоса!

— Вотъ что значитъ профессоръ сейчасъ нашелъ ключъ къ ларчику и рѣшилъ — какъ быть и что дѣлать, и средство такое простое предписалъ:—терпѣніе! Всѣхъ и успокоилъ! Покорнѣйше благодаримъ! сказалъ Кряковъ, кланяясь профессору.

— Страху бы намъ, страху! вотъ чего не достаетъ! твердилъ свое Красноперовъ.

— Позвольте обратиться къ нынѣшнему чтенію, сказалъ хозяинъ:—я имѣю сдѣлать предложеніе. Достоинство новаго произведенія признано, сколько я замѣтилъ, всѣми слушателями...

Кряковъ задвигался на стулѣ и хотѣлъ что-то сказать, но былъ удержанъ студентомъ.

— Мнѣ хотѣлось бы выразить благодарность автору за доставленное всѣмъ намъ удовольствіе, продолжалъ хозяинъ.—У меня есть старинный кубокъ, работы Бенвену-то-Челлини—дѣдъ мой изъ Венеціи привезъ—вонъ онъ, въ шкафѣ.—Достаньте! обратился онъ къ дворецкому.

Тотъ ушелъ за ключомъ.

— Чтó если мы велимъ вырѣзать на немъ всѣ наши имена и поднесемъ автору на память нынѣшняго чтенія! Какъ вы думаете?

— Кромѣ моего имени: я не желаю, отрѣзалъ Кряковъ.

Всѣ взглянули на него съ удивленіемъ.

— Очень хорошо, вѣжливо, но сдержанно замѣтилъ хозяинъ, послѣ минуты молчанія:—мы васъ обойдемъ. А вы согласны? спросилъ онъ, обводя глазами собраніе.

— Конечно! конечно! Какая славная мысль! Покорнѣйше просимъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Меня, меня не забудьте! нѣжнымъ голосомъ просила Лилина.

Дворецкій подалъ кубокъ и всѣ передавали его изъ рукъ въ руки.

— Отчего вы не желаете присоединиться къ намъ? спросилъ кротко Крякова старикъ Чешневъ.—Вы имѣете какія нибудь свои особенныя причины?

— Да, имѣю.

— Или не находите романъ заслуживающимъ этого вниманія?

— Да, и романъ не нахожу заслуживающимъ! такъ и рубилъ Кряковъ.

— Если-бъ это было и такъ, то, независимо отъ критики, нашъ кружокъ хочетъ благодарить автора за его намѣреніе сдѣлать удовольствіе...

— Пусть благодаритъ, а я не стану!

Чешневъ вздохнулъ съ прискорбіемъ. — Отъ чего же? спросилъ онъ.

— Зачѣмъ онъ написалъ этотъ романъ? задорно упрекнулъ Кряковъ.

— Какъ зачѣмъ? вы слышали, какъ онъ объяснялъ свои мотивы: желаніе, въ формѣ романа, высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ... И онъ успѣлъ, не только со стороны содержанія, но и формы, и далъ тонкое, изящное произведеніе...

— Незачѣмъ распространять свои допотопныя идеи и

возвращать насъ за сто лѣтъ назадъ! Это все отжило! А если написалъ для забавы, такъ читай на ухо тому глухому графу, что̀ подлѣ него сидѣлъ, да вонъ господину Красноперову; тѣ и удовлетворятся! А онъ собралъ вонъ сколько народу,—это ужъ публика; значитъ, у него не просто забава была на умѣ, а поученіе, претензія! Пожалуй и въ печать сунется! Покажись только я бы ему далъ знать!

Студентъ засмѣялся.

— Этотъ критикъ, въ самомъ дѣлѣ, должно быть крокодила объѣлся! шепнулъ одинъ гость другому—изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

Всѣ молчали. Кряковъ тоже замолчалъ и сердито жевалъ, обводя гостей глазами и ожидая возраженія.

Старикъ Чешневъ былъ какъ будто лично оскорбленъ. По своей впечатлительности онъ былъ до крайности чутокъ и ощущая пріятное и непріятное, какъ тепло и холодъ, не могъ воздержаться и не выразить своего ощущенія словомъ или жестомъ, иногда рѣчью.

— Еслибъ-бъ это было и такъ, если-бъ этотъ романъ не имѣлъ достоинствъ и его не слѣдовало писать и даже читать, говорилъ онъ сосѣду своему въ полголоса, медленно, точно пѣлъ: — то неужели этотъ гость, приглашенный въ интимный кружокъ друзей автора, не понимаетъ неумѣстности своего протеста!

Онъ вздохнулъ и опустилъ голову.

— Вы обо мнѣ говорите? рѣзко обратился къ нему Кряковъ, до котораго долетѣло нѣсколько словъ.

Чешневъ взглянулъ на него какъ будто съ состраданіемъ и не сказалъ ничего.

Урановъ началъ немного безпокоиться и поглядывалъ съ недоумѣніемъ, то на Крякова, то на своего племянника, какъ бы спрашивая послѣдняго глазами: „какого это гостя

привелъ ты ко мнѣ?“ Но студентъ старался не смотрѣть на дядю.

— Вы требуете, чтобы я хвалилъ то, что нахожу дурнымъ; это противно моимъ принципамъ! заключилъ Кряковъ.

— Слышишь — „принципы“, это стоитъ „игнорированья“, тихо замѣтилъ генералъ Сухову.

— Вы дали преимущество одному принципу и забыли о другихъ, которые нужно было тоже соблюсти въ эту минуту здѣсь... сказалъ небрежно Чешневъ, глядя въ сторону.

— Вы хотите дать мнѣ урокъ приличія? Благодарю! Но я ему не послѣдую—и въ угоду вамъ, или хозяину, за его ужинъ, не стану восхищаться тѣмъ, что́ никуда не годится. Это заячьи души способны такъ поступать!

— Ого! замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

— Этого и не нужно, никто и не проситъ! учтиво замѣтилъ Урановъ, — тѣмъ болѣе, что романъ и не напечатанъ, а прочтенъ намъ по довѣрію, въ надеждѣ на снисхожденіе.

— Ахъ, какая институтка вашъ авторъ—въ снисхожденіи нуждается! Зачѣмъ и писать въ такомъ случаѣ?

— Позвольте, однако; нельзя же все порицать въ романѣ, въ немъ есть, конечно, недостатки, но есть и большія достоинства... заступился профессоръ.

— Одни только недостатки! я ничего больше не вижу! рѣшилъ Кряковъ.

— Помилуйте, когда все общество... заговорили нѣкоторые.

— И какой это романъ? развѣ это романъ? вызывающимъ голосомъ возражалъ Кряковъ.

— Что же вы называете романомъ? спросилъ Чешневъ.

— Я не даю уроковъ эстетики, вонъ спросите профес-

сора! отвѣтилъ, точно брыкнулъ, Кряковъ, однако прибавилъ: — Вѣдь романъ есть, или долженъ быть, художественнымъ произведеніемъ... такъ, что-ли, господинъ профессоръ?

— Такъ чтоже-съ?

— Развѣ здѣсь есть художественность... въ томъ, что намъ читали сегодня?

— А позвольте васъ спросить, смиренно заговорили синія очки:—изволили вы читать и къ какому роду произведеній, художественныхъ или нехудожественныхъ, вы относите, напримѣръ, романъ французскихъ писателей Эркмана-Шатріана „Исторія одного крестьянина?“

— Высокаго художественнаго достоинства! отрѣзалъ Кряковъ, мутно поглядѣвъ на него.

— Такъ-съ! сказалъ тотъ потупившись.

— А позвольте мнѣ, также смиреннымъ голосомъ, передразнивая синія очки, заговорилъ Кряковъ,—въ свою очередь, спросить васъ, отчего именно объ этомъ романѣ спрашиваете вы меня?

— Относительно художественности... за нимъ, кажется, французы не признаютъ этого качества, замѣтилъ гость, потупляясь къ тарелкѣ.

— Ты читалъ этотъ романъ? спросилъ Урановъ у Сухова.

— Нѣтъ! я не читаю и русскихъ новыхъ авторовъ, отмахивался Суховъ:—пробовалъ, да бросилъ.

— Что такъ?

— По ночамъ сталъ кричать!

— Да что тамъ такое описывается? добивался Урановъ.

— Революція! вызвался объяснить Кряковъ, но прежде шепотомъ спросилъ студента: „Не вру ли я? я забылъ! кажется, тамъ революцію превозносятъ?“—„И я забылъ; да ничего, сойдетъ!“ отвѣчалъ тотъ и засмѣялся.

— Тамъ герои первой французской революціи уподобляются древнимъ римлянамъ! смѣло провозгласилъ Крякковъ громко Уранову! — такъ вотъ ваши гости, господинъ Красноперовъ, да господинъ... (онъ поглядѣлъ на синія очки) Синеоковъ, кажется, и собираются высѣчь меня за то, что я хвалю этотъ романъ. Такъ ли? прибавилъ онъ, глядя на нихъ обоихъ.

— Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не въ святые возводятъ; это все новые... съ своимъ прогрессомъ! добавилъ Красноперовъ.

— Ну, а что ты скажешь, Иванъ Петровичъ, обратился Урановъ въ Красноперову,—о романѣ нашего автора? Ты все воевалъ противъ молодыхъ литераторовъ, а ничего объ этомъ не сказалъ!

— Не одобряю! рѣшилъ Иванъ Петровичъ.

— Что такъ? вѣдь въ немъ религія поставлена выше всего; и долгъ, и военная честь, и патріотизмъ, все есть!

— Такъ-то такъ... Но объ этомъ надо бы не въ романѣ писать,—не мѣсто тамъ!—а въ серьезномъ сочиненіи изложить! А то въ романѣ — нашелъ гдѣ! Да и какой это романъ—они правду сказали... Онъ указалъ на Крякова.

— Слышишь, Митя? я пай-мальчикъ сталъ, папа-Фамусовъ похвалилъ! прибавилъ осклабясь Крякковъ.

— Въ романѣ нѣтъ ничего особеннаго, необыкновеннаго... прибавилъ Красноперовъ.

— Какъ особеннаго?

— Такъ! описывается все, что каждый день вездѣ случается: чтожъ это за романъ?

— Значитъ, изображается жизнь, какъ есть, что и слѣдуетъ изображать въ картинѣ, снисходительно замѣтилъ профессоръ.

— За чѣмъ же изображать, если я это каждый день и такъ вижу!

Всѣ засмѣялись.

— А тебѣ чего же надо? спросилъ Суховъ:—чтобы люди на головахъ ходили, или ѣли другъ друга, что ли?

— Да, пожалуй; если это случится—и опиши!

— Гдѣ вы учились? вдругъ спросилъ его Кряковъ.

— А вамъ на что? сердито возразилъ старикъ.

— Любопытно бы знать! сказалъ тотъ.—Я отдамъ туда своихъ дѣтей.

Смѣхъ былъ общій.

— Да вѣдь Гоголь писалъ тоже все, что каждый день происходитъ... замѣтилъ студентъ.

— Ну и скверно! хладнокровно рѣшилъ Красноперовъ. —Не даромъ Ѳаддей Винедиктовичъ не могъ его терпѣть! и Николай Ивановичъ тоже! Вонъ давали мнѣ „Мертвыя души“: я думалъ, судя по заглавію, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь особенное, романическое; а тамъ плутъ какой-то собиралъ имена умершихъ послѣ ревизіи крестьянъ, чтобъ заложить ихъ! Чтожъ тутъ интереснаго? И нынѣшній вашъ авторъ описываетъ, какъ молодой человѣкъ влюбился въ женщину и оба тайкомъ уѣхали въ деревню, да тамъ и нѣжничаютъ! Какая рѣдкость! Я думаю, съ каждымъ поѣздомъ десятки такихъ влюбленныхъ паръ уѣзжаютъ—такъ обо всѣхъ и писать!

Всѣ съ веселой улыбкой слушали эту критику.

— Какіе же романы вы признаете занимательными? спросилъ Чешневъ.

— Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошіе романы! сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... хоть бы: „Черная женщина“—Николая Ивановича, „Кощей безсмертный“ „Выжигинъ“ тоже, „Эвелина де-Вальероль“—Нестора Васильевича Кукольника, „Постоялый дворъ“ — Степанова. Былъ еще помню,

англійскій романъ „Мельмотъ Скиталецъ“. Вотъ „Ледяной домъ“ Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! какъ изо льда домикъ сдѣлали, свадьбу тамъ играли, человѣка заморозили...

— Вотъ это критикъ, такъ критикъ! Молодецъ Иванъ Петровичъ! за свое постоитъ! говорилъ Суховъ.—Превесело у тебя сегодня, Григорій Петровичъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову и поглядывая на Крякова и на Красноперова..

— Вотъ видите, какая разница во взглядахъ на романъ! смѣясь замѣтилъ Чешневъ.—Сказать—„романъ“, значитъ, сказать: пиши, что хочешь! Вотъ тутъ (онъ указалъ на Ивана Петровича) требуютъ чудесъ, небывалаго; а здѣсь назвали „Histoire d'un paysan“, книгу, которая мало подходитъ подъ ваше опредѣленіе романа... Онъ обратился къ Крякову.

— Пожалуй, это не романъ въ шаблонномъ смыслѣ, сказалъ тотъ:—но это великое произведеніе ума!

— Пусть произведеніе ума—по вашему мнѣнію—но не искусства же! замѣтилъ профессоръ.

— Пора бы бросить эти школьныя перегородки! ворчалъ Кряковъ, глядя изъ подлобья.

— Да не вы ли сами сейчасъ, на вопросъ Дмитрія Ивановича, сказали, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ...

— Знаю, знаю! что вы мнѣ тычете въ глаза моими словами! перебилъ Кряковъ.

Всѣ засмѣялись.

— Ah, sapristi, quel langage! замѣтилъ кто-то въ полголоса въ концѣ стола.

— А это ваше sapristi—какой „лангашъ“, элегантный, что ли? вдругъ обратился Кряковъ къ говорившему.

Опять всѣ засмѣялись.

— Превесело! говорилъ Суховъ.

— Я изъ вашихъ же лекцій добылъ это опредѣленіе романа! сказалъ Кряковъ профессору.

— И примѣнили его къ одному сочиненію; отчего же не примѣнить и къ другому? Позвольте, однако, возвратиться къ прочитанному сегодня произведенію и объяснить, къ какой категоріи романовъ принадлежитъ оно; тогда уже можно опредѣлить и его достоинство, сказалъ профессоръ.

— Ну, лекція начинается, слушайте! ворчалъ Кряковъ.

Профессоръ услыхалъ.

— Я не имѣю претензіи читать лекцію, сказалъ онъ скромно:—я только хотѣлъ выразить и свое мнѣніе... наравнѣ съ другими, ни болѣе, ни менѣе... если хозяинъ позволитъ...

— Сдѣлайте одолженіе! помилуйте! продолжайте! мы просимъ! раздалось со всѣхъ сторонъ. Хозяинъ бросилъ недовольный взглядъ на Крякова, и на племянника тоже.

—Опредѣленіе, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ—вѣрно, началъ профессоръ: — такъ и въ учебникахъ написано, вы правду говорите (онъ обратился къ Крякову). Все дѣло въ степени художественности, т. е. въ степени таланта. Одни писатели дорожатъ болѣе всего своею идеею, такъ сказать, внутреннею задачею, заботясь о томъ, что́ выразить; для нихъ искусство — средство, а не цѣль; другіе, напротивъ, увлекаются формою, дорожа тѣмъ, ка́къ выражать; наконецъ, третьи, первоклассные таланты, счастливо соединяютъ въ себѣ и содержаніе, и форму. Много ли такихъ! Диккенсъ, Теккерей, Бальзакъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, не родятся на каждомъ шагу...

— Какія новости разсказываете! перебилъ Кряковъ,— что мы, пансіонерки, что ли!

Всѣ улыбнулись.

— Позвольте, позвольте, слово за профессоромъ! учтиво замѣтилъ Урановъ.

— Нашъ авторъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ первой категоріи, продолжалъ профессоръ.—Онъ выбралъ себѣ задачею, какъ онъ намъ самъ пояснилъ, заключить въ формѣ романа свои идеи, наблюденія, можетъ быть, личные опыты, и вообще ходъ жизни, со всею ея игрою и видоизмѣненіями, въ томъ кругу общества, въ которомъ онъ родился, воспитался и выросъ. Онъ освѣтилъ его свѣтомъ своего ума, воображенія и наблюдательности, но преимущественно ума...

— Très-bien! громко произнесъ одинъ гость.

— Написать такой романъ уже само по себѣ не умно, а вы еще воображеніе у него нашли! замѣтилъ Кряковъ.

— Авторъ, продолжалъ профессоръ, не останавливаясь:—старается, въ своемъ взглядѣ на воспитаніе, на нравственность, на дѣятельность и страсти своихъ героевъ, подойти къ общему идеалу, къ нормѣ...

— Слышишь, сказалъ генералъ, тихо толкая Сухова локтемъ:—профессоръ-то: „норма“...

— Или къ идеаламъ о долгѣ, чести, вообще достоинства человѣка, преимущественно воина. Этому званію—сколько до сихъ поръ можно видѣть — авторъ посвящаетъ свой трудъ. И книга его, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть воспитательное значеніе...

— Да, Телемака написалъ, этотъ новый Фенелонъ! перебилъ Кряковъ.

— Позвольте, не перебивайте профессора! опять замѣтили ему.

— Но, стремясь къ своей особенной, спеціальной цѣли, говорилъ далѣе профессоръ:—авторъ не забылъ и условій искусства. Онъ въ значительной степени удовлетворилъ требованіямъ романа; тамъ много, какъ всѣ, конечно, пом-

нять, пейзажей, которые, очевидно, писаны съ любовью, съ самой натуры; много есть изображеній нравовъ... нѣжныхъ, граціозныхъ сценъ любви, много мѣткихъ наблюденій, искръ мысли... Чего же вы еще хотите?

— Вѣдь мы слышали сами и знаемъ, что тамъ написано! Ну-съ! дальше проповѣдуйте! не утерпѣлъ сказать Кряковъ.

— Il parle très-bien! повторили одобрительно въ концѣ стола.

— Дѣло! дѣло! именно такъ! вы высказываете общее всѣмъ намъ впечатлѣніе? говорилъ Урановъ.

— C'est très beau ce qu'il dit! Какъ вѣрно! подсказала и Лилина.

— Если хотите, продолжалъ профессоръ:—строго говоря, романъ относится къ той категоріи произведеній, которыя называются тенденціозными, и изъ которыхъ создалась въ новое время цѣлая литература. Я не поклонникъ утилитаризма въ искусствѣ...

— „Тенденціозный", „утилитаризмъ"! шепталъ генералъ, пожимая плечами.

— Чего же вы поклонникъ? „поэзіи живой и ясной" или „сладкихъ звуковъ и молитвъ", что ли? перервалъ Кряковъ.

— Да позвольте говорить профессору! останавливалъ хозяинъ Крякова.

— Да, между прочимъ, я поклоняюсь и этому, подтвердилъ профессоръ.—Но прежде всего я требую свободы для искусства, а на него въ новое время хотятъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинетъ, конечно, изъ своей картины, страданій, бѣдъ, золъ, тягостей и нуждъ человѣческихъ,—но кисть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни; тогда только и возможна художественная правда, когда и то, и другое, будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа

уже сдѣлала себѣ спеціальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только всякихъ золъ, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему...

— А вы себѣ взяли привилегію, что ли, на любовь къ ближнему? И чѣмъ вы ее выразили, вы, наши „строгіе цѣнители и судьи“? рѣзко спросилъ Кряковъ. — Мы хоть путемъ отрицанія и обличенія наводимъ на эту любовь, а вы чѣмъ?

— Запретить бы эти обличенія! сказалъ Красноперовъ. —Это они пишутъ въ пику правительству: „вотъ-де — не смотритъ, не печется!“ Не ихъ дѣло совать носъ въ больницы, да въ тюрьмы; на то установлены комитеты!

— Открывать глаза обществу на наши общественныя нужды и недуги—цѣль, конечно, почтенная, продолжалъ профессоръ, помолчавъ:—и искусство повинно принести свою лепту, и давно уже принесло ее. А наши ревнители добра наладили на эту тему и умышленно обходятъ свѣтлыя стороны жизни, впадаютъ въ преувеличенія, въ односторонность и, стало быть, перестали быть правдивы!

— Какую вы дичь порете! зачѣмъ? вдругъ произнесъ Кряковъ.

На это, послѣ минутнаго оцѣпененія, послѣдовалъ взрывъ смѣха. Чаша переполнилась и обижаться было невозможно. Никто и не обидѣлся: ни ораторъ, ни хозяинъ. Только Чешневъ горестно вздохнулъ и опустилъ голову на грудь.

— А къ тому я порю эту дичь, упирая на слово дичь, сказалъ профессоръ, ободренный общимъ сочувствіемъ къ нему:—чтобы выяснить, что въ однихъ романахъ, напримѣръ, въ „Коперфильдѣ“ или „Пиквикскомъ клубѣ“ Диккенса, въ „Père Goriot и Eugénie Grandet“ Бальзака, въ „Капитанской дочкѣ“ и „Героѣ нашего времени“—художе-

ственность задачи есть и цѣль, и средство; а въ другихъ, какъ и въ прослушанномъ нами сегодня, преобладаетъ мысль автора, на помощь которой онъ призвалъ искусство...

— А оно не пришло, сказали бы коротко и ясно! Зачѣмъ же лекцію читать? добавилъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я не скажу этого, возразилъ профессоръ.

— И никто не скажетъ! сказалъ хозяинъ.

— Никто! повторили и другіе.

— Значитъ, все-таки тенденція есть, замѣтилъ журналистъ,—стало быть, вы допускаете и тенденціозные романы!

— Я все допускаю, гдѣ есть умъ или талантъ, прибавилъ профессоръ.

— Покорнѣйше благодаримъ? Какъ вы добры! иронически сказалъ Кряковъ:—за что же было ворчать на романъ „Исторія одного крестьянина"?

Онъ кивнулъ туда, гдѣ сидѣлъ господинъ въ синихъ очкахъ.

— Стало быть, тенденціозный романъ все-таки нуженъ и имѣетъ sa raison d'être, продолжалъ журналистъ.

— Чтó, вѣрно русскаго пороха не хватило, такъ давай изъ Франціи выписывать! тихо замѣтилъ генералъ.

— Вѣдь есть моменты въ исторіи, говорилъ далѣе журналистъ:—когда совершаются такіе крутые повороты отъ одного круга идей, понятій, событій, къ другимъ, которые требуютъ усиленнаго и совокупнаго участія всѣхъ нравственныхъ силъ, какими располагаетъ общество, между прочимъ и искусство. Согласитесь, что наше время будетъ отнесено исторіею къ числу такихъ раздражительныхъ и горячихъ моментовъ...

— Совершенная правда! согласился профессоръ, — искусство и приняло на себя часть общей работы; въ немъ и вовобладало отрицательное направленіе. Современная ли-

тература грѣшитъ только тѣмъ, что злоупотребляетъ этимъ, насилуетъ искусство, признаетъ только одно обличительное направленіе и гонитъ все другое, какъ будто бы ненужное...

— Что-жъ Ламартинъ нуженъ, что-ли? отчего же онъ поблѣднѣлъ, а Гюго, напримѣръ, пережилъ его? перебилъ Кряковъ.—Или отчего Гейне сдѣлался представителемъ лирической поэзіи въ Германіи, какъ не отъ того, что въ немъ есть, говоря вашимъ краснорѣчивымъ слогомъ, святая злоба, по-просту—спиртъ, злой умъ и талантъ? Подите вы съ своими „сладкими звуками и молитвами"? Чего слаще Ламартина и гдѣ больше молитвъ, какъ не у него, а его забыли; что же это значитъ?

— Нѣтъ, не забыли и не забудутъ, замѣтилъ профессоръ:—онъ былъ поэтъ своего вѣка и останется въ исторіи литературы; ни Викторъ Гюго, ни Гейне не превзойдутъ его, ни паѳосомъ чувствъ, ни высотою мысли. Но онъ жилъ въ своемъ времени и отошелъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ отойдутъ, въ свою очередь, и другіе. Кромѣ стиховъ, онъ оставилъ слѣдъ, какъ и историкъ; его „Исторія жирондистовъ"...

— Какая это исторія! Это плохой сентиментальный романъ! сказалъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! замѣтилъ Чешневъ,—и французы не раздѣлятъ вашего мнѣнія.

— Это еще не причина! во Франціи тоже не мало слюнявъ! отозвался Кряковъ.

— Ce „тоже" est impayable! Oh, l'enfant terrible! замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

Кряковъ покосился туда, какъ будто отыскивая виноватаго.

— Такимъ образомъ, по вашему, оказывается, сказалъ журналистъ профессору; — что романъ, въ тѣсномъ смыслѣ, какъ изображеніе жизни, долженъ быть произведеніемъ

творческаго искусства; но никому, конечно, нельзя запретить называть романомъ и произведеніе ума, подъ однимъ условіемъ, чтобы онъ не былъ скученъ...

— Conditio sine qua non, подтвердилъ профессоръ.

— Опять пороху не хватило! сказалъ генералъ Сухову.

— Вѣдь это ученый разговоръ, такъ какъ же безъ латыни! Ахъ ты, Скалозубъ! сказалъ Суховъ, ударивъ его ладонью по колѣнкѣ.

— Нѣтъ ли у васъ еще чего нибудь о романѣ? Или вы все выложили изъ мѣшка? спросилъ насмѣшливо Кряковъ.

— Есть еще одно послѣднее сказанье, но я ужъ, право, не знаю, говорить ли... Я, кажется, и такъ употребилъ во зло вниманіе собесѣдниковъ...

— Да, кажется! вставилъ Кряковъ.

— Эту дурную привычку говорить много...

— И говорить прекрасно! прибавилъ Урановъ.

— Эту привычку я пріобрѣлъ на каѳедрѣ. Но, извините, я перестану; я вижу явные знаки нетерпѣнія. Вонъ, господинъ Кряковъ ждетъ не дождется...

Онъ съ улыбкою глядѣлъ на Крякова.

— Ничего, продолжайте! вѣдь и поданная къ крыльцу лошадь ржетъ и бьетъ копытомъ отъ нетерпѣнія... но на это никто не смотритъ! вдругъ храбро сказалъ генералъ.

Общій хохотъ покрылъ его фразу.

— Bien dit! сказалъ одинъ гость.

— Да, мѣтко! не въ бровь, а прямо въ глазъ! къ общему удивленію добродушно замѣтилъ Кряковъ и тоже разсмѣялся, пряча носъ въ бороду.—Браво, генералъ, по военному! прибавилъ онъ.—За ваше здоровье!

Онъ выпилъ вино.

— Il fait bonne mine à mauvais jeu, il n'est pas sot! сказалъ опять тотъ же гость.

Кряковъ сердито поглядѣлъ на него.

— Ругайтесь, сколько хотите, а похвалъ вашихъ не просятъ! отрѣзалъ онъ. — Вѣщайте же намъ ваше послѣднее сказаніе! обратился онъ къ профессору.

— Я хотѣлъ только замѣтить, что новые писатели даютъ слишкомъ много мѣста реализму. Но объ этомъ говорено такъ много, что скучно становится. Отвергаютъ всѣ основы искусства... дошли до абсурда.

— Слышишь — „абсурдъ", каково слово! Онъ эдакъ и на каѳедрѣ преподаетъ? замѣтилъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— Послушать реалистовъ, продолжалъ профессоръ, — такъ они одни только внесли правду въ искусство тѣмъ, что гонятъ фантазію, какія-то „украшенія", т. е. поэзію! Что можетъ быть, напримѣръ, правдивѣе Пушкина? Но правда не мѣшала у него и фантазіи, и нѣгѣ, и юмору...

— Полноте кадить этому пѣвцу барства, „праздной скуки" и „нѣги томной!" возразилъ Кряковъ.—Вѣдь сами сейчасъ упомянули о духѣ времени; этотъ духъ скоро снялъ его съ пьедестала. Старики захлебывались, бывало, его стихами, а теперь кто ихъ читаетъ! И самъ онъ захлебывался своею славою и провозгласилъ: „Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, къ нему не заростетъ народная тропа!" Народъ и не подозрѣваетъ этой „тропы", а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорятъ, развалилась вся! Даже некому тамъ и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, напримѣръ, хоть „Въ вратахъ эдема ангелъ нѣжный"—какъ это правдоподобно!

— Извольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессоръ буквально исполнилъ предложеніе критика и прочелъ стихотвореніе наизусть. Всѣ аплодировали—конечно Пушкину.

— Какая ерунда! сказалъ поморщившись Кряковъ.

Студентъ покатился со смѣху и спрятался за спину Крякова.

— Если вы, запѣлъ жалкимъ голосомъ Чешневъ, обращаясь къ Крякову: — не видите передъ глазами живую картину — сіяющаго у эдема ангела и демона, летающаго надъ бездною, если не чуете глубокой идеи, таящейся въ этой картинѣ, то вы можете принять девизъ Данте — „оставь всякую надежду на поэзію“...

— Но не на правду! А она одна поэзія и есть! перебилъ Кряковъ.—Кто сейчасъ сказалъ, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкинъ взялъ этого чорта надъ бездной: изъ жизни, что ли? Или онъ видѣлъ этого ангела?...

— Видѣлъ, сказалъ профессоръ: — въ своей фантазіи, и мы всѣ видимъ...

— Ну, такъ стало быть вы вѣрите въ чертей; что̀ съ вами и разговаривать! Пусти, уйду! говорилъ Кряковъ, стараясь вырвать полу платья изъ руки студента.

Но однако не ушелъ.

— Боже мой! тосковалъ Чешневъ: — какая ложь, какое искаженіе человѣческой природы! Жить безъ идеала, то есть, жить безъ цѣли! Отрѣшиться отъ фантазіи—значитъ оборвать всѣ цвѣты, погасить солнечные лучи... обратиться въ тьму кромѣшную...

— Зачѣмъ? не надо только врать! Пусть говорятъ про солнце, да не называютъ его „Фебомъ съ золотыми перстами“ и т. п. дичъ! Вы называете идеаломъ праздное и больное мечтаніе! У человѣка одинъ идеалъ — правда! Правда въ наукѣ, правда въ жизни, правда въ искусствѣ... и пиши ее, какъ она есть: безъ прикрасъ, безъ вашихъ лучей...

— Отлично! отлично! браво, Кряковъ! аплодировалъ студентъ, такъ что Урановъ, незамѣтно отъ другихъ, сердито погрозилъ ему пальцемъ.

— Не мѣшай! строго остановилъ его и Кряковъ.

— Да такой нѣтъ правды, никто ее такою не видалъ и нельзя видѣть! говорилъ Чешневъ.

— Еще замѣчу объ объективности, сказалъ профессоръ. —Новые писатели хотятъ простереть ее слишкомъ далеко. Художникъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картину, наполнять ее своимъ я—это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль, чувство—должны быть разлиты въ произведеніи, чтобъ оно было созданное живымъ духомъ тѣло, а не вѣрный очеркъ трупа, созданіе какого-то безличнаго чародѣя! Живая связь между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться зрителемъ или читателемъ; они, такъ сказать, съ помощью чувствъ автора, наслаждаются картиною, какъ, напримѣръ, намъ въ этой комнатѣ всѣмъ покойно, тепло, уютно... но если-бъ вдругъ нашъ гостепріимный хозяинъ скрылся куда нибудь—комната перестала бы согрѣваться его радушіемъ, и мы остались бы какъ въ трактирѣ..

— Браво! браво! раздалось со всѣхъ сторонъ, вмѣстѣ съ рукоплесканіями этому юмористическому обороту рѣчи.

— Dieu! comme il parle bien! говорили въ концѣ стола.—За здоровье профессора!

Всѣ чокнулись съ нимъ бокалами.

— Знаете ли что, господинъ профессоръ: вѣдь этотъ ужинъ тонкій, дорогой, сказалъ Кряковъ:—куда вамъ вашимъ краснорѣчіемъ заплатить за него!

Студентъ фыркнулъ отъ смѣха.

— Что это вы говорите, съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого, возразилъ Кряковъ:—ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать сами мы васъ не позовемъ, а заплатить за гостепріим-

ство хочется! Это хотя и не поэтическая, а житейская правда! Такъ ли, господинъ профессоръ?

Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ.

— Не любятъ правды ни въ искусствѣ, ни въ жизни! со вздохомъ сказалъ Кряковъ. — Кажется, я одинъ только и есть правдивый человѣкъ здѣсь! Какъ ты думаешь, Митя? обратился онъ къ студенту и сильно хлопнулъ его всею ладонью по плечу.

— Смотрите, драться сталъ! сердито глядя на него, шепнулъ старикъ Красноперовъ.

Нѣкоторые изъ гостей въ концѣ стола сдѣлали брезгливую мину.

Всѣ молчали. Уранову было какъ-то неловко. Онъ поглядывалъ съ упрекомъ на племянника, но тотъ упорно продолжалъ избѣгать его взгляда.

— А зачѣмъ эти новые такъ пишутъ? спросилъ генералъ.

— Какъ зачѣмъ! Чего больше спрашиваютъ, то и пишутъ. Новые пути открываютъ... ты слышалъ? объяснялъ Суховъ.—Вѣдь и у васъ вонъ перестали теперь шагать выше носа, да глядѣть въ одну сторону, а тоже ввели бѣглый шагъ и въ разсыпную, что ли! Солдатъ грамотѣ выучили, и мало ли чего завели новаго!

— И напрасно! сказалъ со вздохомъ Красноперовъ, вслушавшійся въ ихъ разговоръ: — вотъ увидите, какихъ бѣдъ наживете. У васъ, слышь, и палки отмѣнили... и чуть не гладятъ по головѣ виноватыхъ!

— Вы изволите спрашивать, отчего новые такъ пишутъ? обратился профессоръ къ генералу: — отъ того что легче. Творчество не всякому дается, а реализмъ, и техника—это двѣ двери, которыя отворяются передъ всѣми, кто постучится въ нихъ! Даже школу выдумали... а школы не выдумываются, а создаются геніальными талантами: такихъ теперь

нигдѣ нѣтъ! Диккенсъ, Пушкинъ и Гоголь не подозрѣвали, что создаютъ школу, а она создалась ими! А эти господа сами заявляютъ о своей школѣ!

— „Реализмъ“ да „техника“—объяснилъ, нечего сказать! шопотомъ замѣтилъ генералъ Сухову.

— Все это какъ нельзя болѣе справедливо, сказалъ Чешневъ:—и я, начавъ этотъ критическій турниръ, былъ очень радъ, что вы взяли изъ моихъ рукъ копье и ратовали побѣдоноснѣе меня. Все сказанное вами, какъ вы основательно замѣтили, послужитъ намъ нормою для опредѣленія достоинства прочитаннаго нами романа. Вы очень вѣрно замѣтили, что нашъ авторъ не строго объективный творецъ-художникъ...

— Однако съ задатками творчества! прибавилъ профессоръ.

— И онъ далъ намъ увлекательное изображеніе, продолжалъ Чешневъ:—въ широкой рамѣ той жизни, въ сферѣ которой онъ живетъ... и мы всѣ здѣсь—за отсутствующихъ мы тоже поручимся—должны признать за этимъ романомъ...

— Большія достоинства! подтвердилъ профессоръ.

— Да, замѣчательное произведеніе равнодушно прибавилъ журналистъ.

Кряковъ повернулся на стулѣ при этихъ похвалахъ.

— Да перестаньте! сердито замѣтилъ онъ.

Но ему не отвѣчали.

— Стало быть авторъ вполнѣ достигъ цѣли, къ которой шелъ, и мы можемъ—если позволите—прибавилъ Чешневъ, обращаясь къ хозяину:—выпить за его здоровье и благодарить за удовольствіе, доставленное намъ...

Всѣ чокнулись и выпили.

— Выпить-то и я выпью! замѣтилъ Кряковъ и выпилъ, но не чокнулся ни съ кѣмъ.

— А какой правильный, обработанный языкъ! сказалъ профессоръ.

— Да, славно пишетъ! подтвердилъ генералъ,—только жаль, что и у него попадаются—то иностранныя, то мудреныя слова, напримѣръ: коалиція, элементы, еще что-то...

— Въ корректурѣ это все вѣроятно будетъ исправлено, сказалъ журналистъ.—Хорошо бы немного придать разнообразія, небрежности языку, что называется abandon. А то ужъ слишкомъ гладко, прибранно, стилисто!

— Вы, конечно, обратился Чешневъ къ журналисту,— охотно приняли бы его на страницы вашего журнала?

Журналистъ задумался и не сразу отвѣчалъ.

— Я не знаю... надо подумать... поговорить съ моимъ сотрудникомъ по части беллетристики отвѣчалъ онъ уклончиво.

— Но вѣдь вы находите въ романѣ достоинства?

— О, конечно; но этого мало. Журналъ мой издается въ извѣстномъ направленіи — слѣдовательно все, что входитъ въ него, должно, или отвѣчать этому направленію, или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчить ему рѣзко...

— Кажется авторъ отдѣльнаго самостоятельнаго сочиненія отвѣчаетъ самъ за себя, замѣтилъ Чешневъ:—и журналъ, помѣщающій его на своихъ страницахъ, играетъ тутъ роль только магазина, принимающаго вещь для продажи.

— Нѣтъ, это не такъ! сказалъ засмѣявшись журналистъ.—Тогда это былъ бы не журналъ, а сборникъ, альманахъ...

— Кому охота розводить скуку въ своемъ журналѣ? замѣтилъ Кряковъ, шептавшійся съ студентомъ и услыхавшій послѣднія слова.

— Позвольте не согласиться съ вашимъ отзывомъ, твер-

до сказалъ хозяинъ: — романъ не скучный... Мы всѣ на лицо—и всѣ скажемъ противное.

— Всѣ! всѣ! дружно сказали голоса.

— Скучный! утомительный! твердилъ Кряковъ:—я не могъ высидѣть...

— Это еще не причина! съ учтивымъ смѣхомъ возразилъ Чешневъ.

— Однакожъ высидѣли! замѣтилъ хозяинъ, — я даже, извините, видѣлъ, что, при чтеніи иныхъ страницъ, ваши глаза, какъ бы это сказать, блистали,—значитъ было занимательно...

— Я хотѣлъ бѣжать, да вотъ онъ не пускалъ! сказалъ Кряковъ, указывая на студента.

— C'est très-joli, charmant! тутъ нельзя соскучиться... Когда и кончилось, всѣ еще слушали, хотѣли продолженія!.. говорила Лилина и другіе.

— Да и скука—дѣло условное, сказалъ Чешневъ:—есть много умныхъ, почтенныхъ людей, которымъ скученъ и Гомеръ, и Шекспиръ! Я самъ знаю такихъ, которые тотчасъ уходятъ, лишь только заиграютъ при нихъ изъ Моцарта или Бетховена, но съ удовольствіемъ слушаютъ шансонетки изъ „Елены прекрасной“ или „Duchesse de Gérolstein“. Другіе не терпятъ исторической школы въ живописи и отворачиваются отъ Тиціана и Рубенса, а засматриваются tableaux de genre. Многимъ даже всякій разговоръ образованныхъ людей въ салонѣ скученъ...

— C'est vrai, c'est vrai! Bien dit! Да! это вѣрно, метко! одобряли въ концѣ стола.

Кряковъ обводилъ глазами говорившихъ, какъ бульдогъ, будто выбирая, на кого бы наброситься.

— Такъ вы сравниваете вашего автора съ Гомерами, Рубенсами и Тиціанами! Ха! ха! ха! захохоталъ онъ:— поздравляю васъ и пью за ваше здоровье!

Онъ, иронически кланяясь Чешневу, выпилъ свой бокалъ.

— Я выпью за ваше и пожелаю, медленно, съ жалостью въ голосѣ, возразилъ Чешневъ:—чтобы на васъ палъ лучъ человѣческой правды!

И онъ выпилъ.

— Развѣ я лгу? съ азартомъ спросилъ Кряковъ.

Чешневъ сдѣлалъ отрицательный знакъ достоинства.

— О нѣтъ, Боже сохрани! вы весь искренность! но вы заблуждаетесь, и къ тому же сердитесь—слѣдовательно вы вдвойнѣ не правы! И въ эту минуту не правы, зная, что я вовсе не сравниваю автора, ни съ Гомеромъ, ни съ Тиціаномъ—и говорите въ гнѣвѣ. Пошли же Господь миръ душѣ вашей!

— Аминь! сказалъ Суховъ, при общемъ смѣхѣ. — Пошли за попомъ, прибавилъ онъ тихо Уранову: — можетъ быть тотъ отчитаетъ его! Превесело, право! Я непремѣнно познакомлюсь съ нимъ, поѣду къ нему и приглашу къ себѣ обѣдать.

— Да поѣдемъ ужъ вмѣстѣ; мнѣ надо же ему карточку завезти! сказалъ хозяинъ. — Митю возьмемъ съ собой! А знакомиться—нѣтъ, Богъ съ нимъ! Вонъ онъ какой оригиналъ!

Кряковъ между тѣмъ смотрѣлъ на всѣхъ разсѣянно, позванивая вилкой по тарелкѣ. Онъ, повидимому, начиналъ терять, при сосредоточенномъ на него общемъ вниманіи, то, что называется contenance, или сталъ уставать отъ неловкости своего положенія.

— Помоги мнѣ выбраться какъ-нибудь незамѣтно! шепталъ онъ студенту.

— Посиди еще немного, вмѣстѣ уйдемъ! А пока скажи еще что нибудь, отвѣчалъ тотъ.

— Вотъ вы говорили, вдругъ началъ Кряковъ, довольно покойно обращаясь къ профессору: — что романъ долженъ изображать жизнь—значитъ изображать правду. А вы, (онъ обратился къ Чешневу), нашли, что авторъ изобразилъ ее вѣрно: я спрашиваю васъ, гдѣ же у него эта жизнь и гдѣ ея правда? въ чемъ?

— Какъ гдѣ жизнь! цѣлый огромный кругъ живетъ во всемъ мірѣ этою жизнью!.. съ удивленіемъ возразилъ Чешневъ.

— Какая это жизнь? развѣ такъ живутъ? И какой это „кругъ“: высшій, что ли, хотите вы сказать?..

— Не высшій, не низшій, а просто кругъ благовоспитанныхъ людей, то что называется—джентльменовъ у англичанъ, или порядочныхъ людей у насъ!

— Зачѣмъ же эти порядочные люди взяты у него въ графскихъ и княжескихъ фамиліяхъ, или въ высшей военной и административной сферѣ? Развѣ онъ не предполагаетъ джентльменство въ другихъ слояхъ общества? Порядочность есть вездѣ, она бываетъ и подъ армякомъ!

— Это правда; но онъ между армяками никого не знаетъ. Онъ взялъ дѣйствіе и лица въ знакомомъ ему кругу. Не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно! Зачѣмъ онъ взялъ ихъ именно въ этомъ кругу? Зачѣмъ понадобилось ему изображать только ихъ?

— Какое право имѣете вы судить автора за то, чего онъ не далъ? Критика должна смотрѣть только на то, что онъ далъ! Каламъ пишетъ болото, Клодъ-Лоррень—убранный, расчищенный лѣсъ и свѣтлый ручей. И никому въ голову не приходитъ требовать, чтобы Каламъ писалъ сады, и упрекать Клодъ-Лорреня, зачѣмъ онъ не писалъ болота? И въ литературѣ тоже самое!

— По вашему, что̀ не аристократическій кругъ, то и болото? вставилъ Кряковъ.

— Тогда можно, продолжалъ, не слушая его, Чешневъ: — требовать къ суду тѣхъ авторовъ, которые изображаютъ, напримѣръ, одни — нравы и бытъ купцовъ и мѣщанъ, другіе — крестьянъ. Были и такіе, которые писали изъ быта духовенства. Почему же сфера изъ высшаго, какъ вы называете, или богатаго, знатнаго, благовоспитаннаго круга, должна оставаться недоступною писателю?

— А потому, что этого высшаго круга нѣтъ на свѣтѣ, слѣдовательно нѣтъ въ этой картинѣ и художественной правды, о которой вы оба съ профессоромъ говорили такъ краснорѣчиво сейчасъ!

Всѣ въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга.

— Какъ же это такъ „нѣтъ!“ разсуждалъ генералъ, обратясь къ хозяину и Сухову.—А всѣ твои сегодня гости, мы, какого же круга?

— Не принимай къ сердцу, что̀ онъ говоритъ, тихо отвѣчалъ Суховъ:—вѣдь это антихристъ, но только прелюбопытный малый; какъ бы его къ намъ въ клубъ затащить!

— Да такъ же, нѣтъ! порядочные люди или джентельмены есть во всякомъ классѣ; на верху ихъ меньше. Тамъ только бары. Развѣ они — высшій классъ? почему?

Всѣ молчали.

— Вотъ и полюбуйтесь: каковъ образъ мыслей! вдругъ проговорилъ Красноперовъ, который во время спора объ искусствѣ уже задремалъ два раза.

— Замѣчаніе, что одного высшаго класса нѣтъ, довольно вѣско и отчасти основательно, замѣтилъ журналистъ.

— Въ чемъ же, позвольте узнать? спросилъ хозяинъ, съ любопытствомъ; другіе тоже ждали отвѣта.

— Одной и цѣльной этой жизни дѣйствительно нѣтъ; она соприкасается съ жизнью другихъ круговъ, другаго вос-

питанія и нравовъ, а авторъ обходитъ ее и пишетъ одни верхи...

— Но вѣдь другіе пишутъ же одни низы и обходятся безъ верховъ, какъ я сейчасъ замѣтилъ! возразилъ Чешневъ.

— Да, это правда; но эти низы и въ дѣйствительности обходятся безъ верховъ.

— Вы думаете? иронически спросилъ генералъ.

— Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству, прибавилъ торопливо редакторъ — и оставляю все прочее въ сторонѣ. Верхи не участвуютъ, т. е. не присутствуютъ въ нравахъ низшихъ слоевъ, въ ихъ житьѣ-бытьѣ. Они такъ и существуютъ сами по себѣ. Но одни верхи безъ низовъ—и дня не просуществуютъ. А нашъ авторъ умышленно обходитъ всякій другой, не высшій кругъ, замѣтно брезгуетъ имъ, а къ своему кругу относится пристрастно. Вотъ въ этомъ намѣреніи и цѣли автора—и нѣтъ художественной правды, какъ сейчасъ замѣтилъ г. Кряковъ.

— Слышишь, тебя цитируютъ? сказалъ смѣясь молодой Урановъ.

— Я же вѣдь говорилъ, что я одинъ правдивѣе всѣхъ! замѣтилъ тотъ.

— Художникъ - писатель долженъ быть объективенъ, т. е. безпристрастенъ, продолжалъ редакторъ: — долженъ писать, какъ напримѣръ, графъ Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку, потому что жизнь всего общества—смѣшанна и слитна. У него всѣ слои перетасованы, какъ оно и есть въ дѣйствительности. Рядомъ съ лицомъ изъ высшаго круга, онъ пишетъ и мужика, и бабу-ключницу, и даже взбѣсившуюся собаку. Изъ столичныхъ салоновъ онъ переноситъ читателя въ избу домовитаго крестьянина, на пчельникъ, на охоту, и съ такою же арти-

стическою любовью рисуетъ—и военныхъ, и статскихъ, и баръ, и слугъ, кучера и лошадей, лѣсъ, траву, пашню... все! Онъ, какъ птицеловъ сѣтью, накрываетъ своей рамкой цѣлую панораму всякой жизни и пишетъ—sine ira, какъ справедливо говоритъ профессоръ. Сдѣлай онъ иначе — онъ бы солгалъ, а талантъ лгать не можетъ, если же солжетъ, т. е. одно выставитъ, а другое утаитъ, одно напишетъ съ любовью артиста, а другое пристрастно, т. е. умышленно дурно, то онъ перестанетъ быть талантомъ; выйдетъ блѣдно, вяло, безжизненно, или односторонне, невѣрно...

Профессоръ склонилъ немного голову на бокъ, а Чешневъ откинулся назадъ, оба слушали внимательно и кажется соглашались отчасти съ тѣмъ, что говорилъ редакторъ. Суховъ тихонько зѣвнулъ въ руку, другіе, для развлеченія, допивали свои рюмки, кое-кто ѣлъ десертъ. Старый беллетристъ Скудельниковъ поднялъ глаза на минуту на редактора, обвелъ взглядомъ прочихъ гостей и опять сталъ смотрѣть на столъ, гдѣ, прямо противъ его носа, лежали въ десертныхъ вазахъ дыня и ананасъ.

— Но вѣдь и нашъ авторъ, сказалъ Чешневъ:—кое-гдѣ касается другихъ званій, напримѣръ — описываетъ швейцара, прислугу...

— Да, перервалъ Кряковъ:—описываетъ какъ собакъ, съ напускнымъ презрѣніемъ! остроумно называетъ ихъ „соціалистами“. Вотъ онъ какъ касается! глумится надъ величайшей идеей вѣка, идеей равенства!

— Дѣйствительно, онъ намѣренно и бережно обходитъ все вульгарное, продолжалъ редакторъ:—это правда!

— Да оно тутъ нейдетъ, возразилъ Чешневъ: — ему нѣтъ мѣста! Если „низы“, какъ говорите вы, не смѣшиваются съ верхами въ частной жизни, то стало быть и верхи живутъ отдѣльно, своимъ кругомъ. Сколько современныхъ

писателей намѣренно избѣгаютъ упоминать о верхахъ! Зачѣмъ, напримѣръ, живописецъ, еслибъ захотѣлъ нарисовать эту столовую и насъ всѣхъ, вставилъ бы здѣсь мужика изъ харчевни, или вотъ одного изъ этихъ лакеевъ, что намъ служили, посадилъ бы съ нами за столъ?

— Вы взяли крайности, позвольте замѣтить! возразилъ редакторъ: — между верхами... и лакеями, мужиками, идутъ цѣлые ряды—по профессіямъ, положенію, воспитанію, нравамъ...

— Да еслибъ вашъ авторъ сталъ писать харчевню, то онъ посмотрѣлъ бы, не попалъ ли туда какой нибудь баринъ, и написалъ бы его одного, а мужиковъ обошелъ бы! сказалъ Кряковъ.

— Онъ вовсе не написалъ бы харчевни! спорилъ Чешневъ:—онъ тамъ не былъ и не знаетъ ея посѣтителей.

— И знать не хочетъ! вотъ что скверно! Русская жизнь не на верхахъ! Ея тамъ нѣтъ!

Чешневъ пожалъ плечами, другіе улыбнулись.

— Вамъ хотѣлось бы, чтобъ онъ изобразилъ ту русскую жизнь, гдѣ и грязь, и пятна на скатерти, и неметеный полъ...

Онъ вздохнулъ.

— Зачѣмъ опять брать крайности? говорилъ примирительно журналистъ, обращаясь и къ Чешневу, и къ Крякову. —Нѣтъ надобности умышленно искать сора и пятенъ, чтобы щеголять ими; но нельзя и обходить бережно и брезгливо все обыденное, гдѣ не всегда блестятъ чистота и изящество! А авторъ очень тщательно сортируетъ и лица, и вещи — даже какъ будто чиститъ и самую природу, подскабливаетъ пейзажи, чтобъ не попала туда какая нибудь соломенка или соринка. Это значитъ выскабливать и жизнь. Если можно обчистить и обдѣлать такъ людей, то изъ природы не выкинешь всего ненужнаго; будетъ ненатурально. Уда-

лите и изъ людскихъ фигуръ всѣ характеристическія, типичныя особенности, детали—выйдетъ безлично и безжизненно.

Чешневъ, склоня голову, слушалъ въ раздумьѣ этотъ стройный критическій періодъ.

— Тутъ есть, конечно, нѣкоторая доля правды, сказалъ онъ, наконецъ, съ легкимъ вздохомъ: — авторъ... пуристъ не въ одномъ языкѣ, но и въ герояхъ своихъ, и въ декораціяхъ романа. Но вѣдь и въ людяхъ, и въ природѣ, розлито много этой прибранности и изящества, если не вглядываться слишкомъ пристально; онъ и пишетъ, какъ ему кажется то, на чемъ останавливается его взглядъ! Вы, конечно, не замѣтили натянутости; чопорности въ его романѣ? Онъ только въ высшей степени приличенъ, но простъ и естественъ...

— Приличенъ, пожалуй, но естественъ—едва-ли можно сказать, именно потому, что слишкомъ заботится, чтобъ не попало въ его салоны „фламандскаго сора", по выраженію Пушкина, т. е. обыденной жизни, сказалъ журналистъ.

— Ему тамъ и не мѣсто—согласитесь!

— Не знаю; но отсутствіе живыхъ деталей отнимаетъ много жизни у людей и природы—опять скажу. Уловить и передать правдивую черту чувства въ данный моментъ, или движеніе мысли въ лицѣ человѣческомъ—это психологическій, внутренній реализмъ; обстановить сцену реальными, вѣрными деталями — это внѣшній реализмъ, а все вмѣстѣ ведетъ къ правдѣ.

— Но вѣдь писатели-художники и живописцы, сознайтесь, часто рисуютъ и пишутъ много ненужныхъ правдъ, которыхъ можно бы избѣжать. Напримѣръ...

— Напримѣръ, перебилъ Кряковъ—запахъ, который

Петрушка, лакей Чичикова, носитъ вездѣ съ собой; этотъ примѣръ, что ли, хотите вы привести?

Всѣ засмѣялись, Лилина покраснѣла.

— Да... хоть этотъ и многіе другіе, все ненужные признаки.

— Объ этомъ ужъ давно спорили, и Бѣлинскій рѣшилъ этотъ споръ! сказалъ Кряковъ.—Почитайте его страницы, гдѣ онъ разсуждаетъ объ этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать, „воняетъ", нельзя выговорить при дамахъ (онъ покосился на Лилину) слово блоха и т. п. Послушать этихъ привередниковъ и передѣлать русскій языкъ на хорошій тонъ, такъ придется не говорить по русски, а только тыкать пальцемъ въ воздухъ! Ненужное! что въ жизни есть—все нужно!

— Вы идете по слѣдамъ Гегеля, замѣтилъ съ улыбкой профессоръ:—все существующее разумно! Но не все нужное въ жизни — нужно въ искусствѣ, позвольте добавить вашъ афоризмъ!

— Напротивъ, ненужное играетъ и въ искусствѣ большую роль, сказалъ Кряковъ,—какъ и въ самой жизни, стало быть оно и нужно.

— Какъ ненужное въ жизни—нужно? спросилъ иронически Суховъ;—напримѣръ... насморкъ?

Всѣ захохотали. Кряковъ махнулъ рукой.

— Ужъ это черезъ-чуръ парадоксально—позвольте замѣтить! сказалъ хозяинъ.

— Нѣтъ, не парадоксально! Я разумѣю подъ ненужнымъ всякій излишекъ сверхъ необходимаго. И въ жизни только излишки и даютъ намъ то, что называютъ счастьемъ; кто какъ понимаетъ счастье—это другой вопросъ!

— Какъ это такъ? позвольте, позвольте!

— Такъ! оглядитесь вокругъ, сказалъ Кряковъ. Всѣ въ самомъ дѣлѣ оглядѣлись.

— Вонъ что́ у васъ тамъ на верху поставлено, на шкапѣ?

— Какъ что, съ удивленіемъ отозвался хозяинъ:—статуи...

— А въ шкапѣ?

— Въ шкапѣ старинное серебро... вы видите!

Чешневъ весело улыбался, редакторъ, профессоръ и нѣкоторые изъ гостей тоже, предвидя, къ чему ведетъ рѣчь Кряковъ. Другіе же наивно глядѣли на предметы, которые онъ называлъ.

— Вонъ и на столѣ серебро, продолжалъ Кряковъ:—подъ ногами коверъ; вонъ бронзовые канделябры... разъ, два, три — четыре... вонъ тридцать или сорокъ свѣчей горятъ вмѣсто двухъ или трехъ! Развѣ все это нужно? А эти перепелки, а дорогая зелень, десертъ, а вина двадцать бутылокъ?...

— Какъ же иначе? вездѣ все это есть! говорилъ хозяинъ:—стало быть нужное!

— Нѣтъ, не вездѣ; выгляните только въ окошко. Все это ненужное, излишки... и они составляютъ ваше, и—вотъ всѣхъ ихъ—счастье. Можно ѣсть на глиняныхъ тарелкахъ, а не на серебрѣ, пить воду или квасъ, ну, пиво—а вы пьете и ѣдите все ненужное, излишекъ... Издержки на одно необходимое не сдѣлали бы вамъ нималѣйшаго удовольствія... напримѣръ, покупка дровъ, или говядины себѣ на обѣдъ, овса лошадямъ. А вотъ васъ радуетъ накупать всего этого, ненужнаго... или въ карты выиграть и проиграть.

— Tiens, cela c'est vrai! сказалъ одинъ гость.

Урановъ, генералъ, Суховъ и Иванъ Петровичъ — слушали, добродушно улыбаясь, не зная, что́ отвѣтить на этотъ парадоксъ. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на Крякова.

— Діогена корчитъ! тихо замѣтилъ кто-то.

— Что вы всѣ уставились на меня? сказалъ онъ: — не правда, что ли?—Всѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, тутъ есть и правда! отозвался Урановъ.

— Ну, и въ искусствѣ то же: изобразите, тамъ, любовь, что ли, безъ реальныхъ атрибутовъ, безъ обстановки...

— Атрибуты! шепталъ генералъ.

— И выйдетъ вздоръ! какая-нибудь дѣва на скалѣ... чего не бываетъ! добавилъ Кряковъ.

— Но вѣдь Пушкинъ, какъ великій реалистъ и въ то же время классикъ, прибавилъ къ дѣвѣ въ одеждѣ бѣлой надъ волнами, бурю и покрывало, которымъ игралъ вѣтеръ—и вышло картинно и правдиво, т. е. реально! сказалъ профессоръ.—Это и есть поэзія!

— Куда его клубничное влеченіе завело: на скалу! смѣялся Кряковъ.—Это ужъ вовсе ненужное!

— Позвольте, позвольте, остановилъ его профессоръ:— вы противорѣчите сами себѣ: вы сейчасъ возвели ненужное въ законъ—и въ жизни, и въ искусствѣ...

— Ненужное, да правдивое! поймите меня:— что̀ бываетъ! а черти надъ бездной не летаютъ и дѣвы на скалахъ не рисуются! огрызался Кряковъ.

— Авторъ нашъ классикъ, онъ чуждается реализма— это правда, заговорилъ опять профессоръ.—Онъ строго придерживается во всемъ классическаго стиля. Онъ ближе къ идеалу, нежели къ типу, и отъ того, между прочимъ, чуждается житейскихъ обыденныхъ мелочей жизни. Это его вкусъ, воспитаніе или природа, какъ хотите. Но вѣдь и вкусы дробятся на роды, какъ само искусство дѣлится на школы. Различіе школъ и стилей обусловливается между прочимъ различіемъ вкусовъ артистическихъ натуръ. Это тропинки, по которымъ расходятся артисты, слѣдуя каждый своей натурѣ...

— Ну, заиграла музыка! вставилъ Кряковъ въ полголоса, но его услыхали и засмѣялись, и ораторъ тоже.

— Одинъ ищетъ, напримѣръ, природы въ глубинѣ дремучаго лѣса, въ степи, въ дикихъ скалахъ, продолжалъ онъ,—а другой видитъ и любитъ ее въ паркахъ, воздѣланныхъ садахъ и цвѣтникахъ! Кто пишетъ мадоннъ, библейскіе или миѳологическіе сюжеты; другіе — вседневную пеструю жизнь. Новые художники хотятъ смѣшать все, подвести подъ genre...

— Не клевещите на новыхъ художниковъ; они не смѣшиваютъ никакихъ школъ и стилей, а просто знать ихъ не хотятъ! забушевалъ опять Кряковъ. — Всѣ—и Юпитеры, и Венеры, ваши ангелы у вратъ эдема и черти надъ бездной, отжили свой вѣкъ и ничего не говорятъ болѣе представленію артиста. Новые художники пишутъ, что видятъ и знаютъ въ природѣ и въ жизни, и если заглядываютъ въ исторію, то и библейскія событія угадываютъ и пишутъ, какъ они случились, а не какъ смотрятъ на нихъ идеалисты въ свои очки, сквозь тысячелѣтія...

Послѣ этого наступила пауза и Чешневъ съ грустью поникъ головой, прошептавъ:—Боже мой! будетъ ли конецъ этому дикому разгулу!

— Такъ вы полагаете, обратился онъ потомъ къ редактору, не глядя на Крякова, — что одни джентльмены, ихъ кругъ, нравы, бытъ, не могутъ быть предметомъ художественнаго произведенія?..

— Какіе это джентльмены? вмѣшался опять Кряковъ:— эти причесанные, прибранные господа, которые ходятъ около другъ друга, боясь дотронуться одинъ до другаго, кланяются, изъясняются въ любви и дружбѣ, какъ тѣни? Они ѣдятъ и пьютъ какъ по нотамъ... Какая же это жизнь! развѣ такъ живутъ?

— Конечно, нехотя возражалъ ему Чешневъ:—при отсутствіи воспитанія нравы обозначаются иначе... очень живо и натурально. Но избави Боже иногда отъ такой натуры!

— Кажется, г. Кряковъ не доволенъ тѣмъ, вставилъ редакторъ:—что авторъ изображаетъ одну парадную сторону жизни, жизнь салоновъ, въ формѣ строго условныхъ, регулированныхъ отношеній между лицами, и даетъ мало простора и свободы мысли, чувству, страстямъ. Это тоже правда! Онъ не трогаетъ психическихъ тайнъ и отъ того поневолѣ изображаетъ все поверхностно и условно...

— И называетъ еще это романомъ! насмѣшливо прибавилъ Кряковъ.

— Какъ же вы назовете это? спросилъ Урановъ.

— Это протестъ аристократизма и милитаризма противъ демократіи—вотъ какъ я назову! сердито сказалъ онъ. —Протестъ привиллегированныхъ сословій, съ ихъ роскошью, приторною утонченностью, противъ...

— Противъ грубости, цинизма, неряшества, всякой моральной и матеріальной распущенности... это правда! добавилъ Чешневъ тоже пылко.

Генералъ, Суховъ и Урановъ засмѣялись. — Bien dit! раздалось съ другаго конца стола.

— И это подвигъ со стороны автора, продолжалъ Чешневъ. — Давно пора было поднять копье противъ буйнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество.

— Напримѣръ — на что? почти грубо спросилъ Кряковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе къ человѣческому достоинству, сдержанность, обузданіе дикихъ страстей—и вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣтствующія формы общежитія, на утонченность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здравыя понятія... и въ искуствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой расшатанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество долгимъ и труднымъ путемъ достигало этихъ ре-

зультатовъ, а тутъ вдругъ явилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все добытое тысячелѣтіями... И что́ оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лжи и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ, бурно заговорилъ Кряковъ:—онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, естественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. вотъ въ чемъ подвигъ вашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе своихъ героевъ на верху, ихъ привиллегированную утонченность, роскошь, уклоненіе отъ прямаго и положительнаго труда!

— Пошли за полиціей, тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину.

— Постой, не мѣшай! Это любопытно! отвѣчалъ тотъ.

— Труда! съ горькимъ смѣхомъ повторилъ Чешневъ:— да развѣ эти новые тунеядцы не отъ труда бѣжали въ свои трущобы и проповѣдуютъ раздѣлъ чужой собственности!

Кряковъ выпилъ стаканъ краснаго вина.

— А на скромные, низшіе классы общества вашъ авторъ-аристократъ брызжетъ презрѣніемъ! Такъ, Митя? ты вѣдь слышалъ, обратился онъ къ студенту: — брызжетъ?

— Не помню! сказалъ тотъ со смѣхомъ: — что ты ссылаешься на меня? говори за себя!

— Гдѣ же? спросилъ Чешневъ,—о низшемъ классѣ тамъ даже не упомянуто!

— А зачѣмъ не упомянуто? рѣзко отозвался Кряковъ.

— Вотъ, прошу угодить! сказалъ Чешневъ и засмѣялся.

— Объ этомъ сейчасъ только говорили, прибавилъ онъ, — и исчерпали этотъ предметъ. Мы сказали уже, что авторъ не знаетъ другихъ классовъ...

— И знать не хочетъ! значитъ, презираетъ! И какъ ему не презирать! всѣ герои его—образцы изящества, утончен-

ности мыслей, чувствъ, рѣчи—и всѣ ничего не дѣлаютъ! Какъ же вдругъ ввести въ ихъ кругъ труженика, отъ котораго можетъ почуяться запахъ трудоваго пота... виноватъ... транспираціи—(поправился онъ съ улыбкой и ироническимъ поклономъ ко всѣмъ), и который, пожалуй, скажетъ „воняетъ дымомъ", вмѣсто „пахнетъ дымомъ". Еще, того гляди, явится въ поношенномъ платьѣ, безъ перчатокъ... вотъ какъ я пришелъ: извините! сказалъ онъ хозяину, показывая голыя руки.

— И я тоже не надѣваю ихъ! перебилъ Чешневъ со смѣхомъ.

— И вдругъ такой авторъ, продолжалъ Кряковъ,—нарисовалъ бы мужика, мѣщанина, мелкаго чиновника, труженика, ремесленника... Какъ же! барыни, пожалуй, его не стали бы читать!

— Я, и всѣ почти мои знакомыя дамы читали и знаемъ Гоголя! сказала вдругъ Лилина.

Кряковъ мутно взглянулъ на нее.

— Вы? возразилъ онъ:—не можетъ быть!

— Отчего?

— Еслибъ вы читали Гоголя и другихъ народныхъ писателей—ваши глаза смотрѣли бы иначе и не было бы у васъ этой блаженной улыбки.

Она сконфузилась и смотрѣла въ недоумѣніи вокругъ.

— Qu'est-ce qu'il dit? спросила она сосѣда.

— Des sottises! Gardez-vous bien de le contredire! отвѣчалъ тотъ, улыбаясь.

— Вотъ такъ лучше, прибавилъ Кряковъ:—объясняйтесь на своемъ природномъ языкѣ и оставьте Гоголя въ покоѣ!

— Dieu, Dieu, Dieu! Voilà un ours mal léché! донеслось съ другаго конца стола—и всѣ засмѣялись. Кряковъ

остановился было, но махнулъ рукой, засмѣялся самъ и продолжалъ, обращаясь къ Чешневу:

— Нѣтъ, всѣ эти лица романа—кучка праздныхъ людей, живущихъ жирно и наслаждающихся на счетъ народа, а сами ничего не дѣлающіе! Вотъ что вашъ высшій классъ! стоитъ ли описывать его!

— Боже мой? почти застоналъ Чешневъ:—какая злоба и клевета! Праздныхъ! Да кто же управляетъ, вмѣстѣ съ высшей властью, судьбами нашей страны? горячо обратился онъ къ Крякову.—Кто поставилъ ее на высокую ступень извнѣ и кто держитъ силу, порядокъ и ходъ жизни внутри —какъ не лица того же круга, изъ котораго авторъ взялъ своихъ героевъ?

— Нѣтъ! трудомъ, кровью и духомъ народа держится все! рыкалъ, какъ левъ, Кряковъ, съ блистающими глазами.

Студентъ поталкивалъ его тихонько въ бокъ.

— Да развѣ мы всѣ—не народъ? развѣ эти графы, князья, ихъ предки—не изъ народа и не народъ? спорилъ Чешневъ.

— Были! а теперь лѣзутъ изъ кожи, чтобы уйти отъ него дальше, не походить на него! Разрушаютъ даже послѣднюю связь съ нимъ—языкъ; стараются быть ему непонятнымъ, говорятъ по-французски, по англійски, всячески, лишь бы не по-русски!

Чешневъ вздохнулъ и поникнулъ головой передъ этой послѣдней, конечно, неоспоримой правдой на счетъ языка.

— Да и въ своемъ-то языкѣ много иностранныхъ словъ употребляютъ, въ полголоса сказалъ генералъ:—что правда, то правда!

— Это отчасти справедливо, съ оттѣнкомъ грусти замѣтилъ Чешневъ:—и въ этомъ смыслѣ мы всѣ, пожалуй, давно не народъ. И вы тоже: одѣты вы не по-русски и упо-

требляете много не русскаго и кромѣ языка. Да и русскій языкъ, которымъ вы говорите, не тотъ, которымъ говоритъ народъ; онъ васъ не пойметъ, а вы на его языкѣ говорить не умѣете.

— Отъ того, что его не учатъ понимать насъ, держатъ умышленно въ невѣжествѣ...

— Но вѣдь если онъ выучится одѣваться, говорить не по-русски, пить, ѣсть не русское, какъ мы теперь, такъ вѣдь онъ перестанетъ быть тѣмъ народомъ, какой вы разумѣете. Все это всегда такъ было и будетъ; это вѣчное колесо! Стало быть, вы негодуете, зачѣмъ не всѣ вверху, или зачѣмъ мы всѣ не внизу! Но вѣдь это физически невозможно? Вы не хотите понять, что народъ составляетъ только часть того, что называется націей! Вы, по крайней мѣрѣ, скажите, чего вы хотите? Какое ребячество!

— Не ребячество, а соціализмъ это называется! Головы, получше нашихъ съ вами, рѣшаютъ этотъ вопросъ; а намъ нечего спорить!

Всѣ опять громко засмѣялись. Рѣшительно всѣмъ было весело отъ этихъ дебатовъ. И Чешневъ засмѣялся. Героемъ вечера былъ не авторъ и его романъ, а Кряковъ и оригинальные пріемы его полемики.

— Чему вы обрадовались! сердито сказалъ Кряковъ.

Смѣхъ удвоился.

— Что же это такое этотъ соціализмъ? спросилъ генералъ.

— Вамъ любопытно? обратился къ нему Кряковъ: — спросите того фельдфебеля, котораго Скалозубъ хотѣлъ дать Репетилову въ Вольтеры, а меня увольте отъ отвѣта!

— Въ нашъ огородъ камешки бросаетъ! добродушно замѣтилъ генералъ, видя общій смѣхъ.

— Народность или, скажемъ лучше, національность — не въ одномъ языкѣ выражается, сказалъ послѣ нѣкотора-

го молчанія Чешневъ. — Она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ отдаленномъ сліяніи всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли—еслибъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людскаго бытія —необходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческій капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

Онъ въ раздумьѣ поникъ головой.

— Comme c'est profond! шептали въ одномъ концѣ.

— Это... это... знаете... началъ Суховъ: — это правда!.. И онъ запилъ виномъ.

Беллетристъ Скудельниковъ на минуту опять поднялъ глаза на Чешнева и потомъ снова впалъ въ апатію.

— Какъ это хорошо сказано! très joli, n'est-ce pas? говорила Лилина.

— Затѣйливо, нечего сказать; ну, такъ что же? сказалъ Кряковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую и національную и человѣческую задачу, и что въ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя и для себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ — смотрите, какъ соединяются всѣ нравственныя и

вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю — и какъ вдругъ всѣ, будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ—всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копейки... и умираютъ, если нужно — и какъ умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статскіе, не мѣщане или мужики — а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя—Россія!

— Браво! C'est sublime! отлично! закричали всѣ.—За здоровье Дмитрія Ивановича! человѣкъ, наливай шампанское! приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы всѣ это думаете и чувствуете! говорилъ онъ, отвѣчая чоканьемъ на чоканье: — это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да! подтвердили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ, началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ. — А вы просто на просто шовинистъ! выпалилъ онъ, когда всѣ утихли.

Съ минуту длилось молчаніе. Профессоръ потупилъ глаза, журналистъ конфузливо улыбался, Скудельниковъ вдругъ взглянулъ широко на Крякова и на Чешнева. Краснoперовъ, Урановъ, Суховъ и генералъ съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга. — Что это еще такое? шепотомъ спросилъ генералъ у Сухова. Тотъ спросилъ о томъ же Уранова, Урановъ у Чешнева. Прочіе съ усиленнымъ любопытствомъ смотрѣли на Чешнева и Крякова. Трухинъ даже протеръ очки платкомъ и ждалъ отвѣта. Чешневъ взгля-

нулъ на Крякова какъ будто съ сожалѣніемъ. Студентъ прятался отъ недовольныхъ взглядовъ дяди за спину сосѣда.

— Вы назвали меня „шовинистомъ“, сказалъ Чешневъ тихо и почти печально:—нѣтъ, я не ослѣпляюсь условными сентиментами и не поддаюсь ходячему, дешевому патріотизму! Я могъ бы съ бо́льшимъ основаніемъ, въ свою очередь, назвать васъ „псевдо-либераломъ“...

— Чтожъ, назовите: я не обижусь! развязно сказалъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я этого не сдѣлаю! мягко перебилъ его Чешневъ:—вы гость здѣсь и ваша личность должна быть неприкосновенна.

— Ah, bravo! oui, c'est ça! это урокъ! Leçon bien méritée! пробѣжалъ тихій говоръ за столомъ. Кряковъ поглядывалъ кругомъ и слушалъ этотъ говоръ какъ-то равнодушно.

— Дайте же мнѣ вашу руку! прибавилъ Чешневъ, протягивая свою.

— Извольте! сказалъ Кряковъ и подалъ руку.

— Но оставляя личность въ сторонѣ, я не могу молчать предъ псевдо-либерализмомъ, ноты котораго, извините, звучали въ вашихъ рѣчахъ. Этотъ псевдо-либерализмъ точитъ корни того истиннаго либерализма, который одинъ ведетъ къ прогресу. Онъ избралъ своимъ девизомъ разрушеніе гражданственности, цивилизаціи, онъ не останавливается ни передъ какими средствами—даже пожарами, убійствами... и не знаетъ самъ, чего хотѣть, и мчится... куда? задумчиво спросилъ какъ-будто самого себя Чешневъ, поникая головою.

— Вотъ, вотъ—да, это самое! Что́ я, давеча, не правду говорилъ? вдругъ прорекъ Красноперовъ.

— Тш... сдѣлалъ ему Суховъ. Кряковъ усмѣхнулся.

— Ужъ объ этомъ говорили-говорили, писали-писали, а намъ все неймется!—сказалъ онъ.

— Онъ еще смѣется, каковъ молодецъ! шепталъ Красноперовъ сосѣдямъ:—какъ будто не его дѣло! Нѣтъ, вы отвѣчайте, куда онъ мчится, этотъ вашъ либерализмъ? прибавилъ старикъ громко.

— Почемъ я знаю, куда! сказалъ Кряковъ. — Пусть рѣшитъ нашъ мудрецъ!—Онъ указалъ на Чешнева.

— Почемъ я знаю — куда, повторилъ Чешневъ: — это вѣрно! это одинъ возможный, искренній отвѣтъ псевдо-либерализма! А онъ мчится мало по малу къ той безднѣ, заключилъ онъ,—отъ которой, умирая, отвернулся и Герценъ и куда отчаянно бросился маніакъ Бакунинъ, увлекая за собой Панургово стадо...

— Браво! браво! закричали многіе, гремя тарелками, звеня стаканами.

— Ну, я туда васъ не зову, сказалъ Кряковъ и опять засмѣялся.

Засмѣялся и студентъ.

— Правда, Митя? вѣдь я не такой? прибавилъ Кряковъ.

— Ну, наслушались мы сегодня и новой, и старой мудрости, сказалъ Суховъ своимъ сосѣдямъ:—каково-то спать будемъ? — А все-таки весело, превесело здѣсь! заключилъ онъ.

— Да, весело, сказалъ тихо Урановъ: — только ка́къ мнѣ придется раздѣлываться? Вонъ, Чешневъ, и тотъ взволнованъ, Иванъ Петровичъ оскорбленъ, Лидина сконфужена и всѣ озадачены! Митя одинъ только въ усъ себѣ не дуетъ; ужо вымою я ему голову! А теперь надо какъ нибудь загладить дурное впечатлѣніе!

— Вы что-то хотѣли еще сказать о нынѣшнемъ чтеніи, Дмитрій Ивановичъ? обратился онъ къ Чешневу.

*

— Я хотѣлъ напомнить, отвѣчалъ Чешневъ,—какъ нашъ авторъ выразилъ живо, рельефно и патріотизмъ, и чувство долга, въ одной картинѣ...

— „Рельефно!“ „шовинистъ!“ какъ еще? „сикофантъ“? шепталъ генералъ Сухову:—въ ушахъ даже звенитъ!

— Я говорю объ описаніи маневровъ, продолжалъ Чешневъ, — со стороны посмотрѣть — кажется, пожалуй, монотонно; но авторъ поставилъ читателя въ средину картины, слилъ его съ строемъ этихъ русскихъ душъ, сердецъ, — и вы чувствуете себя единицею какой-то великой моральной и физической силы, и въ каждомъ солдатѣ, офицерѣ, генералѣ, видите роднаго брата, друга, самого себя!

— Величественная картина! подтвердилъ профессоръ.

— Да, эфектная! замѣтилъ редакторъ, — но въ романѣ она кажется нѣсколько офиціальною... натянутою...

— Грандіозная! сказалъ Урановъ,—воля ваша!

— Грандіозная казарма! рѣшилъ Кряковъ.

— C'est très-joli и какъ похоже! я много разъ бывала... такъ похоже, такъ похоже! твердила съ дѣтскою радостью Лилина.

— Да вотъ какъ, вмѣшался генералъ: — что я забылъ, гдѣ я сижу; такъ и кажется, что веду бригаду; и даже давеча самъ поймалъ себя: салютую рукой вотъ эдакъ, какъ будто у меня сабля въ рукахъ—ей богу!

— „Салютую!“—поймалъ! Что̀, какое это слово: развѣ русское? сказалъ Суховъ.

— Это казенное, значитъ можно, отвѣчалъ генералъ.

— Обращаясь къ задачѣ романа, продолжалъ Чешневъ, —можно, кажется, безошибочно заключить, что главная цѣль автора — поставить на свое мѣсто все то̀, что многіе стараются легкомысленно устранить...

— Позвольте узнать, что еще онъ хочетъ ставить на ноги? противъ чего онъ сражается? спросилъ Кряковъ.

— Да вотъ хоть бы противъ какого-то напускнаго пренебреженія къ представителямъ военной професіи...

— Военное званіе—c'est une vocation, comme une autre! вставилъ генералъ.

— Что, и у тебя русскаго пороху не хватило! сказалъ Суховъ.

— Противъ военнаго званія никто не возстаетъ, огрызнулся Кряковъ.—Оно—весь народъ!

— Нѣтъ, возставали и возстаютъ, спорилъ генералъ:— гдѣ можно задѣть, осмѣять, брызнуть перомъ въ офицера— и брызнутъ! Мнѣ случалось самому нерѣдко читать, да и отъ многихъ военныхъ слыхалъ — тоже жалуются. Или— говорятъ—молчатъ совсѣмъ, какъ будто военныхъ и на свѣтѣ нѣтъ! обходятъ и въ газетахъ, и въ повѣстяхъ, и на сценѣ—это что значитъ? Пренебреженіе! Мы-де васъ и знать не хотимъ!

— Равнодушіе, а не пренебреженіе, смягчилъ редакторъ.

— Да, равнодушіе—это такъ! сказалъ Чешневъ, — но знаете ли, вѣдь равнодушіе — это самое коварное оружіе! Можно бороться со всякою силою, но какъ одолѣть это гробовое молчаніе невидимаго врага, это непризнаваніе значенія, правъ,—и за кѣмъ: за воинами!

— Вы это все объ офицерахъ, что ли говорите? спросилъ Кряковъ.—Да, ихъ не трогаютъ, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволятъ, а по головѣ только гладить не за что! Да и невѣрно будетъ, односторонне,— какъ сейчасъ разсуждали — если только хвалить! Вотъ и молчатъ — и хорошо дѣлаютъ! Что же общаго у военнаго званія съ офицерами?

— Ба! ба! ба! А они къ какому же званію принадлежатъ? Чѣмъ они провинились? Позвольте, позвольте, мило-

стивый государь! горячился генералъ.—За что ихъ не любятъ и обходятъ?

— Обходятъ ихъ—я сейчасъ сказалъ почему, отвѣчалъ Кряковъ:—не велѣно трогать. А не любятъ—потому что... За что ихъ любить? Съ молоду они щеголяютъ, барствуютъ, роскошничаютъ у Борелей, въ обществѣ кокотокъ, катаются на рысакахъ и давятъ народъ...

— Когда? гдѣ? позвольте спросить. — Вѣдь ужъ была возбуждена исторія, по навѣту печати, о какихъ-то офицерахъ, будто они скачутъ и давятъ народъ—и оказалось клеветой!

— Давите сколько хотите, все будетъ клевета; на то и привилегированное званіе! добавилъ Кряковъ.

Генералъ и другіе иронически улыбались...

— Ну-съ, раскошничаютъ у Борелей... еще чѣмъ они виноваты? спросилъ генералъ.

— Потомъ изъ нихъ дрессируютъ губернаторовъ, разныхъ директоровъ, правителей... нужды нѣтъ, что, бывало, въ обществѣ ходили разсказы объ ихъ милыхъ скандальчикахъ.

— Боже мой! Боже мой! стоналъ Чешневъ:—какая злая несправедливость! И это русскій человѣкъ говоритъ о русскихъ, о своихъ братьяхъ!

Въ обществѣ сдѣлалось серьезное движеніе.

— Скажите, сколько на одинъ скандалъ между военными приходилось скандаловъ между статскими? Вся разница только въ томъ, что одни собирались у Борелей и Дюсо, а другіе на какой нибудь „Средней Рогаткѣ“ платили дань молодости! Сами же вы говорите „бывало“; вѣдь измѣнились же съ тѣхъ поръ нравы, явились гласный судъ, пресса... Зачѣмъ же вы хотите возвращать насъ къ давно минувшему одними злыми воспоминаніями?

Онъ поникъ головою и вздохнулъ.

— Офицеры, конечно, бываютъ молоды, какъ и студенты, и правовѣды, и семинаристы, прибавилъ онъ: — тѣхъ вы извиняете, а офицеровъ нѣтъ! Ужели вы не видите благородной цѣли автора — поправить эту несправедливость, напомнить о нихъ, изобразить характеръ этого прекраснаго, хотя и непріятнаго вамъ круга общества, той группы его, которая идетъ въ эту минуту бороться и умирать за Россію?

Раздались рукоплесканія. Генералъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ.

— Хоть я и воинъ, но такъ мужественно и искусно сразиться за военныхъ не съумѣлъ бы. Позвольте выпить за ваше здоровье! сказалъ онъ.

— И мы! и мы! подтвердили всѣ.

— Щеголяютъ... барствуютъ... роскошничаютъ!.. началъ опять Чешневъ, когда всѣ затихли. — Да развѣ есть другая жизнь, болѣе трудная, болѣе исполненная дѣла и всякихъ лишеній, какъ жизнь этой самой военной молодежи! Вы считаете какія-то давнишнія, полинявшія пятна на ихъ мундирахъ — и пятна эти хотите перенести на цѣлую корпорацію! А она идетъ теперь побѣждать, или славно погибать!

— Это народъ, народъ,—все народъ! твердилъ Кряковъ.

— Да вѣдь и Мининъ не одинъ пошелъ, а взялъ Пожарскаго! Боже мой! По вашему, кто только образуется, одѣнется по европейски, кого заслуга выдвинетъ впередъ— тотъ и перестаетъ принадлежать къ народу! А мнѣ кажется, что скорѣе тотъ, кто хочетъ отдѣлаться отъ религіи своего народа, отъ народнаго единодушія и единомыслія въ своемъ государственномъ и общественномъ устройствѣ,— тотъ неизмѣримо дальше уходитъ отъ него, нежели тѣ, которые учатся говорить на иностранныхъ языкахъ и слѣдуютъ своимъ вкусамъ, своимъ привычкамъ.

— Браво! браво! admirable! воскликнули всѣ.

— Ну, теперь уйду! давай Богъ ноги! Того и гляди за полиціей пошлютъ! ворчалъ Кряковъ, но такъ, что его слышали и невольно засмѣялись.

— Не безпокойтесь, вы здѣсь въ полной безопасности! сказалъ Урановъ почти обидчиво.

— Мы васъ не выдадимъ, вы герой! весело прибавилъ Суховъ.

— Погоди одну минуту, удерживалъ его студентъ:— вонъ Чешневъ хочетъ что-то сказать!

— Вы говорите о богачахъ, щеголяхъ, сказалъ Чешневъ:—но вѣдь они и не въ военномъ быту жили бы также, даже шире и роскошнѣе, — а въ кругу товарищей они все таки ограничены условіями своего быта. Но вѣдь это исключенія; много ли ихъ? А не-богачи, живущіе въ казармахъ, жалованьемъ? А въ арміи — разбросанные по селамъ и деревнямъ? Спросите, какъ они роскошничаютъ?

— Этихъ авторъ не коснулся, съ злой улыбкой замѣтилъ Кряковъ.

— Пусть такъ! авторъ показалъ квинтъ-эсенцію военнаго званія: высшія, тонко выработанныя типичныя черты чести и военнаго достоинства—словомъ, взялъ вершины...

— Да развѣ честь—это привилегія военная, полковая, какъ полковая музыка, что-ли... а не свойство всѣхъ порядочныхъ людей въ мундирахъ и не въ мундирахъ? А онъ усвоилъ ее имъ какъ исключеніе!

— Онъ этого нигдѣ не говоритъ, онъ только коснулся нѣкоторыхъ формъ ея; есть степени и оттѣнки, своеобразные обычаи, условія, существующія во всякомъ дѣлѣ для однихъ, несуществующія для другихъ...

— Въ дѣлѣ чести все равно! все равно! твердилъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, замѣтилъ генералъ: — уйти, напримѣръ, изъ департамента или уйти съ военнаго поста—есть разница!

Послѣ этого настала пауза.

— Да, романъ замѣчательный, разсуждалъ журналистъ. —Еслибъ онъ явился лѣтъ сорокъ назадъ, онъ произвелъ бы сильную сенсацію въ обществѣ!

— А теперь?

— Теперь, съ Гоголя, все до того охвачено отрицательнымъ направленіемъ, что положительный типъ лица почти невозможенъ въ литературѣ. Къ этому подоспѣлъ реализмъ, ввелъ новые пріемы въ искусство и одержалъ безповоротную побѣду надъ классицизмомъ.

— Вы думаете, что классицизмъ исчезнетъ въ искусствѣ? возможно ли это? сказалъ Чешневъ.

— Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ господствовалъ прежде, конечно—да...

— Это зависитъ отъ степени таланта, вмѣшался профессоръ.—Геній можетъ реставрировать (при этомъ словѣ генералъ поморщился) тотъ или другой стиль искусства! Вѣдь отказаться отъ классиковъ, значитъ отказаться отъ всякаго наслѣдія предковъ, отъ всякой преемственной связи съ прошедшимъ...

— Ну, опять запѣла канарейка! ворчалъ Кряковъ сосѣдямъ, которые не могли не засмѣяться.

— Если мы въ живыхъ организмахъ слѣдующихъ одно за другимъ поколѣній замѣчаемъ, продолжалъ профессоръ, —поразительную наслѣдственность отличительныхъ признаковъ, моральныхъ и физическихъ свойствъ, переходящую изъ рода въ родъ—то какъ же мы отвергнемъ передачу умственнаго духовнаго или эстетическаго достоянія?.. Это значитъ отвергнуть цивилизацію—и начинать сначала. Зачѣмъ?

— Это совершенно справедливо, замѣтилъ редакторъ, но вы берете въ обширномъ смыслѣ...

— Позвольте, позвольте! перебилъ Кряковъ:—отвѣтьте на мой вопросъ, только непремѣнно правду!

Опять общій смѣхъ.

— Oh, l'enfant terrible! говорили въ концѣ стола.

— Давно ли вы читали вашихъ классиковъ и часто ли читаете ихъ? спросилъ онъ.

Всѣ вдругъ смолкли.

— У меня Гомеръ, Горацій, Виргилій и всѣ классики, и древніе, и новые—всегда подъ рукой! послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ профессоръ.

— Я не васъ спрашиваю: это ваша служба! Вамъ классики нужны, какъ чиновнику сводъ законовъ. А вы? вы?—Онъ обратился къ Чешневу, редактору и къ прочимъ.

— Я заглядываю иногда... отвѣчалъ редакторъ.

— Для справокъ по журналу, по части критики и беллетристики?

— Я помню многое какъ будто вчера читалъ, сказалъ Чешневъ:—и многое знаю наизусть...

— Что заучили въ школѣ; а теперь?

— И теперь, хотя рѣдко, но беру въ руки. Что же изъ этого?

— А вотъ эти всѣ господа, пожалуй, или вовсе, или со школьной скамьи не читали, прибавилъ Кряковъ, указывая безъ церемоніи на прочихъ гостей:—или перезабыли!

«Читалъ прилежно Апулея»,
«А Цицерона не читалъ».

сказалъ улыбаясь Урановъ.

— Вотъ видите: и вашъ „великій“ поэтъ этою ироніею только прикрылъ правду; никто ихъ не читаетъ, а учатъ ихъ въ школѣ сами не знаютъ зачѣмъ; какъ учатъ и тому, что міръ сотворенъ въ шесть дней, что волчица кормила Ромула и Рема и т. п.; не вѣрятъ, а учатъ, потомъ забываютъ!

— Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а все-таки нельзя не выучить этой фабулы, замѣтилъ Чешневъ:— вы безъ всего этого въ жизни и шагу не сдѣлаете! Пожалуй забыть можно, но узнать нужно. Эти преданія слились съ исторіей. Мало ли вы выучиваете такого, что вамъ не понадобится потомъ въ жизни; но все изученное входитъ въ плоть и кровь вашего нравственнаго, умственнаго и эстетическаго образованія! Безъ этой подкладки древнихъ классиковъ, ихъ образцовъ во всемъ — смѣло скажу, человѣкъ образованнымъ назваться не можетъ.

— Да зачѣмъ же учить ложь? Зачѣмъ не передѣлать этого вздора, чтобы не набивать имъ головы людскія? вопилъ сердито Кряковъ.

— Вы правы, заговорилъ редакторъ профессору:—классицизмъ будетъ присутствовать въ наукѣ и искусствѣ и во всей жизни, пожалуй, какъ фундаментъ... или корень, если хотите; онъ будетъ скрытъ въ глубинѣ земли. Но вѣдь человѣчество идетъ впередъ и все производитъ, творитъ; наростаютъ новые роды, виды, и образуютъ со временемъ новое зданіе, которое въ свою очередь сдѣлается классическимъ. Отъ древняго же, начальнаго классицизма—мы, воля ваша, ушли далеко! И дальше все будутъ наростать новые, свѣжіе слои... Развитіе остановиться не можетъ!

— Позвольте однако замѣтить, сказалъ профессоръ,— что произведенія искусства, какъ образцы, и сами по себѣ не отжили, и не одна только школа и молодость наслаждаются ими. Конечно, мы избалованы новыми и свѣжими побѣгами — это такъ, и вкусъ нашъ отчасти притупился и сталъ мало чувствителенъ къ простой и величавой эстетической трапезѣ. Но, какъ я хотѣлъ сказать, по временамъ является реставрація древности, производимая геніальными талантами, и въ какомъ могуществѣ возстаютъ тогда великіе покойники! Напримѣръ—Рашель развѣ не воскресила

намъ древнихъ библейскихъ и героическихъ женщинъ! Мы видѣли ихъ какъ живыхъ!

— По Расину воскрешала древность! хороша древность! замѣтилъ Кряковъ.—Развѣ Расинъ и Корнель тѣ классики, которыхъ вы разумѣете: полноте! А кто писалъ по классическимъ образцамъ, всѣ провалились съ своими эпопеями, одами, дифирамбами; отъ нихъ ничего не осталось, все умерло!

— Это отъ того, что повторить ихъ не легко; и даже близко къ нимъ подойти! сказалъ профессоръ.

— Потому что не нужно! вставилъ Кряковъ.—Учи и пиши новую жизнь!

— Да, прибавилъ Чешневъ:—вонъ статуя Винеры Милосской пролежала въ землѣ двѣ тысячи лѣтъ, но и теперь никто изъ новыхъ, въ своихъ произведеніяхъ, не подошелъ и близко къ ней! Или наша, хоть бы керченская ваза!.. Да все, все, что ни найдутъ: руку, торсъ, черепокъ вазы—все оказывается неподражаемо!

— Теперь все это машинами стали дѣлать на фабрикахъ, сказалъ хозяинъ:—magnifique—et pas cher!

— Да, кажется къ этому идетъ! со вздохомъ замѣтилъ Чешневъ.

— Вы съѣхали на пластическія искусства, а мы, кажется, говорили объ искусствѣ слова! сказалъ Кряковъ.

— И Гомера никто не повторилъ! замѣтилъ профессоръ:—сами вы сказали!

— Наладили! въ полголоса замѣтилъ Кряковъ.—И я то связался спорить! Кто бы сталъ читать новаго Гомера! Новый Гомеръ у насъ—это Гоголь!

Старики засмѣялись.

Опять настала пауза.

— Скажите, какъ вы находите женщинъ въ романѣ? спросилъ Чешневъ редактора.

— Граціозныя, нѣжныя созданія, прозрачныя какъ видѣнія... хвалилъ профессоръ.

— Да, имѣнно видѣнія! повторилъ журналистъ тономъ легкой ироніи:—такъ воздушно и тонко очерчены онѣ, что плоти и крови въ нихъ какъ будто нѣтъ! Это болѣе тѣни, нежели живыя фигуры. Иначе впрочемъ и быть не могло: авторъ, какъ я замѣтилъ, пишетъ условныя, лицевыя стороны жизни, не вводитъ насъ ни въ психологическую глубину, ни въ интимную реальную жизнь, оттого очерки его и блѣдны. Притомъ женщины у него, какъ актрисы на сценѣ, дѣйствуютъ будто и на свободѣ, сами по себѣ, но во всякомъ ихъ словѣ и движеніи замѣтно, что на нихъ обращены тысячи глазъ. Мало того, что называется... abandon и вообще натуры...

— Завели рѣчь о „клубничкѣ!“ сказалъ съ пренебреженіемъ Кряковъ:—объ этомъ и говорить-то тошно! Нѣтъ романа, гдѣ авторъ самъ не захлебывался бы отъ юбочнаго счастья и не отравлялъ бы имъ и читателя! Ужели въ зрѣломъ обществѣ только въ этомъ вся жизнь и все дѣло и состоитъ, и другаго содержанія нѣтъ!

— Есть, какъ не быть! вонъ—совѣтъ, пожалуй, дѣла... есть клубъ, есть карты; а убери женщинъ совсѣмъ—ничего безъ нихъ и не надо! Это главное, это на первомъ планѣ; на этомъ все вертится! вдругъ провозгласилъ хозяинъ.—Я не пишу ни романовъ, ни драмъ, ни комедій, а знаю, что и тамъ, и въ жизни, безъ нихъ—хоть въ гробъ ложись. Такъ ли?

— Такъ! такъ! закричали всѣ.—За здоровье женщинъ! За ваше здоровье!

Всѣ обратились къ Лилиной.

— Браво! пискнула она, сверкая дѣтскими глазками. — Я принимаю за всѣхъ женщинъ этотъ тостъ и благодарю!— Она кокетливо отпила изъ бокала.

— Да, женщины—все! прибавилъ и профессоръ.—Онѣ иногда явный, иногда скрытый мотивъ всякаго человѣческаго дѣла; ихъ присутствіе, вѣяніе, такъ сказать, женской атмосферы, даетъ цвѣтъ и плодъ жизни. Мы, мужчины, только орудіе, рабочая сила, на насъ лежитъ всякая черная работа... словомъ, мы—матерія, а женщины—духъ...

— Перестаньте, вѣдь мерзко слушать! при общемъ смѣхѣ сказалъ Кряковъ.—Вотъ вѣдь, кажется, и культурный вѣкъ, и культурное общество...

— „Культурный вѣкъ", остановилъ его генералъ:—позвольте спросить, поймутъ ли васъ въ харчевнѣ, въ вашемъ народѣ, если вы скажете эдакъ?

Кряковъ поморщился и отмахнулся рукой отъ генерала, какъ отъ большой собаки.

— Авторъ, изображая сцены любви, замѣтилъ редакторъ опять съ ироніей:—держался болѣе теоріи „неземнаго чувства", какъ его называли, бывало, въ стихахъ. У него любовь похожа скорѣе на религіозный экстазъ католическихъ монахинь, а не на живое, страстное человѣческое чувство...

— Какъ у Золà, напримѣръ? спросилъ Чешневъ.—Да, надо прибавить и этотъ цвѣтокъ къ вѣнку автора; онъ не отемнилъ своихъ страницъ ни однимъ пятномъ грубой чувственности! Свѣтъ и огонь чувства сквозитъ и грѣетъ вездѣ, а горячихъ углей нѣтъ! Это одна изъ его заслугъ!

— Онъ скупенекъ на поцѣлуи, это правда! сказалъ Суховъ:—нѣтъ, чтобы того... эдакъ... (онъ поглядывалъ на Лилину, какъ будто ея присутствіе стѣсняло его)—что-нибудь на счетъ... какъ, напримѣръ, тамъ графъ съ княгиней... въ паркѣ, что ли, въ ея деревнѣ... ну, жаркую сценку... какъ водится... по человѣчески!..

Всѣ посмѣивались.

— Вотъ, чего захотѣлъ; смотри, узнаетъ Анна Андреевна! сказалъ ему хозяинъ.

— Да, вы правы; если ужъ писать объ этомъ, такъ пиши реально, замѣтилъ и Кряковъ:—клубничка такъ клубничка! Изображай правду! не краснѣй! разсказывай, какъ амурничаютъ эти бары и барыни между собой! Или графы и княгини иначе дѣлаютъ любовь, нежели мужики? Открой намъ тайны ихъ будуаровъ и альковов, если открываешь всю ихъ жизнь! А то дѣлаютъ любовь съ напускнымъ, невиннымъ лицомъ, какъ будто играютъ пьесу въ папашины именины.

— А кто видалъ эти тайны? спросилъ Чешневъ.

— Какъ кто? я думаю, всѣ! со смѣхомъ сказалъ Кряковъ.

— Кого же? себя видали въ чувственныхъ изліяніяхъ любви? продолжалъ Чешневъ.—И у художника достанетъ духа писать съ себя и съ любимой женщины! Скажите, какое чувство испытываетъ порядочный человѣкъ, если ему случится быть постороннимъ свидѣтелемъ самой скромной ласки между любящимися, даже между мужемъ и женой? Его коробитъ; а вы требуете, чтобы художникъ вносилъ въ искусство, то, на что сама природа набросила покровъ,— стыдитесь!

Кряковъ улыбнулся.

— Какимъ изящнымъ слогомъ разсказываете вы все это! замѣтилъ онъ.

— Очень желалъ бы вамъ сдѣлать такой же комплиментъ, но, къ сожалѣнію, не могу...

Общій смѣхъ не далъ договорить ему.

— Превесело, право! твердилъ Суховъ.

И хозяинъ развеселился.

— Да, благодаря Митѣ! сказалъ онъ.

— А отдѣлаю я автора, покажись только въ печать! грозилъ Кряковъ.

— Да, если вы скажете печатно то, что вы говорили здѣсь, то, конечно, произведеніе нашего автора не выдержитъ такой критики. Это все равно, еслибъ сюда вошелъ гость—и мы вмѣсто того, чтобы раздвинуть стулья, очистить между нами мѣсто и встрѣтить его вѣжливо и радушно, вдругъ поднялись бы на него толпой, съ крикомъ, съ упреками, что онъ не такъ одѣтъ, не такъ пригожъ, уменъ! Вотъ образъ новой критики! Новый авторъ тоже, что новый гость въ литературѣ! Какіе же это нравы? какая критика?

— Это называется теперь critique militante... воинствующая! съ ироніей замѣтилъ профессоръ.

— Да, правда! критика—это война! сказалъ Чешневъ: —но одни воюютъ мечомъ или копьемъ, какъ рыцари...

— Больше порохомъ и свинцомъ! поправилъ генералъ.

— А другіе...

— Кулакомъ! Да, это бываетъ; и хоть не такъ больно, какъ свинцомъ, а все-таки морды до крови разбиваютъ! добавилъ Кряковъ и самъ засмѣялся, когда засмѣялись, другіе.—Впрочемъ до этого рѣдко доходитъ; больше ругаются! заключилъ онъ.

— Что это за прелесть—малый! сказалъ Суховъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъ вдругъ хозяинъ, обращаясь къ Скудельникову:—что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали...

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными! сказалъ онъ. Всѣ засмѣялись.

— Въ самомъ дѣлѣ! сейчасъ, сейчасъ! захлопотался хозяинъ.—Да что вы о дынѣ, вы о романѣ-то ничего не сказали.

— Я все слушалъ...

— Ну, и скажите что-нибудь.

— Все скажу.

— Говорите: мы слушаемъ.

— Я не вамъ, я самому автору скажу.

— Что̀ скажете?

— Все что здѣсь происходило и что̀ говорили о его романѣ...

— Нельзя: мало ли что тутъ говорили. Онъ обидится.

— Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что̀ дѣлали и говорили...

— Все?

— Все, даже и про ананасъ съ дыней не забуду!

— Скорѣй! скорѣй! кончимъ ихъ...

— Некогда, смотрите, на дворѣ день!

Всѣ оглянулись къ окнамъ. Майское утро превозмогало, даже сквозь густые занавѣсы, блескъ свѣчей.

Кряковъ вдругъ всталъ съ мѣста и скорыми шагами подошелъ къ хозяину, вмѣстѣ съ студентомъ.

— Прощайте, мнѣ пора! сказалъ онъ:—спасибо вамъ! Прекрасный вечеръ! Мнѣ очень весело было... Ужинъ отличный, и вино тоже!

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой. Хозяинъ, Суховъ, генералъ окружили его. Прочіе сидѣли.

— Не хотите ли рюмку на прощанье? сказалъ хозяинъ.

— Хоть стаканъ, съ удовольствіемъ!

Ему подали вина.

— За ваше здоровье! Благодарю! Я очень доволенъ вами! очень!

Всѣ хохотали.

— А мы-то вами какъ! сказалъ Суховъ. Урановъ пожималъ ему обѣ руки.

— Намъ надо васъ благодарить! Вы доставили намъ такъ много удовольствія... говорилъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, я радъ! Прощайте и вы всѣ;

сказалъ онъ прочимъ собесѣдникамъ: — я на васъ не сержусь, господа!

Общій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

— Il ne manquait que ça! Est-il drôle! раздалось среди смѣха въ другомъ концѣ стола.

— Право, не сержусь! ни на кого! даже и на васъ! обратился онъ къ Красноперову. — И на ваше превосходительство тоже! обратился онъ къ генералу. — Дайте руку!

— Вы очень добры! сказалъ генералъ и весело хлопнулъ рукой по его ладони.

Красноперовъ надулся. Хохотъ такъ и гудѣлъ.

— Что же вы смѣетесь? упрекнулъ Кряковъ.—Скажите имъ, что это неучтиво! обратился онъ къ Чешневу, — вы мнѣ дали урокъ въ учтивости, а они вонъ чтó! Смѣйтесь, когда уйду!

Но у всѣхъ лица такъ и сіяли отъ смѣха.

— Dieu, Dieu, Dieu, Dieu! повторялъ гость въ концѣ стола.

— Я самъ пріѣду къ вамъ съ визитомъ благодарить васъ за посѣщеніе! сказалъ хозяинъ.

— Хорошо, хорошо! очень радъ! Славная мысль! буду ждать васъ! отвѣчалъ Кряковъ. — Зачѣмъ съ визитомъ, да еще благодарить? Просто такъ пріѣзжайте! Не обманите!

Урановъ молчалъ и въ недоумѣніи поглядывалъ на него.

— И мнѣ позвольте покороче познакомиться съ вами и просить васъ когда-нибудь сдѣлать мнѣ честь пожаловать ко мнѣ! сказалъ Суховъ.—Я пріѣду къ вамъ вотъ съ Григоріемъ Петровичемъ...

— Буду ожидать; чтожъ, я радъ!.. И васъ всѣхъ прошу: милости просимъ ко мнѣ, кому угодно...

Всѣ смѣялись.

— Я теперь въ Павловскѣ! прибавилъ онъ.

— На дачѣ? Гдѣ же васъ тамъ найти? спросилъ съ улыбкой Суховъ.

— Вотъ онъ знаетъ! отвѣчалъ Кряковъ, указывая на молодаго Уранова.—Съ нимъ пріѣзжайте! вотъ бы въ четвергъ: тамъ музыка въ этотъ день... Право!

— Гдѣ же мы васъ тамъ, на музыкѣ встрѣтимъ? спросилъ Уранонъ съ улыбкой.

И всѣ улыбались.

— Да, хоть на музыкѣ, а потомъ ко мнѣ.,.

— Прощайте, прощайте, не поминайте лихомъ! твердилъ онъ обходя столъ, Чешневу онъ молча подалъ руку и крѣпко пожалъ ее; тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же и съ какимъ-то состраданіемъ посмотрѣлъ ему въ слѣдъ.—Теперь, кажется, мало такихъ, замѣтилъ онъ тихо сосѣду: — это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ!

— И этотъ, я думаю, тоже отвѣчалъ тотъ тихо, указывая глазами на Красноперова.

Кряковъ все прощался.

— Et vous, là-bas sans rancune! сказалъ онъ вдругъ, подходя къ концу стола, откуда раздавались французскія фразы.

— Tiens! il parle correctement! замѣтили тамъ.

Потомъ онъ остановился около Лилиной.

— Прощайте, барыня! сказалъ онъ!—я и на васъ не сержусь; видите, какой я добрый!—Хохотъ возобновился.

— Докажите же и вы доброту: дайте мнѣ руку на прощанье! не бойтесь, я не укушу!

Всѣ съ любопытствомъ и смѣхомъ смотрѣли на нихъ обоихъ. Лилина робко и нерѣшительно положила свою руку на его ладонь, особенно когда увидѣла, что у него рука была чистая и изъ рукава виднѣлись манжеты безукоризненной бѣлизны.

— Не сердитесь? нѣтъ? спрашивалъ онъ, держа ея руку.

*

— Нѣтъ, нисколько! сказала она, поглядывая на окружающихъ:—мнѣ тоже было весело!

— И прекрасно! А какая у васъ славная ручка: стройная, правильная, образцовая...

Она хотѣла отнять руку, особенно когда всѣ, не удерживая смѣха, смотрѣли на эту сцену. Но онъ держалъ ее крѣпко.

— Только пухла очень, мягка, изнѣжена она! Я знаю однако одну руку, которая не уступитъ вашей, особенно если на нее надѣть вотъ этакую лепешку!—Онъ указалъ на ея браслетъ съ большимъ изумрудомъ и съ брильянтами вокругъ.— Но та рука грубѣе; она не нѣжится, а работаетъ и иглой, при случаѣ и сваритъ что-нибудь, и около дѣтей повозится!

— Чья же эта такая счастливая рука, что удостоилась вашего вниманія? съ кокетливой ироніей спросила Лилина, уже переставшая робѣть. — Извините за нескромный вопросъ! прибавила она.

— Моей жены, вотъ чья! славная бабенка! сказалъ Кряковъ.—Но все-таки и у васъ ручка образцовая!

Онъ вдругъ чмокнулъ ея руку и быстро побѣжалъ вонъ, преслѣдуемый дружнымъ хохотомъ и восклицаніями всѣхъ гостей. За нимъ слѣдовалъ студентъ, а сзади провожалъ хозяинъ. Двери затворились и хозяинъ воротился на свое мѣсто.

— Каковъ! а! раздавалось съ разныхъ сторонъ.

— Mais c'est une horreur! c'est une peste!

— Помилуйте, прелесть! говорилъ Суховъ.

— L'ours mal léché! Oh, quelle horreur!

— А я вижу, что онъ добрый ма́лый, воля ваша! сказалъ генералъ.

— И какой умный, образованный! прибавилъ редакторъ.

— Паршивая овца! сказалъ Красноперовъ:—все стадо перепортитъ!

— Заблудшая овца! поправилъ съ сожалѣніемъ профессоръ.

— А вы, Дмитрій Ивановичъ, какъ находите его?

— Онъ для меня... загадка! сказалъ тотъ задумчиво.— Вы, конечно, знаете, его? спросилъ онъ у редактора журнала.

— Нѣтъ, въ первый разъ слышу его имя, сказалъ тотъ. —Теперь такъ много пишущихъ въ газетахъ и журналахъ!

Въ эту минуту воротился молодой Урановъ и съ веселымъ видомъ смотрѣлъ на гостей.

— Ну что, проводилъ гостя? спросилъ его дядя.

— Да! Какъ онъ вамъ понравился?

Всѣ повторили ему свои отзывы.

— Еще приглашаетъ къ себѣ! сказалъ Красноперовъ.— Кто поѣдетъ къ эдакому уроду, куда-нибудь въ трущобу, на чердакъ!

— Мы поѣхали бы—вотъ съ нимъ! сказалъ хозяинъ, показывая на Сухова:—еслибъ это было въ городѣ. Но, конечно, онъ не серьезно приглашалъ насъ, да еще въ Павловскъ! Ты, Митя, завези ему просто наши карточки.

— Напротивъ, онъ очень серьезно приглашаетъ васъ всѣхъ—сказалъ студентъ съ лукавымъ смѣхомъ;—и даже васъ! обратился онъ къ Лилиной.—Вотъ и приглашеніе!

Онъ подалъ дядѣ какой-то листокъ. Всѣ навострили уши и жадно впились глазами въ хозяина.

— Что это такое! сказалъ тотъ и началъ читать въ слухъ:

„Въ четвергъ, 12-го мая, въ Павловскомъ театрѣ, данъ будетъ, въ пользу Герцоговинцевъ, спектакль, съ участіемъ артиста Императорскихъ театровъ...“

Онъ не успѣлъ договорить имени артиста, какъ все об-

щество гостей привстало съ мѣстъ, хоромъ ахнуло и вдругъ оцепенѣло въ молчаніи.

— Это онъ! возможно ли! шепнулъ кто-то точно въ испугѣ.

— Diable! diable! nous sommes joliment attrapés! проговорилъ про себя другой.

Общая картина, которою вполнѣ наслаждался только одинъ зритель, молодой Урановъ.

Затѣмъ послѣдовалъ общій, сплошной смѣхъ.—А мы-то!—А я-то! вырывалось среди хохота, то у того, то у другаго. Чешневъ такъ и заливался дѣтскимъ смѣхомъ надъ собою. Только Красноперовъ угрюмо молчалъ.

— Какъ это тебѣ въ голову пришло, Митя! обнимая племянника, сказалъ Урановъ.

— Вы просили, дядя, помочь, чтобъ весело было! сказалъ тотъ.

— Спасибо! я въ долгу у тебя не останусь! заключилъ Урановъ.

Еще собесѣдники не очнулись отъ смѣха, какъ вошелъ человѣкъ и сказалъ, что швейцаръ пришелъ снизу доложить что-то нужное. Швейцаръ и самъ выглядывалъ изъ-за дверей въ залу.

— Что такое случилоть? что тебѣ? спросилъ Григорій Петровичъ швейцара.—Войди!

— На счетъ гостя; вотъ что сейчасъ изволили уйти...

— Ну?

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ждали.

— Когда они вышли, я подалъ имъ пальто; а они подошли къ зеркалу, покосились на меня и отвернулись вотъ эдакъ спиной... а я въ зеркало-то все и увидалъ...

— Что-жъ ты увидалъ?

— Они хвать за усы, да въ карманъ ихъ, хвать за бороду—да въ карманъ! Гляжу, совсѣмъ другой человѣкъ

сталъ! Да безъ оглядки какъ бросится вонъ, на извощика— и такъ прытко погнали...

— Ну что же?

— Я и побѣжалъ наверхъ доложить... господинъ незнакомый, въ первый разъ... все-ли цѣло... серебро... Можно догнать...

Всеобщій гомерическій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

Съ хохотомъ гости прощались съ Урановымъ, съ хохотомъ шли по лѣстницѣ, одѣвались и разъѣзжались.

Въ слѣдующій за этимъ вечеромъ, въ четвергъ, вечерній поѣздъ привезъ въ семь часовъ, въ Павловскъ всѣхъ гостей, бывшихъ на литературномъ вечерѣ Уранова, кромѣ Красноперова и графа Пестова, и много другихъ лицъ того же круга. За два дня до спектакля не было уже ни одного мѣста; билеты были распроданы по баснословной цѣнѣ.

Артиста какъ и всегда, при его появленіи встрѣтилъ восторженный пріемъ. Раскланиваясь, онъ особый поклонъ обратилъ въ ту сторону, гдѣ сидѣли: Урановъ, Суховъ, генералъ, самъ авторъ романа и дамы, между прочими, графиня Синявская съ дочерью, княгиня и княжна Тецкія, Лилина и много другихъ. Пьеса прошла блистательно, вызовамъ не было конца, букетамъ и подаркамъ тоже. Тутъ были и вѣнки, и несесеры, и футляры съ разными вещами. Общее вниманіе обратилъ поданный изъ ложи, черезъ капельдинера, большой старинный серебряный кубокъ, изящной работы, который Урановъ показывалъ за ужиномъ своимъ гостямъ.

Артистъ принялъ кубокъ, узналъ его, взглянулъ на ложу, откуда его подали, и не могъ даже поклониться. Онъ только приложилъ руку къ сердцу.

На кубкѣ были вырѣзаны имена всѣхъ присутствовавшихъ за ужиномъ.

„Истинному виновнику вечера 7-го мая—благодарные собесѣдники“, сказано было въ запискѣ, вложенной въ кубокъ.

Тамъ же оказался футляръ съ браслетомъ, украшеннымъ большимъ изумрудомъ съ бриллiантами вокругъ.

„Съ одной женской руки на другую, достойнѣйшую, руку супруги знаменитаго артиста—отъ женщины“, написано было мелкимъ женскимъ почеркомъ на бумажкѣ.

Наконецъ, со дна кубка артистъ досталъ пачку радужныхъ ассигнацiй. Онъ сосчиталъ—оказалось пятьсотъ рублей. Онъ отнесъ ихъ въ кассу, взялъ росписку въ полученiи пожертвованiя отъ такихъ-то лицъ въ пользу славянъ — и отправилъ ее на другой день съ своею визитною карточкою къ Уранову.

Сентябрь 1877.

МИЛЬОНЪ ТЕРЗАНІЙ.

«МИЛЬОНЪ ТЕРЗАНІЙ».

(Критическій этюдъ).

Горе отъ ума, *Грибоѣдова.*—Бенефисъ Монахова, ноябрь, 1871 г.

Комедія „Горе отъ ума“ держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается моложавостью, свѣжестью и болѣе крѣпкой живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И ни кому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины конечно не даромъ поступили въ такъ-называемый „храмъ безсмертія“. У всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибоѣдова. Ихъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, плодотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства тоже, что Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ,—взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что успѣлъ взять Грибоѣдовъ и до чего не договорился Пушкинъ.

Не смотря на геній Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Ге-

ніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству—сами становятся исторіей. Мы изучили Онѣгина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ Лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онѣгинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позднѣе ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедію „Недоросль" Фонъ-Визина,—и основательно — ея живая, горячая пора продолжалась около полувѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ „Недорослѣ" на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

„Горе отъ ума" появилось раньше Онѣгина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо чрезъ Гоголевскій періодъ, прожило эти полвѣка со времени своего появленія и все живетъ своею нетлѣнною жизнью, переживетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что́ такое вообще это „Горе отъ ума?"

Критика не трогала комедію съ однажды занятаго ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила мильонъ въ гривенники, и до того испестри-

ла Грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе—и не только не опошлилась, но сдѣлалась, какъ будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, перейдя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ бо́льшею или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказываясь въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всѣми навсегда, что комедія образцовое произведеніе—и на томъ всѣ помирились.

И мы здѣсь не претендуемъ произнести критическій приговоръ, въ качествѣ присяжнаго критика: рѣшительно уклоняясь отъ этого—мы, въ качествѣ любителя, только высказываемъ свои размышленія, тоже по поводу одного изъ послѣднихъ представленій „Горе отъ ума“ на сценѣ. Мы хотимъ подѣлиться съ читателемъ этими своими мнѣніями, или лучше сказать сомнѣніями о томъ, такъ ли играется пьеса, т. е. съ той ли точки зрѣнія смотрятъ обыкновенно на ея исполненіе и сами артисты, и зрители? А заговоривъ объ этомъ, нельзя не высказать мнѣній и сомнѣній и о томъ, такъ ли должно понимать самую пьесу, какъ ее понимаютъ нѣкоторые исполнители и, можетъ быть, и зрители. Не хотимъ опять сказать, что мы считаемъ нашъ способъ пониманія непогрѣшимымъ—мы предлагаемъ его только какъ одинъ изъ способовъ пониманія, или какъ одну изъ точекъ зрѣнія.

Что дѣлать актеру, вдумывающемуся въ свою роль въ этой пьесѣ? Положиться на одинъ собственный судъ—не достанетъ никакого самолюбія, а прислушаться за сорокъ лѣтъ къ говору общественнаго мнѣнія—нѣтъ возможности, не затерявшись въ мелкомъ анализѣ. Остается, изъ безчислен-

наго хора высказанныхъ и высказывающихся мнѣній, остановиться на нѣкоторыхъ общихъ выводахъ, наичаще повторяемыхъ — и на нихъ уже строить собственный планъ оцѣнки.

Одни цѣнятъ въ комедіи картину московскихъ нравовъ извѣстной эпохи, созданіе живыхъ типовъ и ихъ искусную группировку. Вся пьеса представляется какимъ-то кругомъ знакомыхъ читателю лицъ, и притомъ такимъ опредѣленнымъ и замкнутымъ, какъ колода картъ. Лица Фамусова, Молчалина, Сколозуба и другія врѣзались въ память также твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного—Чацкаго. Такъ всѣ они начертáны вѣрно и строго и такъ примелькались всѣмъ. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: чтò онъ такое? Онъ какъ будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ. Если было мало разногласія въ пониманіи другихъ лицъ, то о Чацкомъ, напротивъ, разнорѣчія не кончились до сихъ поръ и можетъ быть не кончатся еще долго.

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе эпиграмматической солью языка, живой сатирой—моралью, которою пьеса до сихъ поръ, какъ неистощимый колодезь, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.

Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую „комедію“, дѣйствіе, и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ однако, когда мѣняется персоналъ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самыхъ роляхъ, какъ-будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основан-

ная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждаго служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т. е., что комедія „Горе отъ ума“ есть и картина нравовъ, и галлерея живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія и, скажемъ сами за себя—больше всего комедія—какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ высказанныхъ условій. Какъ картина, она безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни—отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта, въ каплѣ воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою жудожественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

Въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни одного посторонняго, лишняго штриха и звука—зритель и читатель, чувствуютъ себя и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее и детали, все это не сочинено, а такъ цѣликомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всѣмъ „особымъ отпечаткомъ“ Москвы,—отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы неполна.

Однако для насъ она еще не вполнѣ законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобъ между ею и нашимъ временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ; вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть: мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и пр. видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу Грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь при-

глашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петровича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалинъ, даже передъ горничной, втихомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщалъ ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ далекомъ захолустьѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угодничать и „награжденья брать и весело пожить", пока сплетни, бездѣлье, пустота, будутъ господствовать, не какъ пороки, а какъ стихіи общественной жизни,—до тѣхъ поръ, конечно, будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ „особый отпечатокъ", которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы конечно остаются всегда, хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемые отъ временныхъ перемѣнъ типы, такъ что, на смѣну старому, художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, являвшіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты нравовъ и вообще людской натуры, облекая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ конечно—вѣчный типъ, Фальстафъ—вѣчный характеръ — но и тотъ и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманѣ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока, и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлереи.

Это особенно можно отнести къ Грибоѣдовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ ярокъ, и обозначеніе самыхъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картина современныхъ нравовъ, комедія „Горе отъ ума“ была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щепкинъ, Мочаловъ, Львова-Синецкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ „вѣка минувшаго“, когда писалась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

„Какъ посмотрѣть да посмотрѣть“ (говоритъ онъ),

„Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минувшій*,

„Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“—

а про свое время выражается такъ:

„*Теперь* вольнѣе всякій дышетъ“—

или:

„Бранилъ *вашъ* вѣкъ я безпощадно“,

— говоритъ онъ Фамусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немногое отъ мѣстнаго, колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства Молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поэзія фрунта уступила мѣсто строгому и раціональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этотъ разговорный стихъ, кажется, никогда не умрутъ, какъ и самъ, разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій, живой русскій умъ, который Грибоѣдовъ заключилъ, какъ волшебникъ духа какого нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злобнымъ смѣхомъ. Нельзя представить себѣ, чтобъ могла явиться когда нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе взятая изъ жизни рѣчь.

Проза и стихъ слились здѣсь во что-то нераздѣльное, затѣмъ кажется, чтобы, ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ такъ-же дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ, какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все вмѣстѣ, будто вылилось разомъ, и все образовало необыкновенную комедію—и въ тѣсномъ смыслѣ какъ сценическую пьесу,—и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другимъ ничѣмъ какъ комедіей она и не могла бы быть.

Оставя двѣ капитальныя стороны пьесѣ, которыя такъ явно говорятъ за себя, и потому имѣютъ большинство почитателей,—т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка,—обратимся сначала къ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ, потомъ какъ къ комедіи вообще, къ ея общему смыслу, къ главному разуму ея въ общественномъ и литературномъ значеніи, наконецъ, скажемъ и объ исполненіи ея на сценѣ.

Давно привыкли говорить, что нѣтъ движенія, т.-е. нѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ нѣтъ движенія? Есть—живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: „Карету мнѣ, карету!“

Это — тонкая, умная изящная и страстная комедія, въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ,—вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ, — но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, геніальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, прелестью языка, всѣми поэтическими силами, такъ обильно разлитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами, кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разъѣздѣ въ сѣняхъ зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между

главными лицами, и вдругъ припоминаетъ комедію-интригу. Но и то не надолго. Передъ нимъ уже выростаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Главная роль конечно — роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій, не только умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ—это человѣкъ, не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомендуетъ его горничная Лиза, онъ „чувствителенъ и веселъ, и остеръ". Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣе Онѣгина и Лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь „умъ".

И Онѣгинъ, и Печоринъ, оказались неспособны къ дѣлу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около нихъ все истлѣло. Они были даже „озлоблены", носили въ себѣ и „недовольство" и бродили какъ тѣни съ „тоскующею лѣнью". Но презирая пустоту жизни,

праздное барство, они поддавались ему и не подумали, ни бороться съ нимъ, ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Онѣгину франтить, „блестѣть“ и въ театрѣ, и на балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серьезно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мыкать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Бэлой, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тупымъ Максимомъ Максимычемъ: это равнодушіе—считалось квинтъ-эссенціей донъ-жуанства. Оба томились, задыхались въ своей средѣ, и не знали, чего хотѣть. Онѣгинъ пробовалъ читать, но зѣвнулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука „страсти нѣжной“, а прочему всему они учились „чему-нибудь и какъ-нибудь“—и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ готовился серьезно къ дѣятельности. „Онъ славно пишетъ, переводитъ“, говоритъ о немъ Фамусовъ, и всѣ твердятъ о его высокомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовалъ не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, былъ въ сношеніяхъ съ министрами и разошелся — не трудно догадаться почему:

«Служить бы радъ, прислуживаться тошно»,

— намекаетъ онъ самъ. О „тоскующей лѣни, о праздной скукѣ“ и помину нѣтъ, а еще менѣе о „страсти нѣжной“, какъ о наукѣ и о занятіи. Онъ любитъ серьезно, видя въ Софьѣ будущую жену.

Между тѣмъ Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу—не найдя ни въ комъ „сочувствія живаго“, и уѣхать, увозя съ собой только „мильонъ терзаній“.

Ни Онѣгинъ, ни Печоринъ не поступили бы такъ неумно вообще, въ дѣлѣ любви и сватовства особенно. Но за то они уже поблѣднѣли и обратились для насъ въ каменныя

статуи, а Чацкій остается и останется всегда въ живыхъ за эту свою „глупость“.

Читатель помнитъ, конечно, все что́ продѣлалъ Чацкій. Прослѣдимъ слегка ходъ пьесы и постараемся выдѣлить изъ нея драматическій интересъ комедіи, то движеніе, которое идетъ черезъ всю пьесу, какъ невидимая, но живая нить, связующая всѣ части и лица комедіи между собою.

Чацкій вбѣгаетъ къ Софьѣ, прямо изъ дорожнаго экипажа, не заѣзжая къ себѣ, горячо цѣлуетъ у ней руку, глядитъ ей въ глаза, радуется свиданію, въ надеждѣ найти отвѣтъ прежнему чувству—и не находитъ. Его поразили двѣ перемѣны: она необыкновенно похорошѣла и охладѣла къ нему—тоже необыкновенно.

Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно онъ старается посыпа̀ть солью юмора свой разговоръ, частію играя этой своей силой, чѣмъ конечно прежде нравился Софьѣ, когда она его любила, — частію подъ вліяніемъ досады и разочарованія. Всѣмъ достается, всѣхъ перебралъ онъ — отъ отца Софьи до Молчалина—и какими меткими чертами рисуетъ онъ Москву — и сколько изъ этихъ стиховъ ушло въ живую рѣчь! Но все напрасно: нѣжныя воспоминанія, остроты—ничто не помогаетъ. Онъ *терпитъ отъ нея однѣ холодности*, пока, ѣдко задѣвъ Молчалина, онъ не задѣлъ за живое и ее. Она уже съ скрытой злостью спрашиваетъ его, случилось ли ему хоть нечаянно „добро о комъ-нибудь сказать“, и исчезаетъ при входѣ отца, выдавъ послѣднему почти головой Чацкаго, т.-е. объявивъ его героемъ разсказаннаго передъ тѣмъ отцу сна.

Съ этой минуты между ею и Чацкимъ завязался горячій поединокъ, самое живое дѣйствіе, комедія въ тѣсномъ смыслѣ, въ которой принимаютъ близкое участіе два лица, Молчалинъ и Лиза.

Всякій шагъ Чацкаго, почти всякое слово въ пьесѣ, тѣсно связаны съ игрой чувства его къ Софьѣ, раздраженнаго какою-то ложью въ ея поступкахъ, которую онъ и бьется разгадать до самаго конца. Весь умъ его и всѣ силы уходятъ въ эту борьбу: она и послужила мотивомъ, поводомъ къ раздраженіямъ, къ тому „мильону терзаній", подъ вліяніемъ которыхъ онъ только и могъ сыграть указанную ему Грибоѣдовымъ роль, роль гораздо бо́льшаго, высшаго значенія, нежели неудачная любовь, словомъ роль, для которой и родилась вся комедія.

Чацкій почти не замѣчаетъ Фамусова, холодно и разсѣянно отвѣчаетъ на его вопросъ, гдѣ былъ? „Теперь мнѣ до того ли?" говоритъ онъ, и обѣщая пріѣхать опять, уходитъ, проговаривая изъ того, что его поглощаетъ:

«Какъ Софья Павловна у васъ похорошѣла!»

Во второмъ посѣщеніи онъ начинаетъ разговоръ опять о Софьѣ Павловнѣ.—„Не больна ли она? не приключилось ли ей печали?"—и до такой степени охваченъ и подогрѣтымъ ея разцвѣтшей красотой чувствомъ, и ея холодностью къ нему, что, на вопросъ отца, не хочетъ ли онъ на ней жениться, въ разсѣянности спрашиваетъ: „А вамъ на что?" И потомъ равнодушно, только изъ приличія, дополняетъ:

«Пусть я посватаюсь, вы что бы мнѣ сказали?»

И почти не слушая отвѣта, вяло замѣчаетъ на совѣтъ „послужить:"

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно!»

Онъ и въ Москву, и къ Фамусову, пріѣхалъ очевидно для Софьи и къ одной Софьѣ. До другихъ ему дѣла нѣтъ; ему и теперь досадно, что онъ, вмѣсто нея, нашелъ одного Фамусова. „Какъ здѣсь бы ей не быть?" задается онъ вопросомъ, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую въ немъ „ни даль не охладила, ни раз-

влеченіе, ни перемѣна мѣстъ", — и мучается ея холодностью.

Ему скучно и говорить съ Фамусовымъ—и только положительный вызовъ Фамусова на споръ выводитъ Чацкаго изъ его сосредоточенности:

«Вотъ то-то, всѣ вы гордецы:
«Смотрѣли бы какъ дѣлали отцы,
«Учились бы на старшихъ глядя!»

—говоритъ Фамусовъ и затѣмъ чертитъ такой грубый и уродливый рисунокъ раболѣпства, что Чацкій не вытерпѣлъ и въ свою очередь сдѣлалъ паралель вѣка „минувшаго" съ вѣкомъ „нынѣшнимъ«.

Но все еще раздраженіе его сдержано: онъ какъ будто совѣстится за себя, что вздумалъ отрезвлять Фамусова отъ его понятій; онъ спѣшитъ вставить, что „не о дядюшкѣ его говоритъ", котораго привелъ въ примѣръ Фамусовъ, и даже предлагаетъ послѣднему побранить и свой вѣкъ, наконецъ, всячески старается замять разговоръ, видя, какъ Фамусовъ заткнулъ уши,—успокоиваетъ его, почти извиняется:

«Длить споры не мое желанье»,

—говоритъ онъ. Онъ готовъ опять войти въ себя. Но его будитъ неожиданный намекъ Фамусова на слухъ о сватовствѣ Скалозуба.

«Вотъ будто женится на Софьюшкѣ»... и т. д.

Чацкій навострилъ уши.

«Какъ суетится, что за прыть!»—

„А Софья? Нѣтъ ли впрямъ тутъ жениха какого?" говоритъ онъ, и хотя потомъ прибавляетъ:

«Ахъ—тотъ скажи любви конецъ,
«Кто на три года вдаль уѣдетъ!»

—но самъ еще не вѣритъ этому, по примѣру всѣхъ влюбленныхъ, пока эта любовная аксіома не разыгралась надъ нимъ до конца.

Фамусовъ подтверждаетъ свой намекъ о женитьбѣ Скалозуба, навязывая послѣднему мысль „о генеральшѣ“, и почти явно вызываетъ на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрѣнія Чацкаго о причинахъ перемѣны къ нему Софьи. Онъ даже согласился-было на просьбу Фамусова бросить „завиральныя идеи“ и помолчать при гостѣ. Но раздраженіе уже шло crescendo, и онъ вмѣшался въ разговоръ, пока небрежно, а потомъ, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова его уму и проч., возвышаетъ тонъ и разрѣшается рѣзкимъ монологомъ:

„А судьи кто?“ и т. д. Тутъ уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, цѣлая битва. Здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ раздается, какъ въ увертюрѣ оперъ, главный мотивъ, намекается на истинный смыслъ и цѣль комедіи. Оба, Фамусовъ и Чацкій, бросили другъ другу перчатку:

«Смотрѣли бы, какъ дѣлали отцы,
«Учились бы на старшихъ глядя!»

—раздался военный кликъ Фамусова. А кто эти старшіе и „судьи?“

...«За дряхлостію лѣтъ
«Къ свободной жизни ихъ вражда непримира»,

—отвѣчаетъ Чацкій и казнитъ—

«Прошедшаго житья подлѣйшія черты».

Образовались два лагеря, или съ одной стороны, цѣлый лагерь Фамусовыхъ и всей братіи „отцовъ и старшихъ“,— съ другой, одинъ пылкій и отважный боецъ, „врагъ исканій“. Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существованіе, какъ новѣйшіе натуралисты опредѣляютъ естественную смѣну поколѣній въ животномъ мірѣ. Фамусовъ хочетъ быть „тузомъ“—„ѣсть на серебрѣ и на золотѣ, ѣздить цугомъ, весь въ орденахъ, быть богатымъ и видѣть дѣтей

богатыми, въ чинахъ, въ орденахъ и съ ключемъ"—и такъ безъ конца, и все это только за то, что онъ подписываетъ бумаги, не читая и боясь одного, „чтобъ множество не накопилось ихъ".

Чацкій рвется къ „свободной жизни", „къ занятіямъ наукой и искусствомъ и требуетъ службы дѣлу, а не лицамъ" и т. д. На чьей сторонѣ побѣда? Комедія даетъ Чацкому только *„мильонъ терзаній"* и оставляетъ, по видимому, въ томъ же положеніи Фамусова и его братію, въ какомъ они были, ничего не говоря о послѣдствіяхъ борьбы.

Теперь намъ извѣстны эти послѣдствія. Они обнаружились съ появленіемъ комедіи, еще въ рукописи, въ свѣтъ—и какъ эпидемія охватили всю Россію!

Между тѣмъ интрига любви идетъ своимъ чередомъ, правильно, съ тонкою психологическою вѣрностью, которая во всякой другой пьесѣ, лишенной прочихъ колоссальныхъ Грибоѣдовскихъ красотъ—могла бы сдѣлать автору имя.

Обморокъ Софьи при паденіи съ лошади Молчалина, ея участье къ нему, такъ неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкаго на Молчалина—все это усложнило дѣйствіе и образовало тотъ главный пунктъ, который назывался въ піитикахъ завязкою. Тутъ сосредоточился драматическій интересъ. Чацкій почти угадалъ истину.

«Смятенье, обморокъ, поспѣшность, гнѣвъ испуга (по случаю паденья съ лошади Молчалина).
«Все это можно ощущать
«Когда лишаешься единственнаго друга».

—говоритъ онъ и уѣзжаетъ въ сильномъ волненіи, въ мукахъ подозрѣній на двухъ соперниковъ.

Въ третьемъ актѣ онъ раньше всѣхъ забирается на балъ, съ цѣлью „вынудить признанье" у Софьи — и съ дрожью

нетерпѣнья приступаетъ къ дѣлу прямо съ вопросомъ: „Кого она любитъ?“

Послѣ уклончиваго отвѣта, она признается, что ей милѣе его „иные“. Кажется ясно. Онъ и самъ видитъ это и даже говоритъ:

«И я чего хочу, когда все рѣшено?
«Мнѣ въ петлю лѣзть, а ей смѣшно!»

Однако лѣзетъ, какъ всѣ влюбленные, несмотря на свой „умъ“, и уже слабѣетъ передъ ея равнодушіемъ. Онъ бросаетъ никуда негодное противъ счастливаго соперника оружіе—прямое нападеніе на него, и снисходитъ до притворства:

«Разъ въ жизни притворюсь,»

рѣшаетъ онъ—чтобъ „разгадать загадку“, а собственно, чтобъ удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стрѣлѣ, пущенной въ Молчалина. Это не притворство, а уступка, которую онъ хочетъ выпросить то, чего нельзя выпросить — любви, когда ея нѣтъ. Въ его рѣчи уже слышится молящій тонъ, нѣжные упреки, жалобы:

«Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та...
«Чтобъ, кромѣ васъ, ему міръ цѣлый
«Казался прахъ и суета?
«Чтобъ сердца каждое біенье
«Любовью ускорялось къ вамъ...»

— говоритъ онъ — и наконецъ:

«Чтобъ равнодушнѣе мнѣ понести утрату,
«Какъ человѣку — вы, который съ вами взросъ—
«Какъ другу вашему, какъ брату,
«Мнѣ дайте убѣдиться въ томъ...»

Это уже слезы. Онъ трогаетъ серьезныя струны чувства —

«Отъ сумасшествія могу я остеречься,
«Пущусь подалѣе простыть, охолодѣть»....

— заключаетъ онъ. Затѣмъ оставалось только упасть на

колѣни и зарыдать. Остатки ума спасаютъ его отъ безполезнаго униженія.

Такую мастерскую сцену, высказанную такими стихами, едва ли представляетъ какое-нибудь другое драматическое произведеніе. Нельзя благороднѣе и трезвѣе высказать чувство, какъ оно высказалось у Чацкаго, нельзя тоньше и граціознѣе выпутаться изъ ловушки, какъ выпутывается Софья Павловна. Только Пушкинскія сцены Онѣгина съ Татьяной напоминаютъ эти тонкія черты умныхъ натуръ.

Софьѣ удалось-было совершенно отдѣлаться отъ новой подозрительности Чацкаго, но она сама увлеклась своей любовью къ Молчалину и чуть не испортила все дѣло, высказавшись почти открыто въ любви. На вопросъ Чацкаго:

«Зачѣмъ же вы его (Молчалина) такъ коротко узнали?»

Она отвѣчаетъ:

«Я не старалась! Богъ насъ свелъ».

Этого довольно, чтобъ открыть глаза слѣпому. Но ее спасъ самъ Молчалинъ, т.-е. его ничтожество. Она въ увлеченіи поспѣшила нарисовать его портретъ во весь ростъ, можетъ быть въ надеждѣ примирить съ этой любовью не только себя, но и другихъ, даже Чацкаго, не замѣчая какъ портретъ выходитъ пошлъ:

«Смотрите, дружбу всѣхъ онъ въ домѣ пріобрѣлъ.
«При батюшкѣ три года служитъ;
«Тотъ часто безъ толку сердитъ,
«А онъ безмолвіемъ его обезоружитъ,
«Отъ доброты души проститъ.
«А между прочимъ
«Веселостей искать бы могъ.—
«Ничуть, отъ старичковъ не ступитъ за порогъ!
«Мы рѣзвимся, хохочемъ;
«Онъ съ нами цѣлый день засядетъ, радъ не радъ,
«Играетъ»...

Далѣе:

«Чудеснѣйшаго свойства...
«Онъ наконецъ: уступчивъ, скроменъ, тихъ,
«И на душѣ проступковъ никакихъ;
«Чужихъ и вкривь и вкось не рубитъ...
«Вотъ я за что его люблю!»

У Чацкаго разсѣялись всѣ сомнѣнія:

«Она его не уважаетъ!»
«Шалитъ, она его не любитъ.
«Она не ставитъ въ грошъ его!»

— утѣшаетъ онъ себя при каждой ея похвалѣ Молчалину, и потомъ хватается за Скалозуба. Но отвѣтъ ея — что онъ „герой не ея романа", уничтожилъ и эти сомнѣнія. Онъ оставляетъ ее безъ ревности, но въ раздумьѣ—сказавъ:

«Кто разгадаетъ васъ»!

Онъ и самъ не вѣрилъ въ возможность такихъ соперниковъ, а теперь убѣдился въ этомъ. Но и его надежды на взаимность, до сихъ поръ горячо волновавшія его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться съ нимъ подъ предлогомъ, что „щипцы остынутъ", и потомъ, на просьбу его позволить зайти къ ней въ комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула отъ него и заперлась.

Онъ почувствовалъ, что главная цѣль возвращенія въ Москву ему измѣнила, и онъ отходитъ отъ Софіи съ грустью. Онъ, какъ потомъ сознается въ сѣняхъ, съ этой минуты подозрѣваетъ въ ней только холодность ко всему — и послѣ этой сцены самый обморокъ отнесъ не „къ признакамъ живыхъ страстей", какъ прежде, а „къ причудѣ избалованныхъ нервъ".

Слѣдующая сцена его съ Молчалинымъ, вполнѣ обрисовывающая характеръ послѣдняго, утверждаетъ Чацкаго окончательно, что Софья не любитъ этого соперника.

«Обманщица смѣялась надо мной»!

— замѣчаетъ онъ и идетъ на встрѣчу новымъ лицамъ.

Комедія между нимъ и Софьей оборвалась; жгучее раздраженіе ревности унялось и холодъ безнадежности пахнулъ ему въ душу.

Ему оставалось уѣхать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедія, открывается разомъ нѣсколько новыхъ перспективъ московской жизни, которыя, не только вытѣсняютъ изъ памяти зрителя интригу Чацкаго, но и самъ Чацкій какъ будто забываетъ о ней и мѣшается въ толпу. Около него группируются и играютъ, каждое свою роль, новыя лица. Это балъ, со всей московской обстановкой, съ рядомъ живыхъ сценическихъ очерковъ, въ которыхъ каждая группа образуетъ свою отдѣльную комедію, съ полною обрисовкою характеровъ, успѣвшихъ въ нѣсколькихъ словахъ разыграться въ законченное дѣйствіе.

Развѣ не полную комедію разыгрываютъ Горичевы? Этотъ мужъ, недавно еще бодрый и живой человѣкъ, теперь опустившійся, облекшійся, какъ въ халатъ, въ московскую жизнь, баринъ; „мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, идеалъ московскихъ мужей“, по меткому опредѣленію Чацкаго, — подъ башмакомъ приторной, жеманной, свѣтской супруги, московской дамы?

А эти шесть княженъ и графиня-внучка, — весь этотъ контингентъ невѣстъ „умѣющихъ, по словамъ Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцомъ и дымкой“, „поющихъ верхнія нотки и льнущихъ къ военнымъ людямъ?“

Эта Хлестова, остатокъ екатерининскаго вѣка, съ моськой, съ арапкой-дѣвочкой, — эта княгиня и князь Петръ Ильичъ — безъ слова, но такая говорящая руина прошлаго — Загорѣцкій, явный мошенникъ, спасающійся отъ тюрьмы въ лучшихъ гостиныхъ и откупающійся угодливостью, въ родѣ собачьихъ поносокъ — и эти N. N. — и всѣ толки ихъ и все занимающее ихъ содержаніе!

Наплывъ этихъ лицъ такъ обиленъ, портреты ихъ такъ

рельефны, что зритель хладѣетъ къ интригѣ, не успѣвая ловить эти быстрые очерки новыхъ лицъ и вслушиваться въ ихъ оригинальный говоръ.

Чацкаго уже нѣтъ на сценѣ. Но онъ до ухода далъ обильную пищу той главной комедіи, которая началась у него съ Фамусовымъ, въ первомъ актѣ, потомъ съ Молчалинымъ,—той битвѣ со всей Москвой, куда онъ, по цѣлямъ автора, затѣмъ и пріѣхалъ.

Въ краткихъ, даже мгновенныхъ встрѣчахъ съ старыми знакомыми, онъ успѣлъ всѣхъ вооружить противъ себя ѣдкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогиваютъ всякіе пустяки—и онъ даетъ волю языку. Разсердилъ старуху Хлестову, далъ невпопадъ нѣсколько совѣтовъ Горичеву, рѣзко оборвалъ графиню-внучку и опять задѣлъ Молчалина.

Но чаша переполнилась. Онъ выходитъ изъ заднихъ комнатъ уже окончательно разстроенный, и по старой дружбѣ, въ толпѣ опять идетъ къ Софьѣ, надѣясь хоть на простое сочувствіе. Онъ повѣряетъ ей свое душевное состояніе:

«Мильонъ терзаній»!

— говоритъ онъ:

«Груди отъ дружескихъ тисковъ,
«Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній,
«А пуще головѣ отъ всякихъ пустяковъ!
«Здѣсь у меня душа какимъ-то горемъ сжата!»

— жалуется онъ ей, не подозрѣвая, какой заговоръ созрѣлъ противъ него въ непріятельскомъ лагерѣ.

„Мильонъ терзаній“ и „горе!“ — вотъ что онъ пожалъ за все, что успѣлъ посѣять. До сихъ поръ онъ былъ непобѣдимъ: умъ его безпощадно поражалъ больныя мѣста враговъ. Фамусовъ ничего не находитъ, какъ только зажать уши противъ его логики, и отстрѣливается общими мѣстами

старой морали. Молчалинъ смолкаетъ, княжны, графини— пятятся прочь отъ него, обожженныя крапивой его смѣха, и прежній другъ его, Софья, которую одну онъ щадитъ, лукавитъ, скользитъ и наноситъ ему главный ударъ втихомолку, объявивъ его, подъ рукой, вскользь, сумасшедшимъ.

Онъ чувствовалъ свою силу и говорилъ увѣренно. Но борьба его истомила. Онъ очевидно ослабѣлъ отъ этого „мильона терзаній“, и разстройство обнаружилось въ немъ такъ замѣтно, что около него группируются всѣ гости, какъ собирается толпа около всякаго явленія, выходящаго изъ обыкновеннаго порядка вещей.

Онъ не только грустенъ, но и желченъ, придирчивъ. Онъ, какъ раненый, собираетъ всѣ силы, дѣлаетъ вызовъ толпѣ — и наноситъ ударъ всѣмъ, — но не хватило у него мощи противъ соединеннаго врага.

Онъ впадаетъ въ преувеличенія, почти въ нетрезвость рѣчи, и подтверждаетъ во мнѣніи гостей распущенный Софьей слухъ о его сумасшествіи. Слышится уже не острый, ядовитый сарказмъ, въ который вставлена вѣрная, опредѣленная идея, правда, — а какая-то горькая жалоба, какъ будто на личную обиду, на пустую, или, по его же словамъ, «незначущую встрѣчу съ французикомъ изъ Бордо“, которую онъ, въ нормальномъ состояніи духа, едва ли бы замѣтилъ.

Онъ пересталъ владѣть собой, и даже не замѣчаетъ, что онъ самъ составляетъ спектакль на балѣ. Онъ ударяется и въ патріотическій паѳосъ, договаривается до того, что находитъ фракъ противнымъ „разсудку и стихіямъ“, сердится, что madame и mademoiselle не переведены на русскій языкъ,—словомъ, „il divague!“ заключили вѣроятно о немъ всѣ шесть княженъ и графиня-внучка. Онъ чувствуетъ это и самъ, говоря, что „въ многолюдствѣ онъ растерянъ, самъ не свой!“

Онъ точно „самъ не свой“, начиная съ монолога „о французикѣ изъ Бордо“—и такимъ остается до конца пьесы. Впереди пополняется только „мильонъ терзаній“.

Пушкинъ, отказывая Чацкому въ умѣ, вѣроятно, всего болѣе имѣлъ въ виду послѣднюю сцену 4-го акта, въ сѣняхъ, при разъѣздѣ. Конечно, ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, эти франты, не сдѣлали бы того, что продѣлалъ въ сѣняхъ Чацкій. Тѣ были слишкомъ дрессированы „въ наукѣ страсти нѣжной“, а Чацкій отличается и между прочимъ искренностью и простотой, и не умѣетъ и не хочетъ рисоваться. Онъ не франтъ, не левъ. Здѣсь измѣняетъ ему, не только умъ но и здравый смыслъ, даже простое приличіе. Такихъ пустяковъ надѣлалъ онъ!

Отдѣлавшись отъ болтовни Репетилова и спрятавшись въ швейцарскую въ ожиданіи кареты, онъ подглядѣлъ свиданіе Софьи съ Молчалинымъ и разыгралъ роль Отелло, не имѣя на то никакихъ правъ. Онъ упрекаетъ ее, зачѣмъ она его „надеждой завлекла“, зачѣмъ прямо не сказала, что прошлое забыто. Тутъ что ни слово—то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и дѣлала, что уходила отъ него, едва говорила съ нимъ, призналась въ равнодушіи, назвала какой-то старый дѣтскій романъ и прятанье по угламъ „ребячествомъ“ и даже намекнула, что „Богъ ее свелъ съ Молчалинымъ“.

А онъ, потому только что —

„.....такъ страстно и такъ низко
„Былъ расточитель нѣжныхъ словъ“,

— въ ярости, за собственное свое безполезное униженіе, за напущенный на себя добровольно самимъ собой обманъ, — казнитъ всѣхъ, а ей бросаетъ жестокое и несправедливое слово:

„Съ вами я горжусь моимъ разрывомъ“,

— когда нечего было и разрывать! Наконецъ просто доходитъ до брани, изливая желчь:

„На дочь и на отца,
„И на любовника *глупца*,

— и кипитъ бѣшенствомъ на всѣхъ, „на мучителей толпу, предателей, нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простаковъ, старухъ зловѣщихъ“ и т. д. И уѣзжаетъ изъ Москвы искать „уголка оскорбленному чувству“, произнося всему безпощадный судъ и приговоръ!

Еслибъ у него явилась одна здоровая минута, еслибъ не жегъ его „мильонъ терзаній“, онъ бы конечно самъ сдѣлалъ себѣ вопросъ: „зачѣмъ и за что надѣлалъ я всю эту кутерьму?“ И конечно не нашелъ бы отвѣта.

За него отвѣчаетъ Грибоѣдовъ, который не спроста кончилъ пьесу этой катастрофой. Въ ней, не только для Софьи, но и для Фамусова и всѣхъ его гостей, „умъ“ Чацкаго, сверкавшій, какъ лучъ свѣта въ цѣлой пьесѣ, разразился въ концѣ въ тотъ громъ, при которомъ крестятся, по пословицѣ, мужики.

Отъ грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самаго появленія Чацкаго, когда Молчалинъ уже ползалъ у ногъ ея, все тою же безсознательною Софьей Павловною, съ тою же ложью, въ какой ее воспиталъ отецъ, въ какой онъ прожилъ самъ, весь его домъ и весь кругъ. Еще не опомнившись отъ стыда и ужаса, когда маска упала съ Молчалина, она прежде всего радуется, что „ночью все узнала, что нѣтъ укоряющихъ свидѣтелей въ глазахъ!“

А нѣтъ свидѣтелей, слѣдовательно все шито да крыто, можно забыть, выйти замужъ, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотрѣть...

Да никакъ не смотрѣть. Свое нравственное чувство стерпитъ, Лиза не проговорится, Молчалинъ пикнуть не

смѣетъ. А мужъ? Но какой же московскій мужъ, „изъ жениныхъ пажей“, станетъ озираться на прошлое!

Это и ея мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тѣмъ Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грѣшитъ грѣхомъ невѣдѣнія, слѣпоты, въ которой жили всѣ —

„Свѣтъ не караетъ заблужденій“
„Но тайны требуетъ для нихъ!“

Въ этомъ двустишіи Пушкина выражается общій смыслъ условной морали. Софья никогда не прозрѣвала отъ нея и не прозрѣла бы безъ Чацкаго никогда, за неимѣніемъ случая. Послѣ катастрофы, съ минуты появленія Чацкаго — оставаться слѣпой уже невозможно. Его суда, ни обойти забвеніемъ, ни подкупить ложью, ни успокоить — нельзя. Она не можетъ не уважать его и онъ будетъ вѣчнымъ ея „укоряющимъ свидѣтелемъ“, судьей ея прошлаго. Онъ открылъ ей глаза.

До него она не сознавала слѣпоты своего чувства къ Молчалину, и даже, разбирая послѣдняго, въ сценѣ съ Чацкимъ, по ниточкѣ, сама собою не прозрѣла на него. Она не замѣчала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой онъ, дрожа отъ страха, и подумать не смѣлъ. Ее не смущали свиданія наединѣ ночью, и она даже проговорилась въ благодарности къ нему въ послѣдней сценѣ, за то, что „въ ночной тиши онъ держался больше робости во нравѣ!“ Слѣдовательно и тѣмъ, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себѣ самой, а ему!

Наконецъ, въ самомъ началѣ, она проговаривается еще наивнѣе передъ горничной:

„Подумаешь, какъ счастье своенравно“,

— говоритъ она, когда отецъ засталъ Молчалина рано утромъ у ней въ комнатѣ:

„Бываетъ хуже—съ рукъ сойдетъ!“

А Молчалинъ просидѣлъ у нея въ комнатѣ цѣлую ночь. Что же разумѣла она подъ этимъ „хуже“? Можно подумать Богъ-знаетъ что: но honny soit qui mal y pense! Софья Павловна вовсе не такъ виновата, какъ кажется.

Это—смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намека на идеи и убѣжденія,—путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота — все это не имѣетъ въ ней характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея физіономіи, прячется въ тѣни что-то свое, горячее, нѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуетъ Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаньементомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы—вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ „Кузнецкій мостъ и вѣчныя обновы“, балы, такіе какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество—вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь „барышни“. Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали онѣ изъ романовъ, повѣстей—и оттуда инстинкты развивались въ уродливыя, жалкія, или глупыя свойства: мечтательность, сантиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ снотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль—а втихомолку жизнь кипила, за отсутсвіемъ здоровыхъ и серьезныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣми романами, изъ которыхъ и создалась „наука страсти нѣжной“. Онѣгины и Печорины — вотъ представители цѣлаго класса, почти породы ловкихъ кавалеровъ, jeunes premiers. Эти передовые личности въ high life — такими

являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою представительностю du bon ton, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и „озлобленіе“, и „тоскующая лѣнь“, и „интересная скука“. Пушкинъ щадилъ Онѣгина, хотя касается легкой ироніей его праздности и пустоты, но до мелочи и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета франтовство—и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни къ чему, эту fatuité, позированье, которымъ щеголями дэнди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ заманчивую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему „кавалеровъ“, и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этихъ романовъ, и обѣ стороны дрессировались до брака, который поглощалъ всѣ романы почти безслѣдно, развѣ попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сантиментальная — словомъ, дурочка, или героемъ оказывался такой искренній „сумасшедшій“, какъ Чацкій.

Но въ Софьѣ Павловнѣ, спѣшимъ оговориться, т.-е. въ чувствѣ ея къ Молчалину есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладетъ „московскій отпечатокъ“, потомъ бойкость, умѣнье владѣть собой, которое явилось въ Татьянѣ при встрѣчѣ съ Онѣгинымъ уже послѣ замужества, а до тѣхъ поръ она не съумѣла солгать о любви даже нянѣ. Но Татьяна — деревенская дѣвушка, а Софья Павловна — московская, по тогдашнему, развитая.

Между тѣмъ она въ любви своей точно такъ же готова выдать себя какъ Татьяна: обѣ, какъ въ лунатизмѣ, бродятъ въ увлеченіи, съ дѣтской простотой. И Софья, какъ Татья-

на же, сама начинаетъ романъ, не находя въ этомъ ничего предосудительнаго, даже не догадывается о томъ. Софья удивляется хохоту горничной при разсказѣ, какъ она съ Молчалинымъ проводитъ всю ночь: „Ни слова вольнаго! — и такъ вся ночь проходитъ!“ „Врагъ дерзости, всегда застѣнчивый, стыдливый!“ Вотъ чѣмъ она восхищается въ немъ! Это смѣшно, но тутъ есть какая-то почти грація—и куда далеко до безнравственности, нужды нѣтъ, что она проговорилась словомъ: хуже—это тоже наивность. Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онѣгинымъ и Молчалинымъ. Выборъ Софьи конечно не рекомендуетъ ее, но и выборъ Татьяны тоже былъ случайный, даже едва ли ей и было изъ кого выбирать.

Вглядываясь глубже въ характеръ и въ обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность (но и не „Богъ“, конечно) „свели ее“ съ Молчалинымъ. Прежде всего, влеченіе покровительствовать любимому человѣку, бѣдному, скромному, не смѣющему поднять на нее глазъ,—возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданіемъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ея вина, что изъ этого выходилъ будущій „мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга — идеалъ московскихъ мужей!“ На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще къ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюженной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникалъ не одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее и Чацкій. Послѣ него, она одна изъ всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя

противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ разстается съ прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелѣе всѣхъ, тяжелѣе даже Чацкаго, и ей достается свой „мильонъ терзаній“.

Чацкаго роль—роль страдательная: оно иначе и быть не можетъ. Такова роль всѣхъ Чацкихъ, хотя она въ то же время и всегда побѣдительная. Но они не знаютъ о своей побѣдѣ, они сѣютъ только, а пожинаютъ другіе — и въ этомъ ихъ главное страданіе т.-е. въ безнадежности успѣха.

Конечно, Павла Аѳонасьевича Фамусова онъ не образумилъ, не отрезвилъ и не исправилъ. Еслибъ у Фамусова при разъѣздѣ не было „укоряющихъ свидѣтелей“, т.-е. толпы лакеевъ и швейцара—онъ легко справился бы съ своимъ горемъ: далъ бы головомойку дочери, выдралъ бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи съ Скалозубомъ. Но теперь нельзя: на утро, благодаря сценѣ съ Чацкимъ, вся Москва узнаетъ—и пуще всѣхъ „княгиня Марья Алексѣевна“. Покой его возмутится со всѣхъ сторонъ—и по неволѣ заставитъ кое о чемъ подумать, что ему въ голову не приходило. Онъ едва ли даже кончитъ свою жизнь такимъ „тузомъ“, какъ прежніе. Толки, порожденные Чацкимъ, не могли не всколыхать всего круга его родныхъ и знакомыхъ. Онъ уже и самъ противъ горячихъ монологовъ Чацкаго не находилъ оружія. Всѣ слова Чацкаго разнесутся, повторятся всюду и произведутъ свою бурю.

Молчалинъ, послѣ сцены въ сѣняхъ — не можетъ оставаться прежнимъ Молчалинымъ. Маска сдернута, его узнали, и ему, какъ пойманному вору, надо прятаться въ уголъ. Горичевы, Загорѣцкій, княжны—всѣ попали подъ градъ его выстрѣловъ, и эти выстрѣлы не останутся безслѣдны. Въ этомъ, до сихъ поръ согласномъ хорѣ, иные голоса, еще смѣлые вчера, смолкнутъ, или раздадутся другіе и за, и противъ. Битва только разгоралась. Чацкаго авторитетъ

извѣстенъ былъ у прежде, какъ авторитетъ ума, остроумія, конечно знаній и проч. У него есть уже и единомышленники. Скалозубъ жалуется, что братъ его оставилъ службу, не дождавшись чина, и сталъ книги читать. Одна изъ старухъ ропщетъ, что племянникъ ея, князь Ѳедоръ, занимается химіей и ботаникой. Нуженъ былъ только взрывъ, бой, и онъ завязался, упорный и горячій—въ одинъ день въ одномъ домѣ, но послѣдствія его, какъ мы выше сказали, отразились на всей Москвѣ и Россіи. Чацкій породилъ расколъ, и если обманулся въ своихъ личныхъ цѣляхъ, не нашелъ „прелести встрѣчъ, живаго участья", то брызнулъ самъ на заглохшую почву живой водой — увезя съ собой „мильонъ терзаній", этотъ терновый вѣнецъ Чацкихъ—терзаній отъ всего: отъ „ума", а еще болѣе отъ „оскорбленнаго чувства".

На эту роль не годились ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, ни другіе франты. Они и новизной идей умѣли блистать какъ новизной костюма, новыхъ духовъ и проч. Заѣхавъ въ глушь, Онѣгинъ поражалъ всѣхъ тѣмъ, что къ дамамъ „къ ручкѣ не подходитъ, стаканами, а не рюмками пилъ красное вино", говорилъ просто: да и нѣтъ, вмѣсто да-съ и нѣтъ-съ. Онъ морщится отъ „брусничной воды", въ разочарованіи бранитъ луну „глупой" — и небосклонъ тоже. Онъ привезъ на гривенникъ новаго, и вмѣшавшись „умно", а не какъ Чацкій „глупо", въ любовь Ленскаго и Ольги и убивъ Ленскаго, увезъ съ собою не „мильонъ", а на „гривенникъ" же и терзаній!

Теперь, въ наше время, конечно, сдѣлали бы Чацкому упрекъ, зачѣмъ онъ поставилъ свое „оскорбленное чувство" выше общественныхъ вопросовъ, общаго блага и т. д. и не остался въ Москвѣ продолжать свою роль бойца съ ложью и предразсудками, роль—выше и важнѣе роли отвергнутаго жениха?

Да, теперь! А въ то время, для большинства, понятія объ общественныхъ вопросахъ были бы то же, что для Репетилова толки „о камерѣ и о присяжныхъ". Критика много погрѣшила тѣмъ, что въ судѣ своемъ надъ знаменитыми покойниками сходила съ исторической точки, забѣгала впередъ и поражала ихъ современнымъ оружіемъ. Не будемъ повторять ея ошибокъ—и не обвинимъ Чацкаго за то, что въ его горячихъ рѣчахъ, обращенныхъ къ фамусовскимъ гостямъ нѣтъ помина объ общемъ благѣ, когда уже и такой расколъ отъ „исканій мѣстъ, отъ чиновъ", какъ „занятіе науками и искусствами, считался „разбоемъ и пожаромъ".

Живучесть роли Чацкаго состоитъ не въ новизнѣ неизвѣстныхъ идей, блестящихъ ипотезъ, горячихъ и дерзкихъ утопій, или даже истинъ en herbe: у него нѣтъ отвлеченностей. Провозвѣстники новой зари, или фанатики, или просто вѣстовщики — всѣ эти передовые курьеры неизвѣстнаго будущаго являются—и по естественному ходу общественнаго развитія — должны являться, но ихъ роли и физіономіи до безконечности разнообразны.

Роль и физіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше всего обличитель лжи и всего, что̀ отжило, что̀ заглушаетъ новую жизнь, „жизнь свободную". Онъ знаетъ, за что̀ онъ воюетъ и что̀ должна принести ему эта жизнь. Онъ не теряетъ земли изъ подъ ногъ и не вѣритъ въ призракъ, пока онъ не облекся въ плоть и кровь, не осмыслился разумомъ, правдой, словомъ, не очеловѣчился.

Передъ увлеченіемъ неизвѣстнымъ идеаломъ, передъ обольщеніемъ мечты, онъ трезво становится, какъ остановился передъ безмысленнымъ отрицаніемъ „законовъ, совѣсти и вѣры" въ болтовнѣ Репетилова, и скажетъ свое:

„Послушай, ври, да знай же мѣру!"

Онъ очень положителенъ въ своихъ положеніяхъ и заявляетъ ихъ въ готовой программѣ, выработанной не имъ, а уже начатымъ вѣкомъ. Онъ не гонитъ съ юношескою запальчивостью со сцены всего, что̀ уцѣлѣло, что̀, по законамъ разума и справедливости, какъ по естественнымъ законамъ въ природѣ физической, осталось доживать свой срокъ, что̀ можетъ и должно быть терпимо. Онъ требуетъ мѣста и свободы своему вѣку: проситъ дѣла, но не хочетъ прислуживаться, и клеймитъ позоромъ низкопоклонство и шутовство. Онъ требуетъ „службы дѣлу, а не лицамъ", не смѣшиваетъ „веселья или дурачества съ дѣломъ" какъ Молчалинъ,—онъ тяготится среди пустой, праздной толпы „мучителей, зловѣщихъ старухъ, вздорныхъ стариковъ", отказываясь преклоняться передъ ихъ авторитетомъ дряхлости, чинолюбія, и проч. Его возмущаютъ безобразныя проявленія крѣпостнаго права, безумная роскошь и отвратительные нравы „разливанья въ пирахъ и мотовствѣ"—явленія умственной и нравственной слѣпоты и растлѣнія.

Его идеалъ „свободной жизни" опредѣлителенъ: это—свобода отъ всѣхъ этихъ исчисленныхъ цѣпей рабства, которыми оковано общество, а потомъ свобода—„вперить въ науки умъ, алчущій познаній", или безпрепятственно предаваться „искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—свобода „служить или не служить", „жить въ деревнѣ, или путешествовать", не слывя за то ни разбойникомъ, ни зажигателемъ,—и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ—отъ несвободы.

И Фамусовъ, и другіе знаютъ это и конечно про себя всѣ согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное существованіе, Фамусовъ затыкаетъ уши и клевещетъ на

Чацкаго, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу „свободной жизни“. Между прочимъ—

„Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ“,

—говоритъ онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

„Да онъ властей не признаетъ!“

И такъ, лжетъ и онъ, потому что ему нѐчего сказать, и лжетъ все то, чтó жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой—она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередный шагъ впередъ.

Чацкій сломленъ количествомъ старой силы, нанеся ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: „одинъ въ полѣ не воинъ“. Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, но передовой воинъ, застрѣльщикъ и—всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе — но всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой „мильонъ терзаній“, и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень не многимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились—хотя и безкорыстно, но для себя и не за себя, а для будущаго, и за всѣхъ, и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой — Чацкіе живутъ и

не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицемъ къ лицу въ тѣснотѣ семействъ,—все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больнаго съ здоровымъ, и все бьются въ поединкахъ, какъ Гораціи и Куріаціи, — миніатюрные Фамусовы и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго—и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла, — будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ — ни группировались люди— имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта „учиться на старшихъ глядя“ съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ „свободной жизни“ впередъ и впередъ, съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь Грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбы понятій, смѣны поколѣній. Онъ, или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее, и потому недолговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ,—или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ Сервантесовскаго Донъ-Кихота и Шекспировскаго Гамлета, являлись и являются безконечныя ихъ подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышиться Грибоѣдовскіе мотивы и слова, — и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоѣдова! Много можно бы привести Чацкихъ—являвшихся на очередной смѣнѣ

эпохъ и поколѣній—въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за успѣхъ, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда—громкихъ, великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ, не повѣсть, не комедію, не художественное явленіе, а возьмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ вѣкомъ, напримѣръ, Бѣлинскаго. Многіе изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный „мильономъ терзаній", убитый лихорадкой ожиданія и недождавшійся исполненія своихъ грезъ, которыя теперь — уже не грёзы больше.

Оставя политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка, — вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разные темные, отдаленные углы Россіи, гдѣ онѣ находили виноватаго. Въ его сарказмахъ слышится эхо Грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

И Герценъ страдалъ отъ „мильона терзаній", можетъ быть всего болѣе отъ терзаній Репетиловыхъ его же лагеря, которымъ у него при жизни не достало духа сказать: „ври, да знай же мѣру!"

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ „ложномъ стыдѣ", помѣшавшемъ сказать его.

Наконецъ—послѣднее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій—не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже

говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, напримѣръ, фигура Онѣгина и другихъ, выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя: строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эпическая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣзче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочи своихъ натуръ, легко исчерпываемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона — а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ — если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ — то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности, которыя не прячутся покорно въ сторону отъ встрѣчной уродливости, а смѣло идутъ на встрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не равную, всегда со вредомъ себѣ и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не зналъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такихъ умныхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе?

Нѣтъ, Чацкій—по нашему мнѣнію—изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ, и какъ исполнитель указанной ему Грибоѣдовымъ роли. Но повторяемъ, натура его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи.

Наконецъ, позволимъ себѣ высказать нѣсколько замѣчаній объ исполненіи комедіи на сценѣ въ недавнее время, а именно въ бенефисъ Монахова, и о томъ, чего бы могъ зритель пожелать отъ исполнителей.

Если читатель согласится, что въ комедіи, какъ мы сказали, движеніе горячо и непрерывно поддерживается отъ начала до конца, то изъ этого само собою должно слѣдовать, что пьеса въ высшей степени сценична. Она такова и есть. Двѣ комедіи, какъ-будто вложены одна въ другую: одна, такъ сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацкимъ, Софьей, Молчалинымъ и Лизой: это интрига любви, вседневный мотивъ всѣхъ комедій. Когда первая прерывается, въ промежуткѣ неожиданно другая, и дѣйствіе завязывается снова, частная комедія разыгрывается въ общую битву и связывается въ одинъ узелъ.

Артисты, вдумывающіеся въ общій смыслъ и ходъ пьесы, и каждый въ свою роль, найдутъ широкое поле для дѣйствія. Труда къ одоленію всякой, даже незначительной роли, не мало,—тѣмъ болѣе, чѣмъ добросовѣстнѣе и тоньше будетъ относиться къ искусству артистъ.

Нѣкоторые критики возлагаютъ на обязанность артистовъ исполнять и историческую вѣрность лицъ, съ колоритомъ времени во всѣхъ деталяхъ, даже до костюмовъ, т.-е. до фасона платьевъ, прическъ включительно.

Это трудно, если не совсѣмъ невозможно. Какъ историческіе типы, эти лица, какъ сказано выше, еще блѣдны, а живыхъ оригиналовъ теперь не найдешь: штудировать не съ чего. Точно также и съ костюмами. Старомодные фраки, съ очень высокой или очень низкой таліей, женскія платья съ высокимъ лифомъ, высокія прически, старые чепцы — во всемъ этомъ дѣйствующія лица покажутся бѣглецами съ толкучаго рынка. Другое дѣло, костюмы прошлаго столѣтія, совершенно отжившіе: камзолы, роброны, мушки, пудра и пр.

Но при исполненіи „Горя отъ ума“ дѣло не въ костюмахъ.

Мы повторяемъ, что въ игрѣ вообще нельзя претендовать на историческую вѣрность, такъ какъ живой слѣдъ почти пропалъ, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибѣгать къ творчеству, къ созданію идеаловъ по степени своего пониманія эпохи и произведенія Грибоѣдова.

Это первое, т.-е. главное сценическое условіе.

Второе—это языкъ, т.-е. такое же художественное исполненіе языка, какъ и исполненіе дѣйствія: безъ этого второго, конечно, невозможно и первое.

Въ такихъ высокихъ литературныхъ произведеніяхъ, какъ „Горе отъ ума“, какъ „Борисъ Годуновъ“, Пушкина, и нѣкоторыхъ другихъ, исполненіе должно быть, не только сценическое, но наиболѣе литературное, какъ исполненіе отличнымъ оркестромъ образцовой музыки, гдѣ безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и въ ней каждая нота. Актеръ, какъ музыкантъ, обязанъ доиграться, т.-е. додуматься до того звука голоса и до той интонаціи, какими долженъ быть произнесенъ каждый стихъ: это значитъ додуматься до тонкаго критическаго пониманія всей поэзіи Пушкинскаго и Грибоѣдовскаго языка. У Пушкина, напримѣръ, въ „Борисѣ Годуновѣ“, гдѣ нѣтъ почти дѣйствія, или по крайней мѣрѣ единства, гдѣ дѣйствіе распадается на отдѣльныя, несвязныя другъ съ другомъ сцены, иное исполненіе, какъ строго и художественно-литературное, и невозможно. Въ ней всякое прочее дѣйствіе, всякая сценичность, мимика, должны служить только легкой приправой литературнаго исполненія, дѣйствія въ словѣ.

За исключеніемъ нѣкоторыхъ ролей въ значительной степени можно сказать то же и о „Горѣ отъ ума“. И тамъ больше всего игры въ языкѣ: можно снести неловкость ми-

мическую, но каждое слово съ невѣрной интонаціей будетъ рѣзать ухо, какъ фальшивая нота.

Не надо забывать, что такія пьесы, какъ „Горе отъ ума“, „Борисъ Годуновъ“, публика знаетъ наизусть, и не только слѣдитъ мыслью за каждымъ словомъ, но чуетъ, такъ сказать, нервами каждую ошибку въ произношеніи. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша ихъ. Эти пьесы исполнялись и исполняются нерѣдко въ частномъ быту, просто чтеніемъ между любителями литературы, когда въ кругу найдется хорошій чтецъ, умѣющій тонко передавать эту, своего рода литературную музыку.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорятъ, эта пьеса была представлена въ лучшемъ петербургскомъ кругу съ образцовымъ искусствомъ, которому, конечно, кромѣ тонкаго критическаго пониманія пьесы, много помогалъ и ансамбль въ тонѣ, манерахъ, и особенно умѣнье отлично читать.

Исполняли ее въ Москвѣ въ 30-хъ годахъ съ полнымъ успѣхомъ. До сихъ поръ мы сохранили впечатлѣнія о той игрѣ: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкаго), Ленскаго (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успѣху много содѣйствовало поражавшее тогда новизною и смѣлостью открытое нападеніе со сцены на многое, что еще не успѣло отойти, до чего боялись дотрогиваться даже въ печати. Потомъ Щепкинъ, Орловъ, Сабуровъ выражали типично еще живыя подобія запоздавшихъ Фамусовыхъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшихъ Молчалиныхъ, или прятавшихся въ партерѣ за спину сосѣда Загорѣцкихъ.

Все это, безспорно, придавало огромный интересъ пьесѣ, но и помимо этого, помимо даже высокихъ талантовъ этихъ артистовъ и истекавшей оттуда типичности исполненія каждымъ изъ нихъ своей роли, въ ихъ игрѣ, какъ въ отличномъ

хорѣ пѣвцовъ, поражалъ необыкновенный ансамбль всего персонала лицъ, до малѣйшихъ ролей, а главное, они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно съ тѣмъ „толкомъ, чувствомъ и растановкой", какая для нихъ необходима. Мочаловъ, Щепкинъ! Послѣдняго, конечно, знаетъ и теперь почти весь партеръ и помнитъ, какъ онъ, уже и въ старости, читалъ свои роли на сценахъ и въ салонахъ!

Постановка была тоже образцовая—и должна была бы и теперь, и всегда превосходить тщательностью постановку всякаго балета, потому что комедіи этой вѣкъ не сойти со сцены, даже и тогда, когда сойдутъ позднѣйшія образцовыя пьесы.

Каждая изъ ролей, даже второстепенныхъ въ ней, сыгранная тонко и добросовѣстно, будетъ служить артисту дипломомъ на обширное амплуа.

Къ сожалѣнію, давно уже исполненіе пьесы на сценѣ далеко не соотвѣтствуетъ ея высокимъ достоинствамъ, особенно не блеститъ оно — ни гармоничностью въ игрѣ, ни тщательностью въ постановкѣ, хотя отдѣльно, въ игрѣ нѣкоторыхъ артистовъ, есть счастливые намеки или обѣщанія на возможность болѣе тонкаго и тщательнаго исполненія. Но общее впечатлѣніе таково, что зритель, вмѣстѣ съ немногимъ хорошимъ, выноситъ изъ театра свой „мильонъ терзаній".

Въ постановкѣ нельзя не замѣчать небрежности и скудости, которыя какъ-будто предупреждаютъ зрителя, что будутъ играть слабо и небрежно, слѣдовательно не стóитъ и хлопотать о свѣжести и вѣрности аксессуаровъ. Напримѣръ, освѣщеніе на балѣ такъ слабо, что едва различаешь лица и костюмы, толпа гостей такъ жидка, что Загорѣцкому, вмѣсто того, чтобъ „пропасть", по тексту комедіи, т.-е. уклониться куда-нибудь въ толпу, отъ брани Хлесто-

вой, приходится бѣжать черезъ всю пустую залу, изъ угловъ которой, какъ-будто изъ любопытства, выглядываютъ какія-то два, три лица. Вообще все смотритъ какъ-то тускло, несвѣжо, безцвѣтно.

Въ игрѣ, вмѣсто ансамбля, господствуетъ разладица, точно въ хорѣ, не успѣвшемъ спѣться. Въ новой пьесѣ и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедія была для кого-нибудь нова въ труппѣ.

Половина пьесы проходитъ неслышно. Вырвутся два-три стиха явственно, другіе два произносятся актеромъ какъ-будто только для себя—въ сторону отъ зрителя. Дѣйствующія лица хотятъ играть Грибоѣдовскіе стихи, какъ текстъ водевиля. Въ мимикѣ у нѣкоторыхъ много лишней суеты, этой мнимой, фальшивой игры. Даже и тѣ, кому приходится сказать два-три слова, сопровождаютъ ихъ, или усиленными, ненужными на нихъ удареніями, или лишними жестами, не то такъ какой-то игрой въ походкѣ, чтобы дать замѣтить о себѣ на сценѣ, хотя эти два-три слова, сказанныя умно, съ тактомъ, были бы замѣчены гораздо больше, нежели всѣ тѣлесныя упражненія.

Иные изъ артистовъ какъ-будто забываютъ, что дѣйствіе происходитъ въ большемъ московскомъ домѣ. Напримѣръ, Молчалинъ, хотя и бѣдный маленькій чиновникъ, но онъ живетъ въ лучшемъ обществѣ, принятъ въ первыхъ домахъ, играетъ съ знатными старухами въ карты, слѣдовательно не лишенъ въ манерахъ и тонѣ извѣстныхъ приличій. Онъ „вкрадчивъ, тихъ“, говорится о немъ въ пьесѣ. Это домашній котъ, мягкій, ласковый, который бродитъ вездѣ по дому, и если блудитъ, то втихомолку и прилично. У него не можетъ быть такихъ дикихъ ухватокъ, даже когда онъ бросается къ Лизѣ, оставшись съ ней наединѣ, какіе усвоилъ ему актеръ, играющій его роль.

Большинство артистовъ не можетъ также похвастаться исполненіемъ того важнаго условія, о которомъ сказано выше, именно вѣрнымъ, художественнымъ чтеніемъ. Давно жалуются, что будто бы съ русской сцены все болѣе и болѣе удаляется это капитальное условіе. Ужели, вмѣстѣ съ декламаціей старой школы, изгнано и вообще умѣнье читать, произносить художественную рѣчь, какъ будто это умѣнье стало лишнее или не нужно? Слышатся даже частыя жалобы на нѣкоторыхъ корифеевъ драмы и комедіи, что они не даютъ себѣ труда учить ролей!

Что же затѣмъ осталось дѣлать артистамъ? Чтó они разумѣютъ подъ исполненіемъ ролей? Гриммировку? Мимику?

Съ которыхъ же поръ явилось это небреженіе къ искусству? Мы помнимъ и петербургскую, и московскую сцены въ блестящемъ періодѣ ихъ дѣятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиныхъ, до Самойлова, Садовскаго. Здѣсь держатся еще немногіе ветераны старой петербургской сцены, и между ними имена Самойлова, Каратыгина напоминаютъ золотое время, когда на сценѣ являлись Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ—и тотъ же Грибоѣдовъ, котораго мы приводимъ теперь, и все это давалось вмѣстѣ съ роемъ разныхъ водевилей, передѣлокъ съ французскаго и т. п. Но ни эти передѣлки, ни водевили, не мѣшали отличному исполненію ни „Гамлета“, ни „Лира“, ни „Скупого“.

Въ отвѣтъ на это слышишь съ одной стороны, что будто вкусъ публики испортился (какой публики?), обратился къ фарсу, и что послѣдствіемъ этого была и есть отвычка артистовъ отъ серьезной сцены и серьезныхъ, художественныхъ ролей; а съ другой, что и самыя условія искусства измѣнились: отъ историческаго рода, отъ трагедіи, высокой комедіи—общество ушло, какъ изъ-подъ тяжелой тучи, и обратилось къ буржуазной, такъ называемой, драмѣ и комедіи, наконецъ къ жанру.

Разборъ этой „порчи вкуса“ или видоизмѣненія старыхъ условій искусства въ новыя, отвлекъ бы насъ отъ „Горя отъ ума“ и, пожалуй, привелъ бы къ какому-нибудь другому, болѣе безвыходному горю. Лучше примемъ второе возраженіе (о первомъ не стоитъ говорить, такъ какъ оно говоритъ само за себя) за совершившійся фактъ и допустимъ эти видоизмѣненія, хотя замѣтимъ мимоходомъ, что на сценѣ появляются еще Шекспиръ и новыя историческія драмы, какъ „Смерть Іоанна Грознаго“, „Василиса Мелентьева“, „Шуйскій“ и др., требующія того самаго умѣнья читать, о которомъ мы говоримъ. Но вѣдь кромѣ этихъ драмъ, есть на сценѣ другія произведенія новаго времени, писанныя прозой, и проза эта почти также, какъ Пушкинскіе и Грибоѣдовскіе стихи, имѣетъ свое типичное достоинство и требуетъ такого же яснаго и отчетливаго исполненія, какъ и чтеніе стиховъ. Каждая фраза Гоголя также типична и также заключаетъ въ себѣ свою особую комедію, независимо отъ общей фабулы, какъ и каждый Грибоѣдовскій стихъ. И только глубоко-вѣрное, во всей залѣ слышимое, отчетливое исполненіе, т.-е. сценическое произношеніе этихъ фразъ и можетъ выразить то значеніе, какое далъ имъ авторъ. Многія пьесы Островскаго тоже въ значительной степени имѣютъ эту типичную сторону языка и часто фразы изъ его комедій слышатся въ разговорной рѣчи, въ разныхъ примѣненіяхъ къ жизни.

Публика помнитъ, что Сосницкій, Щепкинъ, Мартыновъ, Максимовъ, Самойловъ, въ роляхъ этихъ авторовъ, не только создавали типы на сценѣ,—что конечно зависитъ отъ степени таланта,—но и умнымъ и рельефнымъ произношеніемъ сохраняли всю силу и образцоваго языка, давая вѣсъ каждой фразѣ, каждому слову. Откуда же, какъ не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтеніе образцовыхъ произведеній?

Вотъ на утрату этого литературнаго, такъ сказать, исполненія художественныхъ произведеній, кажется, справедливо жалуются въ послѣднее время въ публикѣ.

Кромѣ слабости исполненія въ общемъ ходѣ, относительно вѣрности пониманія пьесы, недостатка въ искусствѣ чтенія и т. д., можно бы остановиться еще надъ нѣкоторыми невѣрностями въ деталяхъ — но мы не хотимъ показаться придирчивыми — тѣмъ болѣе, что мелкія или частныя невѣрности, происходящія отъ небрежности, исчезнутъ, если артисты отнесутся съ болѣе тщательнымъ критическимъ анализомъ къ пьесѣ.

Пожелаемъ же, чтобы артисты наши, изъ всей массы пьесъ, которыми они завалены по своимъ обязанностямъ— съ любовью къ искусству выдѣлили художественныя произведенія, а ихъ такъ немного у насъ — и между прочимъ особенно „Горе отъ ума"—и составивъ изъ нихъ сами для себя избранный репертуаръ—исполняли бы ихъ иначе, нежели какъ исполняется ими все прочее, что̀ имъ приходится играть ежедневно, — и они непременно будутъ исполнять какъ слѣдуетъ.

ЗАМѢТКИ О ЛИЧНОСТИ БѢЛИНСКАГО.

ЗАМѢТКИ О ЛИЧНОСТИ БѢЛИНСКАГО*).

На мой взглядъ это была одна изъ тѣхъ горячихъ и воспріимчивыхъ натуръ, которыя привыкли приписывать обыкновенно искреннимъ и самобытнымъ художникамъ.

Такія натуры встрѣчаются нерѣдко—я ихъ наблюдалъ вездѣ, гдѣ онѣ попадались: и въ своихъ товарищахъ по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдалъ и въ самомъ себѣ—и во множествѣ экземпляровъ — и во всѣхъ находилъ неизбѣжныя родовыя сходственныя черты, часто рядомъ съ поразительными несходствами, составлявшими особенности видовъ или индивидумовъ. Всѣ эти наблюденія привели меня къ фигурѣ Райскаго въ романѣ „Обрывъ", этой жертвѣ своего темперамента и богатой, но не направленной ни накакую цѣль фантазіи. Послѣдняя была въ немъ праздною, безполезною силой, и, безъ строгой его подготовки къ какому бы то ни было дѣлу, разрѣшалась у него только въ безплодныхъ порывахъ къ дѣятельности и уродовала самую его жизнь.

Но другія, богато одаренныя натуры, ставъ твердой ногой на почвѣ своего призванія, подчиняютъ фантазію сознательной силѣ ума и создаютъ цѣлую сферу производительной дѣятельности. Такъ было и съ Бѣлинскимъ.

---

*) Эти замѣтки извлечены изъ письма, писаннаго въ 1874 году, къ А. Н. Пыпину, по случаю собиранія имъ свѣдѣній отъ знавшихъ лично Бѣлинскаго, для біографіи послѣдняго.

Но напрасно приписывать избытокъ фантазіи и воспріимчивости только художническимъ натурамъ. Не однимъ художникамъ нужно творчество: это я говорю вопреки мнѣнію Бѣлинскаго, или по крайней мѣрѣ вопреки его словамъ, не разъ слышаннымъ мною отъ него, что „Богъ далъ человѣку быть творцемъ только въ искусствѣ".

Тутъ есть нѣчто недосказанное. Совершенно справедливо, что въ искусствѣ художникъ создаетъ или изобрѣтаетъ сходства и подобія, т. е. образы существующаго или возможнаго въ природѣ, а въ сферѣ знанія ученый только угадываетъ или открываетъ скрытые законы или готовыя истины. Но, сколько мнѣ кажется, въ процессахъ самаго этого угадыванія или этихъ открытій дѣйствуютъ также изобрѣтательные или творческія силы и пріемы. Не одинъ Ньютонъ наблюдалъ падающія съ дерева яблоки и не одинъ Фультонъ видѣлъ, какъ привскакиваетъ крышка на чайникѣ отъ пара — однако не угадывали же другіе законовъ тяготѣнія или пароваго движенія, — слѣдовательно и тотъ и другой были какъ бы творцы этихъ законовъ.

Такимъ образомъ нервозность, т. е. тонкіе и чуткіе нервы, а вслѣдствіе этого впечатлительность и помощь фантазіи присущи, какъ необходимый элементъ, всякой работѣ, требующей иниціативы мысли и изобрѣтательной производительности, не говоря уже о наукѣ, искусствѣ, но даже въ ремеслахъ, чему мы видимъ не мало примѣровъ. Талантливый ремесленникъ, съ помощью этой же фантазіи, дѣлаетъ новые, смѣлые шаги въ ремеслѣ, и иногда возводитъ его на степень искусства.

Чуткость нервъ и фантазія въ художникахъ (живописцахъ, поэтахъ, актерахъ) только разнообразнѣе и капризнѣе проявляется, по самому свойству и натурѣ ихъ дѣла, по образу жизни и прочимъ условіямъ.

И Бѣлинскій въ сферѣ своей дѣятельности также тво-

рилъ по своему, т.-е. угадывалъ смыслъ явленія, чуялъ въ немъ правду, или ложь, опредѣлялъ характеръ его, и если явленіе представляло пищу увлеченію, онъ довѣрчиво увлекался самъ и увлекалъ другихъ. Переживъ впечатлѣніе въ самомъ себѣ, истративъ на него потоки, болѣе или менѣе горячихъ печатныхъ или изустныхъ, импровизацій, онъ потомъ оставался ему вѣренъ уже въ той долѣ правды, не какую онъ видѣлъ въ пылу увлеченія, а какая дѣйствительно была въ немъ—и относился къ нему умѣреннѣе.

Наконецъ у него были постоянныя увлеченія или влеченія, плоды не одной только фантазіи, или напряженной работы непрерывнаго умственнаго развитія: они составляли основу его честной и прямой натуры. Это влеченія къ идеаламъ свободы, правды, добра, человѣчности, при чемъ онъ нерѣдко ссылался на евангеліе—и не помню гдѣ, — даже печатно. Этимъ идеаламъ онъ не измѣнялъ конечно никогда и на всякаго, сколько нибудь близкаго ему человѣка, смотрѣлъ не иначе, какъ на своего единомышленника, иногда не давая себѣ труда всмотрѣться, дѣйствительно ли это было такъ. Никакихъ уклоненій отъ этихъ путеводныхъ своихъ началъ онъ ни въ комъ не допускалъ и не простилъ бы никому инаго исповѣданія въ нравственныхъ, политическихъ или соціальныхъ взглядахъ, кромѣ тѣхъ, какія принималъ и проповѣдывалъ самъ, разумѣется въ теоріи, ибо на практикѣ это было непримѣнимо въ то время нигдѣ, кромѣ робкаго проговариванья или намековъ въ статьяхъ, да толковъ въ тѣсномъ кругу друзей.

Въ стремленіи или въ порывахъ, повторяю безплодныхъ, тогда казавшихся даже безнадежными, къ этимъ послѣднимъ идеаламъ особенно высказывалось его горячее нетерпѣніе, иногда до ребячества. Въ туманѣ новой какой-нибудь идеи, даже въ родѣ идей Фурье, напримѣръ (о чемъ могутъ больше меня сказать знавшіе его съ молода), если

въ ней только искрился намекъ на истину, на прогресъ, на что нибудь что̀ казалось ему разумнымъ или честнымъ, передъ нимъ возникалъ уже опредѣленный образъ ея; нарождавшаяся ипотеза становилась его религіей; — онъ вѣровалъ въ идеалъ въ пеленкахъ, не думая подозрѣвать тутъ какого-нибудь обольщенія, заблужденія или замаскированной лжи. Онъ видѣлъ только одну свѣтлую сторону. Такъ, всматриваясь и вслушиваясь въ неясный еще тогда и новый у насъ слухъ и говоръ о коммунизмѣ, онъ наивно, искренно, почти про себя, мечтательно произнесъ однажды: „Конечно, будь у меня тысячъ сто, ихъ не стоило бы жертвовать, — но будь у меня милліоны, я отдалъ бы ихъ!“— Кому, куда отдалъ бы? Въ коммуну, для коммуны, на коммуну? Любопытно было бы спросить, въ какую кружку положилъ бы онъ эти милліоны, когда одно какое-то смутное понятіе носилось въ воздухѣ, кое-какъ перескочившее къ намъ черезъ границу, и когда самое названіе „коммуны“ было еще для многихъ ново. А онъ готовъ былъ класть въ кружку милліоны—и положилъ бы, еслибъ они были у него и еслибъ была кружка! Онъ только слышалъ о коммунизмѣ: книгъ негдѣ было взять — но конечно онъ скорѣе другихъ почерпнулъ изъ разсказовъ одну мечту, манившую къ соблазнительнымъ благамъ.

Онъ мчался впередъ и никогда не оглядывался. Прошлое для него отживало почти безъ слѣда, лишь только оно кончалось. По свойственному его натурѣ чувству справедливости, онъ конечно съумѣлъ бы найти и полюбить, напримѣръ, въ славянофильствѣ, что̀ было въ немъ искренняго и правдиваго, но довольно того, что славянофилы хотѣли создавать новый строй русской жизни на старомъ, хотя и хорошемъ фундаментѣ, чтобы ужъ безусловно разойтись съ ними, смотрѣть на нихъ, если не враждебно, то недовѣрчиво. Онъ иногда не только терпѣлъ около себя лю-

дей довольно ограниченныхъ, но любилъ съ ними бесѣдовать, когда между ними ничего не было общаго, кромѣ вѣры въ одну какую нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую въ даль, къ отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чемъ они могли говорить съ Бѣлинскимъ по долгу — понять было трудно. Это объяснялось между прочимъ трогательною, почти дѣтскою снисходительностью Бѣлинскаго къ своимъ пріятелямъ и ко всему что̀ ихъ составляло, что̀ имъ принадлежало. Возбудить его противъ себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться съ нимъ, какъ сказано выше, въ коренныхъ убѣжденіяхъ, и то, еслибъ это обнаружилось какъ нибудь на практикѣ, въ жизни — а затѣмъ, будь пріятель его чѣмъ хочешь, онъ не терялъ права на его дружелюбіе, однажды пріобрѣтенное, особенно, если еще это выкупалось чѣмъ нибудь, напримѣръ, талантомъ, или просто даже безмолвнымъ сочувствіемъ его идеямъ и идеаламъ.

Ни въ комъ никогда не замѣчалъ я, чтобы самолюбіе проявлялось такъ тонко, скромно и умно, какъ въ Бѣлинскомъ. Онъ не могъ не замѣчать дѣйствія своей силы въ обществѣ — и конечно дорожилъ этимъ: но надо было пристально вглядываться въ него, чтобы ловить и угадывать въ немъ слабые признаки сознанія своей силы: такъ онъ чуждъ былъ всякаго внѣшняго проявленія этого сознанія. Самъ онъ никогда не упоминалъ о своемъ значеніи.

Когда я узналъ Бѣлинскаго въ 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болѣзнь еще не развилась до той степени, какъ въ послѣдній годъ его жизни. Онъ былъ еще довольно бодръ, посѣщалъ однако немногихъ и его посѣщали тоже немногіе и не часто. Онъ началъ, повидимому, утомляться и своею любимою дѣятельностью, мечталъ иногда, вслухъ, впрочемъ рѣдко, о независимомъ положеніи отъ

подневольнаго срочнаго труда. Но этой мечтѣ сбыться было не суждено. Онъ, съ кружкомъ близкихъ пріятелей, перешелъ отъ одного журнала къ другому, но это не принесло ему отдыха. Напротивъ, надо было употребить всѣ силы, чтобы воскресить изъ праха этотъ умершій журналъ и вдохнуть въ него новую жизнь. Онъ, такъ сказать, умирая, дописывалъ послѣднія свои статьи. Поѣздка на лѣто въ Крымъ съ Щепкинымъ не помогла ему и онъ вернулся въ Петербургъ, едва ли не слабѣе, чѣмъ былъ до этого.

Извѣстно, ка́къ произошли всѣ эти перемѣны: основаніе Современника, переходъ всего кружка изъ Отечественныхъ Записокъ въ новый журналъ. Затѣмъ, вскорѣ развилась быстро болѣзнь — и Бѣлинскаго не стало.

Къ вышесказанному о способности его увлекаться прибавлю, что та же сила фантазіи, которая помогла Бѣлинскому чутко проникать въ истинный смыслъ явленій, нерѣдко вводила его и въ горькія заблужденія — отрезвленіе отъ которыхъ обходилось ему дорого, на счетъ здоровья. Онъ точно горѣлъ въ постоянномъ раздраженіи нервъ: всякіе пустяки, мелочь, все это съ одинаковою силой, наравнѣ съ крупными явленіями, отражалось у него на печени, на легкихъ. Часто, въ спорахъ, отъ пустаго противорѣчія, отъ вздорнаго фельетона Булгарина, или его сотрудниковъ, у него раздражалась вся нервная система, такъ что иногда жалко, а иногда и страшно было смотрѣть на него, какъ онъ разрѣшался грозой, злостью, въ какой нибудь, всегда блестящей, но много стоившей ему импровизаціи. И это за то, напримѣръ, если кто нибудь отзовется сухо, съ пренебреженіемъ, о тѣхъ или другихъ сочувственныхъ ему авторитетахъ въ сферѣ мысли, науки или искусства, не говоря уже о болѣе серьезныхъ поводахъ. Онъ загорался какъ то вдругъ (особенно, если былъ подходящій слушатель—а не изъ близкихъ, съ которыми все переговорилось и нечего

было, ни давать, ни самому взять) — и въ теченіи часа, двухъ, являлась импровизація, въ родѣ тѣхъ статей, какія появлялись въ Отечественныхъ Запискахъ.

И вотъ эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легкихъ, и вообще хрупкости организма,—убила, сожгла этого человѣка. Я засталъ его, когда онъ очевидно догоралъ въ борьбѣ, со всѣмъ враждебнымъ, чѣмъ обставлена была его жизнь, какъ и жизнь почти всѣхъ болѣе или менѣе въ то время, и въ томъ кругу. Но онъ не совладѣлъ съ хаотическимъ состояніемъ собственныхъ силъ, въ которыхъ никогда не было равновѣсія, не только на какой нибудь болѣе или менѣе продолжительный періодъ, на годъ, на полгода, напримѣръ, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая недѣля когда нибудь, чтобъ онъ не истерзался чѣмъ нибудь до истощенія и упадка силъ!

Если ничего не приходило извнѣ, онъ хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недосягаемые идеалы, общіе и вѣчные вопросы о той или другой свободѣ, о низверженіи тѣхъ или другихъ старыхъ кумировъ, и никогда ни отъ чего не отдыхалъ, потому что покой вообще не свойственъ натурамъ нервнымъ, даже и не въ его роли и не при его значеніи. Надо еще удивляться, какъ, при этой непрерывной напряженной работѣ умственныхъ и душевныхъ силъ въ такомъ скудельномъ сосудѣ, жизнь могла прогорѣть почти до сорока лѣтъ!

По этому сваливать преждевременный конецъ его на что нибудь другое, кромѣ этихъ разрушительныхъ и жгучихъ свойствъ его натуры, непрестаннаго броженія и горѣнія которыхъ не выдержалъ бы и другой, не такой хрупкій сосудъ—и несправедливо, и невѣрно! Какъ тогда старались, такъ и теперь все еще стараются сваливать вину, то на одного, то на другаго изъ журналистовъ, обременявшихъ не-

посильною работой Бѣлинскаго. И самъ онъ, хотя жаловался иногда на утомленіе и мечталъ, какъ я сказалъ выше, о независимомъ положеніи, о покоѣ, но эти рѣдкія мечты были, такъ сказать, общими мѣстами жалобъ, какія приходятъ на умъ и на языкъ каждому изъ насъ среди спѣшныхъ или утомительныхъ занятій.

Да и возможенъ ли отдыхающій Бѣлинскій? Безъ непрерывной работы, безъ этого кипѣнія и броженія вопросовъ и мнѣній внѣ литературной лихорадки, — я не умѣю представить себѣ его. Когда его повезли за границу—онъ былъ самъ не свой.—„Хорошо ли вамъ было тамъ!“ — спросилъ я его по возвращеніи.—„Плѣненіе вавилонское!“ Вотъ какъ выразился онъ про свое леченіе и отдыхъ.

Нѣтъ, ему необходима была его спѣшная, лихорадочная работа,—нуженъ и дорогъ былъ и свой маленькій кружокъ, въ своей семьѣ, у очага, среди пяти — шести близкихъ лицъ, гдѣ онъ бился и трепеталъ природною своей жизнью, изливалъ потоки силы, служа своему призванію— и этимъ удовлетворялъ себя, и самъ чувствовалъ эту свою силу и давалъ чувствовать ее другимъ—этимъ наслаждался, этимъ только и жилъ, т. е. горячимъ лихорадочнымъ писаніемъ статей и еще болѣе горячими, лихорадочными, иногда почти горячешными импровизаціями въ кругу близкихъ лицъ.

Это былъ не критикъ, не публицистъ, не литераторъ только—а трибунъ. Публичная его трибуна—въ журналѣ; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, гдѣ онъ былъ на распашку, это домашняя трибуна, гдѣ онъ не только зналъ, но, такъ сказать, видѣлъ свою силу, повѣрялъ, измѣрялъ ее, любовался ею самъ, глядя, какъ наслаждаются ею другіе. Отъ этого и были къ нему ближе всѣхъ тѣ, кто любилъ въ немъ больше всего его талантъ, даже больше нежели его самого! Не допускать

этого, значитъ не понимать хорошо натуръ этого рода. Самолюбіе иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многихъ и единственный двигатель дѣятельности, а часто и всей жизни. Я сказалъ уже выше, какъ умно и тонко высказывалось оно у Бѣлинскаго—именно въ благодарной симпатіи къ почитателямъ его силы.

Многолюдства, новыхъ людей онъ не любилъ и избѣгалъ. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались въ количествѣ лицъ и впечатлѣній. Свой внутренній міръ и западающія туда рѣдкія явленія давали громадную пищу его неумолкающему и безпощадному анализу, и онъ едва справлялся съ тѣмъ матеріаломъ, который попадался ему такъ сказать — на лету, случайно, или на который наводили его занятія по журналу. Онъ мало даже читалъ газеты, какъ то однимъ ухомъ слушалъ внѣшнія извѣстія, которыя занесетъ, бывало, то тотъ то другой пріятель, но во всемъ находилось всегда довольно матеріала на промежуточный какой-нибудь день или вечеръ между писаніемъ статей. Все почти служило ему темой для болѣе или менѣе тонкаго, иногда бурнаго, или злаго, или на оборотъ восторженнаго словоизліянія. Онъ маялся и скучалъ, ходя изъ угла въ уголъ, когда не было подходящаго собесѣдника: ему приводили новое лицо, т. е. недавняго, еще непривыкшаго къ нему знакомаго, и когда наконецъ никого не было, кромѣ своихъ, устроивали партію въ преферансъ.

Если не было очереднаго, насущнаго матеріала, онъ изъ себя добудетъ пищу. Придешь, бывало, а онъ вдругъ заговоритъ, повидимому, ни съ того, ни съ сего, (а конечно вслѣдствіе кипѣвшей въ немъ внутренней работы) о какомъ нибудь, какъ помню однажды, напримѣръ, „Прометеѣ“ Гёте: и въ эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдругъ нападетъ на какой нибудь авторитетъ, которому всѣ привыкли слѣпо поклоняться,—и низвергнетъ

его. Не то такъ возьметъ текущую новость, крутую административную мѣру,—и польются потоки рѣчей, полныя тонкаго анализа, меткихъ опредѣленій, горячихъ осужденій. Особенно ценсура подавала пищу его словесной критикѣ. Чего тутъ не было! И въ то же время онъ боялся шпіоновъ, и сколько былъ довѣрчивъ къ пріятелямъ, даже ко всѣмъ вхожимъ къ нему лицамъ, къ которымъ привыкъ, столько же боялся новыхъ людей, косился на нихъ, подозрѣвая предательство. Между тѣмъ не могло быть лучшаго доказчика на него, какъ онъ самъ. Онъ на ухо каждому пріятелю довѣрялъ все, что́ было у него на душѣ, и ребячески думалъ, что это тутъ и умретъ. Ему даже въ голову не приходило, что тѣ въ свою очередь передавали это, также на ухо, своимъ друзьямъ, и что сказанное имъ, почти всегда вѣское и цѣнное, непремѣнно дойдетъ и до другихъ, уже не дружескихъ ушей.

Что же бы дѣлалъ такой человѣкъ въ покоѣ, т. е. въ праздности, безъ своей трибуны въ журналѣ и безъ этой маленькой аудиторіи около себя изъ десятка лицъ, замѣнявшихъ ему весь міръ, признававшихъ его и любившихъ, какъ человѣка и какъ силу? Все равно, гдѣ бы ни было, при какихъ бы ни было обстоятельствахъ,—онъ всегда горѣлъ и сгорѣлъ бы: прежде всего въ борьбѣ съ ложью и грубостью около, вблизи, и потомъ въ погонѣ за далекими, уходящими изъ всякаго реальнаго достиженія идеалами. Вотъ его натура—вся!

Я не говорю, чтобы непріятности, потомъ нужды, тѣснота жизни, наконецъ страхъ, подъ которымъ жили и ходили всѣ тогда, не имѣли своей доли разрушительнаго вліянія на здоровье и жизнь его; но я положительно убѣжденъ, что, безъ нравственной, вулканической внутренней работы, которая рвала и жгла его организмъ, онъ перенесъ бы все остальное, внѣшнее. Онъ былъ обычной жертвой въ борьбѣ

крайняго своего развитія съ цѣлымъ океаномъ всякой сплошной, господствовавшей неразвитости.

Способность его увлекаться, не смотря на его умъ, многіе опыты, лѣта, и особенно безпощадно вѣрный анализъ, была изумительна и доказывала, до какой степени сильно онъ былъ одаренъ фантазіей. Я не говорю уже о томъ, какъ юношески восторженно упивался онъ красотами извѣстныхъ капитальныхъ, любимыхъ имъ произведеній, но онъ съ любовью анализировалъ каждую мелочь въ нихъ, иногда впадая въ ребячество до комизма! Стоитъ развернуть нѣкоторыя статьи, о Гоголѣ, гдѣ онъ говоритъ, или, лучше сказать, трепещетъ подъ его живымъ вліяніемъ. Напримѣръ, въ статьѣ о „Горе отъ ума", посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоѣдову, что́ онъ говоритъ о гусакѣ Ивана Никифоровича: безъ смѣха нельзя читать! „Великая, безконечно великая черта художническаго генія этотъ гусакъ!"—восклицаетъ онъ съ паѳосомъ и пишетъ цѣлую страницу о гусакѣ *).

Бѣлинскому нерѣдко приходилось стыдиться своихъ увлеченій и краснѣть за прежнихъ идоловъ. Тогда онъ отъ хвалебныхъ гимновъ переходилъ въ другой, противуположный тонъ—и не скупился на сарказмы, забывъ прежнюю нѣжность къ своимъ любимцамъ. Когда онъ въ первыя мои свиданія съ нимъ, осыпалъ меня добрыми, ласковыми словами, „рисуя" свой критическій взглядъ на меня мнѣ самому и заглядывая въ мое будущее, я остановилъ его однажды.—„Я былъ бы очень радъ, — сказалъ я, — еслибъ вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того что говорите о моей книгѣ („Обыкновенная Исторія"), теперь".—„Отчего?" спросилъ онъ съ удивленіемъ.

---

*) Томъ III, стр. 376 (изд. 1862).

*

„А оттого, — продолжалъ я, — что я помню, что́ вы прежде писали о С. какъ лестно отзывались о его талантѣ,—а какъ вы теперь цѣните его!“ — (А онъ тогда уже развѣнчалъ его, и сравнивая со всѣмъ, что́ появилось въ литературѣ послѣ, лишилъ его совсѣмъ прошлой, впрочемъ неоспоримой заслуги, какъ будто его и небыло вовсе въ литературѣ).

Мое справедливое замѣчаніе, сдѣланное мною, впрочемъ, вскользь, шутливымъ, пріятельскимъ тономъ, неожиданно тронуло и задѣло его за живое. Онъ задумчиво сталъ ходить по комнатѣ. Потомъ прошло съ полчаса. Я уже забылъ и говорилъ съ кѣмъ то другимъ, а онъ подошелъ ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня съ унылымъ упрекомъ. — „Каково же?“ сказалъ онъ наконецъ, указывая кому-то на меня: „онъ считаетъ меня флюгеромъ! Я мѣняю убѣжденія, это правда, но мѣняю ихъ, какъ мѣняютъ копѣйку на рубль!“—И потомъ опять сталъ ходить задумчиво.

Онъ конечно, вѣрилъ въ то, что́ говорилъ, потому что онъ никогда не лгалъ,—но это его объясненіе было невѣрно. Онъ мѣнялъ не убѣжденіе, а у него мѣнялись впечатлѣнія, и пока впечатлѣніе переживало въ немъ свой срокъ, оно поглощало его всего, онъ дѣтски отдавался ему, употребляя на выраженіе его перомъ или словами всю свою силу, безъ пощады, до тѣхъ поръ, пока не наступитъ въ духѣ его реакція, работа анализа, и не охладитъ впечатлѣнія, или пока—какъ я выше сказалъ—само впечатлѣніе, своею ложью или грубостью, внезапно не отрезвитъ его. Онъ спѣшилъ высказывать процессъ дѣйствія самаго впечатлѣнія въ немъ, не ожидая конца,—и отъ этого впадалъ въ ошибки, разочарованія и неизбѣжныя противорѣчія. Собственно критическій, болѣе или менѣе стройный и провѣренный взглядъ являлся у него гораздо позже.

Онъ какъ Донъ-Жуанъ къ своимъ красавицамъ—отно-

сился къ своимъ идоламъ: обольщался, хладѣлъ, потомъ стыдился многихъ изъ нихъ и какъ будто мстилъ за прежнее свое поклоненіе. Идолы слѣдовали почти непрестанно одинъ за другимъ. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, отъ обаянія котораго онъ еще не успѣлъ вполнѣ успокоиться, когда я познакомился съ нимъ), онъ сейчасъ же, легко перешелъ къ Достоевскому, потомъ пришелъ я—онъ занялся мною, тутъ же явился Григоровичъ, попозже Кольцовъ, наконецъ Дружининъ. Ко мнѣ онъ отнесся сравнительно покойнѣе и трезвѣе, потому что я подвернулся съ своей книгой какъ разъ послѣ одного изъ этихъ разочарованій, въ которомъ онъ покаялся даже гдѣ-то печатно—и сталъ немного осторожнѣе. Но и тутъ, въ первыя недѣли знакомства, послушавши его горячихъ и лестныхъ отзывовъ о себѣ, я испугался, былъ въ недоумѣніи, и не разъ выражалъ свои сомнѣнія и недовѣріе къ нему самому и къ его скороспѣлому суду. На меня онъ иногда какъ будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздраженія, субъективности. — „Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ, или порядочная, добрая натура,—всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни къ кому!“ И это скажетъ (и не разъ говорилъ) съ какой-то доброю злостью, а однажды положилъ ласково послѣ этого мнѣ руки на плечи и прибавилъ почти шопотомъ:—„а это хорошо, это и нужно, это признакъ художника!“—какъ будто боялся, что его услышатъ и обвинятъ за сочувствіе къ безтенденціозному писателю. Онъ, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направленію, но отнюдь не весь и не во всемъ. Искусство, во всей его широтѣ и силѣ, не потеряло бы своей власти надъ нимъ,—и онъ отстоялъ бы его отъ тѣхъ, черезчуръ утилитарныхъ условій, въ которыя такъ тѣсно и узко хотятъ вогнать его нѣкоторыя слишкомъ исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я самъ не слыхалъ ничего отъ Бѣлинскаго, но это было не нужно, благодаря словоохотливости Панаева, который слышалъ отзывы Бѣлинскаго и по нѣскольку дней разносилъ ихъ съ стенографическою вѣрностью по домамъ, пока, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, опять не увлекался чѣмъ-нибудь другимъ. Но Боже мой! что это были за отзывы! Кромѣ Кольцова и внѣ Кольцова уже не было и не бывало въ мірѣ поэтовъ? Этотъ образъ заслонилъ у него на время и Пушкина, и Лермонтова — словомъ, ни о комъ не было и рѣчи больше. Заикнись кто нибудь, не то чтобы усомниться, а просто прибѣгнуть, на примѣръ, къ сравненію Кольцова съ кѣмъ-нибудь, или даже къ простому и спокойному опредѣленію рода поэзіи и таланта Кольцова— Бѣлинскій, а вслѣдъ за нимъ и Панаевъ, разгромили бы того въ конецъ! И это на недѣлю, на двѣ, а потомъ анализъ, охлажденіе, осадокъ, а въ осадкѣ — искомая доля правды.

Я не ошибочно сравнилъ эти увлеченія Бѣлинскаго съ Донъ-Жуановскими увлеченіями женщинами: и у Бѣлинскаго, какъ у поклонниковъ женской красоты, всѣ прежніе идолы блѣднѣли передъ послѣднимъ, иногда невзрачнымъ, но имѣющимъ болѣе всего прелести новизны. Истина же оцѣнки высказывалась въ большей или меньшей продолжительности впечатлѣнія,—и если послѣднее переживало послѣдующихъ идоловъ, то значитъ—критика его была непогрѣшима. Но этого иногда приходилось долго ждать.

Къ идоламъ же, обманувшимъ его ожиданія, или которыми онъ увлекался прежде, въ молодости, ошибочно, или больше нежели слѣдовало, — онъ былъ безпощаденъ впослѣдствіи. Кажется онъ восхищался еще въ студенчествѣ Каратыгинымъ, когда тотъ пріѣзжалъ изъ Петербурга въ Москву, а Мочаловъ оттуда сюда, и когда происходилъ между обоими артистами сценическій, а по поводу ихъ, въ журналахъ, и литературный турниръ. Образовались два

лагеря. Не знаю хорошенько, но подозрѣваю, что Бѣлинскій въ юношествѣ платилъ, кажется, обоимъ артистамъ болѣе дани удивленія, нежели потомъ они (или собственно Каратыгинъ) въ его глазахъ стбили, когда Бѣлинскій развился и созрѣлъ. О Мочаловѣ онъ и послѣ всегда отзывался сочувственно, цѣня въ немъ вѣрное и чуткое выраженіе тонкихъ, нѣжныхъ или высокихъ сторонъ Шекспировскихъ и Шиллеровскихъ ролей, особенно Гамлета, къ чему совершенно признавалъ неспособнымъ Каратыгина. Любимцу своему, за нѣкоторыя, истинно высокія минуты въ тѣхъ или другихъ роляхъ, онъ прощалъ вялость, монотонность и небрежность исполненія, когда этотъ актеръ былъ не въ ударѣ, а это случалось очень часто. Въ Каратыгинѣ же онъ какъ-то не-хотя признавалъ талантъ, хотя талантъ былъ большой, и при томъ старательно выработанный трудомъ въ школѣ сценическихъ и литературныхъ условій и преданій. Бѣлинскій говорилъ о немъ, какъ о неуклюжей, ходульной фигурѣ, смѣялся надъ его манерой и грубостью пониманія тонкихъ ролей.

Здѣсь онъ впадалъ въ тотъ недостатокъ, который мѣшалъ ему быть вполнѣ безпристрастнымъ критикомъ. Уравновѣшивать строго и покойно достоинства и недостатки въ талантахъ—было не въ горячей натурѣ Бѣлинскаго.

Между тѣмъ эта же самая горячность т. е. способность увлекаться и поставила его во главѣ критики художественныхъ произведеній и создала даже школу этой критики, первымъ удачнымъ послѣдователемъ которой былъ Добролюбовъ и менѣе удачнымъ Аполлонъ Григорьевъ. Ни до Бѣлинскаго, ни послѣ него, не было у нашихъ критиковъ въ такой степени чуткой способности сознавать въ самомъ себѣ впечатлѣнія отъ того или другаго произведенія, сближать и сличать его съ впечатлѣніемъ другихъ, обобщать ихъ и на этомъ основывать свой судъ.

Въ этомъ собственно и состоялъ творческій пріемъ его оцѣнки. Ему помогало еще то, чего недоставало другимъ критикамъ: это страстное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ. Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало эти горячія критическія изліянія, которыя бросали столько свѣту и огня на все, что производила литература замѣчательнаго. Эта самая страстность увлеченій повергала его, какъ я замѣтилъ, и въ тѣ преувеличенія, натяжки и ошибки, которыя ставились ему, бывало, его противниками въ вину, какъ умыселъ и обманъ. Точно также производило въ немъ нервное раздраженіе и всякое бездарное, антиизящное явленіе въ литературѣ и вело къ горячимъ словоизліяніямъ въ обратномъ смыслѣ—и все съ тѣмъ же блескомъ, остроуміемъ, но съ безпощадною ироніей.

Въ области критики художественныхъ произведеній, являлось и является не мало болѣе или менѣе замѣчательныхъ умовъ и перьевъ, но очень немногіе изъ нихъ подходятъ къ произведенію по прямому и кратчайшему пути т. е. отъ непосредственнаго впечатлѣнія произведенія на нихъ самихъ: они обходятъ со стороны, отъ холоднаго умственнаго воззрѣнія пускаются въ критическія дебри и разсуждаютъ, тамъ, гдѣ надо прежде чувствовать и огнемъ чувства освѣщать путь уму — къ вѣрному опредѣленію достоинствъ или недостатковъ произведенія.

Но чуткость нервъ, сила фантазіи и впечатлительность, до степени страстности, даются природою, — повидимому, не очень часто. Если сами художники встрѣчаются не на каждомъ шагу, то и критики съ такой сильною впечатлительностью, какъ у Бѣлинскаго, при силѣ его ума и дарованія, встрѣчаются еще рѣже. Можетъ быть этимъ можно отчасти объяснить недостатокъ критики въ нашей лите-

ратурѣ, на который нерѣдко раздаются жалобы въ публикѣ.

Недалеко то время, когда наступитъ чередъ самого Бѣлинскаго предстать передъ безпристрастный судъ критики. Этотъ судъ, неподкупленный привязанностью къ его личности живыхъ друзей—современниковъ и его почитателей, настанетъ, когда, охладится теперь пока еще горячее о немъ воспоминаніе и преданіе: онъ отдѣлитъ его общественно-литературную дѣятельность отъ всякихъ дружескихъ симпатій, откинетъ всѣ преувеличенія и строго опредѣлитъ и оцѣнитъ истинное его значеніе и заслугу передъ обществомъ.

Даже и теперь еще, люди втораго поколѣнія, несвязанные никакими личными отношеніями къ Бѣлинскому, просто по краткости періода, на который отодвинулись отъ него, затруднятся произнесть строгій критическій приговоръ его недостаткамъ.

Эти недастатки были, можетъ быть, неизбѣжны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, какъ какому-то апостолу отрицанія, пришлось розыграть въ сферѣ критики и публицистики тоже самое, что, другими способами и пріемами, розыгралъ въ искусствѣ Гоголь, и что̀, иначе уже конечно продолжало потомъ и продолжаетъ розыгрываться или доигрываться почти всѣми литературными дѣятелями до сихъ поръ.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, какъ его, и такіе способы и пріемы, какіе съ успѣхомъ были употреблены имъ: другіе, болѣе мягкіе, покойные, строго-обдуманные, не дали бы ему сдѣлать и половины того, что сдѣлалъ онъ, образуя тогда собой, вмѣстѣ съ Гоголемъ, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все такъ прибрано, казисто; общество выдѣляло изъ себя замѣчательныхъ, даже блестящихъ единицъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, на вершинахъ его лежалъ очень тонкій слой обще-европейской культуры. Но масса общества покоились въ дремотѣ, жила рутиной и преданіями и не готовилась еще идти на встрѣчу тѣмъ реформамъ, мысль о которыхъ уже зрѣла въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и приближеніе которыхъ чуяли и предсказывали нѣкоторые умы, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Онъ сталъ—или талантъ и вся его натура поставили его во главѣ новаго литературнаго движенія. Беллетристы, изображавшіе въ повѣстяхъ и очеркахъ черты крѣпостнаправа, были конечно, этимъ своимъ направленіемъ, болѣе всего обязаны его горячей—и словесной, и печатной проповѣди.

Понятно, что соединяя въ себѣ роли публициста, эстетическаго критика и трибуна, провозвѣстника новыхъ грядущихъ началъ общественной жизни, онъ неизбѣжно долженъ былъ впадать въ рѣзкости, иногда крайности, въ лихорадку торопливости, увлеченій, разочарованій, раздраженій, эфемерныхъ симпатій, несправедливыхъ антипатій и недомолвокъ — словомъ непрерывной борьбы, безъ оглядки назадъ и безъ остановокъ!

Кто не оправдаетъ его, вспомня, съ какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, въ какомъ застоѣ покоилась масса, передъ которой онъ проповѣдывалъ! Крѣпостное право лежало не на одинъ крестьянахъ — и ему приходилось еще оспаривать право начальниковъ—распоряжаться по своему произволу участью своихъ подчиненныхъ, родителей—считать дѣтей своей вещественной собственностью и т. д.—и тутъ же рядомъ объяснять тонкости и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзіи. Безъ него, смѣло можно сказать, и Гоголь не былъ бы въ гла-

захъ большинства той колосальной фигурой, въ какую онъ, освѣщенный критикой Бѣлинскаго, сразу сталъ передъ публикой.

Обращаясь къ его увлеченіямъ и разочарованіямъ, припомню между прочимъ о его безпощадныхъ отзывахъ о Кукольникѣ, и особенно, о Бенедиктовѣ.

Поражая на право и на лѣво всякую рутинность, ходульность, ложь, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, онъ, и въ томъ и въ другомъ, требовалъ простоты, естественности, и кто не удовлетворялъ этимъ условіямъ—тому пощады не было.

Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба съ значительными талантами, явились на свою бѣду послѣдними могиканами старой, „риторической", какъ прозвалъ ее Бѣлинской, школы. Онъ и печатно, и въ разговорахъ не могъ о нихъ отзываться равнодушно. Въ Кукольникѣ онъ еще соглашался признать нѣкоторыя достоинства, именно въ повѣстяхъ изъ эпохи Петра Великаго, и ставя ихъ въ примѣръ, тѣмъ тяжеле обрушивался на „Тасса", „Джуліо Мости" и др. Но о Бенедиктовѣ онъ и слышать не могъ. Вычурность нѣкоторыхъ стихотвореній, въ самомъ дѣлѣ поразительная при талантѣ и умѣ Бенедиктова, дѣлала его какимъ-то, будто личнымъ врагомъ Бѣлинскаго. Зная лично Бенедиктова, какъ умнаго, симпатичнаго и честнаго человѣка, я пробовалъ иногда спорить съ Бѣлинскимъ, объяснялъ обиліемъ фантазіи натяжки и преувеличенія во многихъ стихотвореніяхъ,—указывалъ наконецъ на мастерство стиха и проч. Бѣлинскій махалъ рукой и не хотѣлъ признать ничего, ничего. Не помню, что́ онъ говорилъ печатно о его сочиненіяхъ, но въ разговорѣ онъ постоянно раздражался противъ него, даже нападалъ (гдѣ-то въ статьѣ) на наружность Бенедиктова, въ самомъ дѣлѣ некрасивую. И Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба, были его bêtes noires. Перваго онъ,

кажется, зналъ лично, а втораго нѣтъ, развѣ видѣлъ гдѣ-нибудь. Но антипатія къ ихъ сочиненіямъ вполнѣ переходила и на авторовъ.

Въ Кукольникѣ лично онъ могъ еще преслѣдовать и ту кичливость, которую носили съ собой всюду многія изъ знаменитостей. Тогда былъ тріумвиратъ изъ Кукольника, Брюлова и Глинки (говорятъ, неразлучныхъ между собой), который примировалъ въ обществѣ. Можетъ быть и это *генеральство*, выказывавшееся особенно рѣзко въ Кукольникѣ (котораго я самъ видалъ только мелькомъ), въ его фигурѣ, рѣчи и манерахъ,—много прибавляло уксусу къ желчи Бѣлинскаго.

Развѣнчиваніе отъ театральнаго, мишурнаго величія и самомнѣнія разныхъ знаменитостей, и сведеніе ихъ на степень обыкновенныхъ смертныхъ, было тоже въ числѣ его задачъ. Онъ не только отрезвлялъ отъ чрезмѣрнаго самолюбія живыхъ, но, какъ извѣстно, снималъ вѣнки и съ усопшихъ, возложенные на нихъ слѣпымъ и преувеличеннымъ поклоненіемъ ихъ современниковъ, заходя иногда при этомъ далеко, впадая въ вышеупомянутыя ошибки, рѣзкости, порицанія и отрицанія, не стѣсняясь исторической перспективой. Онъ какъ будто не замѣчалъ (и дѣйствительно въ то время не замѣчалъ), что при этомъ страдали законы строгаго безпристрастія. Вся сила ударовъ его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтобъ добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требуетъ прибавить, что онъ былъ пристрастенъ, не въ отрицательномъ только, но и въ положительномъ смыслѣ. Но послѣднее дѣлалось у него неумышленно, а само собой. Его подкупали симпатіи къ близкимъ или хорошимъ людямъ, къ своему кружку—и онъ грѣшилъ

не совѣстью, а мягкостью сердца. Упомяну о нѣкоторыхъ примѣрахъ. Между прочимъ онъ хвалилъ повѣсти Панаева, и однажды только какъ-то нехотя, почти шепотомъ, сказалъ мнѣ уныло: „творчества у него ни капли нѣтъ.“

Кудрявцевъ изъ московскаго кружка, большой пріятель Бѣлинскаго, написалъ недурную повѣсть: Бѣлинскій отозвался о ней почти восторженно. Онъ смѣшивалъ пріятеля съ его сочиненіемъ, чтó, повторяю, у него было грѣхомъ его сердца, а не совѣсти и эстетическаго вкуса. Литературные противники упрекали его въ этой слабости, но никогда не указывали, изъ какого чистаго источника проистекала она.

Я сказалъ выше, что Бѣлинскій боролся, чтобы добывать какую нибудь новую, или расширить старую свободу: отъ этого и запальчивость, и пристрастія, и натяжки, и противорѣчія—все то, чтó неизбѣжно бываетъ при усиленной ломкѣ стараго и завоеваніи новаго. Приведу примѣръ, въ которомъ Бѣлинскій является ревнителемъ женской эмансипаціи, не въ обширномъ смыслѣ такъ называемаго женскаго вопроса вообще, который тогда еще не поступалъ, въ нынѣшнемъ его значеніи и объёмѣ, на очередь, а просто только въ вопросѣ о любви. Въ числѣ всякихъ свободъ, конечно, онъ не обошелъ и женскую свободу, за которую поломалъ не мало копьевъ и апостоломъ которой была тогда Жоржъ-Зандъ. Онъ за одно уже это, помимо таланта, былъ ея восторженнымъ поклонникомъ.

Я пришелъ къ нему однажды рано̀ послѣ обѣда (онъ жилъ тогда у Аничкова моста); онъ ходилъ по комнатѣ и былъ радъ моему посѣщенію.—„Ну, чтó *Теверино*“,—спросилъ онъ:—„какъ вы находите!“—„Я не читалъ,“ сказалъ я равнодушно. — „Какъ не читали, вы?“ — „Не читалъ,“ повторилъ я. — „Какъ такъ!“ — „Не попалось книги подъ руку, я и не прочелъ“. — „Что это такое!“ — напустился онъ на меня и разразился, сначала гонкой мнѣ за лѣнь и

равнодушіе, а потомъ диѳирамбомъ Теверино и вообще Жоржъ-Занду. Не читавши Теверино, я, конечно, не могу теперь припомнить, что̀ именно онъ сказалъ объ этой повѣсти, помню только, что по мѣрѣ того, какъ приходили другіе, человѣка два-три, послѣ меня, онъ всякому указывалъ на меня и приговаривалъ съ удивленіемъ: — „Теверино не читалъ!“ —

О Теверино я упомянулъ теперь случайно, въ видѣ предисловія къ тому примѣру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипаціи и о крайнемъ увлеченіи этимъ вопросомъ Бѣлинскаго. Не помню теперь, въ этотъ вечеръ, или въ другой, онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросомъ о „Лукреціи Флоріани“, которая тогда появилась въ переводѣ въ Современникѣ. Я и теперь помню то восторженное поднятіе Бѣлинскимъ руки вверхъ, когда онъ, освѣщая фигуру Лукреціи уже своимъ электрическимъ огнемъ похвалъ, ставилъ ее все выше—выше и наконецъ заключилъ, почти съ умиленіемъ, что это „богиня, передъ которой весь міръ долженъ стать на колѣни!“

Меня сначала знакомства съ нимъ, какъ новаго для него человѣка, часто звали къ нему и туда, гдѣ онъ бывалъ, потому что онъ оживалъ съ новымъ, не непріятнымъ ему лицомъ, высказывался охотнѣе, былъ веселъ, доволенъ, словомъ, жилъ по своему. О Жоржъ-Зандѣ тогда говорили безпрестанно, по мѣрѣ появленія ея книгъ, читали, переводили ее; нѣкоторыя женщины даже буквально примѣряли на себѣ ея эмансипаторскія заповѣди, поставивъ себя въ положеніе тѣхъ или другихъ ея героинь, чего, конечно, безъ нея имъ бы и въ голову не пришло, или пришло бы, какъ всегда, просто, безъ участія головы. Такъ, говорятъ, т. е. по рецепту Жоржъ-Занда, даже женился и В. П. Б. и сейчасъ же разошелся съ женой—уже по собственному своему усмотрѣнію.

Я съ большимъ удовольствіемъ прочелъ Лукрецію Флоріани, наслаждаясь тамъ, вовсе не ея тенденціей освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецію, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеровъ, этой нѣжностью очертаній лицъ, особенно женскихъ, ароматомъ ума, разлитымъ въ каждой, даже мелкой замѣткѣ, и до сихъ поръ смотрю такъ на Жоржъ-Зандъ и наслаждаюсь всѣмъ этимъ въ ней независимо отъ ея задачъ. Но Бѣлинскій, цѣня въ ней художественность исполненія, конечно, по достоинству, выше всего однако ставилъ все таки ея идеи. Я не разъ спорилъ съ нимъ, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорѣе равнодушно, чтобъ только вызвать его высказаться,—и равнодушно-же уступалъ. Безъ этого споръ бы никогда не кончился, или перешелъ бы, въ задоръ, на который конечно, никто изъ знавшихъ его никогда умышленно бы не вызвалъ. Я только, такъ сказать, затрогивалъ его, или онъ вѣрнѣе всегда самъ задиралъ меня вопросомъ, ожидая возраженія, и тогда разрѣшался любимымъ тезисомъ, кипятился и выкладывалъ все, что у него наготовилось за извѣстный періодъ, о томъ или другомъ предметѣ, и что̀ потомъ укладывалось, или въ статьѣ, если къ тому времени подвертывалась статья, или въ словесную импровизацію, въ споръ. Какъ безмолвныхъ, такъ и слишкомъ горячихъ собесѣдниковъ, какимъ онъ былъ самъ, онъ, кажется, не любилъ, что̀ и понятно.

Я помню, что, по поводу Лукреціи Флоріани, я упрекалъ его слегка рабствомъ авторитету, а самой Жоржъ-Зандъ ставилъ въ вину, какъ художнику, тѣсную исключительность ея сферы и ея парадоксы, доказывалъ между прочимъ, что нельзя признавать „богиней“ женщину, которая на столько не владѣетъ собой, что переходитъ изъ рукъ въ руки пятерыхъ любовниковъ, не обойдя даже такого хлыща, какъ грубый, неразвитой актеръ, что это уже

не любовь человѣческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натурѣ, а такъ, „гнусность“, что наконецъ любовь двухъ людей требуетъ равенства въ развитіи, иначе это капризъ и т. д.

Онъ напалъ на меня:—„Вы нѣмецъ, филистеръ, а нѣмцы, вѣдь это семинаристы человѣчества!“ прибавилъ онъ. — „Вы хотите, чтобы Лукреція Флоріани, эта страстная, женственная фигура, превратилась въ чиновницу!“

Онъ однажды выразился даже такъ, что и художникъ самъ долженъ окунуться въ омутъ распущенности нравовъ —и проговорилъ это довольно серьезнымъ голосомъ, съ важнымъ выраженіемъ лица, съ убѣжденіемъ, какъ заповѣдь. Я увѣренъ, что у Бѣлинскаго, въ этомъ грубомъ парадоксѣ, крылось то убѣжденіе, что художникъ неприкоснувшійся собственнымъ опытомъ низшихъ, грубыхъ слабостей и паденій, оставаясь въ строгихъ предѣлахъ чистыхъ нравовъ, не будетъ имѣть многихъ красокъ на своей палитрѣ для живописанія всѣхъ людскихъ страстей и страстишекъ. Иначе нельзя этого и объяснить. Бѣлинскій, конечно, вдавался въ очевидную натяжку, допуская, не только снисхожденіе, но присуждая, такъ сказать вѣнокъ женщинѣ, которая смѣло оторвется отъ моральныхъ и матеріальныхъ узъ, какими связана была,—и я полагаю—во многомъ будетъ связана, —т. е. сама не позволитъ развязать себя, когда наступитъ отрезвленіе отъ горячки такъ называемаго женскаго вопроса и когда послѣдній вступитъ въ фазисъ покойной и разумной обработки.

Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, лучше другихъ понималъ все, что̀ есть крайняго въ жизни этихъ Лукрецій и не смѣшивалъ про себя всѣхъ этихъ кучъ навозу, гдѣ толпились актеры, герцоги и прочіе, сквозь фалангу которыхъ прошла Флоріани,—въ одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеалъ женской свободы,

онъ рвался къ нему, жертвуя подробностями, впадая въ натяжки и противорѣчія даже съ самимъ собою, лишь бы отстоять этотъ идеалъ, чтобы противные голоса не заглушили самаго вопроса въ зародышѣ.

О томъ, что́ собственно есть любовь, какъ человѣческое чувство, и какъ строго и зорко надо его отличать отъ одного животнаго побужденія,—онъ въ ту минуту не думалъ, хотя нерѣдко въ печати выражалъ трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопросъ, до котораго, конечно, дойдетъ очередь, когда одержана и упрочена будетъ главная побѣда свободы, а детали придутъ потомъ, когда начнется воспитаніе женщины въ духѣ той свободы, —тогда и разберутъ что́ и ка̀къ. Особенно онъ боялся помѣхи со стороны пуританъ и пуританокъ, которые косо поглядывали не только на эмансипаціонныя попытки Жоржъ-Зандъ, но и на чувственныя проявленія любви вообще.— „Да“, задумчиво и серьезно сказалъ онъ однажды, ужъ не помню при какомъ случаѣ:—„конечно, не одно „это“ (т. е. чувственность) соединяетъ любящихся, но безъ „этого“ — ничего другаго и не нужно.“

Между тѣмъ собственная его семейная жизнь, совершенно противорѣчила тому, что проповѣдывалъ онъ на своей трибунѣ о женской свободѣ любить на манеръ Лукреціи Флоріани. Всему, что говорилось и писалось о его безупречныхъ отношеніяхъ къ женщинамъ—надо вѣрить. Въ семейной жизни трудно отыскать человѣка, который бы съ бо́льшимъ уваженіемъ обращался къ женѣ, чѣмъ онъ. Во всемъ его обхожденіи съ ней было то, что́ французы называютъ déférence: это же свойство проглядывало и въ отношеніяхъ его къ прочимъ знакомымъ женщинамъ, къ женамъ и вообще семействамъ всего кружка. Если у него въ душѣ и были какія-нибудь семейныя облака, то, вѣроятно онъ никогда никому ихъ не обнаруживалъ. Вообще, глядя

на его семейную жизнь, можно было заключить, что на дѣлѣ онъ, признавалъ „святость“ семейныхъ союзовъ, онъ, не любившій признавать вообще святостей.

Мнѣ остается замѣтить кое-что еще о несправедливомъ поголовномъ и голословномъ упрекѣ, который нерѣдко обращали къ Бѣлинскому—въ необразованности!

Въ относительной необразованности можно упрекнуть всякаго, не исключая самыхъ образованныхъ. Но на него обрушивался этотъ упрекъ, какъ будто онъ былъ неучъ, какъ будто невѣжество его въ чемъ-нибудь рѣзко обличало его и было замѣтнымъ недостаткомъ.

Но сочиненія его передъ нами: гдѣ же грѣшитъ онъ въ нихъ какими-нибудь промахами противъ того или другаго знанія, или слабостью въ пониманіи того или другаго, о чемъ писалъ? А о чемъ онъ не писалъ и чего не касался? И нигдѣ нѣтъ никакихъ рѣзкихъ обличеній въ незнакомствѣ съ догматикой той или другой науки, того или другаго предмета.

Матеріальный поводъ къ этому упреку, конечно, былъ тотъ, что онъ не кончилъ курса и не получилъ университетскаго диплома. За это прежде всего ухватились всѣ завистливыя посредственности, которыхъ значеніе блѣднѣло по мѣрѣ того, какъ развивался и обнаруживался талантъ Бѣлинскаго. У него правда, не было, ни оффиціальнаго значенія, ни оффиціальной учености, и за это его разжаловали въ необразованные, въ неучи, въ недоучки!

Помнится, что и Полевого, вначалѣ его появленія, тоже упрекали неученостью, и даже обзывали „купцомъ“, потому что онъ не былъ въ университетѣ и не имѣлъ ученой степени.

Узнали, что Бѣлинскій не знаетъ по-нѣмецки, слѣдовательно, онъ-де, ни Гегеля, ни Гёте, ни другихъ, въ под-

линникѣ не читалъ, а говоритъ о нихъ такъ, какъ будто читалъ ихъ самъ: ну, значитъ, и неучъ!

Но какъ далеко ниже его стояли многіе изъ упрекавшихъ его въ своей мнимой учености, нужды нѣтъ, что они занимали ученыя кафедры и положенія, или сотрудничали въ журналахъ, говорили и писали о древнихъ и новыхъ литературахъ, не зная иногда ни одного, или зная только французскій языкъ.

Нѣтъ, Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей (не ученѣе, а именно образованнѣе), за исключеніемъ развѣ одного Герцена, правильная подготовка котораго возводила его образованность на степень учености.

Средства Бѣлинскаго были скудныя, пути образованія почти случайные (однако въ университетѣ, только безъ диплома). Знанія, пріобрѣтаемыя въ университетской аудиторіи, дополнялись въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи и взаимномъ объясненіи оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ, наконецъ среди преній, разборовъ въ юныхъ кружкахъ, въ добываніи съ трудомъ и въ взаимной передачѣ книгъ.

Развѣ это не школа, не академія, гдѣ гранились другъ о друга юные умы, жадно передавая другъ другу знанія, наблюденія, взгляды—вся эта жажда и любовь къ знанію? Какого же еще надо аѳинскаго портика, съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не такъ ли мы всѣ пріобрѣтали то, что̀ есть въ насъ лучшаго и живаго? Не тамъ ли, въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ, и мы сортировали и осмысливали то, что̀ уносили отъ каѳедры?

Представьте же въ этой школѣ мальчика съ свѣтлой головой, съ впечатлительнымъ воображеніемъ, любознательнаго и талантливаго? Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и пониманія до степени ясновидѣнія: сколько сокровищъ онъ вынесетъ изъ такой школы!

*

А та маса русскихъ и французскихъ книгъ, которую онъ прочелъ по обязанности сотрудника, отъ *Молвы* до *Современника*, въ теченіи двадцати лѣтъ: это тоже своего рода школа! Тутъ ему не нуженъ былъ профессоръ; у него былъ свой регуляторъ и руководитель, который ближе свелъ его и съ Гегелемъ, и съ Шиллеромъ, и съ Гёте — путями, непроходимыми для другихъ, но доступными ему.

Ссылаюсь на одинъ изъ любимыхъ авторитетовъ Бѣлинскаго, на Жоржъ Зандъ, которая, гдѣ-то говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключаетъ такъ: „On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre“.

И Бѣлинскій дѣйствительно „понималъ“ все, не только къ чему прикасался его сосредоточенный анализъ, но и то, что проносилось мимо его, на что́ онъ случайно обращалъ взглядъ. Онъ жилъ, непрерывно учась за перомъ, въ живыхъ бесѣдахъ съ друзьями и почитателями, и роясь въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки: и такъ, до конца жизни!

Въ рукахъ противниковъ Бѣлинскаго упрекъ въ неученности, какъ извѣстно, былъ Архимедовъ рычагъ, которымъ они старались столкнуть его съ мѣста, но конечно безуспѣшно.

Профессія ученаго была не его профессія, да онъ никогда и не бралъ ее на себя.

Слѣдовательно, говоря о его занятіяхъ, необходимо обусловливать въ точности, какой именно учености недоставало ему — и за этимъ ставить вопросъ: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на долю, — именно для роли — не эстетическаго критика собственно, не публициста только, а для того и другаго вмѣстѣ, и еще для чего-то — третьяго? Наконецъ, надо еще спросить: отвѣчала или не отвѣчала степень его подготовки

эпохѣ и моменту его дѣятельности и его средѣ—и опредѣлить, сколько онъ сдѣлалъ для своего времени и современнаго ему поколѣнія? И только въ совокупности на всѣ эти вопросы, и слѣдуетъ, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрѣшенный и отъ вражды, и отъ пристрастія къ нему отвѣтъ. Кстати можно было бы спросить много ли сдѣлали тѣ „ученые", которые громили его за неученость?

Извѣстно, какъ Бѣлинскій былъ искрененъ и не хвастливъ. Съ постороннимъ, мало знакомымъ лицомъ, онъ почти совсѣмъ не говорилъ, или говорилъ мало, несвязно и не блисталъ ни умомъ, ни знаніемъ. Только съ близкими онъ былъ свободенъ въ рѣчи, не остерегался ошибокъ и давалъ волю своимъ силамъ. И въ такихъ именно спорахъ, онъ обнаруживалъ массу знаній, которыхъ въ покойномъ разговорѣ, внѣ всякаго увлеченія, нельзя было подозрѣвать въ немъ. Онъ ронялъ и сыпалъ ихъ нечаянно, какъ часто нечаянно въ печатныхъ статьяхъ сверкалъ остроуміемъ, удачными сравненіями, ссылками на тѣ, или другіе авторитеты и т. п.

Слѣдовательно знанія, хотя бы собранныя медленно, иногда урывками, служили прямой его цѣли, его дѣлу, т. е. его перу. Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ осѣдланнаго готоваго коня, съ нарядной сбруей, не выѣзжалъ въ циркъ показывать ѣзду haute école, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ наѣздовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей.

Познаніями могъ превосходить его, какъ я выше сказалъ, напримѣръ, Герценъ. Но вѣдь и онъ не ученостью все сдѣлалъ въ литературѣ и въ жизни, что́ сдѣлалъ, хотя ученость, или лучше сказать, всестороннее образованіе было важнымъ подспорьемъ его таланту и блестящему остроумію.

Можно конечно пожалѣть, что и Бѣлинскій не совершилъ отъ начала до конца путь болѣе обширнаго, или лучше сказать, болѣе, систематическаго образованія, для исполненія, съ большимъ авторитетомъ, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соотвѣтствующая его природнымъ средствамъ подготовка помогла бы еще болѣе его вліянію на литературное развитіе въ обществѣ и упрочила бы за нимъ значеніе его дѣятельности и заслуги—безъ всякихъ сомнѣній и споровъ.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧѢМЪ НИКОГДА.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧѢМЪ НИКОГДА.

(Критическія замѣтки).

Я давно положилъ перо и не печаталъ ничего новаго. Такъ думалъ я и закончить свою литературную дѣятельность, полагая, что мое время прошло, а вмѣстѣ съ нимъ „прошли“ и мои сочиненія, т. е. прошла ихъ пора.

Я рѣшился возобновить только изданіе очерковъ кругосвѣтнаго плаванія „Фрегатъ Паллада“, по причинамъ, о которыхъ сказано въ предисловіи къ этому изданію. Путешествія въ дальніе концы міра имѣютъ вообще привиллегію держаться долѣе другихъ книгъ. Всякое изъ нихъ оставляетъ надолго неизгладимый слѣдъ или колею, какъ колесо, пока дорога не проторится до того, что всѣ колеи сольются въ одинъ общій широкій путь. Кругосвѣтнымъ путешествіямъ еще далеко до того.

Другое дѣло—романы и вообще художественныя произведенія слова. Они живутъ для своего вѣка и умираютъ вмѣстѣ съ нимъ; только произведенія великихъ мастеровъ переживаютъ свое время и обращаются въ историческіе памятники.

Прочія, отслуживъ свою службу въ данный моментъ, поступаютъ въ архивъ и забываются.

Я ожидалъ этой участи и для своихъ сочиненій, послѣ того, какъ они выдержали—одни два, другія три изданія, и не располагалъ, и теперь не имѣю въ виду, печатать ихъ вновь.

Но въ публикѣ, гдѣ еще много живыхъ современниковъ моей литературной дѣятельности, нерѣдко вспоминаютъ и о моихъ романахъ, иногда печатно, и очень часто въ личныхъ обращеніяхъ ко мнѣ.

Одни освѣдомляются, отчего нѣтъ моихъ сочиненій у книгопродавцевъ? Другіе лестно упрекаютъ меня, зачѣмъ я не пишу ничего новаго, иногда даже предлагаютъ написать о томъ или о другомъ предметѣ, на ту или другую тему, говоря, что отъ меня будто бы ожидаютъ въ публикѣ еще какого нибудь произведенія. Третьи—и такихъ болѣе всего — обращаются къ собственному моему взгляду на то или другое изъ моихъ сочиненій, требуютъ поясненій о томъ, что̀ я разумѣлъ подъ тѣмъ, что хотѣлъ сказать этимъ; кого или что̀ имѣлъ въ виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышлены ли эти лица и событія, или дѣйствительно они были и т. д. Этимъ вопросамъ нѣтъ конца!

При этомъ, какъ это случалось почти со всѣми писателями, стараются меня самаго подводить подъ того или другаго героя, отыскивая меня то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности въ герояхъ и героиняхъ. Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрекая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня дѣвать въ которомъ нибудь романѣ, напримѣръ, въ дядю или племянника въ „Обыкновенной Исторіи“.

Иные откровенно выражаютъ мнѣ и порицаніе, за то, за другое, за третье, указываютъ слабыя мѣста, находятъ невѣрности, или преувеличенія, и за все зовутъ меня къ отвѣту. Еще недавно гдѣ-то я видѣлъ въ печати бѣглый критическій очеркъ моихъ сочиненій.

А я все думалъ, что если я уже замолчалъ въ печати самъ, то и другіе поговорятъ-поговорятъ, да и забудутъ меня съ моими сочиненіями, и потому на обращаемые ко-

мнѣ вопросы, отвѣчалъ что́ приходило въ голову подъ вліяніемъ минуты, личности вопрошателя и другихъ случайностей.

Но вопросы, освѣдомленія, требованія разъясненій и прочее, не только не прекратились, но, напротивъ, съ появленіемъ новаго изданія „Фрегатъ Паллады", усилились. Поспѣшаю прибавить, что я не утомляюсь и не скучаю этимъ, напротивъ, принимаю какъ выраженія лестнаго вниманія. Меня только иногда затрудняютъ отвѣты, которые я долженъ держать всегда, такъ сказать, на готовѣ, на обращаемые ко мнѣ вопросы, при чемъ, конечно, неизбѣжно приходится впадать въ постоянныя повторенія.

Чтобы выйти изъ этого положенія отвѣтчика передъ тѣми или другими читателями за свои сочиненія и ходячаго критика послѣднихъ, и разъ навсегда разъяснить свой собственный взглядъ на мои авторскія задачи, я рѣшился напечатать давно праздно лежавшую въ моемъ портфелѣ нижеслѣдующую рукопись.

Этотъ критическій анализъ моихъ книгъ возникъ изъ предисловія, которое я готовилъ было къ отдѣльному изданію „Обрыва" въ 1870 году, но тогда, по сказаннымъ въ этомъ очеркѣ причинамъ, не напечаталъ. Потомъ въ 1875 году я опять возвратился къ нему, кое-что прибавилъ и опять отложилъ въ сторону.

Теперь, пробѣгая его вновь, я нахожу, что онъ можетъ служить достаточнымъ, съ моей стороны, разъясненіемъ и отвѣтомъ почти на всѣ обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и лично, и печатно, вопросы, иногда лестныя, преувеличенныя похвалы, чаще — порицанія, недоразумѣнія, упреки,—какъ относительно общаго значенія моихъ авторскихъ задачъ, такъ относительно и дѣйствующихъ лицъ, подробностей и т. д.

Я отнюдь не выдаю этотъ анализъ своихъ сочиненій за критическій непреложный критерій, не навязываю его никому, и даже предвижу, что во многомъ и многіе читатели по разнымъ причинамъ, не раздѣлятъ его. Сообщая его, я только желаю, чтобъ они знали, какъ я смотрю на свои романы самъ, и приняли бы его, какъ мой личный отвѣтъ на дѣлаемые мнѣ вопросы, такъ чтобъ затѣмъ не оставалось уже о чемъ спрашивать меня самаго.

Ежели читатели найдутъ этотъ мой ключъ къ моимъ сочиненіямъ—невѣрнымъ, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, противъ моего ожиданія, мнѣ понадобилось издать вновь всѣ мои сочиненія, то этотъ же анализъ можетъ служить авторскимъ предисловіемъ къ нимъ.

Я опоздалъ съ этимъ предисловіемъ, скажутъ мнѣ: но если оно не покажется лишнимъ и теперь—то „лучше поздно, чѣмъ никогда"—могу отвѣтить на это.

Со времени появленія романа „Обрывъ" въ 1869 г., мнѣ пришлось прочитать немало суровыхъ, даже раздражительныхъ приговоровъ въ печати; напротивъ того, въ обществѣ, лично, я встрѣчалъ много сочувствія, выражавшагося въ горячихъ, иногда восторженныхъ, конечно преувеличенныхъ, похвалахъ.

Я получалъ и письма отъ нѣкоторыхъ любителей литературы, наполненныя тѣми же похвалами, которыя всего болѣе относились къ моей „живописи": и въ „Обрывѣ", и въ другихъ моихъ романахъ находили цѣлыя „галлереи картинъ, лицъ, портретовъ, за которые хотѣли поставить меня на высокій пьедесталъ въ литературѣ.

Но я, въ отвѣтахъ своихъ и письменно, и устно, уклонялся отъ всякихъ, слишкомъ лестныхъ похвалъ. Эти

похвалы имѣли бы для меня гораздо болѣе цѣны, если бы въ моей живописи, за которую меня особенно хвалили, найдены были тѣ идеи и вообще все тó, чтó, сначала инстинктивно, потомъ, по мѣрѣ того, какъ подвигались мои авторскія работы впередъ, замѣтно для меня самаго, укладывалось въ написанные мною образцы, картины и простыя, несложныя событія.

Иные не находили, или не хотѣли находить въ моихъ образахъ и картинахъ ничего, кромѣ болѣе или менѣе живо нарисованныхъ портретовъ, пейзажей, можетъ быть, живыхъ копій съ нравовъ—и только.

За что же тутъ хвалить? Развѣ такъ трудно вообще для таланта, если онъ есть, нагромоздить въ кучу лица провинціальныхъ старухъ, учителей, женщинъ, дѣвицъ, дворовыхъ людей и т. п.? Чтó за заслуга? Все бы это незаслуживало ni éxcès d'honneur, ni excès d'indignités, которыми, т. е. послѣдними, меня осыпали не скупо, особенно въ печати.

Только когда я закончилъ свои работы, отошелъ отъ нихъ на нѣкоторое разстояніе и время, — тогда сталъ понятенъ мнѣ вполнѣ и скрытый въ нихъ смыслъ, ихъ значеніе—идея. Напрасно я ждалъ, что кто нибудь и кромѣ меня прочтетъ между строками и, полюбивъ образы, свяжетъ ихъ въ одно цѣлое и увидитъ, чтó именно говоритъ это цѣлое? Но этого не было.

Могъ бы это сдѣлать и сдѣлалъ бы Бѣлинскій, но его не было. Потомъ, съ наступленіемъ реформъ, на очередь стали другіе вопросы, важнѣе вопросовъ искусства, и оттѣснили послѣднее на второй планъ. Все молодое и свѣжее поколѣніе жадно отозвалось на зовъ времени и приложило свои дарованія и силы къ злобѣ и работѣ дня. Было не до эстетическихъ критикъ. А тутъ еще вторгнулось въ общество новое явленіе, такъ называемый нигилизмъ, явленіе сложное — и заглушило, на время конечно, чистый

вкусъ, здравыя понятія въ искусствѣ, примѣшавъ къ нему Богъ знаетъ что. И критика, какъ и само искусство, отъ крупнаго, мыслящаго и осмысливающаго синтеза, перешла къ мелкому анализу.

И въ огромной толпѣ моихъ лицъ, она также погрузилась въ мелкій анализъ ихъ, не добираясь до синтеза. Читатели терялись въ обширной рамкѣ, останавливаясь, то съ одобреніемъ, то съ порицаніемъ, кто передъ бабушкою, кто передъ Марфинькой, другіе передъ Вѣрой, и почти всѣ — пятились отъ Водохова, находя его „рѣзкимъ, растрепаннымъ", негоднымъ и ненужнымъ въ романѣ. Многіе видѣли въ немъ—будто бы рѣзкую карикатуру на молодое поколѣніе, другіе пожимали плечами, удивляясь, какъ я могъ поставить такого урода рядомъ съ чистою, изящною Вѣрой! Объ этомъ скажу подробно ниже. И тѣмъ покончили, сдавъ дѣло въ архивъ.

Больше ничего не видѣли—и замолчали. Молчалъ и я. Мнѣ нечего было дѣлать: нельзя было ходатайствовать за свое дѣтище, выводить его въ публику, объявлять, что оно такое-сякое, словомъ, рекомендовать. Я молчалъ потому, что, если не замѣтили и не нашли того другіе, что̀ замѣчаю и нахожу я самъ, значитъ, я—слабый художникъ, и образы и картины мои не говорятъ ничего, кромѣ того, что говорятъ висящіе по стѣнамъ портреты, красивые или некрасивые, похожіе или непохожіе, съ добрыми, злыми, или гордыми лицами—и больше ничего!

Хорошо еще что хвалили за колоритъ, за вѣрность лицъ, за живость пейзажей—и то слава Богу!

Хотѣлъ было, однако, я, въ 1870 году, сдѣлать нѣсколько возраженій нѣкоторымъ критикамъ, собственно по поводу Волохова и Вѣры, защитить ихъ и себя, но раздумалъ, чтобы не напрашиваться на новые, еще болѣе раздражительные отзывы, нежели какіе обращены были ко-

мнѣ тогда, именно за то, что будто бы я въ Волоховѣ изображалъ представителя новаго поколѣнія! Эти возраженія были предметомъ довольно обширнаго предисловія, которое я намѣревался напечатать при отдѣльномъ изданіи „Обрыва“, но отложилъ, говорю я, и возьму оттуда теперь сюда то, что покажется мнѣ умѣстнымъ.

Если молчалъ столько времени—зачѣмъ же теперь принимаюсь самъ объяснять свою книгу или, лучше сказать, свои книги, потому что придется затронуть мимоходомъ и первые два мои романа, говоря о послѣднемъ ибо, скажу прежде всего, что они, особенно „Обломовъ“ и „Обрывъ“, тѣсно и послѣдовательно связаны между собою, какъ связаны отразившіеся въ нихъ, какъ въ каплѣ воды, періоды русской жизни.

Пишу прежде всего для тѣхъ, несоставляющихъ уже теперь большинства въ обществѣ любителей художественной литературы, которые еще нерѣдко продолжаютъ въ разговорахъ со мною обращаться къ „Обрыву“ и среди которыхъ найдется болѣе сочувствія и, слѣдовательно, болѣе чуткости, опредѣлительности и безпристрастія въ оцѣнкѣ—и самыхъ образовъ, и того, что̀ они выражаютъ, если они выражаютъ какой-нибудь другой смыслъ, кромѣ портретнаго сходства и яркости кисти. Если и они не найдутъ ничего, тогда я уже и самъ, послѣ опыта, перестану находить ключъ къ моимъ сочиненіямъ.

Стало быть, прежде всего мнѣ это нужно для повѣрки себя, правъ я или нѣтъ—и если со мной согласятся и другіе и найдутъ, что я—въ значительной степени правъ, тогда, съ объясненіемъ внутренняго значенія моихъ картинъ, объяснится само собою и то, въ чемъ собственно состоитъ заслуга романиста, если онъ художникъ.

„Художникъ мыслитъ образами“, сказалъ

Бѣлинскій—и мы видимъ это на каждомъ шагу, во всѣхъ даровитыхъ романистахъ.

Но какъ онъ мыслитъ — вотъ давнишній, мудреный, спорный вопросъ! Одни говорятъ—сознательно, другіе — безсознательно.

Я думаю и такъ, и эдакъ: смотря потому, что́ преобладаетъ въ художникѣ, умъ или фантазія и такъ называемое сердце?

Онъ работаетъ сознательно, если умъ его тонокъ, наблюдателенъ и превозмогаетъ фантазію и сердце. Тогда идея нерѣдко высказывается помимо образа. И если талантъ не силенъ, она заслоняетъ образъ и является тенденціею.

У такихъ сознательныхъ писателей умъ досказываетъ, чего не договариваетъ образъ—и ихъ созданія бываютъ нерѣдко сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они убѣждаютъ, учатъ, увѣряютъ, такъ сказать, мало трогая.

И на оборотъ—при избыткѣ фантазіи и при—относительно ме́ньшемъ противъ таланта — умѣ, образъ поглощаевъ въ себѣ значеніе, идею; картина говоритъ за себя и художникъ часто самъ увидитъ смыслъ—съ помощью тонкаго критическаго истолкователя, какими, напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ.

Рѣдко, въ лицѣ самого автора, соединяются, и сильный объективный художникъ, и вполнѣ сознательный критикъ.

Да не подумаютъ, что я беру такую роль на себя. Единицы такой величины встрѣчаются весьма рѣдко, хотя большая часть извѣстныхъ литераторовъ конечно обладаютъ и значительною степенью критическаго такта.

Почти всѣ они болѣе или менѣе въ состояніи судить и другихъ, и самихъ себя, какъ ни труденъ вообще судъ надъ собою.

Можетъ быть и у меня найдется нѣкоторая доля критическаго такта — по крайней мѣрѣ мнѣ случается почти всегда вѣрно опредѣлять значеніе литературныхъ произведеній другихъ: почему же я не могу опредѣлить вѣрно кое-что и въ самомъ себѣ? Безъ сомнѣнія, я рискую быть пристрастнымъ—и, пожалуй, впасть въ самообольщеніе и самовосхваленіе. Но тѣ, которымъ я сообщу мои критическія замѣтки о себѣ, конечно укажутъ мнѣ эту смѣшную черту и просвѣтятъ меня на мой счетъ.

Обращаясь къ любопытному процессу сознательнаго и безсознательнаго творчества. Я о себѣ прежде всего скажу, что я принадлежу къ послѣдней категоріи, т. е. увлекаюсь больше всего (какъ это замѣтилъ обо мнѣ Бѣлинскій) „своею способностью рисовать“.

Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что значитъ мой образъ, портретъ, характеръ: я только вижу его живымъ, передъ собою— и смотрю, вѣрно ли я рисую, вижу его въ дѣйствіи съ другими—слѣдовательно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполнѣ, какъ вмѣстѣ свяжутся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. Я спѣшу, чтобъ не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ—и иду впередъ какъ будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ Обломовѣ и Райскомъ), и мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока вдругъ не хлынетъ свѣтъ и не освѣтятъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ—и по дорогѣ я нечаянно захватываю, чтó попадется подъ руку, т. е., что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успѣваетъ писать, пока опять не упрусь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ,

я слышу отрывки ихъ разговоровъ—и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться.

Мнѣ, напримѣръ, прежде всего бросался въ глаза лѣнивый образъ Обломова — въ себѣ и въ другихъ — и все ярче и ярче выступалъ передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ, что въ эту фигуру вбираются мало по малу элементарныя свойства русскаго человѣка—и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру.

Еслибъ мнѣ тогда сказали все, что Добролюбовъ и другіе и, наконецъ, я самъ потомъ нашли въ немъ—я бы повѣрилъ, а повѣривъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или другую черту—и, конечно, испортилъ бы.

Вышла бы тенденціозная фигура! Хорошо, что я не вѣдалъ что́ творю!

Въ „Обрывѣ“ больше и прежде всего меня занимали три лица: Райскій, бабушка и Вѣра, но особенно Райскій. Труднѣе всего было мнѣ вдумываться въ этотъ неопредѣленный, туманный еще тогда для меня образъ, сложный, измѣнчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшійся постепенно, съ ходомъ времени, которое отражало на немъ всѣ переливы свѣта и красокъ, т. е. видоизмѣненія общественнаго развитія. Я долженъ былъ его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктомъ, глядя то въ себя, то вокругъ, безпрестанно говоря о немъ въ кругу тогдашнихъ литераторовъ, повѣряя себя, допрашиваясь ихъ мнѣнія, читая имъ на выдержку отдѣльныя главы, объясняя что будетъ дальше, чтобъ видѣть, какое впечатлѣніе производитъ онъ, и бодрѣе идти впередъ. И это началось съ 1855 года (романъ задуманъ былъ въ 1849 г. когда я, послѣ 14-лѣтняго отсутствія, пріѣхалъ повидать-

ся съ родственниками на Волгу). Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодаго со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончать „Обломова", котораго написана была первая часть, а остальныя гнѣздились въ головѣ. Я унесъ новый романъ, возилъ его вокругъ свѣта въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, разсказывалъ, читалъ въ слухъ всѣмъ кому попало, радуясь своему запасу.

Кончилъ „Фрегатъ Палладу", кончилъ, въ 1857 году, за границею на водахъ „Обломова" и тогда же, прямо изъ Маріенбада, поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ, трехъ пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только что написанныя въ уединеніи, на водахъ, три послѣднія части „Обломова", за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ же лицамъ. Послѣ того весь отдался „Обрыву", который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашемъ просто подъ именемъ „Художника".

Приступаю теперь прямо къ тому, что мнѣ видится въ моихъ трехъ романахъ, къ общему ихъ смыслу.

Я упомянулъ выше, что вижу не три романа, а одинъ. Всѣ они связаны одною общею нитью, одною послѣдовательною идеею—перехода отъ одной эпохи русской жизни, которую я переживалъ, къ другой—и отраженіемъ ихъ явленій въ моихъ изображеніяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ явленіяхъ и т. д.

Прежде всего надо вспомнить и уяснить себѣ слѣдующее положеніе искусства: если образы типичны—они непремѣнно отражаютъ на себѣ — крупнѣе или мельче — и эпоху, въ которой живутъ, отъ того они и типичны. То

*

есть, на нихъ отразятся, какъ въ зеркалѣ и явленія общественной жизни, и нравы, и бытъ. А если художникъ самъ глубокъ, то въ нихъ проявляется и психологическая сторона. На глубину я не претендую, поспѣшаю замѣтить: и современная критика уже замѣчала печатно, что я не глубокъ.

Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ—все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у меня въ воображеніи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна, какъ отражается иногда въ небольшомъ прудѣ, громадная обстановка: и опрокинутое надъ прудомъ небо, съ узоромъ облаковъ, и деревья, и гора съ какими-нибудь зданіями, и люди, и животныя, и суета, и неподвижность—все въ миніатюрныхъ подобіяхъ.

Такъ и надо мною, и надъ моими романами совершался этотъ простой физическій законъ—почти незамѣтнымъ для меня самого путемъ.

Когда я писалъ „Обыкновенную исторію", я конечно имѣлъ въ виду—и себя—и многихъ подобныхъ мнѣ учившихся дома, или въ университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ—отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага, со слезами, съ проводами, (какъ въ первыхъ главахъ „Обыкновенной исторіи") и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ.

И здѣсь—въ встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго лѣнью и барствомъ, мечтателя-племянника съ практическимъ дядей — выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ—въ Петербургѣ. Мотивъ этотъ—слабое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго нерутиннаго, а живого дѣла, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоемъ.

Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркалѣ въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомнѣнія тоже—въ такомъ же духѣ, тонѣ и характерѣ, только въ другихъ размѣровъ, разыгрывалась и въ другихъ, и высшихъ, и низшихъ сферахъ русской жизни.

Представитель этого мотива въ обществѣ былъ дядя: онъ достигъ значительнаго положенія въ службѣ, онъ директоръ, тайный совѣтникъ, и кромѣ того онъ сдѣлался и заводчикомъ. Тогда, отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ — это была смѣлая новизна, чуть не униженіе (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца—не было лестно.

Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, каррикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ, (напримѣръ, любви съ желтыми цвѣтами старой дѣвы тётки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимства и т. д.

Словомъ вся празданя, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ.

Все это — отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣловаго, нужнаго.

Первое, т. е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника—и отъ того онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе.

Второе — т. е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія—и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника.

Наденька, дѣвушка, предметъ любви Адуева—вышла такъ-же отраженіемъ своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь передъ волей какихъ-бы ни было родителей. Мать ея слаба передъ ней и едва въ состояніи сохранять только decorum авторитета матери, хотя и увѣряетъ, что она строга, даромъ что молчитъ, и что будто Наденька ни шагу безъ нея не ступитъ. Неправда, она сама чувствуетъ, что слаба и слѣпа, до того, что допускаетъ отношенія дочери и къ Адуеву, и къ графу, не понимая въ чемъ дѣло.

Дочь нѣсколькими шагами — впереди матери. Она безъ спросу полюбила Адуева—и почти не скрываетъ этого отъ матери или молчитъ только для приличія, считая за собою право распоряжаться по своему своимъ внутреннимъ міромъ и самимъ Адуевымъ, которымъ, изучивъ его хорошо, овладѣла и командуетъ. Это ея послушный рабъ, нѣжный, безхарактерно-добрый, что-то обѣщающій, но мелко-самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, какихъ вездѣ—легіонъ. И она приняла бы его, вышла бы за мужъ—и все пошло бы обычнымъ ходомъ.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, съ блескомъ. Наденька увидала, что Адуевъ не выдерживаетъ сравненія съ нимъ, ни въ умѣ, ни въ характерѣ, ни въ воспитаніи. Наденька въ своемъ быту не пріобрѣла сознанія ни о какихъ идеалахъ мужскаго достоинства, силы, и какой силы?

Тогда ихъ и не было, этихъ идеаловъ, какъ не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онѣгины, и подобные ему, вотъ кто были идеалы, т. е. франты, львы, презиравшіе мелкій трудъ и незнавшіе, что съ собой дѣлать!

Ея достало разглядѣть только, что молодой Адуевъ— не сила, что въ немъ повторяется все, что она видѣла тысячу разъ во всѣхъ другихъ юношахъ, съ которыми танцовала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась къ его стихамъ. Писаніе стиховъ тогда было дипломомъ на интеллигенцію. Она ждала, что сила, талантъ, кроются тамъ. Но оказалось, что онъ только пишетъ сносные стихи, но о нихъ никто не знаетъ, да еще дуется про себя на графа за то, что этотъ простъ, уменъ и держитъ себя съ достоинствомъ. Она перешла на сторону послѣдняго. Въ этомъ пока и состоялъ сознательный шагъ русской дѣвушки — безмолвная эмансипація, протестъ противъ безпомощнаго для нея авторитета матери.

Но тутъ и кончилась эта эмансипація. Она сознала, но въ дѣйствіе своего сознанія не обратила, а остановилась въ невѣдѣніи, такъ какъ и самый моментъ эпохи былъ моментомъ невѣдѣнія. Никто еще не зналъ, что съ собой дѣлать, куда идти, что начать? Онѣгинъ и подобные ему „идеалы“ только тосковали въ бездѣйствіи, не имѣя опредѣленныхъ цѣлей и дѣла, а Татьяны не вѣдали.

„Что же изъ этого будетъ?“—въ страхѣ спрашиваетъ Наденьку Адуевъ:—„графъ не женится?“

— „Не знаю!“—отвѣчаетъ она въ тоскѣ. И дѣйствительно не знала русская дѣвушка, какъ поступить сознательно и раціонально въ томъ или другомъ случаѣ. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать противъ отдачи ея замужъ родителями—

и только могла, безсознательно конечно, какъ Наденька, заявить этотъ протестъ, забраковавъ одного и перейдя чувствомъ къ другому.

Тутъ я и оставилъ Наденьку. Мнѣ она была больше не нужна, какъ типъ, а до нея, какъ до личности, мнѣ не было дѣла.

И Бѣлинскій однажды замѣтилъ это. „Пока ему нужна она, до тѣхъ поръ онъ съ ней и возится!"—сказалъ онъ кому-то при мнѣ:—„а тамъ и броситъ!"

А меня спрашивали многіе, что же было съ нею дальше? Почемъ я знаю? Я рисовалъ не Наденьку, а русскую дѣвушку извѣстнаго круга той эпохи, въ извѣстный моментъ. Самъ я никакой одной Наденьки лично не зналъ, или зналъ многихъ.

Мнѣ скажутъ, что какъ ея, такъ и другія фигуры блѣдны—и типовъ собою не образуютъ! очень можетъ быть—объ этомъ я спорить не могу. Я только говорю, что́ самъ подъ ними разумѣлъ.

Въ началѣ 40-хъ годовъ, когда задумывался и писался этотъ романъ, я еще не могъ вполнѣ ясно глядѣть въ слѣдующій періодъ, который не наступалъ, но предчувствія котораго жили уже во мнѣ, потому что вскорѣ послѣ напечатанія, въ 1847 году въ Современникѣ, „Обыкновенной Исторіи"—у меня уже въ умѣ былъ готовъ планъ Обломова, а въ 1848 г. (или 1849 г.—не помню) я помѣстилъ въ „Иллюстрированномъ Сборникѣ" при „Современникѣ" и „Сонъ Обломова"—эту увертюру всего романа, слѣдовательно я переживалъ про себя въ воображеніи и этотъ періодъ—и, благодаря своей чуткости, предчувствовалъ, что слѣдуетъ далѣе. Теперь могу отвѣчать, „что сталось съ Наденькой?"

Смотрите въ „Обломовѣ"—Ольга есть превращенная Наденька слѣдующей эпохи. Но до этого дойдемъ ниже.

Адуевъ кончилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ, (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился, словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается „Обыкновенная Исторія".

Она—въ моихъ книгахъ — первая галлерея, служащая преддверіемъ къ слѣдующимъ двумъ галлереямъ или періодамъ русской жизни, уже тѣсно связаннымъ между собою, т. е. къ „Обломову" и „Обрыву", или къ „Сну" и къ „Пробужденію".

Мнѣ могутъ замѣтить, что задолго передъ этимъ намеки на подобныя же отношенія между лицами, какъ у меня въ „Обломовѣ" и въ „Обрывѣ", частію въ „Обыкновенной Исторіи", есть у нашего великаго поэта Пушкина, напримѣръ, въ Татьянѣ и Онѣгинѣ, Ольгѣ и Ленскомъ и т. д.

На это я отвѣчу прежде всего, что отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселѣ, и всѣ мы, беллетристы, только разработываемъ завѣщанный ими матеріалъ. Даже Лермонтовъ, фигура колоссальная, весь, какъ старшій сынъ въ отца, вылился въ Пушкина. Онъ ступалъ, такъ сказать, въ его слѣды. Его Пророкъ и Демонъ, поэзія Кавказа и Востока и его романы—все это развитіе тѣхъ образцовъ поэзіи и идеаловъ, какіе далъ Пушкинъ. Я сказалъ въ критическомъ этюдѣ о Грибоѣдовѣ, „Милліонъ терзаній", что Пушкинъ — отецъ. родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ — отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются всѣ сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ всѣ роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и

намеки почти на всѣ послѣдовавшія вѣтви знанія и науки. И у Пушкина и у Лермонтова, вѣетъ одинъ родственный духъ, слышится одинъ общій строй лиры, иногда являются будто одни образы, — у Лермонтова можетъ быть болѣе мощные и глубокіе; но за то менѣе совершенные и блестящіе по формѣ, чѣмъ у Пушкина. Вся разница въ моментѣ времени. Лермонтовъ ушелъ дальше времени, вступилъ въ новый періодъ развитія мысли, новаго движенія европейской и русской жизни и опередилъ Пушкина глубиною мысли, смѣлостью и новизною идей и полета.

Пушкинъ, говорю, былъ нашъ учитель—и я воспитался, такъ сказать, его поэзіею. Гоголь на меня повліялъ гораздо позже и меньше: я уже писалъ самъ, когда Гоголь еще не закончилъ своего поприща.

Самъ Гоголь, объективностью своихъ образовъ, конечно обязанъ Пушкину же. Безъ этого образца и предтечи искусства—Гоголь не былъ бы тѣмъ Гоголемъ, какимъ онъ есть. Прелесть, строгость и чистота формы — тѣже. Вся разница въ бытѣ, въ обстановкѣ, и въ сферѣ дѣйствія —а творческій духъ одинъ, у Гоголя весь перешедшій въ отрицаніе.

Поэтому неудивительно, что черты Пушкинской, Лермонтовской и Гоголевской творческой силы — доселѣ входятъ въ нашу плоть и кровь, какъ плоть и кровь предковъ переходитъ къ потомкамъ.

Надо сказать, что у насъ, въ литературѣ, (да я думаю и вездѣ) особенно два главные образа женщинъ постоянно являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ противуположности: характеръ положительный—Пушкинская Ольга и идеальный его же Татьяна. Одинъ—безусловное, пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающійся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой—съ инстинктами самосознанія, самобытности, само-

дѣятельности. Отъ того первый ясенъ, открытъ, понятенъ съ разу (Ольга въ Онѣгинѣ, Варвара въ Грозѣ). Другой, напротивъ, своеобразенъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и отъ того кажется капризнымъ, таинственнымъ, мало-уловимымъ. Есть они у нашихъ учителей и образцовъ, есть и у Островскаго въ Грозѣ — въ другой сферѣ; они же, смѣю прибавить, явились и въ моемъ Обрывѣ. Это два господствующіе характера, на которые въ основныхъ чертахъ, съ разными оттѣнками, болѣе или менѣе дѣлятся почти всѣ женщины.

Дѣло не въ изобрѣтеніи новыхъ типовъ—да коренныхъ общечеловѣческихъ типовъ и немного—а въ томъ, какъ у кого они выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнью, и какъ послѣдняя на нихъ отразилась.

Пушкинскія Татьяна и Ольга какъ нельзя болѣе отвѣчали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась къ Онѣгину, но не нашла отвѣта и покорилась своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмигъ забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитетъ родителей рѣшилъ ихъ судьбу. Пушкинъ, какъ великій мастеръ, этими двумя ударами своей кисти, да еще нѣсколькими штрихами—далъ намъ вѣчные образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живописцы по античнымъ статуямъ.

У меня (въ дальнѣйшей противу Онѣгина эпохѣ), и Наденька, и Ольга, или лучше сказать Наденька — Ольга, (потому что я утверждаю, что это одно лицо въ разныхъ моментахъ) поступила иначе, согласно съ временемъ. Отъ невѣдѣнія Наденьки — естественный переходъ къ сознательному замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, энергіи — словомъ, силы.

Я не остановлюсь долго надъ „Обломовымъ". Въ свое время его разобрали и значеніе его было оцѣнено, и кри-

тикой, особенно въ лицѣ Добролюбова, и публикою, весьма сочувственно.

Воплощеніе сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни — переползаніе изо дня въ день—въ одномъ лицѣ и въ его обстановкѣ—было всѣми найдено вѣрнымъ— и я счастливъ.

Я закончилъ свою вторую картину русской жизни, Сна, нигдѣ не пробудивъ самого героя Обломова.

Только Штольцъ время отъ времени подставлялъ ему зеркало обломовской бездонной лѣни, апатіи, сна. Онъ истощилъ, вмѣстѣ съ Ольгой, всѣ силы къ пробужденію его —и все напрасно.

Въ послѣднемъ свиданіи со Штольцомъ только вырывается у Обломова нѣсколько сознательныхъ словъ—и напрасно я вставилъ ихъ. Я помѣстилъ ихъ въ концѣ, когда одинъ пріятель, гонявшійся всегда въ произведеніяхъ искусства за сознательною мыслію, но мало вообще доступный непосредственному дѣйствію образа, замѣтилъ мнѣ: „что же онъ, уже ли не отзовется на призывъ Штольца?“

Я и вставилъ нѣсколько словъ, изъ которыхъ выглядываетъ сознаніе и самого Обломова.

И образъ его немного, такъ сказать, тронулся отъ этого, немного потерялъ цѣлости характера: въ портретѣ оказалось пятно. Но это, къ счастію въ самомъ концѣ. Не надо было трогать вовсе. Не даромъ Бѣлинскій, въ своей рецензіи объ „Обыкновенной исторіи“, упрекнулъ меня за то, что я тамъ сталъ „на почву сознательной мысли!“ Образы такъ образы: ими и надо говорить.

Штольцъ, уходя въ послѣдній разъ, въ слезахъ говоритъ — „прощай, старая Обломовка: ты отжила свой вѣкъ!“

И того бы не нужно было говорить. Обломовъ самъ достаточно объясняетъ себя, прося Штольца уйти, не

трогать его, говоря, что онъ приросъ одною больною половиною къ старому, отдери— будетъ смерть!

Этимъ бы и слѣдовало закончить вторую картину Сонъ, т. е. непробудимымъ сномъ, потому что далѣе, за обломовскимъ хребтомъ (выраженіе Герцена гдѣ-то въ „Колоколѣ“), мнѣ открывалась дальнѣйшая, третья перспектива:—это картина Пробужденія.

Я, повторяю, ужъ съ 1849 года носилъ эту толпу лицъ, сценъ, пейзажей, въ памяти и въ программѣ (т. е. „Обрывъ“), набросанной безпорядочно, какъ все это носилось у меня въ головѣ. На первомъ планѣ являлась во весь ростъ Бабушка, потомъ Вѣра, Райскій, послѣ Марфинька, Козловъ съ женой (университетскія воспоминанія товарищества), дворня, садъ съ обрывомъ. Все это тѣснилось въ воображеніи и требовало только сосредоточенности уединенія и покоя, чтобы отлиться въ форму романа.

А этого всего было у меня мало, да я все сомнѣвался въ своихъ силахъ, все не довѣрялъ себѣ, все справлялся съ мнѣніемъ и впечатлѣніемъ другихъ, разсказывалъ все до подробности Боткину, Дудышкину, Дружинину, и болѣе всего одному, еще живому литератору, требуя мнѣнія, совѣта, но совѣтовъ ни отъ кого не получалъ, и кончалъ тѣмъ, что приводилъ все медленно, послѣ тщательной отдѣлки, къ концу. Я рѣдко могъ урываться за границу—между службою, свѣтскимъ и всякимъ другимъ бездѣльемъ — и работать. Всего болѣе затрудняла меня архитектоника, сведеніе всей массы лицъ и сценъ въ стройное цѣлое, и вотъ, между прочимъ, причины медленности!

„Чтó другому стало бы на десять повѣстей“, замѣтилъ однажды Бѣлинскій про меня, еще по поводу „Обыкновенной Исторіи“,—„у него укладывается въ одну рамку“.

Да и періоды, уложившіеся въ эти три рамки, растя-

нулись лѣтъ на тридцать, слѣдовательно, и романы—или отраженія жизни — должны были тянуться параллельно долго.

У меня раскидывался и четвертый періодъ, захватывавшій и современную жизнь, но я оставилъ этотъ планъ, потому что творчество требуетъ спокойнаго наблюденія уже установившихся и успокоившихся формъ жизни, а новая жизнь слишкомъ нова, она трепещетъ въ процессѣ броженія, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизмѣняется не по днямъ, а по часамъ. Нынѣшніе герои не похожи на завтрашнихъ и могутъ отражаться только въ зеркалѣ сатиры, легкаго очерка, а не въ большихъ эпическихъ произведеніяхъ.

Прежде чѣмъ перейти къ „Обрыву", скажу нѣсколько словъ о Штольцѣ въ „Обломовѣ".

Меня упрекали за это лицо—и съ одной стороны справедливо. Онъ слабъ, блѣденъ—изъ него слишкомъ голо выглядываетъ идея. Это я самъ сознаю. Но меня упрекали, зачѣмъ я ввелъ его въ романъ? Отчего нѣмца, а не русскаго поставилъ я въ противуположность Обломову?

Я могъ бы отвѣтить на это, что изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и закоренѣлости, какъ стихійную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, впалъ бы въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою, т. е. съ своею задачей — изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбавилъ бы цѣлость одной, избранной мною для романа стороны русскаго характера.

Но я молча слушалъ тогда порицанія, соглашаясь вполнѣ съ тѣмъ, что образъ Штольца блѣденъ, не реаленъ, не живой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы, и за нелестный об-

разъ Обломова, и всего болѣе за нѣмца—не хотѣли меня, такъ сказать, знать. Покойный Ѳ. И. Тютчевъ однажды ласково, съ свойственною ему мягкостью, упрекая меня, спросилъ „зачѣмъ я взялъ Штольца!“ Я повинился въ ошибкѣ, сказавъ, что сдѣлалъ это случайно: подъ руку, молъ, подвернулся!

Между тѣмъ, кажется, помимо моей воли—тутъ ошибки собственно не было, если принять во вниманіе ту роль, какую играли и играютъ до сихъ поръ въ русской жизни и нѣмецкій элементъ, и нѣмцы. Еще доселѣ они у насъ учители, профессоры, механики, инженеры, техники по всѣмъ частямъ. Лучшія и богатыя отрасли промышленности, торговыхъ и другихъ предпріятій въ ихъ рукахъ.

Это конечно, досадно, но справедливо—и причины этого порядка дѣлъ истекаютъ все изъ той же обломовщины (между прочимъ, изъ крѣпостнаго права), главный мотивъ которой набросанъ мною въ Снѣ Обломова.

Я вижу, однако, что не спроста подвернулся мнѣ нѣмецъ подъ руку—и должно быть тогда (я теперь забылъ) мнѣ противно было брать чисто-нѣмецкаго нѣмца. Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣмца и нѣмецкую систему неизнѣженнаго, бодраго и практическаго воспитанія.

Обрусѣвшіе нѣмцы (напримѣръ, остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнію и—нѣтъ сомнѣнія, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни—и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности—прежде всего свое терпѣніе, persévérance своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ бы ни было—въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду—они служатъ съ Россіей и Россіи, и большею частію становятся ея дѣтьми.

Отвергать ихъ при этихъ условіяхъ, какъ притокъ, сли-

вающійся съ общею рѣкою—было бы также возмутительно-несправедливо съ нашей русской стороны, какъ возмутительно-несправедливо со стороны нѣкоторой партіи остзейскихъ нѣмцевъ, живя въ Россіи, съ русскими, находя въ ней надежную опору своего политическаго существованія и всѣ условія благосостоянія, считать ее чуждою себѣ, своему нѣмецкому духу, пятиться отъ сліянія съ нею и стараться удержать statu quo.

Все это, конечно, минуетъ въ будущемъ, хотя, можетъ быть, и не очень близкомъ. Закоснѣлость и упрямство нашихъ доморощенныхъ нѣмцевъ уступятъ духу времени, когда они, съ своею мнимою остзейской цивилизаціею, очутятся позади шагающей впередъ Россіи. И самое славянофильство, оставаясь тѣмъ, что̀ оно есть, т. е. выраженіемъ и охраненіемъ кореннаго славяно-русскаго духа, нравственной народной силы и историческаго характера Россіи, будетъ искреннѣе протягивать руку къ всеобщей, т. е. европейской культурѣ: ибо если чувства и убѣжденія національны, то знаніе—одно для всѣхъ и у всѣхъ.

Обращаюсь къ „Обрыву". Тамъ на первомъ планѣ — Райскій и Бабушка, потомъ Вѣра, Волоховъ, Марѳинька и Викентьевъ, далѣе учитель Козловъ съ женою, большая дворня и наконецъ Тушинъ.

Что же представляетъ эта группа? Ужели ничего больше, кромѣ портретовъ, индивидуальныхъ характеровъ, мало связанныхъ съ общею жизнью извѣстнаго момента?

Такъ иные и смотрѣли. Нѣкоторые упрекали меня, зачѣмъ я такъ пложу и растягиваю тѣ или другія сцены? зачѣмъ обременяю ихъ подробностями? довольно бы-де однимъ намекомъ, нѣсколькими словами, штрихомъ, маленькой сценой—выразить мысль...

Но я выражалъ прежде всего не мысль, а то лицо, тотъ образъ, то дѣйствіе, которое видѣлъ въ фантазіи. По-

ступи я по совѣту этой критики, у меня не вышло бы ни одной живой и полной фигуры, законченнаго портрета, а вышли бы сухіе рисунки, силуэты, эскизы карандаша. Зачѣмъ же мнѣ карандашъ, если, какъ говорятъ, у меня есть кисть?

Теперь скажу, что́ я самъ вижу въ этихъ фигурахъ.

Что такое Райскій? Да все Обломовъ, т. е. прямой, ближайшій его сынъ, герой эпохи Пробужденія.

Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ неразбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ снѣ и застоѣ. И критика, и публика находили это: почти всѣ мои знакомые на каждомъ шагу, смѣясь, говорили мнѣ, по выходѣ книги въ свѣтъ, что они узнаютъ въ этомъ героѣ себя и своихъ знакомыхъ.

Райскій—герой слѣдующей, т. е. переходной эпохи. Это проснувшійся Обломовъ: сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель.

Что-то пронеслось новое и живое въ воздухѣ, какія-то смутныя предчувствія, потомъ прошли слухи о новыхъ началахъ, преобразованіяхъ; обнаружилось движеніе въ наукѣ, въ искусствѣ; съ профессорскихъ кафедръ послышались живыя рѣчи. Въ небольшихъ кружкахъ тогдашней интеллигенціи, смѣло выражалась передовыми людьми жажда перемѣнъ. Ихъ называли „людьми сороковыхъ годовъ". Райскій—есть конечно одинъ изъ нихъ—и можетъ быть—что-нибудь и еще.

Райскій — натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все таки сынъ Обломова.

Онъ, умомъ и совѣстью, принялъ новыя животворныя сѣмена — но остатки еще не вымершей обломовщины мѣ-

шаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло. Онъ совался туда, сюда — но онъ не былъ серьезно приготовленъ наукой и практикой къ какой-нибудь государственной, общественной, или частной дѣятельности, потому что на всѣхъ этихъ сферахъ еще лежала обломовщина, тихое, монотонное теченіе сонныхъ привычекъ, рутина. Живое дѣло только что просыпалось. Россія доживала вѣкъ петровскихъ реформъ—и ждала новыхъ.

Райскій мечется, и наконецъ, благодаря природному таланту или талантамъ, бросается къ искусству: къ живописи, къ поэзіи, къ скульптурѣ. Но и тутъ, какъ гири на ногахъ, его тянетъ назадъ таже „обломовщина".

Нива искусства была такъ-же пуста, не воздѣлана, и отдѣльныя, хотя великія явленія въ ней — были случайности. Въ литературѣ почти тоже.

Не было цѣлой рати пишущихъ, разсадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по уголкамъ. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдѣльными яркими звѣздами, а кругомъ ихъ почти никого. Тоже и въ живописи и въ ваяніи: была и академія и школа классическая и классная. Не было почвы, кружковъ, общества, которые жили бы однимъ искусствомъ и для искусства, безъ видовъ на карьеру и отличія. Не было частной иниціативы; самобытная русская художническая сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу.

Такъ было до нашего времени, до нынѣшняго царствованія. Гоголь, правда, явился прежде, но созданная имъ школа разрослась и утвердилась съ свободой печати, также какъ развилась и журналистика, образовались кружки, партіи и большой кругъ замѣчательныхъ писателей.

Но это все послѣ, а Райскій и Бабушка явились, повторяю, у меня въ головѣ въ 1849 году. Какъ

только я пріѣхалъ на Волгу, на меня, какъ будто сонъ, слетѣлъ весь планъ романа. Я уже разработалъ въ головѣ Обломова до конца и въ то же время развивалась у меня въ воображеніи слѣдующая эпоха, и все—и дѣйствіе, и лица, шли — параллельно съ развитіемъ самой жизни. Это, повторяю, мнѣ становилось замѣтно, когда я приходилъ къ концу романа.

Въ Райскаго входили, сначала безсознательно для меня самаго, и многія типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществѣ, въ образованной средѣ, побѣги новыхъ, свѣжихъ стремленій, мѣшались и путались еще съ терніями и волчцами обломовщины разнаго рода—и вольной, и невольной, съ разными приманками празднаго житья-бытья, и съ трудностями упорной борьбы съ старымъ. Застой, отсутствіе спеціальныхъ сферъ дѣятельности, служба, захватывавшая и годныхъ и негодныхъ, и нужныхъ и ненужныхъ, и распложавшая бюрократію, все еще густыми тучами лежали на горизонтѣ общественной жизни: группа новыхъ людей устремилась къ ихъ разсѣянію.

Искусство было все еще роскошью, забавой для богатыхъ, горькою нуждою для бѣдныхъ; литература, за исключеніемъ крупныхъ талантовъ, была дѣломъ подозрительнымъ. За писателями признавалось ихъ значеніе, когда они достигали виднаго положенія въ обществѣ путемъ службы.

И мы всѣ работали какъ-то въ одиночку, тихомолкомъ, съ оглядкой и опаской, и больше изъ нужды.

А кому не было нужды — тѣ диллетанствовали. Напримѣръ, одинъ зналъ отлично технику музыки, былъ меценатъ и другъ всѣхъ иностранныхъ и своихъ знаменитостей, носилъ въ себѣ планы музыкальныхъ серьезныхъ сочиненій, оперъ, можетъ быть ораторій, симфоній, говорилъ о нихъ съ жаромъ и знаніемъ дѣла. Всѣ ждали отъ него чего нибудь серьезнаго, а онъ разрѣшился сочиненіемъ одного

*

хорошенькаго романса (гр. Віельгорскій), другой, обладая необыкновенною силою лирическаго паѳоса, написалъ всего десятка два прекрасныхъ стихотвореній (Тютчевъ). И это лучшіе люди извѣстнаго круга. Третій, съ многостороннимъ образованіемъ, большою начитаннестію — написалъ нѣсколько легкихъ разсказовъ, гдѣ кроются сѣмена серьезнаго таланта (кн. Одоевскій). Можно много привести примѣровъ въ pendant къ этимъ.

Во всѣхъ родахъ искусства—таланты такихъ Райскихъ не были содержаніемъ и цѣлью жизни, а только средствомъ пріятно проводить время.

Райскій талантливъ — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человѣка и для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима,—да и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ.

Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго, и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и малыя свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается.

Онъ бьется съ Софьей Бѣловодовой, стараясь сломать стѣну великосвѣтской замкнутости, замуровавшейся въ фамильныхъ преданіяхъ рода, въ завѣщанныхъ предками границахъ недоступной гордости, въ приличіяхъ, тона, словомъ въ аристократически-обломовской, переходившей по наслѣдству изъ рода въ родъ, неподвижности.

И не успѣваетъ конечно, потому что его вызвала на борьбу корысть, поклоненіе живой красотѣ; ему хочется побѣдить не эти застывшія преданія, феодальную гордость, и вызвать на живое, новое дѣло умъ и духъ Софьи: ему хочется побѣдить только кузину-женщину—для себя. А дѣла,

собственной силы, примѣра—онъ не вноситъ въ эту борьбу, и отъ того не успѣваетъ.

Онъ, если не спитъ по обломовски, то едва лишь проснулся—и пока знаетъ что̀ дѣлать, но недѣлаетъ.

Онъ раздражался только въ порывахъ къ дѣлу, а болѣе всего поклонялся красотѣ—и съ этой стороны, пожалуй, нѣсколько и тронулъ Софью, но не въ свою пользу. Она морщится при его настояніяхъ о необходимости дѣла, труда, откупается отъ этого деньгами въ пользу бѣдныхъ, но задумывается надъ его горячешными рѣчами о любви и о свободѣ располагать чувствомъ и собой. Потребность этой свободы зашевелилась и въ ней безсознательно, потому что онъ дѣйствовалъ не на сознаніе и убѣжденіе ея, а только на нервы. Она вышла изъ своей роли величавой безупречности, выглянула, на сколько могла, за высокія стѣны великосвѣтскаго монастыря и сдѣлала un faux pas... наединѣ поговорила съ италіанскимъ графомъ, разъ встрѣтилась съ нимъ на прогулкѣ и написала ему простую записку о присылкѣ нотъ... Faux pas! закричала вся клика, привыкшая видѣть ее холодно-безупречною—и только.

Въ ней, при появленіи графа, началъ было таять ледъ строгаго воспитанія и приличія, но при первой тревогѣ тётокъ, при шепотѣ свѣта, она сейчасъ-же одолѣла игру нервъ.

Здѣсь я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Бѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю, кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполнѣ права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замыселъ—показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большаго свѣта. И ничего, кромѣ претензіи, не вышло изъ этой затѣи.

Кромѣ того меня соблазняла мысль выставить рядъ жен-

скихъ портретовъ, № 1-й вышелъ неудаченъ; 2-й,—умирающей Наташи, писанный какъ и Бѣловодова, въ 50-хъ годахъ—также блѣденъ. Это между прочимъ отъ того, что я торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа, не останавливаясь подолгу на этихъ аксесуарныхъ явленіяхъ. Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица, бабушки и внучекъ, всего провинціальнаго люда и дворни—и вся обстановка, по отзывамъ всѣхъ, вышли у меня живѣе.

Тамъ, въ Софьѣ и Наташѣ, было сочиненіе—тутъ я писалъ съ живыхъ лицъ. Къ тому же, въ этотъ промежутокъ времени, отъ 1840—1862 г. (когда я вторично посѣтилъ Волгу), и перо мое конечно значительно должно было созрѣть и укрѣпиться въ роботѣ. Кажется въ 1859 или въ 1861 году я помѣстилъ два или три „эпизода изъ жизни Райскаго“ въ „ Отеч. Запискахъ“ и одинъ эпизодъ „Бабушка“ въ „Современникѣ“.

Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мановенія мощной руки, своихъ рамокъ,—мы всѣ остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій. Подъ него подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себѣ идеалы, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣятельности: и туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся втунѣ талантовъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей, и снѣдаемыхъ, и своею собственною, частною, и казенною обломовщиной. Мы всѣ уперлись бы въ стѣну — и продолжали бы писать безсодержательные звучные стихи, или изображать одни и тѣже явленія текущей, болѣе естественной животной жизни.

Въ Райскомъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ на него хода време-

ни и новыхъ событій, я слѣдилъ еще съ большимъ интересомъ—любопытный, психологическій, или физіологическій процессъ проявленія этой подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно тó, какъ сила фантазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная на насущное дѣло, на художественныя созданія, бросалась въ самую жизнь, и мелочныя явленія послѣдней наряжала въ свои цвѣта и краски, производя тѣ чудачества, странности, часто безобразія, которыми нерѣдко обильна бываетъ жизнь артистовъ вездѣ.

Праздная фантазія въ такихъ натурахъ чаще всего бросается въ сферу чувствъ, во всѣ виды и роды любвей, производя экзальтацію, творя идолы, порождая изъ всего этого какую-то горячку или шутиху, что-то жалкое и смѣшное.

Эти упражненія въ чувствахъ и особенно въ любви, занимали между прочимъ также и значительный излюбленный уголокъ старой обломовщины!

Къ счастію, русское общество охранилъ отъ гибели застоя спасительный переломъ. Изъ высшихъ сферъ правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились въ массу публики, сначала тихія, потомъ явственныя слова о „свободѣ“, предвѣстники конца крѣпостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открыла свѣтлую перспективу будущаго.

Въ литературѣ смѣлѣе стали раздаваться голоса представителей новыхъ идей.

Конечно и моя мысль, и фантазія прониклись новымъ вѣяніемъ. Я кончилъ „Обломова“, и у меня стали шире раздвигаться рамы слѣдующей картины, т. е. „Пробужденія“.

Двадцать лѣтъ тянулось писаніе этого романа,—иначе и быть не могло. Онъ писался, какъ тянулся періодъ самой жизни.

Въ „Обрывѣ“, на моихъ пигмеяхъ, въ крошечномъ озерѣ, отразилась состояніе броженія, борьба стараго съ новымъ.

Я слѣдилъ за отраженіемъ этой борьбы на знакомомъ мнѣ уголкѣ, на знакомыхъ лицахъ.

Слѣдилъ,—говорю я,—надо бы сказать: смотрѣлъ и писалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасившіяся въ краски момента, и такими выдаю ихъ назадъ, т. е. кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ.

Я самъ не могу смотрѣть на свои романы иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ и онѣ оттиснулись во мнѣ и въ моихъ сочиненіяхъ, въ доступномъ мнѣ быту, на сколько хватило у меня силъ и таланта.

Райскій, на родинѣ, объявилъ ту же войну старому, отжившему. Онъ воюетъ съ Бабушкою, споритъ, горячится, но любитъ ее, какъ мать; схватывается и съ Марфинькою и съ Вѣрою. Но воюетъ также изъ корыстныхъ видовъ съ двумя послѣдними, какъ и съ Бѣловодовой. Воображеніе, раздраженное ихъ красотою, влечетъ его къ побѣдѣ надъ ними. Но одна обезоруживаетъ его своей дѣтской чистотой, другая—сознательною силою.

Бабушкѣ онъ уступаетъ, потому что и самъ, хотя и воюетъ противъ изнѣженности, барства и стараго быта, но охотно спитъ на мягкой постели, хорошо ѣстъ, и даже, какъ прямой сынъ Обломова, даетъ, ворча, снимать съ себя Егору сапоги (Обломовъ требовалъ, чтобы Захаръ натягивалъ на него чулки).

Самъ онъ живетъ подъ игомъ еще неотмѣненнаго крѣпостнаго права и сложившихся при ней нравовъ, и оттого воюетъ только на словахъ, а не на дѣлѣ: совѣтуетъ бабушкѣ отпустить мужиковъ на всѣ четыре стороны и предоста-

вить имъ дѣлать, что они хотятъ; а самъ въ дѣло не вмѣшивается, хотя имѣніе—его.

Это колебаніе и нерѣшительность весьма естественны: колебалось все общество русское и всякій его уголокъ. Крупные и крутые повороты не могутъ совершаться какъ перемѣна платья, они совершаются постепенно, пока всѣ атомы броженія не осилятъ—сильные слабыхъ и не сольются въ одно. Таковы всѣ переходныя эпохи.

Мелкая пресса смѣялась когда-то надъ этою постепенностью и насмѣшливо прозвала постепеновцами всѣхъ партизановъ этого мудраго закона, дающаго старому отживать свою пору, а новому упрочиваться, безъ насилія, боя и крови.

Я безъ смѣха не могу вспомнить теперь комическаго недоумѣнія нѣкоторыхъ стариковъ при появленіи довольно рѣзкихъ симптомовъ, такъ называемаго, нигилизма. У этихъ стариковъ своего ничего не было, т. е. того что называется мыслью и убѣжденіемъ, а между тѣмъ было самолюбіе казаться современными, не отставать отъ прогресса: а какъ распознать что̀ прогрессъ, что̀ нѣтъ—они не знали, не имѣя подготовки. Проникли въ печать, не смотря на цензуру, нѣкоторые смѣлые намеки соціальнаго характера, между молодежью произошло какое-то движеніе—и старики оторопѣли, не знали, что говорить объ этихъ книгахъ, о молодежи: порицать или стоять за нее? туда-сюда!

Райскій успѣлъ только сломать одно ветхое, старое дупло, торчавшее втунѣ, всѣхъ царапавшее и недававшее мѣста новымъ побѣгамъ, именно стараго чиновника, генерала Тычкова.

Здѣсь и Бабушка соединилась съ нимъ заодно, и оба однимъ ударомъ уничтожили это сгнившее полѣно. Она — за то, что онъ чинъ безъ заслуги хотѣлъ поставить выше значенія древности рода. Райскій казнилъ его, какъ

стараго взяточника, самодура и деспота, всѣмъ навязывавшаго грубо свой отжившій авторитетъ.

И весь уголокъ, оглядѣвшись трезво, созналъ правду въ этомъ фактѣ, прозрѣлъ отъ слѣпаго уваженія къ прошлому, ненужному, вредному, и апплодировалъ Райскому.

Бабушка была благосклонно принята всѣми въ публикѣ. Никто ничего не говорилъ противъ ея изображенія, и до меня доходили только похвалы ей.

Но что же такое, въ самомъ дѣлѣ, эта Бабушка?

Сжатый смыслъ всего моральнаго склада этой старухи высказанъ въ самомъ романѣ, на 342 и 343 стр. (изд. 1870 г.). Вотъ этотъ очеркъ.

„Бабушка говоритъ языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости, но въ новыхъ какихъ-нибудь, неожиданныхъ для нея случаяхъ, у ней выступали собственныя силы и она дѣйствовала своеобразно. Сквозь обветшавшую, негодную мудрость, у ней пробивалась струя здраваго смысла“.

Только она „пугалась немного (новаго) и безпокойно искала подкрѣпить его бывшими примѣрами“ и т. д.

Весь смыслъ ея характера таковъ, что она старуха твердая, властная, упорная, уступать не любитъ, хотя про себя и сознаетъ, что внукъ, Райскій, часто правъ. Но она велитъ ему и тогда молчать, „молодъ, чтобы перечить бабушкѣ“,—говоритъ она. Она любитъ, чтобы ей всѣ повиновались—и Марѳинька ей милѣе всѣхъ, потому что она изъ послушанія бабушки не выйдетъ. Этотъ мотивъ о послушаніи проходитъ черезъ весь романъ въ ея характерѣ. На Вѣру она коситься, что та удаляется, едва слушаетъ ея совѣты, и она, по неволѣ скрѣпя сердце, даетъ ей нѣкоторую свободу.

И всѣхъ, и все въ домѣ она блюдетъ зоркимъ окомъ, и видитъ изъ одного окна — свою деревню, поля, изъ другаго—садъ, огородъ и людскія. Ничто не шевельнется въ деревнѣ и домѣ безъ ея спроса, воли и вѣдома. Она хозяйничаетъ и въ полѣ, и въ кладовыхъ; съ мужиками и съ цѣлымъ городомъ держитъ себя гордо и повелительно.

За эти черты и другія, все въ томъ же тонѣ и духѣ, находили портретъ старухи типичнымъ.

Но почему же онъ типиченъ и кого напоминаетъ? Я вижу въ немъ что-то близкое и знакомое не мнѣ одному, а всѣмъ намъ.

Я писалъ съ русской старой хорошей женщины, или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой паралели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее,—у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они:

„За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Марѳинька и бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка—Россія!“

Вотъ что̀ отразилось, или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то, по крайней мѣрѣ, вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!

Не жили ли старыя наши поколѣнія и старшіе, господствовавшіе и управлявшіе нашими судьбами представители этихъ поколѣній, или, лучше сказать, не спали ли они подъ навѣсомъ старой мудрости, пробавляясь преданіями, хотя и соглашались (какъ бабушка въ спорахъ съ внукомъ) про себя, что надо жить иначе, но

боялись, безпокоились, какъ она, и пятились въ страхѣ отъ всего новаго, зажимая глаза и, когда нельзя было уйти назадъ, уступали неохотно, и тогда, сквозь обветшавшую, негодную мудрость, пробивались свѣжія русскія силы здраваго смысла?..

Развѣ мы не пережили этихъ колебаній, страховъ, безпокойствъ пробуждающагося организма, пока всемогущее „быть посему“ не указало, куда идти всѣмъ дружно, на свѣтъ, къ новымъ и разумнымъ благамъ?

А расплата за этотъ безусловный страхъ всего новаго, за высокомѣріе невѣдѣнія и за слѣпую вѣру въ свою силу— за всѣ старые грѣхи—развѣ не отразилось это въ самоувѣренности Бабушки, требовавшей по виновенія только своей волѣ, и зажимавшей глаза отъ новаго, вмѣсто того, чтобы подвести Вѣру къ этому новому исподволь и сознательно, чтобы она не обольстилась фальшивымъ блескомъ невѣдомой, будто „новой правды“ и новаго дѣла и счастья“ и знала, какъ встрѣтить Волохова?

Развѣ не плакало старое поколѣніе о своихъ „грѣхахъ“, какъ Бабушка плачетъ надъ своимъ маленькимъ Севастополемъ, разрушенной бесѣдкой на днѣ Обрыва?

Оставимъ пока эту паралель, т. е. Бабушки и стараго русскаго общества: я возвращусь къ ней ниже.

Обращусь отъ синтеза къ анализу.

Что далѣе говорили о другихъ моихъ лицахъ, между прочимъ о Вѣрѣ и Волоховѣ, особенно о послѣднемъ?

Голоса раздѣлились на два хора. Хоръ старшихъ поколѣній пѣлъ: „какъ можно выводить въ романѣ, претендующемъ на художественность, такую грубую, неряшливую фигуру, и сводить ее съ изящной, тонкой фигурой Вѣры?“

Другой хоръ—молодые голоса раздражительно твердили: „это рѣзкія крайности, каррикатурный, преувеличенный образъ, униженіе, направленное на молодое поколѣніе“ и т. д. Таковъ былъ смыслъ упрековъ съ двухъ сторонъ.

Безпристрастные люди говорили мнѣ съ участіемъ, вопервыхъ, о типичной правдѣ этой фигуры, а позднѣе, вовторыхъ, о нѣкоторомъ вліяніи будто-бы этого типа коегдѣ въ обществѣ. Этого слишкомъ много и я тотчасъ уклонился отъ такой заслуги, взявъ себѣ только правдивость изображенія.

Теперь, мы нѣсколько отодвинулись отъ этого явленія и можно всѣмъ быть хладнокровнѣе и безпристрастнѣе. Теперь и я могу объяснить, что̀ я самъ видѣлъ и вижу въ этой фигурѣ.

Тогда, повторяю, я хотѣлъ было объяснить этотъ типъ въ предисловіи къ отдѣльному изданію Обрыва, но въ виду общаго со всѣхъ сторонъ къ нему неблаговоленія, я отложилъ эту мысль—и все предисловіе, до болѣе удобнаго времени.

Еще я долженъ сказать; что въ первоначальномъ планѣ Обрыва, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще несуществовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный, по неблагонадежности, подъ присмотръ полиціи, выключенный изъ службы, или изъ школы, либералъ, за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ съ временемъ и новыми явленіями, то и лица, конечно, принимали въ себя черты и духъ времени событій. Отъ этого и предположен-

ный зародышъ неблагонадежнаго превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо.

Меня крайне удивляло, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ, кромѣ развѣ самихъ Волоховыхъ! Оно, можетъ быть, вспоминая свои раннія утопіи и увлеченія, думало, вѣроятно, видѣть ихъ нѣкоторое отраженіе въ развитіи мыслей Волохова. Напрасно!

Развѣ только потому оно могло видѣть это, что и Волоховъ говоритъ именемъ правды, разума и свободы: но въ этомъ всѣ сходны съ нимъ: и старые, и новые люди, и консерваторы, и либералы! И только въ этомъ. Кто-же отказывался отъ этого въ своихъ убѣжденіяхъ? Но дѣло въ томъ, что Волоховъ заблуждается въ значеніи этихъ понятій и съ гордымъ самоослѣпленіемъ вводитъ въ заблужденіе другихъ, не имѣя подъ собою никакой почвы.

У всѣхъ, самыхъ противуположныхъ лагерей—всегда есть общія точки соприкосновенія, всѣ ратуютъ во имя разума, свободы и правды, всѣ приводятъ это на словахъ, но всѣ разумѣютъ слова по своему, и отъ того употребляютъ различные, часто невѣрные пути.

Волоховъ—будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось на встрѣчу реформъ — и туда уложило всѣ силы!

Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!

Поколѣніе, которое—прежнюю, автоматическую военную массу—энергически помогло вождю ея, съ чудесною быстротою, преобразить въ современную, осмысленную и грозную силу! Поколѣніе, которое переполняетъ школы,

жадно учится, познаетъ, изобрѣтаетъ, творитъ во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколѣніе молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя!

И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!

А самая масса общества сверху до низу, вся уходящая въ муравьиную работу, въ бездонные рудники труда, вызваннаго новою жизнію? Ужели и это Волоховы?

Нѣтъ, это не Волоховы, а представители новой „правды", воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество!

Но въ жизни, рядомъ съ правдой, къ несчастью, гнѣздится и ложь; и представителемъ этой новой лжи являются Волоховы! Вѣдь у меня въ книгѣ, есть фигура блѣдная, неясная—намекъ такъ сказать, но намекъ на настоящее новое поколѣніе, на лучшее его большинство: это Тушинъ или Тушины, начиная съ вершинъ русской лѣстницы и до низу!

Общество уже выкинуло Волоховыхъ изъ своей среды, какъ болѣзненное явленіе.

Пока явленіе не опредѣлилось и не закончилось—колебалось и общество слѣдило, изучало, наконецъ распознало его, и оно уже исчезаетъ съ лица русской жизни.

Перехожу къ другому хору — старшихъ поколѣній. „Какъ можно говорили мнѣ, выводить такую грубую, неприглядную фигуру—и ставить съ нимъ рядомъ изящную, чистую Вѣру?"

Почему именно вышла рѣзкая, грубая фигура?

Ужели я, нарисовавъ, какъ говорятъ, цѣлую галле-

рею портретовъ, не умѣлъ бы нарисовать портретъ почище, поприличнѣе?

Но вышелъ ли бы онъ тогда вѣренъ и типиченъ? — спрошу я. Вобралъ ли бы онъ въ себя и выразилъ ли бы что нибудь общее всему этому явленію, которое разыгралось у насъ? Волоховъ не соціалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикалъ и кандидатъ въ демагоги: онъ съ почвы праздной теоріи безусловнаго отрицанія, готовъ перейти къ дѣйствію—и перешелъ бы, еслибъ у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти къ дѣйствію, т. е. если бы у насъ была возможна широкая пропоганда комунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. [1]). Онъ и пошелъ бы на это поле работать—искренно, потому что я взялъ не авантюриста, бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго т. е. искренняго человѣка, не глупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ условіе успѣха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали бы разомъ и отвернулись бы отъ него.

Прибавь я къ этому авторское негодованіе, тогда былъ бы типъ не Волохова, а изображеніе моего личнаго чувства, и все пропало бы. Sine ira—законъ объективнаго творчества.

Точно также, смягчи я этотъ портретъ въ угоду молодымъ голосамъ, не вышло бы героя того явленія, которое разыгралось у всѣхъ на глазахъ!

Онъ или вѣренъ или нѣтъ—дѣйствительности.

Если вѣренъ—то я правъ, и въ этомъ вся заслуга пи-

---

[1]) Къ несчастью, это оказалось «возможнымъ» въ извѣстной степени и у насъ, какъ это подтвердилось съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1875 г., когда были писаны эти строки.

сателя, а тамъ уже дѣло читателей выводить изъ образа свои заключенія.

Теперь слѣдуетъ главный corpus delicti: какъ могла влюбиться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная? Какъ изъ порядочнаго общества могла она уйти въ обрывъ, сблизиться съ такою личностью?

Странный упрекъ!

А вѣдь стоило только оглянуться вокругъ и слегка пробѣжать въ памяти, что́ всѣ видѣли и пережили въ десятилѣтіе съ 1860 по 1870 годъ, чтобы рѣшить, вѣрно или не вѣрно мое изображеніе.

Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ именно въ то самое время, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей—жертву за жертвой, и наводило почти панику на общество.

Упрекаютъ за то, что я записалъ явленіе, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину!

Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими, оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями „новой силы", „новаго дѣла", идеала какого-то „громаднаго будущаго?"

Развѣ многія изящныя красавицы не пошли съ ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ, однѣ родителей, другія мужей и—еще хуже—дѣтей?

Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры!

Какія это женщины? скажутъ мнѣ.—Всякія! отвѣчу я.

Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ—нѣтъ.

Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій—изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга,—на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ

жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямаго, скромнаго дѣла и трудныхъ семейныхъ обязанностей?

Сюда не подходятъ, конечно, тѣ серьезныя женщины новаго поколѣнія, которыя, въ самомъ дѣлѣ, хотятъ работать и которыя, путемъ строгаго, систематическаго образованія, ищутъ усвоить себѣ ту или другую отрасль знанія, профессію, и создаютъ для себя самостоятельную дѣятельность и жизнь. Но тутъ путь дологъ и труденъ, и не всѣ выдерживаютъ его до конца. Тѣ женщины не бѣгаютъ тайкомъ отъ своихъ семей: онѣ открыто идутъ въ открытыя имъ двери учебныхъ заведеній, обществъ, курсовъ, при общемъ участіи и уваженіи. Въ рукахъ этихъ женщинъ— прямое рѣшеніе, такъ называемаго, женскаго вопроса!

Всѣ, конечно, знаютъ и помнятъ примѣры этихъ эмиграцій—и я зналъ нѣкоторыхъ женщинъ, съ которыхъ до этого „паденія“ не задумался бы писать свою Вѣру!

Такъ гдѣ же, спрошу и я въ свою очередь, выдумка на молодыя поколѣнія обоего пола?

Я взялъ лучшую изъ женщинъ, которая самостоятельно и гордо, не прибѣгнувъ къ „старой мудрости“ Бабушки и не подготовленная этою же Бабушкою, по невѣдѣнію и также по гордости, къ познанію настоящей „новой правды и новой жизни“—пошла сама на свѣтъ и едва не сгорѣла.

„Зачѣмъ вводить это въ романъ?“ говорили между прочимъ. „Зачѣмъ писать романъ?“ отвѣчу я, „если онъ не долженъ отражать жизни!“

Я писалъ не одного какого-нибудь Волохова и не одну Вѣру.

„Вѣра пала! какъ можно, какая жалость!“ говорили мнѣ въ глаза.

И жаль всѣмъ было моей писанной Вѣры — портрета, но ужели менѣе жаль всѣхъ падшихъ живыхъ Вѣръ?!

Въ IV главѣ пятой части (2-го тома, со стр. 482—483—до VII-ой главы) находится ключь къ значенію Вѣры и къ тому, что́ подготовило ея паденіе.

Пала не Вѣра, не личность, пала русская дѣвушка, русская женщина, — жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новою: она не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она сама знала, что́ отжило въ старой, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять новую правду, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она „не знала", гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее только отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ, и не приготовила ни къ какимъ невѣдомымъ ей самой бѣдамъ.

Въ новомъ другѣ Вѣра думала найти опору, свѣтъ, правду, потому что почуяла въ немъ какую-то силу, смѣлость, огонь, — и нашла ложь, которой, по невѣдѣнію и и замкнутости, не распознала сначала, а распознавъ, гордо возмечтала, силою любви измѣнить эту новую ложь на свою старую правду и обратить отщепенца въ свою вѣру, любовь и въ свои надежды.

И горько заплатила она за самовольное вкушеніе отъ этого древа познанія зла!

Она воротилась, клоня голову отъ боли и стыда, и пошла къ новой жизни уже другимъ, сознательнымъ путемъ.

До этого я не дописался, оставляя это на долю другимъ, молодымъ и свѣжимъ силамъ.

Повторяю, я не выдумывалъ ничего: сама жизнь писалась у меня, какъ я переживалъ ее и видѣлъ, какъ переживаютъ другіе, такъ она и ложилась подъ перо. Не я, а происшедшія у всѣхъ на глазахъ явленія обобщаютъ мои образы.

Обѣ бабушки—и Татьяна Марковна, и старое русское общество—оплакали свой „старый грѣхъ", разрушившій счастье покоя, тишины и дремоты,—грѣхъ недостатка прозорливости, живой заботливости о новыхъ живыхъ нуждахъ для свѣжихъ и молодыхъ силъ, грѣхъ своего упрямаго и добровольнаго невѣдѣнія, беззаботности, неосновательныхъ страховъ! Онѣ поняли наконецъ, что жизнь не стоитъ, а вѣчно движется!

Марѳинька и Викентьевъ, эта чета не даетъ Бабушкѣ ни горя, ни тревогъ. Послѣдняя знаетъ, что ни тотъ, ни другой, изъ послушанія ея не выйдутъ и будутъ жить, какъ она укажетъ. Бабушка цѣнитъ это выше всего.

„Оставь Марѳиньку!" — строго говоритъ она (въ X главѣ 3-й части, стр. 118) Райскому, когда онъ вздумалъ, новыми идеалами жизни, смущать ясный міръ ея ума и чувства. — „Она не будетъ счастлива навязываемымъ тобою счастьемъ, и, стало быть, будешь деспотомъ ты, а не я".

И русскія Марѳиньки и Викентьевы никогда не ослушаются бабушки!

Они всегда бодро, рѣзво и послушно, подъ ея глазами, пойдутъ, по пути, покоряясь перемѣнамъ, одобреннымъ бабушкою, не нуждаясь ни въ какихъ идеалахъ „новаго счастья", не думая о будущемъ, не скучая жизнью въ своей средѣ!

Эта часть поколѣній, толпа, большинство, будетъ жить, плодиться и множиться, и населять Русь, посмѣнно работая, веселясь, подчасъ горюнясь и никогда не терзаясь невѣдомыми ей мучительными вопросами!

И Бабушка награждаетъ послушныхъ и добрыхъ дѣтей материнскою заботою о нихъ, наблюдая, чтобъ имъ было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слег-

ка отбывать свой дневной привычный трудъ, получать мѣста, дѣлать карьеру и незамѣтно исчезать, смѣняясь новыми Мареиньками и Викентьевыми!

Бабушка безъ опасенія даетъ имъ свободу, отпуститъ за Волгу (или за границу), зная, что они придутъ опять подъ ея крыло такими же, и не уйдутъ никогда.

Она, давая свободу, похвасталась, что она будто только, какъ полиціймейстеръ, смотритъ, чтобы снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не входитъ, пока не позовутъ! (стр. 119, ч. 3-я, гл. X).

Даже Райскій рукоплещетъ ей за эту свободу!

Неправда! преувеличила, похвасталась она: какъ она ни противилась, но время уже повѣяло и на нее и она наружно отступилась отъ правъ на слѣпое послушаніе и дала свободу, но вмѣстѣ съ этимъ усилила невидимый надзоръ, замѣчая каждый взглядъ, слово, шагъ, прибирая свои ключи ко всему. Какъ она тоскуетъ и мечется какъ допрашиваетъ Райскаго о „новой бѣдѣ", потому что не знала о ней! Еслибъ въ Вѣрѣ повторился просто только старый женскій „грѣхъ" бабушки, и особенно если бы героемъ былъ кто нибудь ей знакомый — старуха догадалась бы. Она вѣрила Вѣрѣ, потому что знала ее, и не боялась за нее; но она не знала, что такое Волоховъ. Она готовила ее противъ извѣстныхъ соблазновъ, но не могла уберечь противъ невѣдомаго, и научить остеречься! „Мой грѣхъ, мой грѣхъ!"—стонетъ она.

Вотъ гдѣ смыслъ ошибки обѣихъ женщинъ: въ гордости и невѣдѣніи! Бабушка знала только старую правду и старую ложь, но новой правды боялась и, боясь не узнала и новой лжи, и не приготовила къ тому и другому и Вѣру. Она хотѣла отдѣлаться невѣдѣніемъ, умышленною слѣпотою, желала бы, чтобы около нея были все Мареиньки и Ви-

кентьевы: но такъ на свѣтѣ не бываетъ. Рядомъ съ Марѳиньками родятся Вѣры; объ руку съ Райскими, Викентьевыми, являются и Волоховы. А она, не только Волохова, она не хотѣла слушать и любившаго ее внука—Райскаго, когда онъ заговаривалъ о новомъ.

Будущій художникъ когда нибудь скажетъ, какъ встали, послѣ горькихъ опытовъ, и до чего возросли русскія Вѣры на пути разумной, сознательной жизни!

Райскій, въ посвященіи къ своему роману (въ концѣ втораго тома, пятой части, стр. 650 и 651), дѣлаетъ легкій очеркъ отдаленной будущности русскихъ женщинъ. Это его идеалъ женщины.

„Восхищаясь вашею красотою, вашею исполинскою силою—женскою любовью,—пишетъ онъ,—я слабою рукою писалъ женщину; я надѣялся, что вы увидите въ ней отраженіе не одной красоты формъ, но и всей прелести вашихъ лучшихъ силъ.

„Мы не равны: вы выше насъ, вы—сила;—мы—ваше орудіе, мы сдѣлаемъ всю черновую работу; а вы, рождая насъ, берегите насъ, какъ провидѣніе, воспитывайте, учите труду, человѣчности, добру и той любви, которую Творецъ вложилъ въ ваши сердца,—и мы пойдемъ за вами туда, гдѣ все совершенно, гдѣ вѣчная красота!“

„То есть: создайте насъ вновь для жизни духа, какъ вы создали насъ по плоти, вотъ гдѣ ваша задача!“

„Мы—творцы въ черной работѣ: въ наукѣ, въ искусствѣ, въ воздѣланіи внѣшней природы: мы—внѣшніе дѣятели. Вы—создательницы и воспитательницы людей, вы—прямое, лучшее орудіе Бога“ и т. д.

Райскій вѣритъ этому великому будущему русской женщины, видя какая сила, въ роковой моментъ, встала изъ души сокрушенной старухи.

Если она была сильна своею гордою властью, то, подъ грозою, она нашла еще болѣе силы „нести удары“ и страдать съ величіемъ, „не падая во прахъ?“

За эти страницы (502, 503, II тома), гдѣ Бабушка, со стономъ, ходитъ по крутому поволжью, по обрыву, по полямъ, въ какомъ то забытьи, въ терзаніяхъ, за свой „грѣхъ“, погубившій по ея мнѣнію, Вѣру, меня упрекали, какъ за какія-то, будто бы чуждыя русской женщинѣ черты.

Черты величія души, чуждыя русской женщинѣ?!

У меня проведенъ цѣлый рядъ „женскихъ тѣней“ въ паралель этой старухѣ, великихъ страдалицъ, жившихъ въ мирной, счастливой средѣ, прежде ничѣмъ особеннымъ незамѣтныхъ, какъ и бабушка, и вдругъ проявлявшихъ великія силы — въ рѣшительныя и грозныя минуты жизни. Новгородская Марѳа, ссыльныя русскія царицы, жены декабристовъ, и другія жертвы рока, которыми не бѣдна и старая, и новая лѣтопись русской жизни.

„Не похоже на деревенскую старуху“! говорили мнѣ, т. е. не реально, натянуто, ходульно!

Можетъ быть отчасти я это и самъ чувствовалъ, когда писалъ, и отъ того вложилъ этотъ очеркъ въ пеструю фантазію Райскаго. Впрочемъ, я не такой поклонникъ реализма, чтобы не допускать отступленій отъ него. Въ угоду реализма пришлось бы слишкомъ ограничивать, и даже совсѣмъ устранять фантазію, впадать, значитъ, въ сухость, иногда въ безцвѣтность, вмѣсто живыхъ образовъ писать силуэты, иногда вовсе отказываться отъ поэзіи, и все во имя мнимой правды! Но вѣдь фантазія, а съ нею и поэзія, даны природой человѣку и входятъ въ его натуру, слѣдовательно, и въ жизнь: будетъ-ли правдиво и реально миновать ихъ?

Бабушка перемогла себя, видя страданія слабой Вѣры, спасла ее самоотверженнымъ сознаніемъ стараго „грѣха“,

но, къ горю своему, увидѣла, что и это не совсѣмъ извлекло ее изъ обрыва.

Она позвала на помощь Тушина, или лучше сказать, онъ явился самъ, безъ зова, окончательно спасти Вѣру.

Фигура Тушина обрисована у меня въ двухъ-трехъ мѣстахъ (II тома, V глава, стр. 466, 479, далѣе въ гл. XVI и XVIII того же тома).

Это безсознательный новый человѣкъ, какъ его выкроила сама жизнь. Онъ простъ, потому что созданъ такимъ, онъ работаетъ, потому что иначе жизни не понимаетъ, какъ не понимаетъ и того, какъ можно, узнавъ Вѣру, не любить ее. Онъ мудро, т. е. просто, здравымъ смысломъ, рѣшаетъ вопросы и своей, и чужой жизни, между прочимъ Бабушки и Вѣры, когда онѣ обратились къ нему, и идетъ по своему пути твердымъ, сознательнымъ шагомъ.

Онъ весь сложился изъ природныхъ своихъ здоровыхъ элементовъ, и изъ обстоятельствъ своей жизни и своего дѣла, т. е. долга и труда. Онъ простой, честный, нормальный человѣкъ, понимаетъ и любитъ свое дѣло, къ которому поставила его жизнь. Природа дала ему талантъ быть человѣкомъ — и ему оставалось не портить этого, оставаться на своемъ мѣстѣ. „Почувствовать и удержать въ себѣ красоту природной простоты“ — по словамъ Райскаго, въ этомъ и вся его заслуга. Вѣрить въ эту простоту, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею, т. е. имѣть сердце и дорожить имъ „если не выше, то наравнѣ съ умомъ“. Тутъ весь очеркъ его.

Тушинъ давно уже хозяйничаетъ у себя въ имѣніи на раціональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости, и онъ любитъ свое дѣло, и всѣ новыя идеи и преобразованія застали его готовымъ.

На этомъ сильномъ, простомъ человѣкѣ, основались на-

дежды Бабушки окончательно извлечь Вѣру изъ бездны ея горя—и подать ей руку на остальной путь!

И онъ сталъ, „какъ каменная стѣна“, и оградилъ ее отъ всякихъ обрывовъ.

„Дайте мнѣ Вѣру, говоритъ онъ въ слезахъ отчаянія (II томъ, стр. 626 и 627):—я перенесу ее черезъ обрывъ. Она укроется подъ моей защитой отъ всякихъ грозъ и забудетъ обрывы. Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, моря переплываютъ и прорываютъ горы, и все идутъ смѣлые люди впередъ!“

Да, впередъ, на настоящее новое дѣло: это не обломовскій сонъ и не волоховское безпочвенное блужданіе!

И Райскій, вглядѣвшись въ него, рѣшилъ, что Тушины—наша настоящая партія дѣйствія, наше прочное будущее: когда настанетъ настоящее дѣло, явятся, вмѣсто утопистовъ, работники—Тушины „на всей лѣстницѣ русскаго общества“. (II т. гл. XVIII).

Нарисовавъ фигуру Тушина, насколько я могъ наблюсти новыхъ серьезныхъ людей, я сознаюсь, что я не докончилъ, какъ художникъ этотъ образъ—и остальное (именно въ XVIII главѣ II тома) договорилъ о немъ въ намекахъ, какъ о представителѣ настоящей новой силы и новаго дѣла—уже обновленной тогда (въ 1867 и 1868 г., когда дописывались послѣднія главы) Россіи.

Рисовать, сказалъ я выше, трудно и, по моему, просто нельзя, съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы ея не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ новыхъ людей, что̀ я и сдѣлалъ въ Тушинѣ. Но писать самый процесъ броженія нельзя: въ немъ

личности видоизмѣняются почти каждый день — и будутъ неуловимы для пера.

Меня упрекали, зачѣмъ я написалъ отрицательный образъ Волохова — и не далъ противоположнаго образца въ новомъ поколѣніи. На это можно сказать многое. Скажу прежде всего, что послѣ Гоголя, мы въ искусствѣ не сошли съ пути отрицанія, между прочимъ и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Самъ Гоголь пробовалъ, во 2-й части „Мертвыхъ душъ", написать положительный образъ и потерпѣлъ неудачу. А другіе и подавно: въ послѣднее время ни у кого не вышло въ этомъ родѣ ничего художественнаго. Притомъ это старый упрекъ, который дѣлали тому же Гоголю: зачѣмъ въ „Ревизорѣ" или „Мертвыхъ душахъ" не вывелъ онъ ни одного хорошаго человѣка?" На такіе вопросы нечего сказать!

Если я отрицательно отнесся къ Райскому, къ Бабушкѣ, даже къ Марѳинькѣ и Вѣрѣ — то почему же я терялъ право на отрицательный пріемъ въ отношеніи Волохова! Но я и въ немъ нашелъ положительную черту—искренность, за что мнѣ и досталось отъ старыхъ поколѣній!

Этого Тушина, говорю я, позвала Бабушка на помощь —и онъ сослужитъ ей службу, какъ и всѣ честные, здоровые члены новыхъ поколѣній, всѣ Тушины, сослужатъ службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразованіе и обновленіе.

Нужно ли въ заключеніе объяснять значеніе второстепенныхъ лицъ романа: Козлова съ женой, мимоходомъ выглянувшаго чиновника изъ семинаристовъ Опенкина, типъ стараго русскаго маркиза, остатокъ прошлаго вѣка, Тита Никоныча, друга Бабушки, наконецъ пеструю толпу русской крѣпостной дворни?

Въ учителѣ Козловѣ мелькнуло мнѣ лицо русскаго ученаго — труженика, съ намекомъ на участь русской науки

въ обломовскомъ обществѣ. Не имѣя подъ ногами и вокругъ никакой почвы, около—никакой сферы, никакого кружка для плодотворнаго развитія науки—онъ, забытый, загнанный въ глушь, безъ книгъ, безъ денегъ, бьется и влачитъ жалкое, скудное существованіе — среди равнодушныхъ къ наукѣ людей. Въ немъ теплится искра любви къ знанію, но—какъ въ степи—нѣтъ ей пищи, ни посѣва, ни полива, некуда бросить сѣмянъ — и они глохнутъ въ немъ самомъ; а любящее сердце избрало кумиромъ ничтожество, идола, созданнаго безхарактерностью среды, безъ образа. Это его жена. Весь умъ его просился въ науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подругѣ. Ни тамъ, ни сямъ—онъ не нашелъ отвѣта, сгорѣлъ и угасъ одиноко, въ чистомъ пламени своей любви!

Въ лицѣ стараго чиновника изъ семинаристовъ, Опенкина, подвернулся мнѣ подъ руку одинъ изъ безчисленныхъ образчиковъ пьянства, типъ русскаго человѣка, утопившаго въ винѣ все свое, и прошлое, и будущее, всю жизнь, большею частію тирана своей семьи и бремя для цѣлаго круга, гдѣ онъ живетъ. А гдѣ онъ не живетъ! Этотъ штрихъ русской жизни почти неизбѣженъ во всякой картинѣ нравовъ! Легкою тѣнью прошелъ онъ и у меня въ романѣ.

Въ дворнѣ меня самого особенно занимала крѣпостная Мессалина Марина и угрюмый, сосредоточенный ея мужъ. Это, какъ я припоминаю самъ и другіе, бывшіе въ 1849 г. на Волгѣ и близко знакомые съ домомъ моихъ родныхъ—живые, дѣйствительные портреты тогдашней дворни, какъ и лакей Егоръ. Еще болѣе въ самой Бабушкѣ, и во внучкахъ ея, какъ я увидѣлъ послѣ, вкрались нѣкоторыя свѣтлыя, лучшія черты близкихъ мнѣ лицъ, конечно, не цѣликомъ, а типично, при совершенномъ различіи въ событіяхъ и смыслѣ романа.

При обзорѣ отношеній мужскихъ характеровъ къ жен-

скимъ—во всемъ романѣ, я не могу не видѣть, въ каждомъ изъ нихъ, особеннаго вида или рода, словомъ характеристики привязанностей. Напримѣръ, преобладаніе фантазіи, артистическаго и нервнаго влеченія въ склонностяхъ Райскаго ко всѣмъ его идоламъ. Въ противуположность ему—въ Тушинѣ — отношеніе къ Вѣрѣ носитъ чистый и глубокій, осмысленный и сознательный характеръ человѣческой привязанности, не подавляемой ни чувственностью, ни мелкимъ самолюбіемъ; эта привязанность возникаетъ въ немъ изъ самыхъ капитальныхъ свойствъ его личности и личности Вѣры. Она сильна, несокрушима: онъ мужественно выноситъ „ошибку", „несчастіе" Вѣры, какъ онъ называетъ ея паденіе, передъ которымъ не устояла бы другая, менѣе глубокая и сознательная страсть.

Затѣмъ глубокая же, сосредоточенная, но чисто животная до жестокости, также неразрушимая страсть, въ грубой, невоздѣланной натурѣ серьезнаго и тупаго Савелья, къ его желтоглазой, невѣрной женѣ.

Далѣе, взаимная, веселая и ясная, какъ весна, любовь Викентьева и Марѳиньки, внушенная и лелѣемая самою природою, какъ любовь птицъ, осмысленная ихъ свѣтлымъ, естественнымъ взглядомъ на жизнь и другъ на друга.

Наконецъ, кроткая, безусловная нѣжность болѣзненной, хрупкой Наташи, которую надломила и свела въ могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыханіе жизни. Это райская птица, которая и могла только жить въ своемъ раю, подъ тропическимъ небомъ, подъ солнцемъ, безъ зимъ, безъ вѣтровъ, безъ хищныхъ когтей.

Все то, что пишу теперь—повторяю я — не представлялось мнѣ такъ ясно и отчетливо, какъ я увидѣлъ послѣ, закончивъ послѣдній свой романъ. Бѣлинскій справедливо придавалъ огромное значеніе художественному инстинкту. Образы, а вмѣстѣ съ ними и намеки на ихъ значеніе, въ

зародышѣ, присутствовали во мнѣ и инстинктивно руководили моимъ перомъ.

Такимъ образомъ, какъ ни скромна степень художественности моего дарованія, но и во мнѣ сказался необъяснимый процессъ творчества, т. е. невидимое для самого художника, инстинктивное воплощеніе перомъ-кистью тѣхъ или другихъ эпохъ жизни, которыхъ судьба поставила его участникомъ или свидѣтелемъ. Всего страннѣе, необъяснимѣе кажется въ этомъ процесѣ то, что иногда мелкія, аксессуарныя явленія и детали, представляющіяся въ дальней перспективѣ общаго плана отрывочно и отдѣльно, въ лицахъ, сценахъ, повидимому не вяжущихся другъ съ другомъ, потомъ какъ будто сами собою группируются около главнаго события и сливаются въ общемъ строѣ жизни! Точно какъ будто дѣйствуютъ тутъ, еще неуловленныя наблюденіемъ, тонкія, невидимыя нити или, пожалуй, магнетическіе токи, образующіе морально-химическое соединеніе невещественныхъ силъ (какое происходитъ съ вещественными силами).

Къ этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явленію въ области творчества, можно отнести и духовное, наслѣдственное сродство, какое замѣчается между творческими типами художниковъ, начиная съ Гомеровскихъ, Езоповскихъ, потомъ Сервантесовскаго героя, Шекспировскихъ, Мольеровскихъ, Гётевскихъ и проч., и проч. до типовъ нашего Пушкина, Грибоѣдова и Гоголя включительно.

Этотъ міръ творческихъ типовъ имѣетъ какъ будто свою особую жизнь, свою исторію, свою географію и этнографію, и когда нибудь вѣроятно, сдѣлается предметомъ любопытныхъ историко-философскихъ критическихъ изслѣдованій. Донъ-Кихотъ, Лиръ, Гамлетъ, леди Макбетъ, Фальстафъ, Донъ-Жуанъ, Тартюфъ и другіе, уже породили, въ созда-

ніяхъ позднѣйшихъ талантовъ, цѣлыя родственныя поколѣнія подобій, раздробившихся на множество брызгъ или капель. И въ новое время обнаружится, напримѣръ, что множество современныхъ типовъ въ родѣ Чичикова, Хлестакова, Собакевича, Ноздрева, и т. д. окажутся разнородностями развѣтвившагося генеалогическаго дерева Митрофановъ, Скотининыхъ, и, въ свою очередь, расплодятся на множество другихъ и т. д. И мало ли что́ открылось бы въ этихъ богатыхъ и не тронутыхъ рудникахъ!

Но оставимъ это духовное сродство типовъ: я, съ своими героями, не прошусь на Олимпъ. Я просто объясняю свой взглядъ на собственныя мои сочиненія и жалѣю, если мнѣ не удалось выразить того въ нихъ и другихъ, что вижу самъ.

Можетъ быть и отъ того, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы, слишкомъ мѣстные, вышедше изъ небольшаго приволжскаго угла, и потому не всѣмъ, живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, близко извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что въ нихъ сквозитъ много близкаго и роднаго автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ.

Да, можетъ быть, и такъ: дѣйствительно много личнаго, интимнаго, т. е. своего, и себя самаго, вложено авторомъ туда!

Недаромъ въ одной, писанной за границею, на французскомъ языкѣ, исторіи новой русской литературы, сказано (сколько я помню, не имѣя книги подъ рукою), между прочимъ обо мнѣ, что я писалъ сердцемъ, а сознательный умъ, идею авторъ приписываетъ другимъ, и ставитъ это въ искусствѣ выше образа, живописи и прочее. Словомъ, авторъ клонитъ свою критику въ сторону реализма.

Конечно, реализмъ есть одна изъ капитальныхъ основъ

искусства, но только не тотъ реализмъ, который проповѣдуетъ новѣйшая школа за границею, и отчасти у насъ!

Кто же отвергаетъ рекомендуемою ею стремленіе къ правдѣ—и въ искусствѣ и въ жизни? Сами же эти реалисты сознаютъ что Гомеръ, Сервантесъ, Шекспиръ, Гёте и другіе, а у насъ прибавимъ отъ себя, Фонъ-Визинъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, стремились къ правдѣ, находили ее въ природѣ, въ жизни, и вносили въ свои произведенія. Стало быть это далеко не новое.

Надо слѣдовать одной природѣ, не нужно вымысловъ небывалаго, преувеличеній, ходуль, натяжекъ, словомъ, никакой лжи! провозглашаютъ нео-реалисты. И, конечно, они правы, если подъ вымысломъ разумѣютъ выдумки небывалаго или невозможнаго въ природѣ и въ жизни. Но тоже самое говорили и дѣлали и до нихъ, хотя бы въ русской натуральной школѣ, опередившей появленіемъ французскую.

Чего же еще хотятъ новые реалисты, присвоивая себѣ господство въ искусствѣ, и въ этомъ, и чуть ли не во всѣ послѣдующіе вѣка?

Они, сколько можно понять, кажется, претендуютъ на тѣ же пріемы и пути, какими изслѣдуетъ природу и идетъ къ истинѣ наука, и отрицаютъ въ художественныхъ поискахъ правды такія пособія, какъ типичность, юморъ, отрицаютъ всякіе идеалы, не признаютъ нужною фантазію и т. д.

Вотъ до чего договорились!

Пишу одну природу и жизнь, какъ онѣ есть! говорятъ они! Но вѣдь стремленіе къ идеаламъ, фантазія—это тоже органическія свойства человѣческой природы. Вѣдь правда въ природѣ дается художнику только путемъ фантазіи!

Ученый ничего не создаетъ, а открываетъ готовую и скрытую въ природѣ правду, а художникъ создаетъ подобія правды, т. е. наблюдаемая имъ правда отражается въ его

фантазіи и онъ переноситъ эти отраженія въ свое произведеніе. Это и будетъ художественная правда.

Слѣдовательно, художественная правда и правда дѣйствительности—не одно и тоже. Явленіе, перенесенное цѣликомъ изъ жизни въ произведеніе искусства, потеряетъ истинность дѣйствительности и не станетъ художественною правдою. Поставьте рядомъ два-три факта изъ жизни, какъ они случились, выйдетъ невѣрно, даже неправдоподобно.

Отчего же это? Именно отъ того, что художникъ пишетъ не прямо съ природы и съ жизни, а создаетъ правдоподобія ихъ. Въ этомъ и заключается процессъ творчества!

Вѣдь это все азбука эстетики, но передѣлать этой азбуки, какъ и самаго искусства, нельзя.

Пособіемъ художника всегда будетъ фантазія, а цѣлью его, хотя и несознательною, пассивною, или замаскированною, стремленіе къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, хоть бы, напримѣръ, къ усовершенствованію наблюдаемыхъ имъ явленій, къ замѣнѣ худшаго лучшимъ.

И это лучшее и будетъ идеаломъ, отъ котораго не отдѣлаться художнику, особенно когда у него, кромѣ ума есть и сердце.

Нео-реалисты пробуютъ приложить свою теорію къ искусству и даютъ намъ, иногда, и въ живописи, и въ искусствѣ слова, свои снимки будто бы съ природы и съ жизни, сдѣланные „умомъ“: но эти попытки пока ограничились сухими, блѣдными и... скучными произведеніями, пожалуй, ума, но никакъ не искусства, если не разумѣть подъ искусствомъ одну технику.

Эти снимки никогда не замѣнятъ картинъ, освященныхъ лучами фантазіи, полныхъ огня, трепета и горячаго дыханія жизни. Писать художественныя произведенія только умомъ—все равно, что требовать отъ солнца, чтобы оно давало лишь свѣтъ, но не играло лучами — въ воздухѣ, на дере-

вьяхъ, на водахъ, не давало бы тѣхъ красокъ, тоновъ и переливовъ свѣта, которые сообщаютъ красоту и блескъ природѣ! Развѣ это реально?

И что такое умъ въ искусствѣ? Это умѣнье создать образъ. Слѣдовательно, въ художественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ—и чѣмъ онъ строже, тѣмъ умнѣе. Однимъ умомъ въ десяти томахъ не скажешь того, что сказано десяткомъ лицъ въ какомъ нибудь „Ревизорѣ!"

Это правда, что романъ захватываетъ все: въ него прячется памфлетъ, иногда цѣлый нравственный, или научный трактатъ, простое наблюденіе надъ жизнью или философское воззрѣніе, но такіе романы (или просто книги) ничего не имѣютъ общаго съ искусствомъ. Романъ—какъ картина жизни — возможенъ только при вышеизложенныхъ условіяхъ, не во гнѣвъ будь сказать новѣйшимъ реалистамъ!

Гоголь, безспорно,—реалистъ: у кого найдешь больше правды въ образахъ? Но онъ, смѣша и „смѣясь, невидимо плакалъ": оттого въ его сатиры и улеглась вся безконечная Русь своею отрицательною стороною, со своею плотью, кровью и дыханіемъ.

Какой отрадной теплотой дышатъ его созданія отъ этого юмора, подъ которымъ прячутся его „невидимыя слезы" и котораго нѣтъ у псевдо-реалистовъ, а есть холодная иронія, продуктъ, пожалуй, ума: они, кажется, ее только одну и допускаютъ въ искусствѣ! Но она никогда не замѣнитъ юмора.

Природа слишкомъ сильна и своеобразна, чтобы взять ее, такъ сказать, цѣликомъ, помѣряться съ нею ея же силами и непосредственно стать рядомъ; она не дастся. У нея свои слишкомъ могучія средства. Изъ непосредственнаго снимка съ нея выйдетъ жалкая, безсильная копія. Она позволяетъ приблизиться къ ней только путемъ творческой фантазіи.

Иначе было бы слишкомъ просто быть художникомъ. Стоило бы только, по совѣту одного лица въ „Разъѣздѣ“ Гоголя, сѣсть у окна, да записывать, что дѣлается на улицѣ, и вышла бы комедія или повѣсть.

Замѣчательно, что нѣкоторые изъ героевъ дня, ставшихъ во главѣ новѣйшаго реализма въ искусствѣ, обязаны были лучшими своими произведеніями именно тѣмъ могучимъ орудіямъ искусства: фантазіи, юмору, типичности, словомъ—поэзіи, отъ которыхъ отрекаются теперь.

Кстати о типичности. Новая реальная школа, сколько можно понять, кажется, отвергаетъ и ее. Это уже значитъ —замахиваться не на одну, такъ называемую „романтическую школу“, а на Шекспира, Сервантеса, Мольера! Кому какое дѣло было бы, напримѣръ, до полоумныхъ Лира и Донъ-Кихота, еслибъ это были портреты какихъ-то чудаковъ, а не типы, т. е. зеркала, отражающія въ себѣ безчисленныя подобія—въ старомъ, новомъ и будущемъ человѣческомъ обществѣ?

Нѣтъ, напрасно, будетъ пророчить себѣ этотъ новый родъ рализма долгій вѣкъ если онъ откажется отъ пособія фантазіи, юмора, типичности, живописи, вообще поэзіи, и будетъ пробавляться однимъ умомъ, безъ участія сердца!

Написалъ ли бы, безъ всего этого, и между прочимъ безъ сердца, Грибоѣдовъ свою, горячо любимую имъ Москву, въ „Горѣ отъ ума“, Пушкинъ — своего „Онѣгина“? Гоголь, не говоря уже о его картинахъ малороссійской природы и жизни, даже въ своихъ реальныхъ „Мертвыхъ Душахъ“, не создалъ бы этихъ дышащихъ жизнью Коробочекъ, Маниловыхъ, Собакевичей? Не могъ бы равнодушный человѣкъ писать такими живыми красками, говорить этими образами, такъ близко намъ, какъ будто мы живемъ среди ихъ!

Другой огромный талантъ—Островскій, безъ любви къ каждому кампю Москвы, къ каждому горбатому переулку,

къ каждому москвичу, шевелящемуся въ своей кучѣ сора и хлама, создалъ ли бы весь этотъ чудный міръ, съ его духомъ, обычаемъ, дѣлами, страстями, — безъ этой любви, которая сквозитъ въ его изображеніяхъ царей, Мининыхъ, Брусковыхъ, ихъ женъ, дѣтей, свахъ и проч.? Отъ этого, въ его безконечныхъ галлереяхъ, и является вся Великая Россія „во очью", что она писалась фантазіею, юморомъ и любовью, разсыпалась на безчисленныя разновидности типовъ, характерныхъ, всѣмъ знакомыхъ сценъ, именно потому всѣмъ знакомыхъ, что они воздавались художническою поэтическою кистью, а не просто копировались съ жизни.

И Тургеневъ, создавшій, въ „Запискахъ Охотника", рядъ живыхъ миніатюръ крѣпостнаго быта, конечно, не далъ бы литературѣ тонкихъ мягкихъ, полныхъ классической простоты и истинно-реальной правды, очерковъ мелкаго барства, крестьянскаго люда и неподражаемыхъ пейзажей русской природы, еслибъ съ дѣтства не пропитался любовью къ родной почвѣ своихъ полей, лѣсовъ, и не сохранилъ въ душѣ образа страданій населяющаго ихъ люда!

Графъ Левъ Толстой—безспорно великій реалистъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, пишетъ конечно съ натуры, особенно въ послѣднемъ своемъ произведеніи. Онъ по своему понялъ, о чемъ хлопочатъ новые реалисты, и обладая тѣмъ, чего имъ недостаетъ, преподалъ манеру, какъ можно, творчески, силою фантазіи, стать очень близко къ природѣ и правдѣ. Какою нѣжною теплотой окружаетъ онъ нѣкоторыя свои лица, напримѣръ своего героя Левина съ женой, или эту мягкую, развалившуюся отъ заботъ житейскихъ добрую Облонскую, бѣдную грѣшницу Каренину, дѣтей, потомъ деревню, поля, охоты и все что онъ любитъ, съ чѣмъ сжился и чѣмъ пропитался! Все это не мѣшаетъ строгой объективности въ немъ, какъ, напримѣръ, теплый воздухъ и игра солнечныхъ лучей не мѣшаютъ вѣрности рисунка въ пейзажѣ.

*

Даже такіе, особые, не входящіе въ этотъ кругъ, своеобразные таланты, какъ Достоевскій и Щедринъ—не могли бы, силою одного холоднаго анализа, находить правды жизни—одинъ въ глубокой, никому, кромѣ его недостигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безобразій. Одинъ содрогается и стонетъ самъ—содрогается отъ ужаса и боли его читатель, точно также, какъ этотъ читатель злобно хохочетъ съ авторомъ надъ какой-нибудь „современной идилліей", или внезапно поблѣднѣетъ передъ образомъ „Іудушки".

Подъ этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другаго—кипятъ свои „невидимыя слезы", прячется своя любовь, которая, вмѣстѣ съ другими силами творчества, лежитъ въ основѣ талантовъ всѣхъ этихъ звѣздъ первой величины.

Не было бы ничего этого у нихъ, еслибъ они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Всѣ эти, вмѣстѣ взятые силы, только и ведутъ къ истинной „правдѣ" въ искусствѣ!

Да, много хочетъ и далеко зашелъ новѣйшій реализмъ! Тамъ, куда онъ мѣтитъ; одного ума мало: въ искусствѣ умъ долженъ быть въ союзѣ съ фантазіей.

А безъ этого пусть разгораются негодованіемъ на зло, пусть стремятся служить „злобамъ дно" — ничего, кромѣ претензіи, т. е. тенденцій, не будетъ.

Поэтому пора бы оставить въ покоѣ ничего невыражающую фразу „искусство для искусства". Этимъ грѣхомъ, между прочимъ, еще не такъ давно упрекали почти всѣхъ нашихъ писателей, даже, кажется, и Пушкина!

Что нибудь одно: или у писателя нѣтъ таланта—и онъ пишетъ только для искусства писать: но тогда не было бы никакой живописи, никакихъ живыхъ лицъ и ничего бы не выходило.

А если признаютъ талантъ, а съ нимъ и живопись, тогда послѣдняя что нибудь да выражаетъ. Живой, т. е. правдивый образъ всегда говоритъ о жизни, все равно о какой.

„Намъ до той или другой жизни дѣла нѣтъ: — все въ искусствѣ должно служить дѣлу, моменту, „злобѣ дня“ — проповѣдуютъ ультро-реалисты.

Но вѣдь эдакъ пришлось бы ограничить жизнь суетливымъ перебѣганьемъ отъ одной дневной заботы къ другой. Куда же дѣвать всѣ другія, безчисленныя, и мрачныя, и свѣтлыя стороны жизни, картины не однихъ политическихъ, соціальныхъ, но и общечеловѣческихъ, разнороднѣйшихъ страстей, интересовъ, суетъ, волненій и горячекъ, скорбей и радостей? Вѣдь жизнь—это безпредѣльное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь въ одно какое нибудь узкое русло, а съ нимъ и искусство, ея вѣрное отраженіе!

Лучше бы ужъ называть—„искусство безъ искусства“, какъ остроумно, и совершенно основательно, выразился однажды, кажется, „Вѣстникъ Европы“, говоря по какому-то поводу о тенденціозныхъ произведеніяхъ.

На скользкой почвѣ крайняго реализма пробовали свои силы и серьезные таланты, но эти попытки оказались безплодны и не прибавили (если только не убавили) ни одного листка къ ихъ лавровому вѣнку.

Нѣтъ—будемъ держать школы старыхъ учителей и идти проложеннымъ ими путемъ, не отказываясь конечно отъ истинныхъ, законныхъ развитій, новыхъ шаговъ въ искусствѣ, хоть бы отъ того же самого реализма, когда эти шаги не будутъ pas de géants, и когда онъ откажется отъ претензіи колебать основные законы искусства!

Въ нашемъ вѣкѣ намъ далъ образецъ художественнаго романа общій учитель романистовъ — это Диккенсъ. Не одинъ наблюдательный умъ, а фантазія, юморъ, поэзія, лю-

бовь, которой онъ, по его выраженію, „носилъ цѣлый океанъ“ въ себѣ — помогли ему написать всю Англію, въ живыхъ, безсмертныхъ типахъ и сценахъ.

Отъ всѣхъ громкихъ этихъ именъ перехожу опять къ себѣ и доскажу послѣднія слова о своихъ сочиненіяхъ.

Нѣкоторые старались доказывать, и въ печати, и даже мнѣ самому лично, что романъ „Обрывъ“ вообще будто бы слабѣе другихъ моихъ сочиненій, а послѣднія его, 4 и 5-я части слабѣе первыхъ трехъ.

Еслибъ мнѣ сказали просто—„романъ слабъ“, я тотчасъ согласился бы съ этимъ: я самъ болѣе, нежели кто нибудь, питаю недовѣріе къ своимъ силамъ. Притомъ и нельзя же самому доказать о себѣ, что то или другое сдѣлано хорошо. Но всякому автору позволительно, не нарушая приличій скромности, выражать свое мнѣніе о томъ, что́ онъ сдѣлалъ лучше и что́ хуже. И я, на основаніи этого права, нахожу, что послѣднія двѣ части безспорно лучше первыхъ трехъ. Онѣ писаны болѣе созрѣвшею и опытною въ работѣ рукою, онѣ сжатѣе, опредѣлительнѣе и яснѣе первыхъ.

Притомъ онѣ такъ органически связаны съ цѣлымъ романомъ, что безъ нихъ первыя три части не имѣли бы никакого значенія—и я, долго отвлекаемый разными посторонними литературѣ дѣлами отъ доведенія „Обрыва“ до конца, хотѣлъ уже бросить всю первую половину романа. Весь смыслъ его вся его „причина“ и „суть“ только и объясняются и доказаваются двумя послѣдними частями, въ которыхъ, между прочимъ, окончательно разыгрывается и драма Вѣры. Тамъ закончилась и ея фигура—и портреты Бабушки, Райскаго, Козлова съ женой, Марѳиньки и всѣхъ остальныхъ.

Безъ этихъ двухъ частей была бы треть романа, разрубленное тѣло, безъ смысла, безъ значенія, словомъ—уродъ.

Можетъ быть завершеніе этого огромнаго полотна, по-

вторяю, сдѣлано слабо и неудовлетворительно (не мнѣ объ этомъ судить), но отнюдь не слабѣе и хуже, а напротивъ положительно лучше всего, написаннаго много прежде.

За это „лучше“ я только и вправѣ стоять и стою на своемъ.

Въ заключеніе мнѣ остается еще отвѣтить на послѣдніе, обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и до сихъ поръ, вопросы. Именно: зачѣмъ я такъ долго, лѣтъ по десяти, писалъ свои романы? Потомъ—зачѣмъ я не пишу ничего другаго?

Отвѣтъ на первый вопросъ или упрекъ заключается отчасти въ сказанномъ выше.

Прибавлю только, что если потрудятся вникнуть въ смыслъ моимъ романовъ и найдутъ хотя малую долю того значенія, которое я самъ въ нихъ вижу, то и полагаю, не понадобится быть самому авторомъ, чтобы разсудить и рѣшить о томъ невидимомъ, но громадномъ трудѣ, какого требуетъ построеніе цѣлаго зданія романа! Одной архитектоники, т. е. постройки зданія, довольно, чтобы поглотить всю умственную дѣятельность автора! соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, роль лицъ, съ неусыпнымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, недостатковъ излишества и т. д. Словомъ—c'est une mer à boire!

Я не говорю о самыхъ лицахъ, типахъ: они даются художнику даромъ, почти независимо отъ него, ростутъ на почвѣ его фантазіи. Трудъ его — только обработка, отдѣлка ихъ, группировка, участіе въ дѣйствіи. Нельзя одолѣть всего этого однимъ умомъ: приходитъ на помощь независящая отъ автора сила—художественный инстинктъ. Умъ разбиваетъ, какъ паркъ или садъ, главныя линіи, по-

ложенія, придумываетъ необходимости, а приводитъ это въ исполненіе и помогаетъ сказанный инстинктъ.

Разумѣется, онъ является при любви, при жаждѣ автора къ своей работѣ, т. е. при извѣстной степени нервнаго раздраженія, называемаго, на языкѣ идеалистовъ, „вдохновеніемъ“.

Тогда, среди намѣченнаго умомъ главнаго хода или дѣйствія, при созданныхъ фантазіею лица — подъ рукою, какъ будто сами собою, родятся и сцены и детали, перо, кисть едва успѣваетъ писать.

Сколько же времени уходитъ на всю эту, невидимую читателю, работу!

И всегда ли оно въ распоряженіи автора? Всегда ли онъ можетъ сосредоточиться, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ, по обстоятельствамъ, живетъ весь вѣкъ, служа и учавствуя, волей и неволей, въ свѣтской жизни и платя дань ея требованіямъ?

Объ этомъ никто не подумаетъ, читая легкія страницы романа, и не зная, какъ не легко достаются они автору!

Бѣлинскій сказалъ мнѣ однажды, какъ упомянуто выше: „что́ другому стало бы на десять повѣстей, у него укладывается въ одномъ романѣ!“

Это сказалъ онъ про самую краткую изъ моихъ книгъ— „Обыкновенную исторію!“

Что сказалъ бы онъ объ Обломовѣ, объ Обрывѣ, куда уложилась и вся моя, такъ сказать, собственная — и много другихъ жизней?

Худо ли, хорошо ли—это другой вопросъ (не мнѣ рѣшать его!): но если въ рамки моихъ романовъ укладывались продолжительные періоды, съ 40-хъ до 70-хъ годовъ, то спрашивается, возможно-ли писаніе такихъ картинъ, развивавшихся и писавшихся паралельно теченію самой жизни, хотя бы въ годъ—два? Конечно нѣтъ!

Послѣдній вопросъ: зачѣмъ я ни писалъ и не пишу ничего другаго?

Не могу, не умѣю! То есть, не могу и не умѣю ничего писать иначе, какъ образами, картинами, и при томъ большими, слѣдовательно писать долго, медленно и трудно.

Для образовъ и картинъ требуется извѣстная свѣжесть силъ и охоты: всему есть своя пора. Къ концу поприща человѣкъ устаетъ отъ борьбы со всѣми и со всѣмъ, что̀ ему мѣшало, что̀ непонимало его, что враждовало съ нимъ.

Я не публицистъ, не присяжный критикъ, я жилъ и писалъ больше всего подъ вліяніемъ фантазіи—и внѣ послѣдней перо мое мало имѣетъ силы, не производитъ дѣйствія!

Напрасно просили моего сотрудничества въ журналахъ, въ качествѣ рецензента или публициста; пробовалъ — и ничего не выходило, кромѣ блѣдныхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу привычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ.

Напрасно тоже нѣкоторые предлагали мнѣ задачи для романа. „Опишите такое-то событіе, такую-то жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или героиню!„

Не могу, не умѣю! То что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ, чего я невидѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ, — то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой міръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній, — и я писалъ только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ—словомъ писалъ и свою жизнь, и то, что къ ней прирастало.

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

ИЗДАНІЕ ГЛАЗУНОВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1889.

Собственность Глазунова.

ТИПОГРАФІЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ УЛ., № 8.

По желанію издателя моихъ сочиненій, И. И. Глазунова, я предоставилъ ему, помѣщенные въ послѣдніе два года, 1887—1888, въ журналахъ „Вѣстникъ Европы“ и „Нива“, мои литературные очерки, подъ заглавіемъ „Университетскія воспоминанія“, „На родинѣ“ и „Слуги“, издать въ отдѣльномъ, IX-мъ томѣ, въ дополненіе къ „Полному собранію“ моихъ сочиненій въ VIII томахъ.

Авторъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

Воспоминанія.

I. Въ университетѣ 3
II. На родинѣ 46

Слуги стараго вѣка.

I. Валентинъ 179
II. Антонъ 200
III. Степанъ съ семьей 215
IV. Матвѣй 229

ВОСПОМИНАНІЯ.

I.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Какъ насъ учили, 50 лѣтъ назадъ [1]).

Въ настоящее время, на ряду съ важнѣйшими вопросами русской жизни, сталъ на очередь университетскій вопросъ. Это—нашъ всеобщій вопросъ, по тому значенію, какое имѣетъ у насъ университетское образованіе. За исключеніемъ нѣкоторыхъ спеціальныхъ и техническихъ частей знанія—военной, морской, инженерной и другихъ, имѣющихъ свои заведенія, представители высшаго универсальнаго образованія до сихъ поръ почерпаютъ знаніе въ университетахъ. Даже, говорятъ, въ военное время, напримѣръ, въ крымскую кампанію, главнокомандующій войсками, князь Горчаковъ, свидѣтельствовалъ, что прошедшіе курсъ университетскаго образованія были и отличными, изъ-ряда вонъ выходящими офицерами.

Разсадниками высшаго образованія служатъ еще духовныя академіи, лицеи, училище правовѣдѣнія. Были такъ-называемые университетскіе пансіоны; эти заведе-

[1]) Авторъ не припомнитъ съ точностью года, когда были писаны имъ настоящія замѣтки. Но изъ нѣкоторыхъ подробностей текста можно, почти съ увѣренностью, заключить, что эти замѣтки были набросаны имъ въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ.

нія выпускали—и выпускаютъ—людей высшаго образованія, но въ незначительномъ противъ университетовъ количествѣ. Университетъ пока превозмогаетъ все. Не мудрено, что и само правительство, и общество, поглощены разработкою университетскаго вопроса. И въ настоящее время всѣ бывшіе студенты съ участіемъ ждутъ его рѣшенія, молодые современные—и подавно. Печать то-и-дѣло проводитъ разносторонніе взгляды и мнѣнія на занимающую всѣхъ задачу.

Вездѣ идутъ оживленные толки, высказываются надежды, ожиданія. Молодость волнуется, съ свойственнымъ юности нетерпѣніемъ спѣшитъ заявлять свои желанія.

Задача не легкая со стороны тѣхъ, отъ кого зависитъ судьба университетскаго образованія—рѣшить такъ, чтобы удовлетворить стремленіямъ молодыхъ людей въ духѣ времени, не дѣлая малодушныхъ уступокъ въ ущербъ образованію и во вредъ самимъ учащимся.

Не легко и со стороны послѣднихъ, заявляя свои задушевныя желанія, кровныя нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпѣніе и не переступить кое-гдѣ и кое-въ-чемъ за черту своихъ законныхъ желаній.

Бывшіе студенты всѣхъ возрастовъ, разсѣянные по всѣмъ путямъ общественной дѣятельности, не могутъ, конечно, смотрѣть на эту борьбу равнодушно, какъ старые инвалиды не смотрятъ равнодушно на молодыхъ бойцовъ.

Тѣмъ, которые лично не втянуты въ эту борьбу, по своему положенію или занятіямъ, остается вспоминать прошлое—отъ этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военнаго инвалида).

Меня собственно,—глядя на эту современную пчелиную работу въ нашихъ университетскихъ ульяхъ и прислушиваясь къ толкамъ въ обществѣ,—какъ стараго сту-

дента московскаго университета тридцатыхъ годовъ, тянетъ къ воспоминаніямъ совсѣмъ не самолюбивая мысль о пользѣ какой-нибудь, не желаніе поднести публикѣ и студентамъ урокъ—нѣтъ. Я не одаренъ никакими свойствами и способностями учительства, да и самъ не желалъ бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урокъ отъ молодежи, если что-нибудь въ моихъ воспоминаніяхъ не пришлось бы ей по сердцу.

Меня влекутъ просто воспоминанія о лучшей порѣ жизни—молодости—и объ ея наилучшей части—университетскихъ годахъ. Благороднѣе, чище, выше этихъ воспоминаній у меня, да пожалуй и у всякаго студента, въ молодости не было.

Мы, юноши, полвѣка тому назадъ, смотрѣли на университетъ какъ на святилище, и вступали въ его стѣны со страхомъ и трепетомъ.

Я говорю о московскомъ университетѣ, на которомъ, какъ на всей Москвѣ, по словамъ Грибоѣдова, лежалъ особый отпечатокъ. Впрочемъ всякій изъ восьми нашихъ университетовъ, если пристально и тонко вглядываться въ ихъ питомцевъ, сообщаетъ послѣднимъ нѣкоторое мѣстное своеобразіе.

Нашъ университетъ въ Москвѣ былъ святилищемъ не для однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семействъ, и для всего общества. Образованіе, вынесенное изъ университета, цѣнилось выше всякаго другого. Москва гордилась своимъ университетомъ, любила студентовъ, какъ будущихъ самыхъ полезныхъ, можетъ быть, громкихъ, блестящихъ дѣятелей общества. Студенты гордились своимъ званіемъ и дорожили занятіями, видя общую къ себѣ симпатію и уваженіе. Они важно расхаживали по Москвѣ, кокетничая своимъ званіемъ и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и тѣ, при встрѣчахъ,

ласково провожали глазами юношей въ малиновыхъ воротникахъ. Я не говорю объ исключеніяхъ. Въ разносословной и разнохарактерной толпѣ, при различіи воспитанія, нравовъ и привычекъ, являлись, конечно, и мало подготовленные къ серьезному ученію, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повѣсы. Иногда пробѣгали въ городѣ—впрочемъ рѣдкіе слухи—о шумныхъ пирушкахъ въ трактирѣ, о шалостяхъ, въ родѣ, напримѣръ, перемѣны ночью вывѣсокъ у торговцевъ, или задорныхъ пререканій съ полиціею и т. п. Но большинство студентовъ держало себя прилично и дорожило доброй репутаціей и симпатіями общества.

Эти симпатіи вливали много тепла и свѣта въ жизнь университетскаго юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расцвѣталъ подъ лучами свободы, падшими на него послѣ школьной или домашней педагогической неволи. Онъ совершалъ первый сознательный актъ своей воли, приходилъ въ университетъ самъ, его не отдаютъ родители, какъ въ школу. Нѣтъ школьной методы преподаванія, не задаютъ уроковъ, никто не контролируетъ употребленія имъ его часовъ, дней, вечеровъ и ночей.

Далѣе слѣдуютъ шаги все свободнѣе и сознательнѣе, достигается „степень зрѣлости“ безъ всякаго на нее гимназическаго диплома. Свободный выборъ науки, требующій сознательнаго взгляда на свое влеченіе къ той или другой отрасли знанія, и зарождавшееся изъ того опредѣленіе своего будущаго призванія—все это захватывало не только умъ, но и всю молодую душу. Университетъ отворялъ ему широкія ворота, не въ одну научную сферу, но и въ самую жизнь. Съ учебной почвы онъ ступаетъ на ученую. Умственный горизонтъ его раздвигается, передъ нимъ открываются перспективы и па-

раллели наукъ и вся безконечная даль знанія, а съ нею и настоящая, законная свобода—свобода науки.

Программы, инструкціи безсильны противъ свободы науки. Сжатая въ учебныхъ классахъ, какъ рѣка въ тѣсныхъ берегахъ, она съ университетской каѳедры изливается широкимъ и вольнымъ потокомъ. Между профессоромъ и слушателями устанавливается живой токъ передачи жадному вниманію ихъ ея откровеній, истинъ, гипотезъ. Этой свободы не даютъ или не давали (такъ какъ я говорю о прошломъ) другія изъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ или духовныхъ заведеній.

Я не говорю, чтобы свободѣ этой не полагалось преградъ: страхъ, чтобы она не окрасилась въ другую, т.-е. политическую краску, заставлялъ начальство слѣдить за лекціями профессоровъ, хотя проблески этой, не-научной, свободы проявлялись болѣе внѣ университета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, не-университетскихъ источниковъ. Въ университетахъ молодежь, болѣе чѣмъ въ другихъ заведеніяхъ, ограждена серьезною содержательностію занятій отъ многихъ опасныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извнѣ, больше издалека... Но тѣмъ не менѣе на лекціи налагалось иногда veto, какъ, напримѣръ, на лекціи Давыдова.

Онъ прочелъ всего двѣ или три лекціи исторіи философіи; на этихъ лекціяхъ, между прочимъ, говорятъ (я еще не былъ тогда въ университетѣ), присутствовалъ пріѣзжій изъ Петербурга флигель-адъютантъ, и вслѣдствіе его донесенія будто бы лекціи были закрыты. Говорили, что въ нихъ проявлялось свободомысліе, противное... не знаю чему. Я не читалъ этихъ лекцій.

Гдѣ же, казалось бы, и проявляться свободомыслію, какъ не въ философіи? Но, какъ бы то ни было, лекціи были закрыты. Это противорѣчитъ, повидимому, сказан-

ному мною выше о свободѣ науки. Напротивъ. Наука можетъ быть вовсе отмѣнена, каѳедра ея закрыта, какъ это и сдѣлано съ лекціями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограниченіе профессорскаго слова, духа и смысла его лекцій едва ли было бы возможно. Профессоръ съумѣлъ бы дать понять себя, а слушатели съумѣли бы угадывать недосказанное, какъ читатели умѣютъ читать между строками.

Гораздо позже, при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, преподаваніе философіи поручалось въ университетахъ, какъ извѣстно, духовнымъ лицамъ.

Возвращаюсь къ своимъ воспоминаніямъ.

Я и братъ мой, и еще нѣкоторые прежніе школьные товарищи, вмѣстѣ готовились къ вступительному экзамену и вмѣстѣ подали просьбу ректору университета.

Это было въ августѣ 1831 года: 1830-й — былъ холерный годъ, и лекцій не было. Бывшимъ уже въ университетѣ студентамъ не зачли этого года.

Братъ и я поступали — онъ въ юридическій факультетъ, а я въ филологическій, или, какъ тогда назывались они—первый „этико-политическимъ", а второй — „словеснымъ".

Мы съ братомъ и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены къ экзамену, о требованіяхъ котораго, конечно, заблаговременно справились до мелкихъ подробностей, до методы, до книгъ, и потому вышесказанные страхъ и трепетъ умѣрялись нѣкоторою увѣренностію въ успѣхѣ.

Среди этихъ надеждъ надо мной неожиданно разразилось, какъ громовой ударъ, извѣстіе, что изъ министерства народнаго просвѣщенія получено предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, который—хотя преподавался въ

университетѣ для филологовъ, но до тѣхъ поръ не былъ, при вступленіи, обязательнымъ.

Я зналъ порядочно по-французски, по нѣмецки, отчасти по-англійски и по-латыни. Безъ послѣдняго языка нельзя было поступить ни въ какой факультетъ. Я переводилъ à livre ouvert Корнелія Непота, по которому всѣ учились, какъ по „Телемаку“ Фенелона во французскомъ языкѣ. Я былъ совершенно спокоенъ — а тутъ вдругъ понадобился греческій языкъ!

Къ счастью, предписаніе пришло за нѣсколько мѣсяцевъ до экзамена, такъ что съ юношескою энергіей можно было — если не покорить вполнѣ эллинскую рѣчь, на что надо положить чуть не цѣлую жизнь,—то хоть что-нибудь выучить, и что̀ окажется въ итогѣ четырехъ-или пяти-мѣсячныхъ молодыхъ стараній и силъ, то̀ и принести на экзаменъ.

Я и другіе, кто поступалъ въ словесное отдѣленіе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтеннымъ съ грѣхомъ пополамъ запасомъ, явились на экзаменъ.

Много воды подлилъ этотъ греческій языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно.

Въ назначенный день вечеромъ мы явились на экзаменъ, происходившій, помнится, въ залѣ конференціи. Въ смежной, плохо освѣщенной комнатѣ, мы, тѣсной, довольно многочисленной кучкой, жались у стѣнъ, ожидая, какъ осужденные на казнь, своей очереди. Вотъ тутъ, конечно, сердце билось у всѣхъ, у меня—болѣе другихъ, по милости греческаго языка.

Насъ вызывали по нѣскольку человѣкъ вдругъ, потому что экзаменъ кончался заразъ. Въ залѣ засѣдалъ

ареопагъ профессоровъ-экзаменаторовъ, подъ предсѣдательствомъ ректора. Ихъ было человѣкъ семь или восемь. Вызываемые по списку подходили къ каждому экзаменатору по-очереди.

Профессоръ задавалъ нѣсколько вопросовъ или задачу, напримѣръ, изъ алгебры или геометріи, которую тутъ же, подъ носомъ у него, приходилось рѣшать. Профессоръ латинскаго языка молча развертывалъ книгу, указывая строки, которыя надо было перевести, останавливалъ на какой-нибудь фразѣ, требуя объясненія. Французъ и этого не дѣлалъ: онъ просто поговорилъ по-французски, и кто отвѣчалъ свободно на томъ же языкѣ, онъ ставилъ въ своемъ спискѣ баллъ и любезнымъ поклономъ увольнялъ экзаменующагося. Нѣмецъ давалъ прочитать двѣ, три строки и перевести, и если студентъ не затруднялся, онъ поступалъ какъ французъ.

Я не успѣлъ оглянуться, какъ уже былъ отъ экзаменованъ. Многіе тоже отдѣлались до меня и веселыми ногами уходили вонъ, въ томъ числѣ и мой братъ. И я довольно легко рѣшилъ какую-то задачу изъ алгебры и получилъ одобрительный кивокъ отъ адъюнктъ-профессора Коцаурова. Французъ сдѣлалъ мнѣ два-три вопроса: „Vous avez bien profité de votre temps“, похвалилъ онъ меня, отпуская. Профессоръ исторіи задавалъ общеизвѣстные вопросы о крупныхъ событіяхъ. Я отбылъ свой экзаменъ въ какіе-нибудь полчаса.

Тутъ бы и уйти—вонъ и дверь полуотворена, но я сдѣлалъ послѣдній шагъ и очутился — около греческаго профессора.

Это былъ старикъ лѣтъ семидесяти слишкомъ, съ рѣдкими, какъ чахлые кусты полыни, сѣдыми клочками волосъ на головѣ, худощавый, съ изломанными чертами лица, отчасти съ крючковатымъ носомъ, въ очкахъ. Онъ

въ своемъ вицъ-мундирѣ сидѣлъ точно въ мѣшкѣ. Физіономіи у него не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, уменъ онъ, или нѣтъ, добръ, или сердитъ. Это былъ извѣстный эллинистъ—С. М. Ивашковскій, о которомъ придется говорить ниже.

Онъ взглянулъ на меня, спросилъ фамилію, посмотрѣлъ въ списокъ. „Учились по-гречески?"—спросилъ онъ. „Да... съ",—отвѣчалъ я и опустилъ глаза къ полу, самъ чувствуя, что въ моемъ *да* присутствуетъ вмѣстѣ и *нѣтъ*. Тамъ, подъ столомъ, я успѣлъ замѣтить, что профессоръ былъ въ высокихъ сапогахъ, въ которые были запрятаны его панталоны. „Такъ вотъ, извольте читать",—сказалъ онъ, указывая начало параграфа въ греческой книгѣ, помнится, — „Отступленіе десяти тысячъ грековъ", Ксенофонта. Тутъ у насъ съ нимъ началась нѣкоторая борьба: я читалъ, а онъ на каждомъ словѣ поправлялъ: я не тамъ дѣлалъ ударенія, гдѣ слѣдовало. Его ухо не выносило этого: „Не такъ, не такъ", — останавливалъ онъ меня. А мнѣ было вовсе не до удареній: я въ это время въ прочитанномъ ловилъ глазами знакомыя слова, какъ друзей въ толпѣ.

Черезъ двѣ-три минуты я увидѣлъ, что профессоръ дѣлаетъ замѣтныя уступки: добиваясь значенія слова и встрѣчая остановку съ моей стороны, онъ договаривалъ самъ, а когда получалъ удачный отвѣтъ или только намекъ на него—радовался. Вопросы дѣлалъ легкіе, больше изъ грамматическаго анализа, какъ въ гимназіи. Потомъ отпустилъ съ одобреніемъ. Послѣ уже я услышалъ, что начальство не желало затруднять вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменовать изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно.

И слава Богу: умное было начальство—спасибо ему. Тогда министромъ былъ С. С. Уваровъ.

Не учиться по-латыни считалось еще ересью даже въ обществѣ. Бывало, претенденты на высшее образованіе притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческомъ же языкѣ въ обществѣ не поминалъ никто: его какъ будто не было на свѣтѣ. Знали, что учатъ по-гречески въ духовныхъ училищахъ, что есть каѳедра этого языка въ университетѣ—и только.

Не пройти, учась въ университетѣ, черезъ эти классическія ворота было нельзя: связь древняго міра съ новымъ поддерживалась этимъ дряхлымъ мостикомъ, но это только относительно лингвистики. Чуткіе умы проникали въ глубину древности—въ ея исторію, духъ и нравы—и помимо профессоровъ, и даже классиковъ въ оригиналахъ. Они читали извѣстные переводы на французскій, нѣмецкій, англійскій и отчасти русскій языки, и создавали себѣ болѣе или менѣе опредѣленный образъ отжившаго міра, иногда, можетъ быть, живѣе, и пожалуй—и ближе къ правдѣ, нежели тѣ, которые корпѣли надъ преодолѣніемъ трудностей умершей грамоты.

„Ахъ, господа, вы не можете себѣ представить, какъ велико наслажденіе читать древнихъ классиковъ въ оригиналѣ!“—сказалъ однажды намъ адъюнктъ греческаго языка на первомъ курсѣ, Оболенскій, не встрѣчая, вѣроятно, въ насъ слишкомъ живого стремленія къ этому „наслажденію“.

Но въ чемъ состояло наслажденіе — онъ не объяснилъ. Мнѣ тогда показалось, что онъ преувеличилъ, или хотѣлъ насъ пришпорить. Но рецептъ былъ слабый. Вѣдь главнаго наслажденія чтенія — т. е. образа и подобія живой рѣчи, живыхъ людей—нѣтъ болѣе. Читая фран-

цузскія, нѣмецкія и англійскія книги, мы какъ будто слушаемъ и видимъ живого француза, нѣмца и англичанина, ловимъ звуки, интонацію, словомъ—намъ говоритъ живой человѣкъ. Мы сличаемъ говоръ съ печатнымъ словомъ, чуемъ живой духъ и всегда въ состояніи сдѣлать надлежащую аналогію. По-латыни и по-гречески этого нѣтъ.

Подозрѣвать неискренность „наслажденія“ этого почтеннаго адъюнкта, или кого бы то ни было, я не хочу: я только думаю, что знатоки древнихъ языковъ наслаждаются не тѣмъ, чѣмъ наслаждаются всѣ, читая писателя живыхъ языковъ. Тутъ входитъ, я думаю, больше тщеславія: „это очень трудно, немногіе владѣютъ знаніемъ древнихъ языковъ, а мы, вотъ, одолѣли и владѣемъ ими свободно“.

Это своего рода „наслажденіе“ и по другимъ предметамъ нерѣдко встрѣчается въ людяхъ, начиная съ Гоголевскаго Петрушки до... многихъ изъ насъ.

Я вовсе не отвергаю относительной полезности изученія древнихъ языковъ—такой ереси я проповѣдывать не хочу. Пусть желающіе учатся имъ до самыхъ корней, пусть „наслаждаются“ преодолѣваніемъ филологическихъ трудностей, и даже пусть тщеславятся этимъ: скорѣе уже этимъ, чѣмъ тѣмъ, напримѣръ, что взлѣзаютъ на Монъ-Бланъ. Я только—какъ почти и все общество—противъ принудительнаго изученія этихъ языковъ въ ущербъ другимъ знаніямъ, иногда даже и знанію своего отечественнаго языка.

Но, кажется, этотъ вопросъ, если еще не рѣшился, то рѣшается уже въ желательномъ для большинства смыслѣ—и ломать копья противъ подавляющаго натиска классицизма не приходится. Скорѣе, можетъ быть, при извѣстной способности, въ борьбѣ за что-нибудь, вда-

ваться въ крайности, приходится—въ спорѣ съ рѣшительными противниками классицизма—кое-что отстаивать въ пользу послѣдняго.

Крайніе противники хотятъ сжечь мосты и разорвать всякую связь съ минувшимъ. Нерѣдко слышишь какое-то озлобленіе противъ всего древняго и прошлаго. „Разстались съ древностію, и она намъ болѣе не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знаніе ушло отъ стараго на неизмѣримое разстояніе и не имѣетъ никакой связи съ минувшимъ! Это значитъ напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новымъ, нужнымъ“, и т. д.

Это слышится нерѣдко въ обществѣ и читается въ печати [1]).

Между тѣмъ минувшее напоминаетъ о себѣ на каждомъ шагу—уже одною терминологіею во всѣхъ отрасляхъ знанія, открытіяхъ, а особенно, напримѣръ, романскія нарѣчія, кромѣ болѣе или менѣе отдаленной связи въ корнесловіи, кишатъ древними словами.

Странно интеллигентному человѣку, претендующему на высшее и полное образованіе, для котораго открыта грамота новыхъ иностранныхъ литературъ, пользоваться слѣпо этой грамотой, не зная ея происхожденія и корней.

Это не татарскій слѣдъ, который оставили монголы, напримѣръ, въ нашемъ языкѣ: отъ этихъ и подобныхъ имъ вторженій остались одни звуки языка и болѣе ничего. А древніе языки внесли вмѣстѣ и слѣдъ своей цивилизаціи. Поэтому умѣренные борцы по классическому вопросу (въ томъ числѣ и я) никогда не подадутъ голо-

---

[1]) Не слѣдуетъ забывать, что это писано давно, когда эти споры и толки были въ полномъ ходу.

са за совершенную отмѣну латинскаго и греческаго языковъ въ отношеніи лингвистики.

Продолжаю свои воспоминанія.

Наконецъ, всѣ трудности преодолѣны: мы вступили въ университетъ, облекшись въ форменные сюртуки съ малиновымъ воротникомъ, и стали посѣщать лекціи. Внѣ университета разрѣшалось желающимъ ходить въ партикулярномъ платьѣ [1]).

Первый курсъ былъ чѣмъ-то въ родѣ повторенія высшаго гимназическаго класса. Молодые профессора, адъюнкты—заставляли насъ упражняться въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Это были замѣчательно умные, образованные и прекрасные люди, напримѣръ—французъ Куртенеръ, нѣмецкій лекторъ Герингъ, профессоръ латинскаго языка Кубаревъ, и греческаго — Оболенскій. Они много помогли намъ хорошо приготовиться къ слушанію лекцій высшаго курса, и кромѣ того, своимъ добрымъ и любезнымъ отношеніемъ къ намъ, сдѣлали первые шаги вступленія въ университетъ чрезвычайно пріятными. Между ними, какъ патріархъ, красовался убѣленный сѣдинами почтенный профессоръ русской словесности, человѣкъ стараго вѣка—П. В. Побѣдоносцевъ.

Насъ, первогодичныхъ, было, помнится, человѣкъ сорокъ. Между прочими тутъ былъ и Лермонтовъ, впослѣдствіи знаменитый поэтъ, тогда смуглый, одутловатый юноша, съ чертами лица какъ-будто восточнаго происхожденія, съ черными выразительными глазами. Онъ казался мнѣ апатичнымъ, говорилъ мало и сидѣлъ всегда въ лѣнивой позѣ, полулежа, опершись на локоть.

---

[1]) Въ слѣдующемъ за окончаніемъ нами курса году студентамъ измѣнена была форма и малиновые воротники замѣнились синими.

Онъ не долго пробылъ въ университетѣ. Съ перваго курса онъ вышелъ и уѣхалъ въ Петербургъ. Я не успѣлъ познакомиться съ нимъ.

Тутъ была еще замѣчательная личность—Бодянскій, впослѣдствіи извѣстный профессоръ славянскихъ нарѣчій.

Курсъ, или классъ, нашъ былъ какою-то безпечною, веселою толпою юношей, собиравшихся какъ будто только повидаться и изучать не науки, а другъ друга, потому что все, что́ проходили, мы болѣе или менѣе знали.

Мы легко справились съ переходнымъ экзаменомъ и на второй годъ весело перешли на слѣдующій курсъ, изъ маленькой аудиторіи въ большую, окнами на обширный дворъ и улицу. Тамъ мы застали человѣкъ пятьдесятъ опередившихъ насъ цѣлымъ годомъ товарищей, непереведенныхъ, по случаю холеры, на третій курсъ. Насъ всего было, помнится, человѣкъ восемьдесятъ.

Передъ нами были Герценъ и Бѣлинскій въ университетѣ, но когда мы перешли на второй курсъ—ихъ уже не было. Тамъ были, между прочимъ, Станкевичъ, Константинъ Аксаковъ, Сергѣй Строевъ (впослѣдствіи писавшій статьи подъ псевдонимомъ Скромненко) и перешедшій съ нами изъ перваго курса Бодянскій.

Съ Бѣлинскимъ я познакомился уже въ 1846 году, въ Петербургѣ, а съ Герценомъ видѣлся только одинъ разъ, мелькомъ, когда онъ былъ короткое время въ Петербургѣ, проѣздомъ за границу.

Этотъ годъ (съ авг. 1832 по авг. 1833) былъ лучшимъ и самымъ счастливымъ нашимъ годомъ. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, надъ которой простиралось вѣчно ясное небо, безъ тучъ, безъ грозъ и безъ внутреннихъ потрясеній, безъ всякихъ исторій, кромѣ всеобщей и россійской,

преподаваемыхъ съ каѳедръ. Если же и бывали какія-нибудь исторіи, въ которыхъ замѣшаны бывшіе до насъ студенты, то мы тогда ничего объ этомъ не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже съ нѣкоторымъ педантизмомъ относились къ ней. Кромѣ нея, въ стѣнахъ университета для насъ ничего не было. Дома всякій жилъ по-своему, дѣлалъ что̀ хотѣлъ, развлекался ка̀къ умѣлъ — все въ разбродъ, но въ университетъ мы ходили только учиться, не внося съ собою никакихъ другихъ заботъ и дѣлъ.

И точно была республика: надъ нами не было никакого авторитета, кромѣ авторитета науки и ея преподавателей. Начальства какъ будто никакого не было,— но оно, конечно, было, только мы имѣли о немъ какое-то отвлеченное, умозрительное понятіе: знали о немъ, можно сказать, по слухамъ. Былъ ректоръ, былъ попечитель, можетъ быть, даже и инспекторъ (кажется, былъ), но мы его никогда не видали. Если я не ошибаюсь, онъ завѣдывалъ казенными студентами, имѣвшими квартиры и столъ въ университетѣ. Тогда никакихъ стипендій не было, и многіе бѣдные студенты принимаемы были на казенный счетъ. Прочіе же небогатые, раскиданные по разнымъ угламъ Москвы, содержали себя, какъ знали и какъ могли, никакихъ пособій отъ университета не получали. Казенныхъ студентовъ было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человѣкъ.

И ректора, и попечителя, мы видѣли только два раза. Ректоръ былъ профессоръ физики въ математическомъ факультетѣ, Двигубскій. Онъ однажды зашелъ въ нашу аудиторію—во время лекціи, и, кажется, самъ удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, съ широкими плечами, на которыхъ плотно сидѣла

большая, точно медвѣжья голова,—онъ какъ-то бокомъ, точно нехотя, взглянулъ на толпу студентовъ, какъ-будто говоря глазами: „ну, чего тутъ смотрѣть? невидаль какая!“—кивнулъ профессору, кивнулъ намъ въ отвѣтъ на общій нашъ поклонъ и скрылся. Онъ, кажется, зашелъ, что называется, для очистки совѣсти: чтобъ нельзя было сказать, что онъ ни разу не былъ въ аудиторіи.

Послѣ него ректоромъ былъ профессоръ восточныхъ языковъ, Болдыревъ. И этотъ поступилъ точно такъ же, т.-е. зашелъ однажды на лекцію поглядѣть на насъ. Его посѣщеніе особенно памятно мнѣ: передо мною однимъ на столѣ лежала книга „Война Югурты“, Саллюстія, въ маленькомъ форматѣ. У другихъ ничего не было передъ собою. А лекція была нѣмецкой литературы лектора Кистера. Вдругъ ректоръ подошелъ ко мнѣ, взялъ книгу и посмотрѣлъ. „Отчего у васъ латинская книга на лекціи нѣмецкой литературы?“—спросилъ онъ.— „Она лежитъ тутъ отъ предыдущей лекціи изъ римской словесности“,—былъ мой отвѣтъ. — „А гдѣ же нѣмецкая книга?“—„У меня ея нѣтъ“. И ни у кого не было. Кистеръ издалъ какой-то краткій, очень наивный курсъ нѣмецкой литературы, скомпилированный съ большихъ нѣмецкихъ курсовъ, и, конечно, разсчитывалъ на сбытъ между студентами, но такъ какъ большинство ихъ знало все, что̀ тамъ было, то книгу и не покупали.

Ректоръ не справился, есть ли она у другихъ, а мнѣ посовѣтовалъ пріобрѣсти ее. Я не пріобрѣлъ, потому что у студента денегъ обыкновенно не бываетъ, особенно на книги. Доставать книги — это другое дѣло: мы это и дѣлали, а покупать — нѣтъ. Эту роскошь могли себѣ позволить очень немногіе, которые и снабжали ими своихъ товарищей.

Кромѣ того, я не купилъ книги еще потому, что все въ ней было мнѣ извѣстно, и притомъ я зналъ, что ректоръ больше никогда не придетъ на лекцію.

Попечителемъ былъ тогда извѣстный въ Москвѣ богатый вельможа — князь С. М. Голицынъ. Только это мы и знали о немъ, да знали еще его большой, барскій домъ на Пречистенкѣ и прекрасную дачу, Кузьминки, въ семи верстахъ отъ Москвы, куда нерѣдко отправлялись гулять пѣшкомъ взадъ и впередъ. Знали также всѣ ходившіе въ обществѣ анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошныхъ праздникахъ, даваемыхъ во время посѣщенія Москвы царскою фамиліею, — и больше ничего.

И вотъ, однажды, кто-то изъ передней просунулъ въ аудиторію голову и сказалъ: „попечитель пріѣхалъ". Вслѣдъ затѣмъ онъ вошелъ къ намъ, сіяя довольствомъ, добротой на лицѣ и звѣздами на груди мундирнаго фрака. Это былъ невысокій, плотный человѣкъ, съ небольшой головой, съ коротко-остриженными волосами. Сбоку, ближе къ брюшку, у него покачивался большой владимірскій крестъ на скрытой подъ жилетомъ лентѣ черезъ плечо.

Онъ весело поздоровался съ нами, присѣлъ рядомъ къ профессору и поглядывалъ на насъ кротко и ласково, какъ добрые крестные отцы смотрятъ на своихъ крестниковъ или дяди — на любимыхъ племянниковъ. Посидѣвъ съ четверть часа, онъ живо всталъ, съ улыбкой раскланялся съ нами и пошелъ въ другія аудиторіи. Больше мы его не видали.

Посѣтилъ насъ еще назначенный, кажется, послѣ него попечителемъ графъ А. Н. Панинъ. Онъ также, какъ ректоръ Двигубскій, взглянулъ на насъ—не то мрачно,

не то сердито, почти про себя замѣтилъ, что у многихъ студентовъ очень длинны волосы, и ушелъ.

Тогда длинные волосы считались у начальства признакомъ вольнодумства, и въ учебныхъ заведеніяхъ, особенно военныхъ, производилась, какъ мы слышали, усиленная стрижка.

Вотъ все, что̀ мы видѣли отъ попечителей. Тогда между нами невольно возникалъ вопросъ о томъ, кто такіе эти попечители, что̀ они дѣлаютъ, о чемъ пекутся и зачѣмъ они университету?

Намъ, собственно, было за глаза достаточно однихъ профессоровъ, изъ которыхъ старшій (въ нашемъ факультетѣ—М. Т. Каченовскій) назначался деканомъ. И объ обязанностяхъ декана у насъ было тоже неясное понятіе. Только на экзаменахъ онъ былъ нѣчто въ родѣ предсѣдателя.

Личный составъ нашихъ профессоровъ былъ очень удачный, съ малыми, едва замѣтными исключеніями. Первымъ считали мы — и по старшинству лѣтъ, и по достоинствамъ—помянутаго декана, М. Т. Каченовскаго. Это былъ тонкій, аналитическій умъ, скептикъ въ вопросахъ науки и отчасти, кажется, во всемъ. При этомъ — строго справедливый и честный человѣкъ. Онъ читалъ русскую исторію и статистику; но у него была масса познаній по всѣмъ частямъ. Онъ зналъ древніе и новые языки, иностранныя литературы, но особенно обширны были его познанія въ исторіи и во всемъ, что̀ входитъ въ ея сферу — археологія и проч. Любимая его часть въ исторіи была этнографія. Особенную симпатію онъ питалъ къ польскимъ историкамъ (самъ онъ былъ родомъ изъ Малороссіи и выказывалъ явное расположеніе къ своимъ землякамъ) и лѣтописцамъ. И томилъ же онъ насъ подробностями происхожденія однихъ народовъ и

племенъ отъ другихъ! До сихъ поръ иногда будто слышишь его разсказы о развѣтвленіяхъ народовъ, болѣе всего — о финскихъ племенахъ, далѣе о печенѣгахъ, о половцахъ, о торкахъ, берендѣяхъ, черныхъ клобукахъ, о томъ, что сѣверные и южные славяне — никакъ не одно, а два различныя племени, сошедшіяся съ противоположныхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, и т. д.

Когда онъ касался послѣдняго излюбленнаго имъ вопроса о различіи происхожденія сѣверныхъ и южныхъ русиновъ, или вообще какого-нибудь спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ прежняго редактора „Вѣстника Европы". Онъ мысленно видѣлъ передъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. Онъ терпѣть не могъ никакихъ миѳовъ въ исторіи и начиналъ лекціи русской исторіи съ Владиміра, предупредивъ насъ, что онъ не станетъ повторять басенъ, которыя мы слышали въ школѣ, напримѣръ объ оригинальномъ мщеніи Ольги за смерть Игоря, о змѣѣ, ужалившей Олега, о кожаныхъ деньгахъ,—особенно о кожаныхъ деньгахъ. Какъ теперь помню его подлинныя слова: „Какъ могъ Карамзинъ, человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ, допустить, чтобы могли быть въ обращеніи кожаные клочки, не обезпеченные никакой гарантіей!" О шкуркахъ кожаныхъ, представлявшихъ будто бы свою собственную цѣнность, онъ и слышать не хотѣлъ.

Онъ отвергалъ также подлинность „Слова о Полку Игоревомъ", считая его позднѣйшей поддѣлкой, кажется, XIV вѣка, о чемъ однажды вошелъ въ горячій споръ съ Пушкинымъ, котораго привезъ на лекцію министръ Уваровъ.

Здѣсь я сдѣлаю небольшое отступленіе по поводу этого присно-памятнаго мнѣ — конечно, и всѣмъ тогдашнимъ студентамъ—посѣщенія великаго поэта, тогда уже въ апогеѣ его славы.

Когда онъ вошелъ съ Уваровымъ, для меня точно солнце озарило всю аудиторію: я въ то время былъ въ чаду обаянія отъ его поэзіи; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный дождь, падали строфы его созданій („Евгенія Онѣгина", „Полтавы" и др.). Его генію я и всѣ тогдашніе юноши, увлекавшіеся поэзіею, обязаны непосредственнымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе.

Передъ тѣмъ однажды я видѣлъ его въ церкви, у обѣдни—и не спускалъ съ него глазъ. Черты его лица врѣзались у меня въ памяти. И вдругъ этотъ геній, эта слава и гордость Россіи—передо мной въ пяти шагахъ! Я не вѣрилъ глазамъ. Читалъ лекцію Давыдовъ, профессоръ исторіи русской литературы.

„Вотъ вамъ теорія искусства", — сказалъ Уваровъ, обращаясь къ намъ, студентамъ, и указывая на Давыдова,—„а вотъ и самое искусство", — прибавилъ онъ, указывая на Пушкина. Онъ эффектно отчеканилъ эту фразу, очевидно, заранѣе приготовленную. Мы всѣ жадно впились глазами въ Пушкина. Давыдовъ оканчивалъ лекцію. Рѣчь шла о „Словѣ о Полку Игоревомъ". Тутъ же ожидалъ своей очереди читать лекцію, послѣ Давыдова, и Каченовскій. Нечаянно между ними завязался, по поводу „Слова о Полку Игоревомъ", разговоръ, который мало-по-малу перешелъ въ горячій споръ. „Подойдите ближе, господа, — это для васъ интересно",— пригласилъ насъ Уваровъ, и мы тѣсной толпой, какъ стѣной, окружили Пушкина, Уварова и обоихъ профес-

соровъ. Не умѣю выразить, какъ велико было наше наслажденіе—видѣть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей ихъ состязанія, —помню только, что Пушкинъ горячо отстаивалъ подлинность древне-русскаго эпоса, а Каченовскій вонзалъ въ него свой безпощадный аналитическій ножъ. Его щеки ярко горѣли алымъ румянцемъ и глаза бросали молніи сквозь очки. Можетъ быть, къ этому раздраженію много огня прибавлялъ и извѣстный литературный антагонизмъ между нимъ и Пушкинымъ. Пушкинъ говорилъ съ увлеченіемъ, но, къ сожалѣнію, тихо, сдержаннымъ тономъ, такъ что за толпой трудно было разслушать. Впрочемъ меня занималъ не Игорь, а самъ Пушкинъ.

Съ перваго взгляда наружность его казалась невзрачною. Средняго роста, худощавый, съ мелкими чертами смуглаго лица. Только когда вглядишься пристально въ глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство въ этихъ глазахъ, которыхъ потомъ не забудешь. Въ позѣ, въ жестахъ, сопровождавшихъ его рѣчь, была сдержанность свѣтскаго, благовоспитаннаго человѣка. Лучше всего, по моему, напоминаетъ его гравюра Уткина съ портрета Кипренскаго. Во всѣхъ другихъ копіяхъ у него глаза сдѣланы слишкомъ открытыми, почти выпуклыми, носъ выдающимся—это невѣрно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорціональная лицу, голова, съ негустыми, кудрявыми волосами.

Обращаюсь къ Каченовскому.

Онъ отвергалъ участіе всякихъ сентиментовъ въ изученіи исторіи, а разнималъ ее холодной критикой, какъ анатомическимъ ножомъ трупъ. Мѣста священнымъ, патріотическимъ чувствамъ — въ наукѣ для него не было. Всѣ подобные спорные вопросы онъ, говорю, разбиралъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ въ лицѣ, въ голосѣ. Обы-

кновенно же онъ читалъ медленно, вяло — и пожалуй, если не вслушиваться глубоко въ его рѣчь, то и скучно. Точно какъ старый дядька нехотя мямлитъ въ сотый разъ сказку дѣтямъ, чтобъ усыпить ихъ. Нѣкоторые и засыпали или, по крайней мѣрѣ, дремали подъ его однообразный, монотонный говоръ.

Но всѣ, слѣдившіе за непрерывной нитью его историческихъ разсказовъ, слушали съ глубокимъ интересомъ этотъ тонкій анализъ, въ которомъ самъ профессоръ никогда не приходилъ къ синтезу. Послѣдній возникалъ у слушателя самъ собою, по окончаніи лекціи или лекцій. Онъ принесетъ съ собой нѣсколько какихъ-то листковъ; клочковъ пергамента, книгу, лѣтопись какую-нибудь. Начнетъ съ подробности, мелочи и около нея опытной, твердой рукой начертитъ узоръ событія, подтвердитъ или опровергнетъ принятыя гипотезы и освѣтитъ эпоху со всѣхъ сторонъ. Однажды принесъ, напримѣръ, книгу съ рисунками абраксасовъ, печатей новгородскихъ посадниковъ, и при этомъ объяснилъ способы управленія ихъ.

И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глубоко, какъ въ бездну, сквозь свои критическія очки. Мы слушали, записывали: это и было программою его лекцій, безъ которой мы не знали бы что̀ дѣлать на экзаменѣ, потому что онъ лекцій не давалъ. Да тогда почти и никто не давалъ ихъ, по крайней мѣрѣ въ словесномъ факультетѣ.

О литографированныхъ лекціяхъ и помину не было. Это—новѣйшее баловство, которое, конечно, имѣетъ свою хорошую сторону въ томъ, что сберегаетъ много времени, избавляя слушателей отъ скучнаго труда переписывать, хотя... переписка эта служила въ то же время и повтореніемъ лекцій.

Мы должны были записывать изустную рѣчь профессора, и этотъ трудный процессъ приносилъ намъ массу добра. Стенографіи не было, ловить каждое слово и записывать нельзя, слѣдовательно надо было схватывать общій смыслъ каждаго періода и сжато излагать на бумагѣ. Легко понять, какъ такая умственная гимнастика должна была изощрять соображеніе, развязывать умъ и перо! Нѣтъ, слава Богу, что у насъ не было литографированныхъ лекцій! Съ этой стороны, могу сказать, у насъ было лучше.

Въ юридическомъ факультетѣ, напротивъ, почти всѣ профессора сообщали перечни своихъ лекцій, а иные читали прямо по извѣстнымъ источникамъ. Отъ этого тамъ случались такіе примѣры, что иногда кончавшіе курсъ юристы плохо владѣли перомъ.

Между тѣмъ въ новое время кто-то (едва ли не Писаревъ) горько упрекалъ профессоровъ, что его долго томили надъ упражненіями переводовъ иностранныхъ или древнихъ авторовъ. Полно-те! да не этимъ ли упражненіямъ обязаны молодые писатели и, между прочимъ, тотъ же Писаревъ, бойкостью, живостью, правильностью и свободой рѣчи!

Пусть для опыта нынѣшній студентъ отложитъ хоть на время въ сторону литографированныя лекціи — и самъ приготовитъ для себя ученое блюдо: онъ увидитъ въ непродолжительное время, какъ лекціи незамѣтно врѣжутся въ память, и какую свободу почувствуетъ онъ въ своей письменной рѣчи! Я полагаю, что онъ, послѣ опыта, откинулъ бы совсѣмъ помощь литографіи.

Конечно, для этого надо аккуратно посѣщать лекціи, чего, говорятъ, въ новое время въ точности не соблюдаютъ, и что будто бы къ этому преподаватели относятся снисходительно или равнодушно. Въ мое время этому бы

UofM

не повѣрили. Конечно, и у насъ бывали отсутствующіе, или случайные, или лѣнивые, но процентъ ихъ такъ былъ незначителенъ, что это отсутствіе было незамѣтно, и аудиторіи были полны. Да и какъ студенту не посѣщать лекцій? Что̀ же онъ дѣлаетъ, спросили бы мы, и почему онъ студентъ? Говорятъ—онъ дома можетъ заниматься, читать книги въ библіотекахъ, составлять по нимъ записки и т. д. Тогда зачѣмъ университетъ, каѳедра и профессоръ? — спросили бы мы. Подъ личнымъ руководствомъ опытнаго представителя знанія, кромѣ догматики науки, фактовъ, событій, почерпается сила убѣжденія, взглядъ, критическая оцѣнка, передаваемая нерѣдко съ жаромъ, съ увлеченіемъ. Любовь профессора къ своему предмету связываетъ слушателя живою связью съ наукой, влагаетъ въ нее „душу живу“ живою рѣчью, живымъ человѣкомъ. Никакой книжный курсъ этого не дастъ.

Все это мы понимали и, любя лекціи и профессоровъ, дружно и весело наполняли аудиторіи. Конечно, было не мало исключеній: въ нашемъ ученомъ стадѣ было не безъ козлищъ, не поклонниковъ знанія и науки, а—или домогавшихся диплома, или несшихъ иго университетскаго ученія по волѣ родителей; наконецъ, были просто лѣнивые, безпечные. Они нуждались въ принудительныхъ мѣрахъ—и онѣ были. Напримѣръ, нѣкоторые профессора держались стариннаго обычая дѣлать перекличку, и отсутствующаго отмѣчали сокращеннымъ латинскимъ *abs.*, т.-е. *absens*: у кого въ теченіе года число этихъ *абсовъ* превышало извѣстную цифру, того не переводили на слѣдующій курсъ.

Скажутъ, что это—школьная, ферульная манера, недостойная молодыхъ людей, пришедшихъ съ аттестатами зрѣлости. Да, пожалуй, манера эта, такъ сказать, не

Мчо!

республиканская въ нашей ученой „республикѣ“, гдѣ не было начальства. Но... она имѣла и нѣкоторую хорошую сторону, вмѣстѣ съ полугодовыми репетиціями, на которыя мы, студенты, бывало, роптали. И какъ не роптать: въ самый разгаръ зимняго сезона, въ веселой и гостепріимной Москвѣ, вдругъ лучшія ея дѣти, студенты, живой пульсъ баловъ, пикниковъ, ходятъ съ хмурыми лицами или прячутся по своимъ угламъ, уткнувъ носы въ книги и записки!

Между тѣмъ эти репетиціи подгоняли лѣнивыхъ, безпечныхъ и облегчали слабыхъ памятью при сдачѣ экзамена. А боязнь *абсовъ*, какъ боязнь долговъ, волей-неволей приводила разсѣянныхъ и нерадивыхъ по утрамъ въ университетскія аудиторіи, гдѣ они, конечно, съ бо̀льшей пользой проводили утренніе часы, чѣмъ въ садахъ, въ кондитерскихъ и ресторанахъ. Впрочемъ, *абсы* выходили при насъ изъ употребленія: помнится, лекторъ французской литературы, Декампъ, прибѣгалъ къ нимъ, да еще профессоръ Сандуновъ, въ юридическомъ факультетѣ.

Вмѣстѣ съ Каченовскимъ наше уваженіе и симпатію раздѣлялъ профессоръ *теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи*, Н. И. Надеждинъ. Это былъ человѣкъ съ многостороннею, всѣмъ извѣстною ученостью по части философіи, филологіи. Его извѣстная диссертація о классицизмѣ и романтизмѣ имѣла огромный успѣхъ и сразу сдѣлала ему имя въ ученой литературѣ. Потомъ онъ получилъ каѳедру и основалъ журналы: „Телескопъ“ и „Молву“.

Это былъ самый симпатичный и любезный человѣкъ въ обращеніи, и какъ профессоръ онъ былъ намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, переда-

вая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ!

Онъ читалъ на память, не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была изумительная. Онъ одинъ замѣнялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульптурѣ, наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ касался и исторіи философіи. Изливая горячо, почти страстно, передъ нами сокровища знанія, онъ училъ насъ и мастерскому владѣнью рѣчи. Записывая только однѣ его лекціи, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка.

А тутъ еще Шевыревъ, тогда молодой, свѣжій человѣкъ, принесъ намъ свой тонкій и умный критическій анализъ чужихъ литературъ, начиная съ древнѣйшихъ— индійской, еврейской, арабской, греческой — до новѣйшихъ западныхъ литературъ.

Онъ тоже блисталъ изяществомъ рѣчи, но это была менѣе искренняя и кипучая рѣчь, чѣмъ у Надеждина, зато болѣе сдержанная, мѣрная, щегольская, заранѣе заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Онъ и читалъ по рукописи. Какъ благодарны мы были ему за этотъ безконечный рядъ, какъ будто галерей обширнаго музея – рядъ произведеній старыхъ и новыхъ литературъ, выставляемыхъ имъ передъ нами съ тщательною подготовкою, съ тонкой и глубокой критической оцѣнкой ихъ! И какъ не благодарить за безчисленные ключи, которые оба эти учителя намъ давали къ уразумѣнію всѣхъ еврейскихъ, греческихъ, римскихъ, и новыхъ западныхъ произведеній ума и фантазіи, по луч-

шимъ старымъ и современнымъ критическимъ оцѣнкамъ, независимо отъ своей собственной? Долго, безъ такихъ умныхъ истолкователей—пришлось бы намъ потомъ самостоятельнымъ путемъ открывать глаза на библейскихъ пророковъ, на произведенія индійской поэзіи, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира—до новѣйшихъ, французской, нѣмецкой, англійской литературъ, словомъ — на все, что̀ мы читали по ихъ указанію тогда и что̀ дочитывали послѣ нихъ. Глубокій и благодарный поклонъ ихъ памяти!

Кстати о чтеніи классическихъ и вообще замѣчательныхъ произведеній ума, фантазіи, а также и произведеній научной литературы. Профессорскія лекціи, какъ бы онѣ ни были полны, содержательны, исполнены любви къ знанію самого профессора, все-таки суть не что̀ иное, какъ только программы, систематическіе, постепенные указатели, регулирующіе порядокъ пріобрѣтаемыхъ познаній. Кто прослушаетъ только ихъ и самъ не заразится живой жаждой чтенія, у того, можно сказать, все прослушанное въ университетѣ будетъ—какъ зданіе на пескѣ. А такихъ не мало, глядя на которыхъ и слушая ихъ не замѣтишь и слѣда прочнаго университетскаго образованія и невольно усомнишься, были ли они въ университетѣ. А они были, сдали экзаменъ и получили дипломъ.

Только тому университетъ и сослужитъ свою службу, кто изъ чтенія сдѣлаетъ себѣ вторую жизнь. Мы — въ нашей группѣ товарищей — читали все, что̀ попадалось подъ руку; безъ сомнѣнія, въ другихъ кружкахъ дѣлали то же. Но доставали мы книги, какъ я сказалъ, съ большимъ трудомъ. Тогда не было, какъ теперь, множества библіотекъ на каждомъ шагу, журналовъ; особенно мало было переводовъ замѣчательныхъ сочиненій. Прихо-

дилось, что́ называется, изъ кожи лѣзть, знакомиться съ тѣми, у кого были запасы книгъ на дому, или сообща, въ складчину, покупать иное изданіе. Въ этомъ отношеніи наши современные товарищи гораздо счастливѣе насъ.

Съ меньшей симпатіей или, говоря правду, вовсе безъ симпатіи, относились мы къ профессору исторіи русской литературы, хотя въ своемъ родѣ знаменитому — И. И. Давыдову.

Эта знаменитость была какая-то дѣланная, съ натяжками. Въ обществѣ его принимали за то, чѣмъ онъ хотѣлъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали въ немъ что-то искусственное, декоративное. Высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, съ довольно благообразнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами, съ мѣрными, округленными жестами, онъ держалъ себя съ условнымъ достоинствомъ; рѣчь его была плавная, исполнена приличія. Но отъ него вѣяло холодомъ, напускною величавостью, которая быстро превращалась въ позу покорности и смиренія при появленіи какой-нибудь важной персоны изъ начальства.

Онъ считался универсальнымъ ученымъ: читалъ когда-то лекціи высшей алгебры, занялъ-было каѳедру философіи, но съ первыхъ же лекцій, какъ упомянуто выше, каѳедра была закрыта.

При насъ онъ занималъ, какъ я сказалъ, каѳедру исторіи русской литературы, послѣ профессора Мерзлякова,—человѣка умнаго, даровитаго, старой школы. Я не засталъ его: онъ оставилъ каѳедру за годъ или за два передъ моимъ вступленіемъ. Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведеній тогдашней школы нашихъ классиковъ—Державина, Ломоносова, фонъ-Визина, Княжнина, Озерова и другихъ.

Кажется до новыхъ,—Жуковскаго, Батюшкова Пушкина—онъ не договорился. Онъ, конечно, судя по воспоминаніямъ о немъ слушавшихъ его студентовъ, умѣлъ бы понять и оцѣнить по достоинству и этихъ — тогда еще новыхъ — писателей. Сошелъ онъ со сцены — не столько по лѣтамъ, сколько по слабости, нерѣдкой у насъ даже и въ его положеніи, чему въ примѣръ можно привести Ломоносова. Онъ пилъ запоемъ и по нѣскольку недѣль не являлся на лекціи. Самъ онъ писалъ не мало стихами, переводилъ изъ древнихъ классиковъ. Между прочимъ, онъ—авторъ общеизвѣстной пѣсни или романса: „Среди долины ровныя", которая пѣлась тогда вездѣ, и теперь еще, можетъ быть, поется въ скромныхъ провинціальныхъ углахъ.

На лекціи Давыдова собирались иногда и посторонніе слушатели, разные московскіе тузы, въ качествѣ гостей. Но ни эти гости, ни студенты, не выносили съ лекціи ничего особенно вѣскаго, замѣчательнаго, кромѣ болѣе или менѣе красивыхъ фразъ, сквозь которыя видѣлась нагота мысли, содержанія. Сколько помню, одинъ годъ онъ читалъ теорію словесности, а другой — собственно исторію литературы.

Особенно много распространялся онъ объ ораторскомъ искусствѣ: Квинтиліанъ, Блэръ, Баттё не сходили у него съ языка. Но самому ему не далась ars oratoria; искры, feu sacré, у него не было, и мы тихонько позѣвывали отъ скуки.

О художественныхъ произведеніяхъ онъ передавалъ условную, ходячую оцѣнку ихъ, и когда останавливался на признанныхъ всѣми красотахъ — у него никогда не вырывалось горячаго слова его собственнаго сочувствія, даже когда приходилось ему приводить разныя мѣста, напримѣръ, изъ Пушкина, тогда въ разгарѣ его дѣя-

тельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо цѣнили Каченовскаго, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученаго и... вмѣстѣ ловкаго, практическаго человѣка, но симпатіи, повторяю, у насъ къ нему не было.

Ловкимъ и практическимъ человѣкомъ мы считали его потому, что онъ былъ въ большомъ ходу въ московскомъ обществѣ, занималъ, кромѣ профессорской, другія должности (кажется, директора сиротскаго холернаго института) и былъ въ большомъ фаворѣ у министра. Потомъ это подтвердилось: онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, на должность директора педагогическаго института, нахваталъ чиновъ, звѣздъ, и достигъ званія сенатора.

Но и Иванъ Ивановичъ принесъ намъ значительную дозу пользы тѣмъ, что знакомилъ насъ также, какъ и Надеждинъ съ Шевыревымъ, съ исторіею философіи и потомъ упражнялъ въ русскомъ словѣ практически. Онъ поручалъ двумъ студентамъ по-очереди составлять перечень каждой прочитанной имъ лекціи и потомъ разбиралъ при всѣхъ ихъ трудъ. Эти перечни и служили намъ записками для экзаменовъ. Здѣсь приходилось на нашу долю выслушивать не мало умныхъ и дѣльныхъ критическихъ замѣтокъ и полезныхъ совѣтовъ. Къ сожалѣнію, этотъ смотръ производился только одинъ разъ, а не всѣ три раза въ недѣлю на его лекціяхъ. Такіе практическіе уроки были бы намъ несравненно полезнѣе его разглагольствованій о Ломоносовѣ и Державинѣ, о Квинтиліанѣ и Баттё съ Блэромъ.

М. П. Погодинъ читалъ намъ всеобщую исторію и статистику—и то подъ-конецъ, на третьемъ курсѣ. Собственно онъ принадлежалъ къ юридическому факультету,—гдѣ читалъ русскую исторію. Совѣтъ университета

вдругъ какъ будто спохватился, что мы, словесники, остаемся безъ каѳедры всеобщей исторіи, и отрядилъ для этого дѣла Погодина. Онъ читалъ по Герену, скучно, безцвѣтно, монотонно и невнятно, но былъ очень щекотливъ, когда замѣчалъ въ комъ-нибудь невниманіе къ себѣ. Чуть кто-нибудь изъ слушателей шепнетъ сосѣду слово, спроситъ, который часъ, онъ—Богъ его знаетъ какъ — непремѣнно поймаетъ и обратится съ вопросомъ: „Г-нъ такой-то! позвольте спросить, какое я послѣднее слово сейчасъ сказалъ?"—„Вы изволили говорить о томъ", — начинаетъ тотъ заискивающимъ голосомъ,—„какъ Валленштейнъ двинулся съ войскомъ"...—„Нѣтъ, одно послѣднее слово скажите!" Тотъ, конечно, молчалъ, потому что не слыхалъ этого слова, и Погодинъ продолжалъ читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекціи маленькимъ развлеченіемъ для всѣхъ — посмотрѣть въ лицо сконфуженнаго товарища.

У Михаила Петровича тоже, какъ и у Давыдова, было кое-что напускное, и въ характерѣ его, и въ его взглядѣ на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько онъ заявлялъ въ своихъ историческихъ— ученыхъ и патріотическихъ настроеніяхъ, что къ паѳосу онъ прибѣгалъ ради поддержанія тѣхъ или другихъ принциповъ, а не по импульсу искреннихъ увлеченій. Можетъ быть, казалось мнѣ иногда, онъ про себя и раздѣлялъ какой-нибудь отрицательный взглядъ Каченовскаго и его школы на то или другое историческое событіе, но отстаивалъ послѣднее, если оно льстило патріотическому чувству, національному самолюбію, или касалось какой-нибудь народно-религіозной святыни и т. п. Помнится, онъ даже одну изъ своихъ лекцій въ этомъ смыслѣ назвалъ: „Перчатка Строеву и Каченовскому". Не знаю, подняли ли они эту перчатку? Словомъ, мы чув-

ствовали, что онъ человѣкъ—себѣ на умѣ. Съ нами онъ былъ—и педантически, условно-ласковъ, и педантически-требователенъ.

Всѣ эти пятеро профессоровъ, — одни болѣе, другіе менѣе,—какъ я сказалъ, имѣли вмѣстѣ огромное вліяніе на наше развитіе и образованіе.

За то объ остальныхъ нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочемъ, эти остальные были профессора: греческой словесности — С. М. Ивашковскій, латинской — И. М. Снегиревъ, оба извѣстные ученые и знатоки чужихъ и своихъ древностей; потомъ лекторы французской и нѣмецкой литературъ—Декампъ и Кистеръ.

С. М. Ивашковскій, о которомъ я упоминалъ выше, былъ добродушнѣйшій старикъ, страстный любитель греческихъ классиковъ: между нами ходило мнѣніе, что онъ, да какой-то протоіерей Успенскаго собора, были первые эллинисты чуть ли не въ цѣломъ мірѣ. Ивашковскій въ теченіе многихъ десятилѣтій высидѣлъ свой греческій словарь; не знаю, высидѣлъ ли что-нибудь протоіерей.

Ивашковскій, углубившись на лекціи въ книгу, самъ какъ будто упражнялся вмѣсто насъ: онъ читалъ, перебивалъ студентовъ (все больше на удареніяхъ), что не такъ читаютъ, не такъ понимаютъ или переводятъ, какъ онъ, съ сердцемъ спѣшилъ досказывать самъ, и потому никогда не могъ отличить знающихъ по гречески отъ незнающихъ. Мы замѣтили эту его черту и искусно умѣли ею пользоваться, выжидая, когда онъ самъ доскажетъ „мудреное мѣсто“ и повторяли за нимъ. Онъ очень былъ доволенъ и ставилъ хорошіе баллы всѣмъ, т.-е. собственно самому себѣ.

У него была странная привычка — шпиговать свою русскую рѣчь словомъ „будетъ“—некстати, безъ всякой надобности. „Скажите—будетъ—мнѣ, какъ вы понимаете—будетъ—вотъ этотъ стихъ—будетъ—въ третьей пѣснѣ Иліады“ и т. д.,—говорилъ онъ. Сначала насъ это забавляло, а потомъ мы привыкли, и для потѣхи приводили товарищей изъ другихъ факультетовъ послушать. Тѣ ушамъ не вѣрили и помирали со смѣху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушіемъ, чтобы сокращать лекціи. Онъ любилъ съ кѣмъ-нибудь изъ близко-извѣстныхъ ему студентовъ, ходя взадъ и впередъ по аудиторіи, побесѣдовать. Для этого и командировался чаще всего кто-нибудь изъ вышедшихъ изъ семинаріи и знавшихъ по-гречески студентовъ. И они похаживали вдвоемъ и бесѣдовали, а мы всѣ бесѣдовали тихо про себя—иногда съ полчаса, такъ что на лекцію оставалось тоже полчаса.

Съ древностями греческими мы изъ его лекцій не вынесли никакого знакомства, кромѣ подробнѣйшихъ и скучнѣйшихъ описаній утвари, оружія и т. п., по какой-то, съ нѣмецкаго языка переведенной, прокисшей книгѣ—и заучивали для экзамена, потомъ забывали.

Никакой общей идеи, никакого рисунка древняго быта, никакого взгляда, синтеза, ничего не могъ намъ дать этотъ почтенный греческій книгоѣдъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отсутствовалъ. За него сдѣлали это дѣло Надеждинъ и Шевыревъ.

И. М. Снегиревъ, профессоръ латинской словесности и древностей, былъ очень замѣчательною фигурой во многихъ отношеніяхъ. Вкрадчивый, тонкій, но въ то же время циничный, безцеремонный, съ нами добродушный—онъ разбиралъ римскихъ писателей — такъ себѣ, тоже съ одной только чисто-лингвистической стороны,

мало знакомя насъ, какъ и Ивашковскій, съ духомъ и исторіею древнихъ. Кажется, ему до нихъ мало было дѣла, а намъ мало было дѣла до него. Онъ, какъ иногда казалось мнѣ, будто притворялся знатокомъ римскихъ древностей. Мы были другъ къ другу равнодушны и уживались съ нимъ очень хорошо. Онъ же иногда умѣлъ сдобривать лекціи остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Онъ и въ обществѣ имѣлъ репутацію буфона и наживалъ себѣ однимъ этимъ, кромѣ разныхъ другихъ продѣлокъ, много враговъ. Онъ исподтишка мастеръ былъ посмѣяться надъ всякимъ, кто попадется подъ руку, — и, говорятъ, нерѣдко „лилъ свои пули" передъ митрополитомъ Филаретомъ, у котораго (и вообще у высшаго духовенства) онъ былъ принятъ на короткой ногѣ, благодаря болѣе всего своимъ познаніямъ въ русскихъ, особенно въ церковныхъ древностяхъ, которыя дались ему больше, чѣмъ римскія.

Забавно намъ было видѣть, какъ онъ однажды попался въ просакъ, и какъ на нашихъ глазахъ во время экзамена старался выпутаться изъ петли. Нѣкто студентъ З. написалъ какую-то брошюру о царѣ Горохѣ: я ее читалъ, но теперь забылъ даже точное заглавіе; помню только, что тамъ изображались въ каррикатурѣ нѣкоторые профессора университета, и между прочимъ чопорный и важный И. И. Давыдовъ. Описывалась ихъ наружность, манера читать. Снегиревъ былъ цензоромъ и пропустилъ брошюру, зная, конечно, очень хорошо, въ чемъ дѣло, и заранѣе наслаждаясь про себя эффектомъ брошюры. Брошюра дѣйствительно произвела эффектъ и смѣхъ. Она ходила по рукамъ. Профессоры вознегодовали, больше всѣхъ — онъ, le superbe Иванъ Ивановичъ: какъ могло его коснуться дерзкое перо! По-

терпѣлъ не авторъ-шалунъ, а цензоръ. Съ нимъ не говорили, отворачивались отъ него; Иванъ Ивановичъ положительно не глядѣлъ на него, а тотъ залѣзалъ въ глаза, старался замести хвостомъ свою штуку, льстилъ, изгибался—и напрасно! Мы видѣли все это и наслаждались профессорскою комедіею.

Декàмпа можно было также назвать: le superbe. Это былъ значительно потертый и поношенный французъ стараго пошиба, съ задираніемъ головы и носа, съ напускною важностью во взглядѣ и въ тонѣ, съ округленною, напыщенною фразою, и прямой, какъ палка. Злые языки говорили, что онъ носилъ корсетъ. Онъ, какъ рога какіе-нибудь, носилъ свое мнимое величіе въ позѣ головы, въ неподвижности корпуса, говорилъ—точно изрекалъ глаголы оракула и смотрѣлъ на все свысока.

Исторіею французской литературы назывался у него перечень писателей съ IX вѣка, съ поименованіемъ ихъ сочиненій и съ краткою, въ нѣсколько строкъ, установившеюся въ французскихъ учебникахъ критическою оцѣнкою. Напыщеннымъ, изысканнымъ языкомъ онъ возвѣщалъ намъ эти заповѣди французскихъ критиковъ, не освѣщая ничего своимъ собственнымъ впечатлѣніемъ и взглядомъ. Да едва ли у него и было и то, и другое. Всякое живое слово или движеніе вывело бы его, пожалуй, изъ позы буддійскаго идола и нарушило статуарное величіе его фигуры.

Говорятъ, онъ имѣлъ большой успѣхъ въ свѣтскихъ салонахъ—развѣ потому только, что онъ французъ, да за эту скульптурную величавость и за декламаціонный тонъ рѣчи.

Конечно, для студентовъ не безполезно было послушать часа три въ недѣлю такого краснобая—собственно для французскаго языка, не безполезно также, въ смыс-

лѣ упражненія, и заучить его тетрадку съ перечнемъ именъ и сочиненій, написанную хорошимъ, правильнымъ языкомъ.

При этомъ не могу не вспомнить одного комическаго эпизода по поводу этихъ заучиваній. Для знавшихъ по-французски ничего не стоило заучить содержаніе тетрадки и пересказать его, не съ буквальною точностью, а своими словами. Другое дѣло для студентовъ изъ семинаристовъ: тѣ должны были выдолбить текстъ слово въ слово, буква въ букву. И вотъ на экзаменѣ, въ полномъ присутствіи факультетскаго начальства, декана и другихъ профессоровъ, одинъ студентъ изъ семинаристовъ вынулъ вопросъ, прочелъ его и отвѣчалъ, перемѣнивъ членъ въ одномъ словѣ *la* на *le*... Едва онъ произнесъ слово, какъ раздался гомерическій хохотъ — и профессоровъ, и студентовъ. Наконецъ, осклабился даже и самъ напыщенный Декампъ... И стоило смѣха: къ сожалѣнію, печатно слова, къ которому студентъ приставилъ членъ le, привести нельзя.

Еще полезнѣе было писать сочиненія на задаваемыя Декампомъ темы: онъ по очереди предлагалъ двѣ - три темы нѣсколькимъ студентамъ и потомъ, какъ Давыдовъ, разбиралъ на лекціи написанное.

Задавая, онъ всегда педантически назначалъ,—какъ, бывало, наши старые риторы задавали хріи,—и программу, какъ писать. Напримѣръ, изъ Иліады задастъ написать о прощаніи Гектора съ Андромахой, или изъ римской исторіи о какихъ-нибудь Гракхахъ: скажетъ тезисъ, потомъ péroraison, потомъ развитіе и заключеніе,—такъ что самое сочиненіе выходило у всѣхъ гораздо короче программы. Ну, Богъ съ нимъ, съ французомъ, и съ нѣмцемъ тоже!—Этотъ все натуживался пересилить своимъ старческимъ, надтреснутымъ голосомъ говоръ студен-

товъ, которые не стѣснялись при немъ — и все напрасно: въ этихъ усиліяхъ прошли всѣ два года его чтеній.

Вообще надо сказать, что лекторы новѣйшихъ языковъ изъ иностранцевъ почти не нужны въ университетѣ. Туда, особенно въ филологическій факультетъ, надо поступать молодымъ людямъ изъ русскихъ съ значительною подготовкою въ языкахъ, чтобы самимъ справляться, гдѣ нужно, съ иностранной грамотой. Учиться ей тамъ некогда, да и совѣстно: не студенческое дѣло— преодолѣвать синтаксическія трудности, когда надо уже умѣть читать писателей въ оригиналѣ. Это дѣло школы. А толкователями иностранныхъ литературъ для русскихъ юношей могутъ быть только русскіе люди, которые въ то же время сообщаютъ и параллель своей литературы съ иностранными. Такъ это теперь, кажется, и дѣлается вездѣ—и слава Богу!

Съ этой цѣлью и учреждена была у насъ каѳедра иностранныхъ литературъ, которую съ успѣхомъ и блескомъ и занималъ Шевыревъ.

Упомяну еще о профессорѣ богословіи, священникѣ Терновскомъ. Это былъ не то что „добрый батюшка", а настоящій строгій профессоръ.

Слушаніе его лекцій, не знаю почему, было обязательно для студентовъ юридическаго факультета во весь трехгодичный курсъ. Для прочихъ факультетовъ положено было слушать его только первый годъ. Одинъ годъ онъ читалъ догматическое, а другой—нравственное богословіе. Мнѣ пришлось прослушать послѣднее. Онъ читалъ скоро и много: въ часъ начитаетъ листовъ шесть писанныхъ и, кончая,—дастъ программу прочитаннаго. На слѣдующей лекціи онъ вызоветъ кого-нибудь пересказать прочитанное въ прошлый разъ. Этого боялись и прятались за спины товарищей, чтобъ онъ не вызвалъ.

Отмѣткамъ его придавался особый вѣсъ. Получившій у него единицу не переводился на слѣдующій курсъ. Его подробныя, ученыя и сухія лекціи какъ-то мало вязались съ жизнью. Онѣ выучивались къ экзамену и потомъ забывались.

Таковъ былъ персоналъ нашихъ университетскихъ преподавателей.

Съ нимъ мы вступили на послѣдній университетскій 1833—1834 годъ: тогда курсъ для всѣхъ факультетовъ, кромѣ медицинскаго, былъ трехлѣтній. Для медиковъ полагалось четыре года.

Собственно золотымъ вѣкомъ нашей университетской республики можно назвать 1832—1833 годъ. Въ выпускномъ 1833 — 34 году на университетъ легла какая-то тѣнь. Въ университетѣ, сначала внѣ аудиторій, стала появляться новая личность. Это была статная, прямая фигура довольно большого роста, высоко державшая голову, въ вицмундирѣ, съ крестомъ на шеѣ. Увидя его, такъ и хотѣлось сдѣлать ему Плюшкинскій вопросъ Чичикову: не служилъ ли онъ въ военной службѣ? Такъ онъ держалъ себя осанисто и гордо, точно въ строю. Можетъ быть, онъ и служилъ тамъ. Мы узнали, что его зовутъ—Д. П. Голохвастовъ, что онъ назначенъ помощникомъ попечителя.

Онъ похаживалъ по обширнымъ дворамъ университета, какъ будто осматривая зданія. За нимъ, точно на пристяжкѣ, нѣсколько поодаль, слѣдовалъ чиновникъ въ мундирномъ сюртукѣ. Его называли смотрителемъ—чего? мы не знали и не любопытствовали знать, полагая, что это лицо назначено для внѣшней части, можетъ быть, по хозяйственной, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Но вскорѣ вслѣдъ за этимъ похаживаніемъ вокругъ да около, Голохвастовъ сталъ заглядывать и въ ауди-

торіи, садился, пока молча, около профессора, слушалъ лекціи и внушительно, начальственно поглядывалъ на насъ. Мы отвѣчали ему взглядами недоумѣнія.

Затѣмъ онъ сталъ вмѣшиваться въ лекціи, спрашивалъ студентовъ, причемъ посматривалъ на насъ нѣсколько надменно и, безъ всякихъ съ нашей стороны поводовъ, строго.

Что̀ означаетъ сей сонъ?—спрашивали мы другъ друга и недоумѣвали. Мы, привыкшіе къ нашей республиканской свободѣ, не вѣдая никого, кромѣ по очереди смѣнявшихся на лекціяхъ профессоровъ, вдругъ почувствовали какое-то стѣсненіе, принужденность,—все остерегались: „вотъ, вотъ, войдетъ посторонній, совсѣмъ чужой университету господинъ, и станетъ приказывать, распоряжаться!“

Словомъ, мы почувствовали, что у насъ, ни съ того, ни съ сего, и безъ всякой, казалось намъ, надобности, явилось начальство, прямое, непосредственное начальство, не похожее на ректора, декана, которые завѣдывали учебною частью, и всего менѣе на ласковаго вельможу, князя С. М. Голицына.

Мы стали нѣсколько унывать, осматриваться и все наблюдали, нѣтъ ли по близости Голохвастова, съ надменнымъ и внушительно-строгимъ, безъ надобности, взглядомъ? Онъ же началъ позволять себѣ дѣлать кое-кому замѣчанія, выговоры, и въ то же время, какъ мы слышали, приглашалъ къ себѣ нѣкоторыхъ студентовъ, знакомыхъ съ иностранными литературами, особенно французской и англійской, которыя самъ будто бы зналъ основательно, бесѣдовалъ съ ними, давалъ книги изъ своей библіотеки. Словомъ, опекалъ насъ очень усердно и все болѣе и болѣе входилъ въ свою роль опекуна.

На выпускныхъ экзаменахъ онъ уже явился полнымъ хозяиномъ и распорядителемъ нашихъ судебъ. Онъ занялъ роль предсѣдателя въ комитетѣ экзаменаторовъ; деканъ при немъ стушевался. Онъ вмѣшивался въ вопросы, задавалъ свои, одобрялъ или порицалъ отвѣты, даже одного студента довольно грубо удалилъ изъ аудиторіи—и вмѣстѣ изъ университета — за какой-то неумѣлый или непочтительный отвѣтъ на его замѣчаніе.

Мы не знали, чѣмъ вызвано было назначеніе его. Можетъ быть, не произошла ли какая-нибудь исторія между студентами, уже покинувшими университетъ, которая заставила начальство „подтянуть университеты вообще". Не къ тому ли времени относилась исторія съ Герценомъ и высылка его изъ Москвы—или другая—я не зналъ тогда, да не знаю и теперь, или—если зналъ когда-нибудь, то забылъ совершенно. Объ этомъ могутъ лучше меня засвидѣтельствовать—и, можетъ быть, уже и засвидѣтельствовали гдѣ-нибудь—мои тогдашніе университетскіе товарищи.

Наконецъ, университетъ пройденъ. Въ іюнѣ 1834 года, послѣ выпускныхъ экзаменовъ, мы всѣ, какъ птицы, разлетѣлись въ разныя стороны. Мы съ братомъ уѣхали домой, на Волгу, гдѣ я, проживъ около года, въ 1835 г. переѣхалъ въ Петербургъ и остался тамъ навсегда.

Университетскій оффиціальный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ вида своихъ товарищей, словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній.

Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которые преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно, болѣе и лучше меня, дѣлали современные мнѣ студенты: К. Аксаковъ, Станкевичъ, Бодянскій, Сергѣй Строевъ. Не называю ихъ товарищами, потому что не былъ съ ними знакомъ. Я слыхалъ только тогда, что они, составляя одну группу и занимая одинъ уголъ въ обширной аудиторіи, собирались другъ у друга, читали, мѣнялись мыслями—и едва ли не являлись въ печати уже тогда.

Это, можетъ быть, покажется страннымъ нынѣшнимъ студентамъ, что мы, собираясь ежедневно въ одной аудиторіи, могли быть другъ съ другомъ незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, какъ теперь [1]), корпораціи и не были ни въ чемъ солидарны между собой, не имѣли никакихъ обязательныхъ другъ къ другу отношеній. Университетъ былъ просто правительственное учрежденіе, открывавшее свои двери для всѣхъ ищущихъ знанія. Мы собирались тамъ, какъ собираются на публичныя лекціи, въ церкви и т. п.

Не было никакой платы съ студентовъ; правительство помогало только, какъ выше сказано, бѣднымъ студентамъ тѣмъ, что давало имъ квартиру и столъ. Стипендій никакихъ не было. Студенты приходили на лекцію и уходили, какъ постороннія другъ другу лица. Никто не заботился о томъ, что̀ тотъ или другой дѣлаетъ дома̀, чѣмъ онъ живетъ, чѣмъ особенно занимается.

Поэтому у насъ не было никакихъ сходокъ, никакихъ сборовъ въ пользу неимущихъ слушателей и, слѣдовательно, никакой студенческой кассы. Всѣ студенты дѣлились на группы близкихъ между собою товарищей: иногда прежнихъ соучениковъ въ школѣ или случайныхъ

---

[1]) Т.-е. въ началѣ 70-хъ годовъ.

знакомыхъ, иногда просто сосѣдей на университетской скамьѣ.

Я сейчасъ упомянулъ о группѣ Станкевича, Строева и другихъ; потомъ была группа казенныхъ студентовъ, семинаристовъ, и много другихъ, мелкихъ кружковъ. Эти группы не сливались между собою, ничто не связывало ихъ другъ съ другомъ. Каждая группа имѣла свой центръ; члены ея собирались между собою, вмѣстѣ вели записки лекцій, вмѣстѣ читали книги, готовились къ экзаменамъ—и, конечно, часто вмѣстѣ проводили время внѣ университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москвѣ, сходились — кто пѣшкомъ, кто въ экипажѣ—на лекціи. Ничто не отвлекало отъ занятій тѣхъ, кто хотѣлъ заниматься, потому что другихъ обязательныхъ занятій, кромѣ лекцій, не было. Никакихъ баловъ, концертовъ, спектаклей, въ пользу неимущихъ слушателей, не давалось; не было сходокъ, студенты не являлись въ роли устроителей и распорядителей означенныхъ увеселеній, также не несли на себѣ заботъ рѣшать вопросъ о пособіяхъ наиболѣе нуждающимся товарищамъ и завѣдывать кассами.

Все было патріархально и просто: ходили въ университетъ, какъ къ источнику за водой, запасались знаніемъ, кто какъ могъ—и, кончивъ свои годы, расходились. Не берусь рѣшать — было ли это лучше, или хуже нынѣшняго. Полагаю, есть своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая—та, что студентъ, какъ сказано, не отвлекался ничѣмъ постороннимъ отъ своихъ прямыхъ занятій, что̀ особенно удобно было въ московскихъ уголкахъ и затишьяхъ, отдаленныхъ отъ всякаго шума и суеты. Дурная сторона медали — это равнодушіе къ

товарищамъ, изъ которыхъ многіе очевидно боролись съ нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства, не только къ прохожденію курса, но обезпечена поддержка и послѣ, когда не посчастливится кончившему курсъ вскорѣ пристроиться къ какому-нибудь дѣлу.

II.

НА РОДИНѢ.

Вступленіе. Помѣстивъ въ журналѣ статью *изъ университетскихъ воспоминаній* — я сталъ рыться въ своей памяти и въ домашнихъ бумагахъ съ цѣлію, не найду ли что-нибудь въ нихъ возможное для печати. Я захватилъ бумаги съ собой въ Усть-Нарву, на дачу, чтобы на досугѣ посмотрѣть, нѣтъ ли въ нихъ еще какихъ-нибудь воспоминаній, замѣтокъ, напримѣръ, о томъ, что̀ было дальше, что я видѣлъ, что я наблюдалъ и переживалъ по выходѣ изъ университета.

Разбирая бумаги, съ перомъ въ рукѣ, я кое-что отмѣчаю и заношу на бумагу. „Для чего?“ спрашивалъ я и еще спрашиваю теперь себя. Еслибы я захотѣлъ похлестаковствовать, я бы сказалъ: „Допѣваю, молъ, на пустынномъ берегу свои лебединыя пѣсни“. Но я ничего никогда не пѣлъ и не допѣваю: насмѣшники, чего добраго, разжаловали бы меня изъ лебедя въ какого-нибудь гуся; или спросили бы меня, можетъ быть, не хочу ли я пріумножить свое значеніе въ литературѣ, внести что-нибудь новое, вѣское? — Это на старости-то лѣтъ: куда ужъ мнѣ!

Причина, почему я вожу перомъ по бумагѣ, простая, прозаичная, а именно: отъ прогулокъ, морскихъ ваннъ,

отъ обѣдовъ, завтраковъ, отъ бездѣйственнаго сидѣнья въ тѣни, на верандѣ, у меня все-таки остается утромъ часа три, которыхъ некуда дѣвать.

Здѣсь, въ Усть-Нарвѣ, живутъ тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены гдѣ маленькими, гдѣ большими садами, такъ что дачникамъ неизвѣстно, какъ живутъ сосѣди. Дачники, если хотятъ, могутъ встрѣчаться другъ съ другомъ на музыкѣ, которая собираетъ около себя публику, или на морѣ во время купанья, или же на вечернихъ прогулкахъ на морскомъ берегу.

Я на музыку не хожу, въ открытомъ морѣ не купаюсь и встрѣчаюсь съ немногими знакомыми лишь вечеромъ на берегу, когда буйный вѣтеръ не рветъ шляпы съ головы и не бьетъ пескомъ въ лицо. Такимъ образомъ, дачники другъ съ другомъ не сталкиваются на каждомъ шагу, какъ, напримѣръ, около Риги и на другихъ людныхъ приморьяхъ, и другъ другу не мѣшаютъ.

Вотъ въ эти праздные три часа я завѣшиваюсь отъ солнца, въ защиту больныхъ глазъ, и роюсь въ бумагахъ, съ перомъ въ рукахъ. День за днемъ, мало-помалу, у меня накопилась порядочная кучка писанныхъ листовъ.

Я задумываюсь, что я стану съ ними дѣлать? Бросить жалко, не показавъ никому. Спрашиваю себя: что̀ это такое? и самъ не знаю. Это не мемуары какіе-нибудь, гдѣ обыкновенно описываются историческія лица, событія, и гдѣ требуется строгая фактическая правда: у меня въ жизни и около меня никакихъ историческихъ событій и лицъ не было. Это и не плодъ только моей фантазіи, потому что тутъ есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фонъ этихъ замѣтокъ, лица, сцены, большею частію, типически вѣрны съ натурой, а иныя взяты прямо съ натуры. Кто-то вѣрно замѣтилъ,

что археологъ, по какимъ-нибудь уцѣлѣвшимъ отъ зданія воротамъ, обломку колонны, дорисовываетъ и самое зданіе, въ стилѣ этихъ воротъ или колонны. И у меня тоже, по одной какой-нибудь выдающейся чертѣ въ характерѣ той или другой личности, или событія, фантазія старается угадывать и дорисовываетъ остальное. Слѣдовательно, напрасно было бы отыскивать въ моихъ лицахъ и событіяхъ то или другое происшествіе, то или другое лицо, къ чему читатели бываютъ наклонны вообще, и при этомъ рѣдко попадаютъ на правду. Всегда больше ошибаются.

Пробѣгая теперь эти мои мелкіе провинціальные наброски стараго времени, я могу выразиться такъ, что все описываемое въ нихъ не столько *было*, сколько *бывало*. Другими словами, я желалъ бы, чтобы въ нихъ искали не голой правды, а *правдоподобія*, и буду доволенъ, если таковое найдется. Меня кто-то уже въ печати укорялъ въ привычкѣ обобщать мои лица: это, помнится, было замѣчено съ нѣкоторой ироніей, а между тѣмъ выходитъ какъ будто комплиментъ. Вѣдь обобщеніе ведетъ къ типичности, а обобщеніе у меня—не привычка, а натура...

При свиданіи я покажу друзьямъ эти листки, а они пусть рѣшатъ, безъ всякихъ натяжекъ и безъ всякаго, конечно, лицепріятія—годятся ли они на что-нибудь.

А теперь пока — „еще одно послѣднее сказанье“... Скоро надо убираться съ здѣшняго берега: по вечерамъ становится темно и свѣжо.

Усть-Нарва.
11 августа 1887 г.

I.

Итакъ, конченъ учебный курсъ: теперь остается, по пословицѣ, пожинать „сладкіе плоды горькихъ корней

ученья". Я свободный гражданинъ міра, передо мной открыты всѣ пути, и между ними первый путь—на родину, домой, къ своимъ.

Я и началъ съ этого пути, который оказался не совсѣмъ легкимъ и удобнымъ. Отъ Москвы до моей родины считается слишкомъ семьсотъ верстъ. На почтовыхъ перемѣнныхъ лошадяхъ, на перекладной телѣжкѣ, это стоило бы рублей полтораста ассигнаціями (полвѣка назадъ иначе не считали) и потребовало бы дней пять времени.

Заглянувъ въ свой карманъ, я нашелъ, что этой суммы не хватаетъ. Изъ присланныхъ изъ дома денегъ много ушло на новое платье у „лучшаго портного", бѣлье и прочія вещи. Хотѣлось явиться въ провинцію столичнымъ франтомъ.

Ѣхать „на долгихъ", съ какимъ-нибудь возвращающимся изъ Москвы на Волгу порожнимъ ямщикомъ, значило бы вытерпѣть одиннадцатидневную пытку. Я и терпѣлъ ее прежде, когда еще мальчикомъ ѣзжалъ съ братомъ на каникулы.

Современный путешественникъ не повѣритъ: одиннадцать дней ухлопать на семьсотъ верстъ! Американская поговорка: „Time is money"—до насъ не доходила.

Желѣзныхъ и другихъ быстрыхъ сообщеній, въ родѣ malleposte, не существовало — и я задумывался, какъ быть.

Мнѣ сказали, что есть какой-то дилижансъ до Казани, а оттуда-де рукой подать до моей родины.

Газетныхъ и никакихъ печатныхъ объявленій не было: я узналъ отъ кого-то случайно объ этомъ сообщеніи, и поспѣшилъ по данному адресу въ контору дилижанса, въ дальнюю отъ меня улицу. Конторы никакой не оказалось. На большомъ пустомъ дворѣ стояло нѣсколько

простыхъ, обитыхъ рогожей кибитокъ и одна большая бричка на двухъ длинныхъ дрогахъ вмѣсто рессоръ.

— Гдѣ же дилижансъ?—спросилъ я мужика, подмазывавшаго колеса одной кибитки.

— Какой дилижансъ, куда?—спросилъ онъ въ свою очередь.

— Въ Казань.

— А вотъ этотъ самый! — указалъ онъ на большую бричку.

— Какой же это дилижансъ: тутъ едва трое помѣстятся! возражалъ я.

— По трое и ѣздятъ, а четвертый рядомъ съ кучеромъ... Спросите приказчика: вонъ онъ въ окно глядитъ! прибавилъ онъ, указывая на маленькій деревянный домикъ, въ родѣ избы.

Я вошелъ въ комнату.

— Я желалъ бы ѣхать въ дилижансѣ въ Казань, — сказалъ я приказчику.

— Можно,—лѣниво отвѣчалъ онъ, доставая съ полки тетрадь.

— А когда ходитъ дилижансъ?

— Неизвѣстно: дня опредѣлить мы не можемъ.

— Какъ такъ: дилижансы ходятъ вездѣ въ назначенные дни!

— Нѣтъ, у насъ когда наберется четверо проѣзжихъ, тогда и пущаемъ. Одна барынька ужъ записалась: вотъ ежели вы запишитесь—такъ только двоихъ еще подождемъ, или по малости хошь одного.

Я и голову опустилъ.

— Вы навѣдывайтесь: можетъ быть, и скоро тронемся! — утѣшалъ онъ меня: — въ эту пору, на лѣто, много народу ѣдетъ изъ Москвы.

Такъ какъ мнѣ время особенно дорого не было, то я и записался. На мое счастье, не прошло и трехъ дней, какъ нашелся третій попутчикъ, и мы тронулись, тѣснясь втроемъ въ бричкѣ: четвертаго спутника не было. Багажъ уложенъ былъ частію на дрогахъ, сзади, частію на верху брички.

И это четырехдневное путешествіе было не безъ пытки. Погода стояла знойная, іюльская. Лошади двигались лѣнивой рысью, отмахиваясь хвостами отъ оводовъ. Насъ на первыхъ же порахъ покрыла густая пыль, вздымаемая нашимъ „дилижансомъ“ и другими встрѣчными и обгонявшими насъ бричками и телѣгами.

Намъ троимъ сидѣть было тѣсно. Я скромно жался въ свой уголъ, опираясь на локоть. Другую руку, и отчасти ногу, я выставлялъ наружу, чтобы дать больше простора пассажиркѣ. Она старалась завоевать себѣ побольше мѣста, безпрестанно просила не упираться сапогами въ стоявшую въ ногахъ картонку съ шляпкой. Въ головахъ, за подушками, у нея помѣщался какой-то коробокъ — кажется, съ провизіей.

Третій пассажиръ, купецъ, возвращавшійся изъ Москвы, не сдавался, сидѣлъ не бокомъ, а прямо, и занималъ одинъ почти половину брички.

Отъ этой тѣсноты мы въ первый же день возненавидѣли другъ друга, глядѣли въ разныя стороны и не говорили между собой.

— Подвиньтесь, вы мнѣ на ногу „шѣли“ (вмѣсто „сѣли“)!—шепелявила барынька.

— Куда прикажете подвинуться? Радъ бы выкинуть ноги на дорогу, да боюсь, подберетъ кто-нибудь, послѣ не найдешь!—острилъ купецъ.

— Охъ!—стонала она и отъ жара, и отъ тѣсноты.

Я улыбался въ сторону.

*

Барынька ѣхала на уральскіе заводы какой-то смотрительницей, чего—не знаю,—и все охала о предстоящемъ ей еще впереди длинномъ пути. Она боялась разбойниковъ и грозы, или „грожи“, по ея выговору.

На ея бѣду, на третьи сутки, вдругъ по дорогѣ понесся намъ на встрѣчу столпъ пыли, крутя и вертя все по пути; налетѣлъ и на насъ. Сталъ брызгать дождь.

— „Шлава“ Богу, что „бежъ грожи“! сказала барынька, крестясь. Но въ ту же минуту блеснула молнія и вслѣдъ за нею раздался ужасный громовой ударъ.

— Охъ! — простонала наша спутница, крестясь вторично.

Купецъ посмотрѣлъ на нее, что̀ она, а я отвернулся и засмѣялся въ пространство. Но тѣмъ все и кончилось. Вихрь умчался, и солнце стало опять печь.

По лицамъ у насъ струями лился потъ, пыль липла къ струямъ и изукрасила насъ узорами. Въ первыя же сутки мы превратились въ какихъ-то отаитянъ. На второй день совсѣмъ почернѣли, а на третій и четвертый на щекахъ у насъ пробивался зеленоватый румянецъ.

Подъѣзжая къ Казани, мы говорили ужъ не своими голосами, и не безъ удовольствія разстались, сипло пожелавъ другъ другу всякаго благополучія.

Такъ полвѣка назадъ двигались мы по нашимъ дорогамъ! Только лѣтъ черезъ двѣнадцать послѣ того появились между Петербургомъ и Москвою первые мальпосты, перевозившіе пассажировъ съ неслыханною дотолѣ быстротою: въ двое съ половиною сутокъ. Въ 1849 году я катился изъ Петербурга уже этимъ великолѣпнымъ способомъ. А затѣмъ, возвращаясь въ 1855 году черезъ Сибирь изъ кругосвѣтнаго плаванія, я ѣхалъ изъ Москвы по николаевской желѣзной дорогѣ: каковъ прогрессъ!

Въ Казани я пробылъ день, осмотрѣлъ крѣпостныя стѣны, Сумбекину башню, зашелъ на университетскій дворъ, къ памятнику Державина, потомъ посѣтилъ нѣсколько мечетей, походилъ по горбатымъ улицамъ города, по Арскому полю, и на другой день, на почтовыхъ, на легкѣ, на перекладной телѣжкѣ, покатилъ на родину. Тутъ всего сутки ѣзды. Но покатилъ съ препятствіями. Дорожныя испытанія еще не кончились. Меня все преслѣдовалъ зной, этотъ бичъ путешественниковъ, не только въ открытой тележкѣ, но, какъ я извѣдалъ потомъ, и въ вагонахъ, и на кораблѣ. Сколько разъ онъ, буквально, допекалъ меня въ жизни, но никогда такъ назойливо и злобно, какъ на этомъ 180-тиверстномъ разстояніи! Солнцу угодно было зажарить меня, и оно жарило; особенно это чувствовалось послѣ ванны, взятой въ Казани.

Въ полдень не стало мочи терпѣть: куда бы нибудь да укрыться! Наконецъ пріѣхали въ какой-то городишко—если не ошибаюсь, въ Буинскъ, гдѣ надо было мѣнять лошадей. Ямщикъ подвезъ меня было къ станціонной избушкѣ, безъ двора, безъ сѣней, которую со всѣхъ сторонъ пожирали солнечные лучи.

— Поставь меня съ телѣгой куда-нибудь въ тѣнь!— просилъ я ямщика:—тутъ сгоришь!

Онъ ввезъ меня подъ навѣсъ постоялаго двора напротивъ станціи. Я чуть не обнялъ благодѣтеля. Такъ отраденъ мнѣ былъ навѣсъ двора, даже съ запахомъ навоза.

Я сидѣлъ еще въ телѣжкѣ, одурѣлый отъ жара, томимый не столько голодомъ, сколько жаждой. Не прошло и десяти минутъ, какъ на дворъ вбѣжалъ впопыхахъ маленькій человѣчекъ, въ военной или полицейской форменной фуражкѣ и сюртукѣ.

— Козловъ! Козловъ! Гдѣ ты, подлецъ?—кричалъ онъ сердито на весь дворъ. Изъ дома, по деревянной, крытой лѣстницѣ, на этотъ голосъ, проворно сбѣжалъ мужикъ въ красной рубашкѣ, съ большимъ ключомъ на поясѣ.

— Здѣсь, ваше высокоблагородіе, здѣсь!—торопливо отозвался онъ.

— Къ тебѣ въѣхалъ пріѣзжій, — съ гнѣвомъ продолжалъ офицеръ,—а ты и ухомъ не ведешь, не даешь знать въ полицію! а? Ты знаешь, какъ строго приказано?

— Да они на почтовыхъ ѣдутъ: ко мнѣ только сейчасъ подъ навѣсъ стали...

— Врешь, врешь, подлецъ! ямщикъ сказывалъ, что проѣзжій обѣдать здѣсь будетъ! Первымъ твоимъ дѣломъ, подлецъ, потребовать отъ проѣзжаго видъ и представить въ полицію.

Онъ сталъ грозить пальцемъ. Я сошелъ съ телѣги, вынулъ изъ кармана свой университетскій отпускной билетъ и подалъ сердитому господину.

— Вотъ мой билетъ!—сказалъ я ему:—Я только-что въѣхалъ и черезъ часъ ѣду дальше.

Старикъ надѣлъ очки, взглянулъ пристально на меня, потомъ на билетъ.

— А куда изволите ѣхать?

Я сказалъ ему.

— Извольте получить вашъ видъ: онъ въ порядкѣ.

— Не вините его, — заступился я за хозяина:—онъ даже не видалъ меня и моей телѣжки.

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ подлецъ! Онъ долженъ смотрѣть въ оба: мало ли кто къ нему заѣдетъ! Полиція обо всѣхъ должна знать!

Тѣмъ бы, кажется, все и должно кончиться. Но городничій—это былъ самъ городничій, какъ я узналъ послѣ отъ хозяина—прибавилъ къ нашему разговору такое

необыкновенное заключеніе, что читатель, пожалуй, не повѣритъ, подумаетъ, что я сочинилъ этотъ шаржъ.

— Можетъ быть, вы зарѣзали вашихъ родителей и бѣжали!—выпалилъ онъ.

Я остолбенѣлъ отъ этой гиперболы и не нашелся, что̀ ему сказать. Ѣдучи дальше, я объяснилъ ее себѣ догадкою, что вѣроятно въ служебной практикѣ городничаго былъ подобный случай, потому что выдумать этого нельзя даже и въ шутку.

Къ вечеру на пути ожидалъ меня другой сюрпризъ. Зной уступилъ мѣсто духотѣ, небо заволокло черными тучами, покрывшими тьмою поля, лѣса, дорогу. Въ восемь часовъ началась гроза, или „грожа“, по выговору барыньки, но такая жестокая, классическая гроза, какую я послѣ видалъ въ тропическихъ широтахъ.

Тьма уступила мѣсто нестерпимому и непрестанному, безъ промежутковъ, блеску молніи, съ перекатами непрерывнаго же грома. Мы ѣхали между двухъ стѣнъ сплошного лѣса. Узкая полоса дороги, отъ ливня, часа черезъ два образовала корыто мягкаго тѣста изъ чернозема. Лошади вязли по колѣно и едва вытаскивали ноги. Рысь смѣнилась шагомъ, который становился все медленнѣе. Отъ блеска лошади вздрагивали и останавливались, какъ одурѣлыя.

У ямщика оказались двѣ рогожи: въ одну онъ завернулся, какъ барыня въ шаль, а другую далъ мнѣ. Я прикрылъ ею не себя, а чемоданъ, чтобы дождь не подмочилъ мои московскія обновки. А самъ отдалъ на жертву дождю свою „непромокаемую“, но промокавшую камлотовую шинель и университетскій поношенный сюртукъ съ малиновымъ воротникомъ, теперь мнѣ уже ненужный.

Мы еще съ часъ или полтора шлепали по дорогѣ, ожидая, что гроза стихнетъ. Но лошади останавливались

все чаще и чаще, а гроза не только не унималась, а еще будто разыгрывалась сильнѣе.

— Баринъ! Надо заѣхать переждать, — предложилъ ямщикъ: кони, того-гляди, станутъ совсѣмъ, ничего съ ними не подѣлаешь: вò, какъ боятся!

— Куда же заѣхать?

— А вотъ туточка, сичасъ у дороги, татарская деревушка будетъ: туда и заѣдемъ. Переждемъ малость! Который часъ таперича?

— Полночь! — сказалъ я: — ну, заѣзжай! Да какъ ты проѣдешь? тутъ все широкая канава вдоль дороги идетъ.

— Тамъ есть мостикъ, соломенный онъ: кабы въ темень, такъ, пожалуй, провалишься въ канаву — онъ хворостомъ крытъ, да сверху соломки накидано: только слава, что мостъ! А теперича, молонье-то вонъ какое (ухъ! какъ „жгётъ“!): свѣтло, переберемся какъ-нибудь.

Мы такъ и сдѣлали, перебрались. Ямщикъ чуть не въ самыя окна одной избушки всадилъ оглобли. Онъ сталъ стучать кнутомъ въ окна и въ ворота. Долго никто не отзывался, хотя при блескѣ молніи мы видѣли въ окнахъ людей. — Отоприте, отворите! — кричали мы, какъ Ваня въ „Жизни за Царя“.

Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ о томъ, кто мы и что̀ намъ нужно, насъ впустили въ избу, внесли туда же мой чемоданъ, подушку, саквояжъ, а телѣгу и лошадей укрыли подъ навѣсъ. Въ избѣ оказалось человѣкъ пять рослыхъ татаръ.

— Отчего такъ долго не пускали?—спросилъ я.

— Боялись!—говорятъ.

— Чего?

— А не знаемъ, бачка, какіе люди стучатъ. Вчера ночью воры пришли, стучали, много стучали: мы не пустили и сами спрятались.

— Васъ тутъ пятеро—и боялись! Почемъ вы знали, что вчера воры были?

— Мы знаемъ ихъ, бачка: знакомые!

Когда зажгли огонь, я хотѣлъ лечь на лавку, но сейчасъ же увидѣлъ, что это невозможно. Лавки, столъ и отчасти стѣны, все будто шевелилось отъ сплошной массы таракановъ. На лавку даже нельзя было сѣсть — она была точно живая.

Да и напрасна была затѣя уснуть. Вся избушка тряслась отъ раскатовъ грома. Наружи дождь шумѣлъ, какъ водопадъ. Оттого и татары всѣ были на ногахъ, не спали. Увидя у нихъ большой самоваръ, я велѣлъ поставить, досталъ дорожный запасъ и сталъ пить чай. Такъ прошло время до разсвѣта. Около пяти часовъ утра, мы пустились въ путь — гроза еще не кончилась совсѣмъ. Туча удалялась впередъ отъ насъ, а сзади великолѣпно блистало солнце. Впереди видно было, какъ молнія, теперь, при солнцѣ, уже безъ блеска, падала бѣлыми зигзагами на нивы, до насъ доходили слабые удары грома. Другую такую грозу, повторяю, продолжительную и жестокую, я помню, видѣлъ только въ Японіи, когда мы съ фрегатомъ стояли на Нагасакскомъ рейдѣ.

Не знаю, что̀ стало бы съ моей спутницей-барынькой, въ такую „грожу“.

Послѣ грозы, казалось бы, воздухъ долженъ освѣжиться, но, противъ обыкновенія, онъ точно накалился— и остальную сотню верстъ я добирался почти безъ сознанія, точно спалъ, пріѣхалъ домой въ видѣ каленаго орѣха и только дня черезъ два принялъ свой обыкновенный видъ.

II.

Меня охватило, какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей, конечно, испытывали сладость возвращенія, послѣ долгой разлуки, къ роднымъ, и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрѣно. Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда — и всѣ не наглядятся на меня.

Домъ у насъ былъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣвшихъ по близости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня.

Кромѣ нашей семьи, т.-е. моей матери, сестеръ и брата, оставшагося въ Москвѣ въ университетѣ, по болѣзни, еще на годъ, у насъ въ домѣ проживалъ одинъ отставной морякъ. Назову его Якубовъ. Выйдя въ отставку, онъ пріѣхалъ въ свою деревню, или деревни: у него ихъ было двѣ, съ тремя стами душъ крестьянъ въ обѣихъ, верстахъ въ полутораста отъ города. Но одинокому холостяку вскорѣ наскучило тамъ: сельскаго хо-

зяйства онъ не понималъ и не любилъ, и онъ переселился въ губернскій городъ.

Губернскіе города, подальше отъ столицы, были, до желѣзныхъ дорогъ, оживленными центрами общественной жизни. Помѣщики съ семействами, по дальнему разстоянію отъ Москвы, проводили зиму въ своемъ губернскомъ городѣ. Наша губернія особенно славилась отборнымъ обществомъ родовитыхъ и богатыхъ дворянъ.

Якубовъ случайно замѣтилъ красивый, свѣтлый и уютный деревянный флигель при нашемъ довольно большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы—и нанялъ его, не предвидя, что проживетъ въ немъ почти полвѣка и тамъ умретъ.

Якубовъ былъ крестнымъ отцомъ насъ четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, потомъ принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшихъ совѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія.

Якубовъ былъ вполнѣ просвѣщенный человѣкъ. Образованіе его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, пріобрѣтенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнялъ его непрестаннымъ чтеніемъ—по всѣмъ частямъ знанія, не жалѣлъ денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ, бывало, прочитаетъ въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая, по заглавію, покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Романовъ и вообще беллетристики, онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше по наслышкѣ. Выпи-

сывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

По смерти нашего отца, состарѣвшись, онъ изъ флигеля перешелъ въ большой каменный домъ и занялъ половину его.

Якубовъ сталъ совершеннымъ семьяниномъ у насъ, сдѣлался хотя и faux père de famille, но своею привязанностью къ намъ, умными совѣтами, заботливымъ руководствомъ нашего воспитанія и образованія, превосходилъ и родного отца.

Это не рѣдко бываетъ. Добровольно взятое на себя иго — уже не иго: оно легче и охотнѣе переносится, особенно когда подкладкой ему служитъ симпатія. Мы всегда охотнѣе даемъ то, чего отъ насъ не требуютъ и чего мы не обязаны давать. Въ этомъ и весь секретъ.

Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворня, повара, кучера слились съ нашей дворней, подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домомъ. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему.

Я останавливаюсь на этомъ старикѣ, потому что онъ заслуживаетъ вниманія, не только какъ представитель своего времени вообще, но и какъ человѣкъ въ особенности.

Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ, и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгою справедливостью распредѣляла поровну свою симпатію

между всѣми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылось зерно будущаго порока. Она была неумолима.

За то Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступившій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ. Это имѣло ту хорошую сторону, что смягчало строгую систему материнскаго надъ нами контроля. Баловство — не до глупой слабости, не до излишества — также необходимо въ дѣтскомъ воспитаніи. Оно порождаетъ въ дѣтскихъ сердцахъ благодарность и другія добрыя, нѣжныя чувства. Это своего рода практика въ сферѣ любви, добра. Сердце, какъ и умъ, требуетъ развитія.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню— она узнаетъ и пошлетъ человѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ „крестному". Онъ ужъ знаетъ, въ чемъ дѣло. Является человѣкъ, или горничная, съ зовомъ:— Пожалуйте къ маменькѣ!—„Пошелъ", или „пошла вонъ!" —лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ—и дѣло ограничивается выговоромъ, вмѣсто дранья ушей и стоянія на колѣняхъ, что̀ было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый.

У Якубова былъ отличный поваръ и кромѣ того особый кондитеръ. Иногда онъ оставлялъ насъ обѣдать, и тутъ ужъ всякому кормленію и баловству не было конца. Былъ у него, между прочимъ, особый шкафчикъ, полный сластей—собственно для насъ.

Со мной онъ, ежедневно катаясь по городу для воздуха, заѣзжалъ еще въ разныя лавки и накупалъ также

сластей, игрушекъ и всякихъ пустяковъ, нужды нѣтъ, что дома всего этого было вдоволь и давалось намъ регулярно. Мать обыкновенно отбирала всѣ эти гостинцы, если мы не успѣвали потребить ихъ, и воевала съ баловникомъ.

Если онъ самъ не купитъ, то дастъ мелкихъ денегъ, чтобы мы распорядились, какъ хотимъ. И это отбиралось отъ насъ, а если мать не замѣчала, мы накупали всякой дряни: бобовъ, стручковъ, моченой груши и тому подобныхъ, строго запрещенныхъ намъ, уличныхъ лакомствъ, и втихомолку съѣдали. Выдаваемыя ежедневно по порціямъ сласти насъ не удовлетворяли: слаще всякаго варенья казался излишекъ, да еще запретный.

Курьезно, что когда я пріѣхалъ по окончаніи университетскаго курса, онъ не успѣлъ поздороваться, велѣлъ заложить „тарантасъ" (въ родѣ длинной линейки съ подножкой), какъ всегда дѣлалъ, когда я пріѣзжалъ на каникулы мальчикомъ, и повезъ было, по-прежнему, въ кондитерскія и другія лавки со сластями. Я засмѣялся, и онъ тоже, когда я спросилъ, гдѣ продается лучшій табакъ.

Изъ всѣхъ насъ четверыхъ я былъ самымъ близкимъ сопутникомъ и собесѣдникомъ моряка. Братъ, старше меня года на три, былъ бойкимъ, до-нельзя шаловливымъ гимназистомъ, и эмансипировался отъ домашняго режима.

III.

Петръ Андреичъ, или „крестный", какъ мы и всѣ въ домѣ звали Якубова, учился въ Петербургѣ, въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ и въ царствованіе Екатерины выпущенъ во флотъ, въ морскую артиллерію. — Намъ велѣли представиться Потемкину, — разсказывалъ онъ

мнѣ:—мы всѣ безусые, безбородые, 18-ти или 19-тилѣтніе мальчики, въ новенькихъ офицерскихъ мундирахъ, явились къ нему во дворецъ. Въ залѣ много ждало важныхъ лицъ: ихъ звали по очереди къ нему. Наконецъ дошло до насъ. Насъ ввели въ кабинетъ и вытянули въ шеренгу у дверей. Потемкинъ лежалъ на диванѣ: около него сидѣли на креслахъ и стояли нѣсколько лицъ. Онъ посмотрѣлъ на насъ пристально и обратился къ присутствующимъ: — „Каковы! — сказалъ онъ гнусливо, кивая на насъ: — вотъ съ какими поросятами я долженъ служить!“ — Онъ усмѣхнулся, и другіе тоже, потомъ махнулъ намъ рукой, чтобы шли вонъ.

Якубовъ участвовалъ въ кампаніи противъ французовъ. Суворовъ пожиналъ лавры на сушѣ, переходилъ Альпы, а флотъ нашъ блокировалъ Италію съ моря.

Теперь не помню, долго ли служилъ Якубовъ во флотѣ и когда онъ вышелъ въ отставку. Знаю только, что онъ пріѣхалъ на Волгу, въ свое имѣніе, въ чинѣ капитанъ-лейтенанта, съ владимірскимъ крестомъ—и, поселившись въ губернскомъ городѣ, спустя нѣкоторое время, вступилъ въ гражданскую службу совѣтникомъ, кажется, губернскаго правленія. Я сталъ знать, помнить и любить его съ семилѣтняго возраста, а это было въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Онъ уже былъ въ чистой отставкѣ.

Когда Якубовъ явился въ провинцію, онъ былъ еще не старымъ человѣкомъ. Онъ сблизился съ тогдашнимъ дворянскимъ кругомъ и рѣшительно завоевалъ себѣ общую симпатію и уваженіе. Это былъ чистый самородокъ честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и при томъ съ добрымъ, теплымъ сердцемъ. Все это хорошо выражается англійскимъ словомъ „джетльменъ“, котораго тогда еще не было въ

русскомъ словарѣ. Въ обращеніи онъ былъ необыкновенно привѣтливъ, а съ дамами до чопорности вѣжливъ и любезенъ.

Онъ былъ вездѣ принятъ съ распростертыми объятіями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя онъ давалъ часто обѣды, ужины, на которыхъ нерѣдко присутствовали и дамы. Я помню, хотя былъ еще маленькій, какъ у него было шумно, весело, какъ изъ флигеля разносились по двору громкіе голоса, какъ прыгали пробки въ потолокъ. Когда забѣжишь во флигель— а забѣжишь всегда, когда были гости — послѣдніе наперерывъ ласкаютъ, накормятъ, пирожнымъ, мороженымъ, дадутъ шампанскаго, словомъ, избалуютъ до-нельзя.

Такъ продолжалось, должно быть, лѣтъ десять, т.-е. такое свѣтское, широкое и гостепріимное житье-бытье. У него даже былъ свой романъ. Онъ влюбился въ одну молодую, красивую собой графиню. Объ этомъ онъ мнѣ разсказалъ уже послѣ, когда я пришелъ въ возрастъ, но не сказалъ: раздѣляла ли она его склонность. Онъ говоритъ только, что у него явился соперникъ, нѣкто богатый, молодой помѣщикъ Ростинъ. Якубовъ стушевался, уступилъ.

— Отчего же вы не искали ея руки? — спросилъ я, недовольный такой прозаической развязкой.

— Оттого, мой другъ, что онъ могъ устроить ея судьбу лучше, нежели я. У меня какихъ-нибудь триста душонокъ, а у него двѣ тысячи. Такъ и вышло. Я самъ желалъ этого. Оба они счастливы, и слава Богу!—Онъ подавлялъ легкій вздохъ.

И дѣйствительно такъ было. Я зналъ эту графиню, бывалъ у Ростина, жившаго гостепріимно и открыто, въ его недалекой отъ города деревнѣ. Въ то время, когда онъ мнѣ это разсказывалъ, графиня была уже по-

жилая женщина, но все еще со слѣдами красоты, мать взрослыхъ дѣтей. Якубовъ говорилъ съ ней и о ней не иначе, какъ съ нѣжною почтительностью—и былъ искреннимъ другомъ ея мужа и всей семьи.

Потомъ я не знаю, какъ онъ жилъ до своей старости. Съ 1822 года меня отвезли учиться въ Москву. Лѣтомъ на короткое время я пріѣзжалъ, и потомъ изъ университета, на каникулы домой и находилъ все того же ласковаго, безмѣрно добраго отца и друга. Онъ постепенно старѣлъ, а мы съ братомъ являлись домой уже юношами. Ласки, баловство, подарки—такъ и лились на насъ до смѣшного. Живи онъ до сихъ поръ, я думаю онъ и теперь повезъ бы меня въ кондитерскую покупать конфекты.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ старѣлъ, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась — съ его стороны передача, а съ моей — живая воспріимчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неоцѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картой звѣзднаго неба, наглядно объяснялъ движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьные наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ, преподанныхъ мнѣ имъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты, телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей, съ Кука до послѣднихъ временъ.

Я жадно поглощалъ его разсказы и зачитывался путешествіями. „Ахъ, еслибы ты сдѣлалъ хоть четыре морскія компаніи (морскою кампаніею считается каждые полгода, проведенные въ морѣ), то-то бы порадовалъ

меня!" — говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю, или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если-бы онъ предвидѣлъ, что современемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!

Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника — для будущаго моего дальняго странствія. Впрочемъ, помимо этого, меня нерѣдко манили куда-то вдаль широкіе разливы Волги, со множествомъ плавающихъ, какъ лебеди, бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлые часы мечтательно, еще ребенкомъ, вглядывался въ эту широкую пелену водъ.

И по пріѣздѣ въ Петербургъ, во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Разсказы ли „крестнаго", вмѣстѣ съ прочитанными путешествіями, или широкое раздолье волжскихъ водъ, не знаю что̀, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому Острову, я съ наслажденіемъ заглядывался на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское.

Якубовъ происходилъ отъ старой дворянской фамиліи, но онъ былъ аристократъ, баринъ — больше въ душѣ. Старые дворянскіе роды онъ ставилъ высоко, къ другимъ сословіямъ относился только снисходительно.

— Здравствуй, старина! — говорилъ онъ по-просту, въ отвѣтъ на почтительный поклонъ какого-нибудь купца, или:—здравствуйте, отецъ! привѣтствовалъ онъ священника. Напротивъ, съ людьми своего круга, онъ, при встрѣчѣ на улицѣ, здоровался, съ близко знакомыми фамильярно, дружески, перекидывался нѣсколькими словами, шуткой, передъ менѣе знакомыми вѣжливо при-

поднималъ фуражку, а передъ дамами обнажалъ всю голову.

Пріѣзжая послѣ, въ мои университетскія каникулы, я сталъ замѣчать, что посѣтители у него становились рѣдки, а самъ онъ не выѣзжалъ никуда, совершая только свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ, „для воздуха", непремѣнно со мной.

Я видѣлъ, что онъ и на прогулкахъ сталъ избѣгать встрѣчъ, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ онъ скрывался, сколько могъ. На мой вопросъ.

— Отчего это?—онъ сказалъ просто: — „на старости лѣтъ—отвыкъ отъ людей, да и пострѣловъ тутъ не мало!" —Между тѣмъ, при встрѣчѣ на улицѣ, или если кто успѣетъ проникнуть къ нему въ домъ, онъ обойдется любезно и радушно.

Иногда выходили по этому поводу забавныя сцены. Пріѣдетъ, напримѣръ, гость, спроситъ: — „Дома ли?"— Человѣкъ побѣжитъ въ обходъ по корридору доложить.— „Владиміръ Васильевичъ",—скажетъ онъ; или:—„графъ Сергѣй Петровичъ". —Якубовъ, вмѣсто отвѣта, энергически молча показываетъ человѣку два кулака. Человѣкъ скроется въ корридоръ и ждетъ въ нерѣшительности, не зная, что̀ дѣлать. Въ передней гость ждетъ отвѣта, а въ кабинетѣ барскіе кулаки, которыхъ, впрочемъ, онъ въ ходъ никогда не пускалъ. Гость, между тѣмъ, наскучивъ ждать, сброситъ съ себя шинель или шубу (пальто тогда не было извѣстно) и идетъ въ залу, потомъ въ гостиную, и, наконецъ, отворяетъ дверь въ кабинетъ.

— А! графъ Сергѣй Петровичъ, милости прошу!—радушно привѣтствуетъ его морякъ:—садитесь, вотъ здѣсь! Эй, малый! — крикнетъ человѣку: — скажи, чтобъ намъ дали закуску сюда, да позавтракать что-нибудь.

*

Въ провинціи, по крайней мѣрѣ въ то время, посѣтителямъ непремѣнно предлагалось угощеніе: утромъ закуска, вино; послѣ обѣда—сласти.

Слугѣ потомъ не было ни выговора, ни замѣчанія. Гнѣвъ Якубова бывалъ всегда мгновенной, быстро потухавшей вспышкой.

Катаясь тоже со мной по городу, онъ издали иногда завидитъ ѣдущаго въ экипажѣ, или идущаго на-встрѣчу знакомаго.

— Не гляди туда, отвернись! — шопотомъ предупредитъ меня, и самъ съ юношескимъ проворствомъ перекинется черезъ сидѣнье на другую сторону линейки.

Между близкими его знакомыми я помню особенно двухъ стариковъ, его сверстниковъ, жившихъ почти безвыѣздно по своимъ деревнямъ. Одинъ былъ Ѳедоръ Петровичъ Козыревъ, а другой—Андрей Герасимовичъ Гастуринъ. Они пріѣзжали въ губернскій городъ въ три года разъ на дворянскіе выборы, но совсѣмъ не затѣмъ, чтобы ихъ выбирали, а, напротивъ, чтобъ не выбирали.

— Когда мы хотимъ повидаться съ ними,—сказывалъ мнѣ предводитель дворянства, Бравинъ,—стóитъ только написать имъ, что ихъ намѣрены баллотировать: сейчасъ же оба бросятъ свои захолустья и пріѣдутъ просить, чтобъ не выбирали.

Я зналъ и любилъ этихъ обоихъ сверстниковъ моего „крестнаго". Это были такіе же добрые, ласковые баловники-старички. Къ первому изъ нихъ я, проѣзжая домой на каникулы, уже студентомъ, сворачивалъ верстъ пятнадцать въ сторону съ большой дороги и проводилъ у него по два и по три дня. У него была прелестная усадьба, т.-е. собственно господскій домъ, окруженный обширнымъ садомъ, во вкусѣ временъ Людовика XIV,

съ стриженными аллеями, каскадами, бесѣдками, нимфами и другими затѣями, конечно въ миніатюрѣ, впрочемъ значительно запущенный и заброшенный. Болѣе всего занимала меня большая библіотека—все французскихъ книгъ. Козыревъ былъ поклонникъ Вольтера и всей школы энциклопедистовъ и самъ смотрѣлъ маленькимъ Вольтеромъ, острымъ, саркастическимъ—какъ многіе тогда поклонники Вольтера. Духъ скептицизма, отрицанія свѣтился въ его насмѣшливыхъ взглядахъ, улыбкѣ и сверкалъ въ рѣчахъ. Бесѣдой нашей съ нимъ и братомъ служили французскіе писатели. Но онъ былъ такъ деликатенъ и остороженъ съ нами, юношами, что давалъ намъ читать и самъ читалъ съ нами произведенія французской поэзіи, декламируя Расина, Корнеля и „Генріаду“ Вольтера. О смыслѣ и значеніи ученія мыслителей-энциклопедистовъ онъ умалчивалъ. „Баснями соловья не кормятъ!“ заканчивалъ онъ наши бесѣды и велѣлъ подавать всегда тонкій, изящный обѣдъ. У него былъ отличный поваръ, кажется, французъ.

Онъ не выходилъ изъ халата, и очень рѣдко выѣзжалъ изъ предѣловъ своего имѣнія. У него была въ нѣсколькихъ верстахъ другая деревня, но онъ и въ ту не всякій годъ заглядывалъ. Помню я теперь его слегка рябоватое лицо, темносѣрые умные глаза, насмѣшливо-добродушную улыбку и свѣтлый шелковый съ полосками халатъ. Онъ такъ сидѣлъ въ своемъ изящномъ кабинетѣ, такъ гулялъ и въ укатанныхъ аллеяхъ своего сада, около пруда, гдѣ плавали лебеди, а по цвѣтникамъ, и по его комнатамъ тоже, расхаживали журавли и павлины.

Кромѣ этого сада да своей библіотеки, онъ ничего знать не хотѣлъ, ни полей и лѣсовъ, ни границъ имѣнія, ни доходовъ, ни расходовъ. Когда онъ ѣзжалъ въ

другую свою деревню,—разсказывали мнѣ его же люди,— онъ спрашивалъ: „чьи это лошади?“ на которыхъ ѣхалъ.

Точно такъ же не зналъ и не хотѣлъ знать ничего этого и „крестный“ мой, и третій близкій ихъ другъ и сверстникъ, А. Г. Гастуринъ. Этотъ былъ простой, неученый, но добрый, всѣми любимый, деревенскій житель, не выпускавшій изо рта большой пѣнковой трубки. Онъ весь почернѣлъ и какъ будто прогорѣлъ отъ солнца и отъ табаку. Когда я спрашивалъ Якубова о его хозяйствѣ, о посѣвахъ, умолотѣ, количествѣ хлѣба— даже о количествѣ принадлежащей ему земли и о доходахъ: „А не знаю, другъ мой, — говоривалъ онъ, зѣвая: — что̀ привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть. А сколько онъ высылаетъ куръ, утокъ, индѣекъ, разнаго хлѣба и другихъ продуктовъ съ моихъ полей— спроси у своей маменьки: я велѣлъ ему отдавать ей отчетъ, она знаетъ лучше меня!“

Когда оба старика пріѣзжали въ городъ на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и намъ всѣмъ, дѣтямъ, было отъ нихъ тройное баловство.

Съ утра, бывало, они всѣ трое лежатъ въ постеляхъ, куда имъ подавали чай или кофе. Въ полдень они завтракали. Послѣ завтрака опять забирались въ постели. Такъ ихъ заставали и гости. Рѣдко только, въ дни выборовъ, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатерининскихъ временъ мундиры и панталоны, спрятанныя въ высокіе сапоги съ кисточками, надѣвали парики, чтобъ ѣхать въ дворянское собраніе на выборы. Какіе смѣшные были всѣ трое! Они хохотали, оглядывая другъ друга, а мы, дѣти, гляди на нихъ.

Мнѣ кажется, у меня, очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фи-

гуръ, этого беззаботнаго житья-бытья, бездѣлья и лежанья, и зародилось неясное представленіе объ „обломовщинѣ“.

IV.

И по пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той же „обломовщиной“, какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ же, большею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы; тѣ же деревянные тротуары, съ недостающими досками, та же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій.

Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными сторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающіяся на улицѣ лица. „Намъ нечего дѣлать!“ — зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: „мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ!“

И вправду должно быть такъ. Чиновникъ, совѣтникъ какой-нибудь палаты, лѣниво, около двухъ часовъ, ѣдетъ изъ присутствія домой, нужды нѣтъ, что отъ палаты до дома не было и двухъ шаговъ. Пройдетъ писарь, или гарнизонный солдатъ еле-еле бредетъ по мосткамъ. Купцы, забившись въ грубину прохладной лавки, дремлютъ или играютъ въ шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть въ бабки. У забора коза щиплетъ траву.

— Ужели ничего и никого новаго нѣтъ?—спрашиваю „крестнаго“, объѣзжая городъ и лѣнивымъ окомъ осматриваясь кругомъ:—я все это знаю, давно видѣлъ: вонъ, кажется, и коза знакомая!

— Какъ нѣтъ новаго! Вотъ сейчасъ подъѣдемъ къ новому собору: онъ ужъ освященъ. Каковъ! — хвастался онъ, когда мы сошли съ дрожекъ и обходили соборъ. Соборъ, въ самомъ дѣлѣ, очень хорошъ: обширенъ, стройныхъ размѣровъ и съ тонкими украшеніями на фронтонѣ и капителяхъ колоннъ.

— Вотъ и это новое: ты еще не видалъ, при тебѣ не было!—говорилъ Якубовъ, указывая на новое зданіе на Большой улицѣ.

Я прочелъ на черной доскѣ надпись: „Питейная контора“.

— Это откупщикъ выстроилъ,—прибавилъ онъ.

Встрѣтился намъ очень старый священникъ, посмотрѣлъ на насъ, прикрывъ глаза руками отъ солнца, узналъ Якубова и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Здравствуй, батька, здорово! крестить, что-ли, ходилъ, или отпѣвать кого-нибудь?—шутилъ крестный.

— Чего?—отозвался, останавливаясь, тотъ:—не слышу!

Мы проѣхали.

— Когда я пріѣхалъ сюда, этотъ батька былъ уже зрѣлыхъ лѣтъ попикъ: теперь ему подъ восемьдесятъ!—добавилъ мнѣ крестный.

— Это все старое и ветхое, что̀ вы мнѣ показываете, кромѣ собора да питейной конторы, — сказалъ я.—Гдѣ же новое, молодое, свѣжее?

— Свѣжее? есть свѣжія стерляди, икра, осетрина, дичь... Всего этого - здѣсь въ волю; ужо̀ маменька твоя покормитъ тебя,—шутилъ онъ.

— А новые люди, нравы, духъ?—допрашивалъ я.

— Люди?.. Да теперь лѣто: никого въ городѣ нѣтъ, всѣ по деревнямъ. Вотъ, погоди, къ осени съѣдутся, увидишь и людей, познакомишься со всѣми. А теперь тебѣ надо „представиться“ губернатору.

Я встрепенулся.

— Зачѣмъ? Еслибъ я пріѣхалъ сюда на службу — другое дѣло, а я къ осени думаю ѣхать въ Петербургъ.

— А все-таки надо представиться ему, — настаивалъ Якубовъ: — онъ замѣтитъ тебя гдѣ-нибудь, спроситъ — кто, а ты у него не былъ: это никуда не годится. И къ архіерею тоже, и къ предсѣдателямъ палатъ, да еще къ такому-то и къ такому-то.

Онъ насчиталъ домовъ десять, гдѣ я будто бы долженъ побывать—не знаю самъ, да и онъ не зналъ—для чего. „Для приличія,—говорилъ онъ:—молодой человѣкъ вездѣ долженъ являться“. Тоже не объяснилъ—зачѣмъ. Я не раздѣлялъ этого принципа стараго вѣка—соваться вездѣ, гдѣ и ненужно; нравы уже мѣнялись, но спорить съ нимъ не желалъ, рѣшивъ про себя, что у губернатора я запишусь, сказалъ бы: „оставлю карточку“, еслибъ она у меня была, но ея не было — я только-что вступалъ въ свѣтъ,—а къ прочимъ загляну при удобномъ случаѣ.

Такъ и сдѣлалъ. Къ осени, однако же, надо было подчиниться губернскому режиму и дѣлать визиты, нужные и ненужные, т.-е. къ знакомымъ и незнакомымъ. Это соблюдается, какъ я увидѣлъ послѣ, строже въ провинціи, нежели въ столицахъ, и не побывать у иного въ извѣстный день—наживешь себѣ недруга. Вотъ чѣмъ и какимъ дѣломъ разбавлялось, между прочимъ, провинціальное бездѣлье!

Якубовъ объяснилъ, какъ я сказалъ выше, причину своего отчужденія отъ людей, кромѣ старости, между прочимъ, еще тѣмъ, что онъ „отвыкъ“ отъ нихъ: это

не совсѣмъ удовлетворило меня. Вглядываясь и вдумываясь тогда въ его образъ мыслей и жизнь сознательно, я видѣлъ кое-что въ его характерѣ, къ чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кромѣ старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность. Онъ не скучалъ и не тяготился, когда къ нему заглядывалъ, напримѣръ, вышеупомянутый Ростинъ, потомъ одинъ сосѣдъ по деревнѣ и большой его пріятель, затѣмъ веселый собесѣдникъ и юмористъ Бравинъ, еще Чуринъ, наконецъ братья жены Ростина, бывшаго его „предмета", З—іе, князь П. Онъ благоволилъ также и къ губернатору, и къ женѣ его, „прекрасной дамочкѣ", по его выраженію, хотя эта дамочка была увядшая, худощавая, съ впалыми, потухшими глазами, и вовсе не прекрасная собой женщина.

Но, любя всѣхъ этихъ лицъ, онъ не искалъ встрѣчъ и съ ними, точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ вовсе не принималъ.

Главною причиной была, конечно, старческая усталость, „отвычка" отъ людей, какъ онъ говорилъ, но тутъ наполовину было и дѣйствительно боязни. Онъ какъ и многіе тогда, былъ запуганъ тѣмъ переполохомъ, который произвело четырнадцатое декабря во всемъ русскомъ обществѣ. Хвостъ отъ этого переполоха еще тянулся не только по провинціямъ, но и въ столицахъ. Я помню, что съ насъ, студентовъ, при вступленіи въ университетъ, отбиралась подписка „въ непринадлежности къ тайнымъ обществамъ". Эта мудрая мѣра производила одно дѣйствіе: тѣмъ, кто изъ молодежи и во снѣ не видали никакихъ тайныхъ обществъ, этимъ давалось о нихъ понятіе — и только. Принадлежавшимъ же къ этимъ обществамъ—если были такіе—она, я полагаю, преградою не служила.

Подъ тайными обществами, между прочимъ, разумѣлись масонскія ложи. Якубовъ, какъ почти всѣ дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенція, принадлежалъ тоже къ масонской ложѣ. Въ Петербургѣ всѣ лучшія, извѣстныя, высокопоставленныя лица были членами масонскихъ ложъ; между прочимъ, говорили, что и императоръ Александръ Павловичъ тоже былъ членъ.

Въ нашемъ губернскомъ городѣ была своя отдѣльная масонская ложа, во главѣ которой стоялъ Бравинъ. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедію, собирались въ потаенную, обитую чернымъ сукномъ комнату, одѣвались въ какіе-то особые костюмы, съ эмблемами масонства, длинными бѣлыми перчатками, серебряными лопатками, орудіемъ „каменьщиковъ", и прочими аттрибутами масонства.

Не всѣ члены, однако, были посвящены въ таинственную суть масонства. Общая, всѣмъ извѣстная цѣль была —защита слабыхъ, бѣдныхъ, угнетенныхъ, покровительство нуждающимся и т. п. дѣла благотворительности. Многіе изъ членовъ занимали низшія должности въ іерархіи ордена, напримѣръ что-то въ родѣ какихъ-то звонарей и т. п., и повышались въ степеняхъ, послѣ разныхъ испытаній, смотря по способностямъ и значенію.

Все это я узналъ послѣ, частію отъ самого Якубова, а болѣе отъ другихъ, менѣе скромныхъ и пугливыхъ бывшихъ членовъ. „Крестный" открылъ мнѣ весьма немногое, случайно. Однажды зимой, часу въ десятомъ вечера, губернаторъ прислалъ за мной просить къ себѣ потанцовать — къ его дочери нечаянно собрались дѣвицы, молодые люди — чтобъ я пріѣхалъ. У меня не оказалось свѣжихъ бѣлыхъ перчатокъ, магазины были уже заперты. Я принялся было тереть бѣлымъ хлѣбомъ

надѣванную пару, какъ явился „крестный". Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ повелъ меня къ себѣ. Изъ задняго секретнаго ящика комода онъ досталъ пару длинныхъ бѣлыхъ перчатокъ и отдалъ мнѣ.

— Да это женскія, длинныя, по локоть, сказалъ я:— онѣ не годятся!

— Годятся, вели только обрѣзать лишнее,—замѣтилъ онъ.

— Да откуда онѣ у васъ?

— Это масонскія,—давно у меня лежатъ: молчи, ни слова никому! — шепталъ онъ, хотя около насъ никого не было.

Переполохъ по поводу масонства повелъ послѣ 14-го декабря къ обыскамъ у всѣхъ принадлежавшихъ къ этому братству. Забирали бумаги, отсылали въ Петербургъ, а предсѣдателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забравъ всю его переписку. Но важнѣйшая часть его бумагъ, за нѣсколько часовъ до обыска, говорятъ, была брошена въ прудъ въ его саду. Объ обыскѣ предупредилъ его полиціймейстеръ, его пріятель, и тѣмъ спасъ Бравина, можетъ быть, отъ тяжелыхъ послѣдствій. Бравинъ былъ въ перепискѣ съ заграничными масонами и, вѣроятно, былъ не чуждъ не однѣхъ только всѣмъ открытыхъ, благотворительныхъ, но и политическихъ цѣлей, какія входили въ секретный кругъ дѣятельности, какъ видно, иностранныхъ и русскихъ масонскихъ ложъ.

14-ое декабря открыло правительству глаза на эти послѣднія цѣли и вызвало извѣстное систематическое преслѣдованіе масонства, а съ нимъ—всякихъ „тайныхъ обществъ", которыя подозрѣвались, но которыхъ, кромѣ заговора декабристовъ, кажется, тогда не существовало.

Всѣ, кого призывали и допрашивали, такъ перетрусили, что послѣ долго боялись говорить объ этомъ, даже между собой, шопотомъ.

— Чтó же вы дѣлали, когда собирались въ своей тайной масонской залѣ: дѣла какія-нибудь?—допрашивалъ я „крестнаго“.

— Да, были дѣла, читали письма, протоколы... мало было дѣлъ...—нехотя отвѣчалъ онъ.

— Что же еще?—приставалъ я.

— Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское—вотъ что! чуть не ведрами, такъ что многихъ къ утру развозили по домамъ.

Больше я ничего отъ него не узналъ. На вопросъ о Бравинѣ и его пребываніи въ Петербургѣ, онъ лаконически сказалъ, что Бравина продержали тамъ около полугода, потомъ отпустили. „Воротился весь синій, даже почернѣлъ: его, слышно, подвергли тамъ секретно тѣлесному наказанію“... — дошепталъ онъ и положилъ на губы палецъ молчанія.

Всѣ напуганные масоны и не-масоны, тогдашніе либералы, вслѣдствіе крутыхъ мѣръ правительства, приникли, притихли, быстро превратились въ ультра-консерваторовъ, даже шовинистовъ—иные искренно, другіе надѣли маски. Но при всякомъ случаѣ, когда и не нужно, заявляли о своей преданности „престолу и отечеству“. Напримѣръ, Бравинъ хвастался мнѣ, что бриллiанты отъ пожалованнаго ему, уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ 14-го декабря, перстня онъ раздѣлилъ между нѣсколькими своими дочерями, чтобъ у каждой осталось воспоминаніе о „милости“. Всѣ пошили себѣ мундиры; недавніе атеисты являлись въ торжественные дни на молебствія въ соборъ, а потомъ съ поздравленіемъ къ губернатору. Передъ каждымъ, даже заѣзжимъ лицомъ крупнаго

чина, снимали шляпу, дѣлали ему визиты. Только старички, въ родѣ Козырева и еще немногихъ, ухомъ не вели и не выползали изъ своихъ норъ. Козыревъ саркастически посмѣивался, и надъ крутыми мѣрами властей, и надъ переполохомъ. Громъ въ деревенскія затишья не доходилъ.

„Крестный“ мой, живучи въ городѣ, наружно, подъ ферулой прежняго страха, тоже вторилъ другимъ. Но иногда я подмѣчалъ, что онъ, стоя у окна и глядя въ пространство, что-то горячо бормоталъ про себя, жестикулировалъ, повидимому, протестуя, послѣ разговоровъ или чтенія въ газетахъ о нѣкоторыхъ крутыхъ мѣрахъ. Однажды до меня долетѣли слова:—„Простого выговора не стоитъ,—сквозь зубы бормоталъ онъ, бросая газету: — а его на поселеніе!“ Оборотившись отъ окна, онъ принималъ свой обыкновенный, покойный видъ. Катаясь разъ по городу, мы встрѣтили какого-то незнакомаго господина въ коляскѣ. Якубовъ почтительно съ нимъ раскланялся.

Я спросилъ:—Кто это такой?

— Тайный совѣтникъ Сидоровъ, или Петровъ (не помню теперь), пріѣзжій.

— Вы не знакомы съ нимъ.

— Нѣтъ.

Спросить, зачѣмъ кланяется, было неловко: мнѣ ужъ было ясно, что прежняго страха ради: чтобъ не сочли за вольнодумца, да не донесли... жандармы“.

Мнѣ, юношѣ, были тогда новы если не всѣ, то многія „впечатлѣнья бытія“, между прочимъ, и жандармы, т.-е. ихъ настоящее, новое, съ Николаевскихъ временъ, значеніе. Это значеніе объяснилъ мнѣ, тоже шопотомъ, Якубовъ, а всю глубину жандармской бездны раскрылъ

мнѣ потомъ губернаторъ, которому я, по настоянію „крестнаго“, все-таки „представился“.

До тѣхъ поръ я видалъ жандармовъ въ Москвѣ, у театральныхъ подъѣздовъ, въ крестныхъ ходахъ, на гуляньяхъ, въ ихъ высокихъ каскахъ съ конской гривой, на рослыхъ лошадяхъ. Ни о какихъ штабъ-офицерахъ, назначенныхъ въ каждую губернію, и о роли ихъ я не имѣлъ понятія. Отъ губернатора я въ первый разъ услыхалъ и о важности шефа ихъ, графа Бенкендорфа, и о начальникѣ штаба, тогда еще полковникѣ Дуббельтѣ — и обо всемъ, что́ до нихъ касается, а болѣе о томъ, что они сами до всего касаются. Я тогда сталъ большими глазами смотрѣть на губернскаго полковника Сигова. Я думалъ, что онъ будетъ во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что отъ него всѣ должны бѣгать и прятаться. Но, къ удивленію моему, я видалъ его окруженнаго толпой и мечущаго банкъ въ нѣкоторыхъ домахъ, въ пріемные вечера, обыкновенно въ особой задней комнатѣ, въ облакахъ табачнаго дыма.

— Какъ же такъ?—спрашивалъ я, невинный юноша, въ недоумѣніи, у губернатора:—вѣдь его обязанность, вы говорите, доносить о безпорядкахъ, обо всемъ вредномъ, запрещенномъ—такъ какъ онъ цензоръ нравовъ—стало-быть, и объ азартныхъ играхъ; а онъ самъ тутъ играетъ и прячется?

— Оттого онъ тутъ и вездѣ въ толпѣ, чтобы все смотрѣть и слушать: иначе, какъ же онъ будетъ знать и о чемъ доносить?—былъ отвѣтъ.

V.

Я далъ понять выше, что Якубовъ былъ баринъ въ душѣ, природный аристократъ. Между прочимъ, онъ

былъ сынъ своего вѣка, крѣпостникъ. Это, повидимому, противорѣчитъ „джентльменству". Нисколько, если не сходить съ почвы исторической перспективы. А у насъ, въ настоящее время, начавшееся, впрочемъ, уже съ сороковыхъ годовъ, линіи этой перспективы, какъ будто сгнившіе, ненужные плетни, повалены, сломаны. Удятъ изъ прошлаго какую-нибудь личность, отдѣляютъ ее отъ его времени, точно отдираютъ старый портретъ отъ холста, отъ освѣщенія, колорита, аксессуаровъ обстановки, и неумолимо судятъ ее современнымъ судомъ и казнятъ, забывая, что она носитъ девизы и цвѣта своего вѣка, его духа, воспитанія, нравовъ и прочихъ условій. Это все равно, что судить, зачѣмъ лицо изъ прошлаго вѣка носило не фракъ, а камзолъ съ кружевными маншетами, и, пожалуй, еще зачѣмъ не ѣздило по желѣзнымъ дорогамъ.

Не подумаютъ эти легкомысленные судьи, что черезъ какія-нибудь полсотни, сотню лѣтъ, если послѣдующія поколѣнія будутъ смотрѣть на нихъ сквозь подобныя очки, они предстанутъ передъ ними куда въ непривлекательномъ видѣ! Вѣдь потомокъ далеко уходитъ отъ предка впередъ, и кажется умнѣе его—благодаря придатку знанія, опытовъ, открытій, нажитыхъ временемъ. Но уменъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ — это еще вопросъ. Имѣя это въ виду, предвидя не въ далекомъ будущемъ судъ потомка надъ собою, умный потомокъ воздержится отъ легкомысленнаго смѣха надъ предкомъ, кажущимся простоватымъ, несвѣдущимъ, неумѣлымъ.

Такіе судьи въ свое оправданіе, пожалуй, укажутъ на Бѣлинскаго: онъ-де тоже повиненъ въ этомъ грѣхѣ: впадалъ въ рѣзкость, изрекалъ строгіе, даже желчные приговоры минувшему времени, минувшимъ дѣятелямъ,

иногда стяжавшимъ заслугами почетъ и уваженіе своихъ современниковъ.

Да, водилось это и за Бѣлинскимъ, искреннимъ, правдивымъ, но горячимъ въ своихъ увлеченіяхъ. Но, однако, тотъ же Бѣлинскій, гдѣ-то въ одной своей статьѣ, не помню по какому поводу, замѣтилъ, что теперь любой студентъ математическаго факультета знаетъ больше Пиѳагора или Эвклида — и, кажется, если память не обманываетъ меня, приходитъ къ вопросу: а былъ ли бы современный студентъ на высотѣ этихъ ученыхъ мужей въ ихъ время?

Но самъ онъ, Бѣлинскій, иногда дѣйствительно неблагосклонно смотрѣлъ въ прошлое.

Между прочимъ, онъ съ задоромъ нападалъ и на Пушкина за то, что тотъ,—пожалѣвъ, что „нѣтъ князей Пожарскихъ, что Сицкихъ древній родъ угасъ“,— съ укоромъ отозвался о томъ, что оселъ „демократическимъ копытомъ лягаетъ геральдическаго льва“, и что теперь „спроста лѣзутъ въ tiers-état“.

Здѣсь Бѣлинскій горячо упрекалъ Пушкина, котораго такъ высоко цѣнилъ, конечно, за то, ка́къ этотъ геній не оцѣнилъ „пружины смѣлыя гражданственности новой“, ка́къ не проникся духомъ времени, не воспринялъ и не пропагандировалъ началъ этой гражданственности. Ему, кажется, было больно за Пушкина.

Но онъ, внѣ минутъ раздражительныхъ увлеченій, умѣлъ быть безпристрастенъ. Напримѣръ, онъ не могъ выносить Кукольника, какъ автора напыщенныхъ и ходульныхъ драматическихъ поэмъ — „Тассъ“, „Джуліо Мости“, фальшиваго романа „Эвелина де Вальероль“— но какъ ласково, съ какой теплотой отзывался онъ о повѣстяхъ того же Кукольника изъ Петровской эпохи, въ которыхъ авторъ былъ простъ и правдивъ!

И внѣ литературы, въ житейскомъ быту, Бѣлинскій умѣлъ смотрѣть на разныя явленія, которыя должны бы возбуждать въ немъ духъ противорѣчія и раздраженія, совершенно покойно и разумно.

Въ Петербургѣ, будучи уже на службѣ, я однажды въ Новый годъ, между визитами по начальству, заѣхалъ къ нему въ форменномъ фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ.

— Что это: подлость? — дразнилъ я его, зная, какъ онъ возставалъ противъ всякихъ поклоненій и поклоновъ.

— Подлость, не нами начатая, — добродушно замѣтилъ онъ:—выдумывать и вводить новую подлость—это подло, а повторять старыя приходится сплошь да рядомъ.

Въ бросаньѣ камней въ прошлое и въ отжившихъ людей у Бѣлинскаго явились подражатели, чуть не цѣлая школа. Ничего не стоитъ выудить кого-нибудь изъ давно-прошедшаго и отдѣлывать на всѣ корки. Мудрая латинская пословица: de mortuis aut bene, aut nihil, давно сдана въ архивъ.

Но Бѣлинскій бывалъ виноватъ въ пристрастныхъ—и, съ исторической точки зрѣнія, невѣрныхъ—порицаніяхъ прошлымъ людямъ—подъ давленіемъ своего искренняго влеченія къ лучшему, котораго требовалъ даже отъ прошлаго, какъ нѣкоторые ревнивцы скорбятъ, зачѣмъ въ любимой женщинѣ не все чисто и свѣтло въ ея прошломъ. А эти другіе, непризванные „строгіе цѣнители и судьи“ изъ чего бьются, запальчиво замахиваясь своими дѣтскими тросточками на отжившихъ дѣятелей? Считаютъ ли они себя лучше ихъ? Вѣроятно такъ: порицать можно только то, чего за собой не сознаешь — иначе языкъ не повернулся бы говорить, по пословицѣ, „о ворѣ, когда на самомъ шапка горитъ“.

Обращаюсь къ Якубову. Онъ непробудно жилъ и умеръ на лонѣ крѣпостного права и пользовался послѣднимъ—не какъ всѣ помѣщики, а никогда не злоупотребляя своими правами. Я уже сказалъ, что дохода и разныхъ продуктовъ съ земли своей онъ получалъ столько, сколько „привезетъ староста". Въ дворнѣ у него, кромѣ своего кучера, повара и двухъ, трехъ лакеевъ съ семействами, были еще столяры, портные, сапожники. Онъ отпускалъ ихъ по городу на оброкъ, не справляясь, гдѣ и какъ они живутъ, что̀ зарабатываютъ. Онъ не получалъ съ нихъ ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, онъ велитъ своему сапожнику сшить, заплативъ, что̀ стоитъ товаръ. Понадобится починка или заказъ новой мебели—тоже самое.

Домашней крѣпостной прислугѣ—а тогда другой, наемной, не было,—жалованья не полагалось, но каждый праздникъ онъ позоветъ, бывало, меня и отдастъ разложенныя у него кучки серебряныхъ рублей.—„Это,—скажетъ, — отдай Васькѣ, это Митькѣ, это Гришкѣ, всѣмъ сестрамъ по серьгамъ",—прибавитъ въ заключеніе. Самъ никогда лично не давалъ, а черезъ насъ.

— „Митька", „Васька", „Гришка"!—скажутъ на это новые люди:—развѣ это не мерзко?—Теперь мерзко, да и нельзя: крѣпостныхъ людей нѣтъ, и никто не позволитъ называть себя кличками, какъ собакъ. А тогда не казалось мерзко: всѣ стараго поколѣнія люди привыкли къ этому, и я не слыхивалъ, чтобы тогдашніе пожилые помѣщики, умные, образованные, даже въ столицѣ, иначе звали прислугу, какъ: „малый" или „Петрушка", „Егорка", „Машка", „Дашка" и т. д. Другой манеры звать не было, развѣ кто носилъ такое имя, что никакъ не вопрешь его въ уменьшительное, напримѣръ: Ѳерапонтъ, Сосипатръ, Трефилъ, женщина Макрида.

*

Мы всѣ, т.-е. тогдашнее новое поколѣніе, конечно, такъ уже не обращались съ прислугой. Кстати припомнить, что и Грибоѣдовъ подтверждаетъ этотъ обычай. У него Фамусовъ не иначе зоветъ прислугу, какъ „Филька", „Петрушка". Слѣдовательно, винить Якубова за повсемѣстный въ его время обычай, было бы несправедливо. Пожалуй, иной изъ „молодыхъ" упрекнетъ его и за то, зачѣмъ онъ не говорилъ слугамъ: *вы*. Однако, услыхавъ однажды, что я сказалъ человѣку: „Петръ, пожалуйста, принеси мнѣ"... (не помню что), онъ обернулся отъ окна и съ живостью замѣтилъ мнѣ:— „Какъ это твое „пожалуйста" хорошо!"—Скажутъ, что ссылаться на Фамусова нельзя: онъ-де за то и Фамусовъ, что въ немъ воплощается застарѣлая порча его вѣка, какъ и въ Скалозубѣ, и въ Молчалинѣ и въ другихъ. А вотъ былъ же-де Чацкій, который лучомъ свѣта разсѣялъ эту тьму, и т. д.

Да, былъ Чацкій—Грибоѣдовъ: а много ли ихъ было, этихъ вѣстниковъ новаго міросозерцанія, новой жизни? Стало-быть, всякій новый современный судья прошлаго, оглядываясь назадъ, ставитъ себя на мѣсто Чацкаго? Это скромно! Не походитъ ли, однако, такой судья на вышеприведеннаго студента математическаго факультета, который, зная теперь больше, чѣмъ Пиѳагоръ или Птоломей, вздумалъ бы поставить себя па ихъ мѣсто?

Ка́къ правъ былъ Гоголь въ своемъ отвѣтѣ на упрекъ, зачѣмъ онъ не вывелъ въ „Ревизорѣ" ни одного хорошаго человѣка! Всѣ бы стали ставить себя на мѣсто хорошаго человѣка, и никто не захотѣлъ бы узнавать въ себѣ ни Хлестакова, ни Городничаго и прочихъ. Грибоѣдову нельзя было обойтись въ своей комедіи безъ „хорошаго человѣка", и вотъ всѣ судьи прошедшаго ставятъ себя въ роль Грибоѣдова—Чацкаго.

Но вѣдь Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь, и будутъ, можетъ быть, всегда не въ одномъ русскомъ, но и во всемъ человѣческомъ обществѣ, только въ новой формѣ: тѣмъ и велики и безсмертны обѣ комедіи, что онѣ создали формы, въ которыя отливаются типы цѣлыхъ поколѣній.

Поэтому не мѣшало бы поглубже задуматься надъ вопросомъ всякому, куда бы онъ въ прошломъ могъ пристроить себя: къ Фамусову, Хлестакову, Городничему и другимъ, которыхъ была цѣлая рать, большинство, или же къ рѣдкимъ, блестящимъ исключеніямъ, въ родѣ Чацкаго?..

Я брошу на Якубова еще бо́льшую въ глазахъ „строгихъ судей", тѣнь. Онъ былъ вспыльчивый, какъ порохъ, но не желчный, незлобивый старикъ. Отъ мгновенныхъ вспышекъ его не оставалось никакого дыма, какъ отъ пороха. Провинится человѣкъ, не угодитъ ему, разсердитъ, обыкновенно пустяками какими-нибудь, онъ затопаетъ, подниметъ оба кулака, иногда сложитъ ихъ вмѣстѣ, и, грозя, закричитъ:—„Дьяволъ твою душу побери! Я тебѣ голову проломаю!" Это были его точныя выраженія въ гнѣвѣ. Въ эти минуты тому, кто не знаетъ его коротко, онъ покажется страшенъ. Но въ одну минуту гнѣвъ погасалъ, какъ молнія, и никогда ни одному слугѣ онъ не только „головы не проломалъ", но никто не видалъ, чтобы онъ тронулъ кого-нибудь щелчкомъ, даже чтобы мальчишку взялъ за ухо или за волосы. У него въ рукахъ и пріемовъ для драки не было.

А грозенъ онъ бывалъ до комизма. Сидитъ, бывало, за столомъ: случится иногда, что супъ пересоленъ или жаркое пережарено.—Малый!—закричитъ онъ грозно:—подай палку!

У него была дубинка съ круглой головкой, сопровождавшая его въ прогулкахъ. „Малый“, иногда лѣтъ пятидесяти или шестидесяти, стоявшій, въ числѣ другихъ трехъ или четырехъ такихъ же „малыхъ“, съ тарелками за нашими стульями, а лѣтомъ махавшихъ надъ нашими головами вѣтвями отъ мухъ—малый приносилъ дубинку.

— Поди, дай понюхать Акимкѣ (повару)!—приказывалъ Якубовъ:—и скажи, что онъ отвѣдаетъ этого кушанья, если опять пересолитъ супъ.

„Малый“ серьезно выслушивалъ приказаніе и шелъ въ кухню, къ Акимкѣ, съ дубинкой. Неизвѣстно, давалъ ли онъ ему понюхать ее.

Вспыльчивость Якубова была, конечно, дѣломъ его личнаго темперамента, а сдержанное, холодное отношеніе къ крѣпостнымъ людямъ исходило изъ условій не одного крѣпостнаго права. Онъ служилъ въ военной, и притомъ морской, службѣ, гдѣ субординація и дисциплина, особенно въ прежнее время, соблюдались во всей строгости по морскому уставу Петра I, даже до жестокости. Командиру военнаго судна предоставлялись во время похода, въ морѣ, широкія права, между прочимъ, въ крайнемъ случаѣ, право на смертную казнь подчиненныхъ. Эти слѣды субординаціи и почтенія къ властямъ, и вообще къ старшимъ, онъ вынесъ оттуда же и сохранилъ до гроба.

По этой причинѣ онъ настаивалъ, чтобы и я ѣхалъ „представляться“ къ губернатору, къ архіерею и всѣмъ губернскимъ властямъ, и вообще людямъ съ чиномъ, съ вѣсомъ въ губерніи.

Нечего дѣлать, надо было исполнить желаніе старика.

VI.

На парѣ, въ дрожкахъ, подкатилъ я къ губернаторскому дому, робѣя, самъ не зная чего, вѣроятно подъ вліяніемъ понятій Якубова о приличіяхъ, и вошелъ въ швейцарскую. Швейцаровъ въ провинціи тогда не водилось: не отъ кого было стеречь, оттого и звонковъ не было, двери въ подъѣздахъ никогда не запирались. Лакейскія были биткомъ набиты праздными лакеями. Меня принялъ жандармъ и пошелъ доложить „камердину". Приказано просить.

Черезъ обширную, изящно-убранную длинную залу, всю въ зеркалахъ, съ шелковыми занавѣсами, люстрами, канделябрами, меня ввели въ кабинетъ. Я ожидалъ видѣть какого-нибудь обрюзглаго старика, какъ видалъ прежде губернаторовъ, въ дѣтствѣ, и вдругъ увидѣлъ господина, лѣтъ сорока съ чѣмъ-нибудь, красиваго, стройнаго, въ утреннемъ элегантномъ неглижé, съ кокетливо повязаннымъ цвѣтнымъ галстухомъ. Онъ встрѣтилъ меня погубернаторски, бѣгло взглянулъ на меня, слегка кивнулъ, но не подалъ руки. Тогда высшіе чины не были, какъ теперь, фамильярны съ низшими.

— Сію минуту кончу, а пока присядьте, — сказалъ онъ, указывая стулъ, ласковымъ, пріятнымъ голосомъ.

Я сѣлъ. Худощавый брюнетъ, секретарь, читалъ ему бумаги и подавалъ къ подписи. Я, между тѣмъ, всматривался въ губернатора и въ убранство кабинета.

У губернатора были красивыя, правильныя черты лица, живые каріе глаза съ черными бровями, прекрасно очерченный ротъ съ тонкими губами. Взглядъ бѣглый, воркій, улыбка веселая, немного насмѣшливая. Стройныя, красивыя руки съ длинными прозрачными ногтями. Дома, въ утреннемъ нарядѣ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ,

маншетами, онъ смотрѣлъ франтомъ, какихъ я видалъ потомъ въ Петербургѣ, въ первыхъ рядахъ Михайловскаго театра. Въ черныхъ волосахъ у него пробивалась преждевременная сѣдина, какъ бываетъ у брюнетовъ.

На этажеркахъ, на столѣ, стояли статуэтки, дамскіе портреты, разныя элегантныя бездѣлушки. На стѣнахъ нѣсколько картинъ и у одной—шкафъ съ книгами.

Губернаторъ кончилъ. Секретарь сталъ откланиваться.

— Вы не знакомы?—спросилъ онъ насъ.

— Нѣтъ,—отвѣчали мы оба.

— Иванъ Ивановичъ Добышевъ, правитель канцеляріи.

Мы слегка поклонились другъ другу.

— А... ваше имя и отчество, позвольте...

Я сказалъ; онъ повторилъ секретарю.

— Вы прямо изъ университета? — обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ.

— Что-жъ вы намѣрены теперь дѣлать?

— Теперь пока отдыхаю, а зимой собираюсь въ Петербургъ на службу.

— Военную или статскую? и т. д.

Я сталъ раскланиваться.

— Кланяйтесь Петру Андреевичу (Якубову), — прощался онъ, опять не подавая руки, — да скажите ему, что и я, и жена, мы оба пеняемъ, что онъ не заѣдетъ къ намъ. Я его почти всякій день вижу, какъ онъ ѣздитъ кататься мимо.

— Хорошо-съ, скажу. Онъ никуда не заѣзжаетъ, боится!—сказалъ я.

— Чего?

— 14 декабря всѣхъ здѣсь напугало; его, кажется, больше другихъ.

Губернаторъ звонко закатился смѣхомъ, показывая отличныя бѣлыя зубы.

— Пойдемте къ женѣ, скажите ей, — и повелъ меня черезъ залу въ другую, третью и, наконецъ, въ четвертую комнату.

— Марья Андреевна, гдѣ ты? Послушай, отчего Якубовъ не бываетъ у насъ!..—Онъ ввелъ меня.

Жена его, уже упомянутая выше, худощавая дама, съ поблекшими щеками и синими впалыми глазами, сидѣла въ бѣломъ пеньюарѣ, съ неубранной головой, въ маленькой гостиной.

— Послушай, Левъ Михайлычъ: это ни на что не похоже; ты ведешь прямо ко мнѣ, да еще молодого человѣка, а я не одѣта!..—упрекнула она.

— Представляю тебѣ: такой-то.

— Monsieur est très présentable, — безцеремонно, вслухъ замѣтила она, съ любопытствомъ оглядывая меня съ ногъ до головы.

Я поёжился отъ этого замѣчанія прямо мнѣ въ глаза. „Какъ римская матрона съ рабомъ, не церемонится!“— подумалъ я, помня еще римскую исторію вскорѣ послѣ университета.

— Знаешь, отчего Петръ Андреевичъ не ѣздитъ къ намъ? боится заговора, тайныхъ обществъ: у насъ-то! А впрочемъ, знаете что̀,—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — у меня между декабристами много пріятелей, есть и родные. Да отъ насъ, кто былъ помоложе таились тогда, и я попалъ въ противный лагерь и фигурировалъ на площади 14-го декабря: въ меня камнемъ бросили изъ бунтующихъ рядовъ, съ ногъ сшибли... Это было замѣчено...

— И слава Богу!—замѣтила жена: за то ты теперь губернаторъ, а то Богъ знаетъ, что́ было бы съ тобой, еслибъ связался съ ними!

Якубовъ вѣрить не хотѣлъ, когда я передалъ ему этотъ разговоръ.—Онъ съума сошелъ: въ первый разъ видитъ тебя и разболтался! Услышитъ жандармъ, вѣдь донесетъ!—говорилъ онъ.

— Скажите Петру Андреевичу, что мы его очень любимъ,—прощаясь, говорила губернаторша,—чтобы заѣзжалъ каждый день; обѣдать бы пріѣхалъ! А вы, когда начнутся вечера, будьте нашимъ гостемъ. Вы танцуете, и вѣрно хорошо?

— Большой охотникъ! Въ Москвѣ на вечерахъ, я всегда начиналъ мазурку,—похвастался я.

— И прекрасно. Соня! гдѣ ты, Соня? Поди сюда!—кликнула она въ открытую дверь боковой комнаты.

Вошла молодая прелестная дѣвушка, между 15 и 16 годами, съ такимъ же острымъ и живымъ взглядомъ, какъ у отца, съ граціозно сложенными губами, съ красивымъ носикомъ, съ яркимъ, нѣжнымъ румянцемъ.

Она застѣнчиво присѣла въ отвѣтъ на мой поклонъ.

— Вотъ у насъ еще танцоръ: онъ будетъ твоимъ кавалеромъ на нашихъ вечерахъ, вмѣсто этого неуклюжаго Миши Лопарева...

Ея взглядъ мелькомъ скользнулъ въ мою сторону. Она опять присѣла и скрылась. Послѣ этого я уѣхалъ и долго не являлся къ губернатору, пока онъ не прислалъ за мной жандарма, какъ меня ни принуждалъ Якубовъ.

— Вмѣстѣ съ вами, пожалуй,—отговаривался я, зная, что онъ не поѣдетъ.

Еще до наступленія зимы я успѣлъ перезнакомиться со всѣми губернскими властями, предсѣдателями, совѣт-

никами палатъ, членами разныхъ правленій и многими, пріѣхавшими на житье въ городъ помѣщиками.

Почти всѣхъ этихъ членовъ, отъ большихъ до малыхъ, привязывало къ службѣ не одно жалованье, тогда незначительное. Какой-нибудь предсѣдатель палаты получалъ тысячи три, совѣтники — тысячи по двѣ съ половиной (ассигнаціями), а младшіе, правители дѣлъ, разные секретари и т. п., кто полторы, кто тысячу рублей; ниже спускалось до 700 и 300 рублей, даже менѣе.

Очевидно, жить этимъ было нельзя, иногда съ семействомъ, особенно въ провинціи, гдѣ даже у мѣщанъ водились свои лошади. Обѣдалъ всякій дома, клубовъ не водилось. Обѣдая въ гостяхъ, приходилось принимать и у себя: вездѣ расходъ. Чѣмъ же жили всѣ эти „служилые люди"? А доходами.

Отъ Якубова я узналъ исторію состоянія каждаго изъ губернскихъ тузовъ. Крупныя дворянскія состоянія, источники и количество доходовъ онъ, не знавшій только своихъ собственныхъ, зналъ отлично. — Вотъ у братьевъ Иглевыхъ, — говорилъ онъ: — до пяти сотъ тысячъ дохода: старшій живетъ роскошно, мотаетъ, а у младшаго, Н. М., никто никогда чашки чая не выпилъ. Сидитъ безвыѣздно въ деревнѣ. Самъ по утрамъ пьетъ молоко, а за обѣдомъ ѣстъ вареную говядину съ кислой капустой. А домъ у него старинный, барскій, однѣ оранжереи чего стоютъ! Персики, ананасы свои...

— Вѣдь онъ ѣстъ же ихъ: не все одну капусту! — возражалъ я.

— Какъ не такъ, — ѣстъ! Все посылаетъ въ городъ на базаръ. На однихъ яблокахъ тысячъ пять получитъ въ годъ. А тронетъ въ саду яблоко мальчишка или баба— такъ вздуетъ!

Про другого говорилъ:

— А этотъ сотню тысячъ получитъ въ годъ, а проживетъ двѣ—на псовую охоту.

Про чиновниковъ, дѣльцовъ, катаясь со мной по городу, сообщалъ много подробностей. Укажетъ бывало то на тотъ, то на другой домъ:—Вотъ это домъ совѣтника или предсѣдателя такого-то, — и разскажетъ при этомъ: — Онъ пріѣхалъ сюда, на мундиръ денегъ занялъ у меня, а теперь у него деревенька съ тремя стами душъ, да домикъ этотъ выстроилъ, женѣ изъ Москвы наряды выписываетъ, ведетъ большую игру.

— Откуда же все это: богатую невѣсту, что ли, взялъ?—спросишь.

— Нѣтъ, бѣдную дворяночку взялъ, сироту. Какъ откуда? Лѣтъ десять секретаремъ въ консисторіи пробылъ, тамъ нажилъ, потомъ губернаторъ Тмакинъ переманилъ его къ себѣ въ секретари, дѣльный былъ, а потомъ съѣздилъ въ Петербургъ, подмазалъ гдѣ слѣдуетъ и воротился предсѣдателемъ. Хапунъ, пострѣлъ!—заключалъ онъ.

Обо всѣхъ отставныхъ и служащихъ онъ развивалъ передо мной такую же хронику. Отзывы эти проникнуты были брезгливостью. Честный морякъ, не знавшій даже доходовъ съ своего имѣнія, очевидно презиралъ этотъ способъ наживы. Отъ этого онъ бросилъ свою гражданскую губернскую службу.—„Нашему брату, дворянину, грязно съ ними уживаться“,—отзывался онъ.

Впрочемъ, весь городъ, т. е. все губернское общество, не только мирилось съ системой чиновничьихъ доходовъ, но даже покровительствовало ей. Плохенькаго, не умѣвшаго наживать этимъ способомъ или занимавшаго недоходное мѣсто—не носили на рукахъ.

Правительство, конечно, знало, что казеннаго жалованья не хватаетъ на прожитокъ, потому и не совало

носа въ омутъ непривилегированныхъ поборовъ—сталобыть, терпѣло ихъ; пофранцузски есть вѣрное слово: tolérait.

Такіе поборы и не назывались взятками. Этимъ словомъ клеймили обыкновенно вымогательство, прижимательство, голую продажу правосудія въ уѣздномъ судѣ, въ палатѣ, въ процессахъ по имущественнымъ дѣламъ. Такіе судьи-лихоимцы были у всѣхъ на виду и на счету, и уваженіемъ не пользовались. Если въ обществѣ водились съ ними, то это только по личнымъ разсчетамъ.

— Хапунъ, пострѣлъ!—говорилъ Якубовъ при встрѣчѣ съ такимъ судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтобъ не отвѣчать на поклонъ.

Какіе же, спрашивается, доходы затѣмъ могли получать служащіе? Я недоумѣвалъ, но, перезнакомившись съ служебнымъ персоналомъ, я мало-по-малу проникъ взглядомъ въ губернскую бездну. Напримѣръ, я узналъ, что всякій священникъ или благочинный, обязательно представляя въ годъ двѣ книги въ консисторію, одну метрическую, другую не помню какую, прилагалъ, смотря по приходу, извѣстную сумму для секретаря: кто сто, кто двѣсти или и болѣе рублей. Можно сообразить, по числу приходовъ въ епархіи, какая почтенная сумма составлялась изъ такихъ приношеній. А если къ этому прибавить бракоразводныя дѣла—то какъ было не нажить секретарю дома и деревни!

Точно также и въ губернской службѣ: городничіе, исправники представляли свои годичныя вѣдомости, отчеты и прочее, тоже „со вложеніемъ“ извѣстной суммы, иногда крупной, если въ этихъ отчетахъ и вѣдомостяхъ, т. е. въ городахъ и уѣздахъ, не все обстояло благополучно.

Давали не то что случайно, для покрытія какихъ-нибудь темныхъ дѣлъ, а такъ просто, по обычаю. И какъ не дать: пожалуй, иной правитель дѣлъ, или лицо по особымъ порученіямъ, при случаѣ и напакоститъ, а получивъ подарочекъ — посовѣстится, и еслибы случился грѣшокъ, то замнетъ, промолчитъ.

Прошу замѣтить, что я говорю про давнопрошедшее время: теперь, вѣроятно, священники посылаютъ въ консисторію только однѣ книги, а городничіе и исправники—одни чистые отчеты, безъ „вложенія“ для секретарей.

Я помню юмористическій разсказъ губернаторскаго чиновника по особымъ порученіямъ, Янова, человѣка образованнаго, собесѣдника веселаго, неистощимаго на анекдоты и разсказы. Предмѣстникъ Углицкаго употреблялъ его по письменной части, такъ какъ онъ писалъ скоро, живо и хорошо, но долженъ былъ удалить его отъ писанія. Онъ въ дѣловыя бумаги подпускалъ остроты и юморъ. Губернаторъ ему однажды замѣтилъ, что въ дѣловыхъ письмахъ къ важнымъ лицамъ надо писать имена ихъ полностію, напримѣръ: не Егоръ Петровичъ, а Георгій, не Еѳимъ, а Евѳимій Ивановичъ, не Сергѣй, а Сергій и т. д., а къ неважнымъ лицамъ можно-де писать просто. Яновъ принялъ это къ свѣдѣнію и пошелъ писать: къ какому-нибудь министру въ Петербургъ—„Ѳедорей Павловичъ“, „Михалій Ивановичъ“, а къ простымъ, напротивъ, вмѣсто Аѳанасій Степановичъ, писалъ „Аѳанасъ Степановичъ“, и т. п. Нѣсколько такихъ бумагъ успѣли проскочить въ Петербургъ и возбудили тамъ вниманіе. Потомъ въ одной дѣловой бумагѣ, говоря о какомъ-то умершемъ чиновникѣ, написалъ, что „покойный былъ безпокойнаго нрава“. За эти остроты отъ писанія бумагъ его устранили.

Обращаюсь къ его разсказу. Это говорилось въ губернаторской канцеляріи, при другихъ, между прочимъ при правителѣ канцеляріи. Губернаторъ задумалъ объѣзжать, по положенію, губернію и послалъ Янова впередъ, въ тѣ мѣста, гдѣ онъ хотѣлъ самъ побывать и осмотрѣть. Это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы по уѣздамъ привели все въ порядокъ, исправили неисправности, словомъ—чтобъ проснулись, гдѣ власти спятъ, и принялись за дѣло. Заставать врасплохъ и потомъ карать за неисправности, или ждать исправленія—казалось хуже. По отъѣздѣ губернатора опять спустили бы рукава—и спускали. Губернскія власти знали это очень хорошо по опыту.

— Вотъ я поѣхалъ,—разсказывалъ Яновъ:—пріѣхалъ въ К., остановился у городничаго; квартира уже была готова. Онъ угостилъ отличнымъ завтракомъ, потомъ сталъ показывать толстыя дѣла, какія-то книги и бумаги.—„Потрудитесь провѣрить приходъ и расходъ суммъ“, говоритъ. Я, наморщивъ лобъ, пристально заглянулъ въ нихъ, не прочиталъ ни строчки, притворился, что провѣрилъ итоги. „Вѣрно“, говорю: „прощайте“. „Вотъ еще полиція, пожарная команда,—говоритъ:—не угодно ли взглянуть?“ А я ужъ влѣзъ въ тарантасъ. „Ахъ, чортъ бы тебя взялъ, мучитель!“ думаю. „Превосходно“, говорю: такъ и блеститъ! А пожарные, какіе молодцы!“ — добавилъ я, глядя на мизерныхъ, маленькихъ четырехъ солдатиковъ, въ изношенныхъ мундирахъ. — „Мундиры съ иголочки“, — подсмѣивался я. Я сталъ надѣвать перчатки: только одинъ палецъ не лѣзетъ — что̀ такое? Я опрокинулъ перчатку: изъ пальца ко мнѣ на колѣни посыпались золотые, штукъ двадцать. Я проворно подобралъ, спряталъ ихъ въ карманъ. „Прощайте,—говорю, приподнявъ фуражку:—у васъ все въ от-

личномъ порядкѣ, вы примѣрный чиновникъ: — такъ и губернатору доложу. Трогай!“ Пріѣхалъ въ С. Та же исторія: ночлегъ у городничаго, отличный ужинъ съ шампанскимъ — и гдѣ только они его тамъ берутъ въ захолустьѣ? На другой день такой же смотръ и отъѣздъ. Прощаюсь, надѣваю перчатку: опять палецъ не лѣзетъ и перчатка тяжела. Мнѣ это понравилось. Дальше я ужъ самъ сталъ смотрѣть—тяжела ли перчатка и лѣзутъ ли пальцы?

— Вы, можетъ быть, думаете, что онъ шутитъ? — сказалъ мнѣ секретарь, смѣясь:—вовсе нѣтъ: это точь-въ-точь было!

— Какія шутки!—почти обидчиво замѣтилъ разсказчикъ:—Воротясь, послѣ ревизіи, я за обѣдомъ у губернатора разсказалъ и распотѣшилъ всѣхъ.

— И губернаторъ слышалъ?

— Какъ-же: онъ больше всѣхъ тѣшился!—заключилъ разсказчикъ.

— За что́ же вамъ давали?

— Какъ же: за то, что не смотрѣлъ и не видалъ ничего.

— И у васъ не было того, что называется... — началъ я и остановился, пріискивая слово.

— Scrupule, вѣрно хотите вы сказать? — договорилъ Яновъ: — было, какъ не быть! Я даже думалъ, не отдать ли назадъ, да... передумалъ. Вѣдь это не взятка— фи, какъ можно! Я не способенъ, ни прижать, ни пожаловаться, и еслибъ нашелъ неисправность, самъ замѣтилъ бы и посовѣтовалъ исправить. А тутъ просто суютъ въ руки лишнія деньги, да еще нажитыя, очевидно, неправедно. Какъ же ихъ не отобрать и не спрятать въ карманъ, тѣмъ болѣе, что перчатки разорвались, не выдержали бы...

И разсказчикъ, и всѣ слушатели смѣялись.

Зимой, я помню, одна барыня, небогатая помѣщица, сѣтовала, разсказывая своей пріятельницѣ при мнѣ и еще при одномъ родственникѣ, старикѣ, по секрету, о своемъ недоумѣніи, за кого выдать дочь, хорошенькую дѣвушку, съ которой мнѣ приходилось иногда танцовать на вечерахъ.

— Двое приглядываются къ моей Катѣ, — говорила она:—и Ягорскій, и Мальхинъ: того и гляди сдѣлаютъ предложеніе, а я не знаю, какъ быть, за котораго отдать? Ягорскій — женихъ бы хоть куда! И Катѣ нравится, изъ себя видный, славно танцуетъ, по-французски говоритъ, такъ и сыплетъ...

— Такъ, вотъ, за него бы и отдать, если онъ нравится барышнѣ,—вставилъ я.

— Вотъ молодые люди: у нихъ все романы въ головѣ! У меня еще дома двѣ на рукахъ: многаго я дать не могу, чѣмъ же станутъ молодые жить? Вотъ у Мальхина, такъ у того полтораста душъ, доходу отъ должности, говорятъ, тысячъ пять получаетъ...

— Помилуйте, онъ плѣшивый, толстый, да еще взятки беретъ!—брезгливо перебилъ я.

— Ну, нѣтъ: онъ свѣжій, бодрый, что называется— „въ соку". Брюшко точно—есть, но онъ еще танцуетъ на балахъ.—Заступился за него старичокъ. — А какія это взятки! Не взятки, милостивый государь, а доходы получаетъ по мѣсту совѣтника казенной палаты! — строго прибавилъ онъ.

— Ну, это все равно.—Сказалъ я.

— Какъ все равно!—горячился старикъ:—не все равно! Вотъ будете служить, тоже сами будете получать доходъ: безъ дохода нельзя...

— Не буду! — сердито отрѣзалъ я.

— Молодо, зелено! — сказала мать Кати.

Такъ казна, пассивно допуская нештатные „сборы", негласно дѣлилась съ служащими своими доходами, и тѣмъ дополняла нехватавшее на прожитокъ скудное жалованье.

VII.

Губернаторъ, Левъ Михайловичъ Углицкій, былъ стариннаго дворянскаго рода, учился, кажется, въ пажескомъ корпусѣ, или дома, а вѣрнѣе, должно быть, нигдѣ не учился. Онъ бѣгло говорилъ по-французски, а русской рѣчью владѣлъ мастерски, безъ книжнаго краснорѣчія. Она свободно лилась у него, умно, блестяще, съ искрами юмора, съ неожиданными ловкими оборотами, остроумными сравненіями, антитезами. Я, да и другіе тоже, заслушивались его разсказовъ: онъ былъ виртуозъ-разсказчикъ. Онъ отлично пользовался—не пріобрѣтенными систематическимъ путемъ, а всячески нахватанными знаніями почти во всемъ и обо всемъ. А нахваталъ онъ знанія не изъ книгъ, не въ школѣ, а съ живыхъ людей, на ходу, въ толпѣ безчисленныхъ знакомыхъ во всѣхъ слояхъ общества. У него, въ памяти, какъ у швеи въ рабочемъ ящикѣ, были лоскутки всякихъ знаній, и онъ быстро и искусно выбиралъ оттуда нужный въ данную минуту клочокъ. Чтó западало ему въ память, то и оставалось тамъ навсегда и служило ему вѣрно. У него развился взглядъ и вкусъ и въ литературѣ, и въ искусствахъ, особенно въ живописи. Онъ былъ не только любитель, но и знатокъ хорошихъ картинъ. Апломбъ въ разговорѣ, что называется, у него былъ удивительный: онъ отважно врѣзывался въ разговоръ, какъ рубака въ непріятельскій строй, и отлично уклонялся, когда натыкался на неодолимую преграду.

Особенно мастерски владѣлъ онъ софизмомъ, какъ отличный дуэлистъ шпагой, и спорить съ нимъ, поставить его въ границы строгой логики, было мудрено: онъ не давался.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ такъ и просились подъ перо. Еслибъ я могъ предвидѣть, что когда-нибудь буду писать для печати, я внесъ бы нѣкоторые разсказы въ памятную книжку. Иные еще и теперь сохранились у меня въ памяти. Особенно интересны у него выходили характеристики нѣкоторыхъ извѣстныхъ, громкихъ личностей, съ которыми онъ былъ въ сношеніяхъ личныхъ или служебныхъ. Онъ долго служилъ адъютантомъ у разныхъ начальниковъ и сохранилъ въ памяти живую характеристику о нихъ. У него была масса воспоминаній, скопившихся за тридцать слишкомъ лѣтъ, съ начала нынѣшняго столѣтія. Онъ такъ же, какъ Онѣгинъ, помнилъ и всѣ анекдоты „отъ Ромула до нашихъ дней". У него въ натурѣ была артистическая жилка — и онъ, какъ художникъ, всегда иллюстрировалъ портреты разныхъ героевъ, напримѣръ выдающихся дѣятелей въ политикѣ, при дворѣ, или героевъ отечественной войны, въ которой, юношей, уже участвовалъ, ходилъ брать Парижъ, или просто извѣстныхъ въ обществѣ людей. Но вотъ бѣда: иллюстраціи эти — какъ лицъ, такъ и событій—отличались иногда такою тонкостью, изяществомъ деталей и такою виртуозностью, что и лица, и событія казались подъ-часъ цѣликомъ сочиненными. Иногда я замѣчалъ, при повтореніи нѣкоторыхъ разсказовъ, перемѣны, вставки. Оттого полагаться на фактическую вѣрность ихъ надо было съ большой оглядкой. Онъ плелъ ихъ какъ кружево. Всѣ слушали его съ наслажденіемъ, а я, кромѣ того, и съ недовѣріемъ. Я проникалъ въ игру его воображенія, чуялъ, гдѣ онъ говоритъ правду, гдѣ

украшаетъ, и любовался не содержаніемъ, а художественной формой его разсказовъ. Онъ, кажется, это угадывалъ, и самъ гнался не столько за тѣмъ, чтобы поселить въ слушателѣ довѣріе къ подлинности событія, а чтобъ произвести извѣстный эффектъ—и всегда производилъ.

Между тѣмъ, все-таки онъ былъ безграмотный, или, по меньшей мѣрѣ, полуграмотный. Ни по-русски, ни по-французски онъ не напишетъ двухъ-трехъ строкъ грамматически правильно. Орѳографія и синтаксисъ отсутствовали. Для переписки, даже для писанія простыхъ интимныхъ писемъ, ему нуженъ былъ секретарь или секретари. Какъ это могло случиться—не знаю и до сихъ поръ. Я долго, особенно послѣ въ Петербургѣ, служилъ ему добровольнымъ секретаремъ.

Губернаторскій домъ былъ убранъ со вкусомъ и поставленъ Углицкимъ на широкую, щегольскую ногу. Особенно коллекція картинъ въ его кабинетѣ была замѣчательна. Кромѣ того, вдобавокъ къ казенной мебели, онъ выписалъ еще много ненужныхъ вещей, всегда съ печатью вкуса, изъ Петербурга и Москвы, завелъ щегольской экипажъ, красивыхъ лошадей, выписалъ тонкаго повара. Каммердинеръ у него былъ что-то въ родѣ какого-нибудь французскаго Ляфлёра, Пикара или Лебеля, гладкій, красивый, откормленный, одѣтъ щегольски, почти какъ его господинъ, съ напускной важностью, почтительный съ его превосходительствомъ и наглый съ просителями, плутъ и взяточникъ. Словомъ, все—на широкую, барскую ногу, и не по провинціальному, а по петербургскому масштабу.

„Стало-быть, у него много было денегъ?“ слѣдуетъ за этимъ вопросъ.—Ничего у него не было, кромѣ жалованья и... долговъ! Жалованья полагалось губернатору

шесть тысячъ рублей (ассигнаціями), казенный домъ, отопленіе, освѣщеніе—и только. Послѣ, кажется, впрочемъ, удвоили окладъ, но не помню, было ли то при Углицкомъ, или послѣ него. Какъ же жить, да еще на такую широкую ногу, щегольски?

Подумаютъ, можетъ быть, что онъ тоже имѣлъ „доходы“ по должности. Нѣтъ, никогда. Онъ былъ очень опрятенъ, держалъ себя безукоризненно, джентльменомъ. Все, что доставлялось на губернаторскій домъ изъ лавокъ, оплачивалось немедленно. Такъ было во все время его губернаторства, и при отъѣздѣ его оттуда, за нимъ, ни у одного купца, ни въ какой лавкѣ, не осталось ни гроша долга.

Онъ щеголялъ этимъ, какъ щеголялъ изящнымъ костюмомъ отъ петербургскаго портного, покроемъ и бѣлизной бѣлья, чистыми, прозрачными ногтями. Ничѣмъ этимъ, какъ и мелкими долгами, онъ не грѣшилъ. — Это „mauvais genre“, — говорилъ онъ. — „Послѣ того, остается мнѣ пойти съ этими торгашами въ харчевню чай пить, или въ Петербургѣ гулять по Невскому проспекту въ фуражкѣ, а въ театрѣ въ первый рядъ залѣзть въ зеленыхъ замшевыхъ перчаткахъ и т. п. Фи! On risque se déclasser!“

Крупныхъ „доходовъ“ по службѣ онъ гнушался не менѣе — въ родѣ, напримѣръ, положенныхъ, будто бы, ежегодныхъ субсидій отъ откупщика губернаторамъ и другимъ властямъ покрупнѣе, по нѣскольку тысячъ. Углицкій сказывалъ мнѣ потомъ объ этихъ попыткахъ приношенія со стороны откупщика.

— Какъ же вы это приняли?—спросилъ я.

— Allez vous promener! — сказалъ я ему на его намеки. „Но вѣдь это вездѣ дѣлается: это обычай!“—настаивалъ откупщикъ, и отошелъ съ носомъ.

Это, конечно, была правда. Еслибъ Углицкій поползнулся на такой доходъ, онъ мнѣ бы объ этомъ не заикнулся.

Но... но... вотъ онъ что̀ прибавилъ и поставилъ меня въ тупикъ.

— Кто беретъ эти приношенія, — сказалъ онъ:—тѣ обязаны потомъ дѣлать по откупамъ разныя потворства. Прошлой весной онъ подъѣхалъ-было ко мнѣ съ просьбой: выпусти, да выпусти я хлѣбъ къ сплыву по Волгѣ...

(Какой это хлѣбъ и почему его нельзя было отпустить, я теперь совершенно забылъ.)

— Что̀ же вы?—спросилъ я:—конечно, не разрѣшили?

— Разумѣется, нѣтъ. Сталъ приставать: мы съ нимъ пріятели—хлѣбъ-соль водимъ; c'est un bon enfant aprés tout. Мнѣ не хотѣлось отдѣлаться сухимъ отказомъ: „вотъ,—сказалъ я,—я на той недѣлѣ ѣду въ С. уѣздъ—вы вѣдайтесь, какъ хотите, съ вице-губернаторомъ: онъ безъ меня будетъ управлять губерніей“.

— Что же онъ?

— Ничего не сказалъ, почесалъ только за ухомъ. Я уѣхалъ. Переправляюсь въ С. уѣздѣ черезъ Волгу, вижу: плывутъ росшивы. Спрашиваю, съ чѣмъ это? отъ кого? „Съ хлѣбомъ,—говорятъ:—откупщикъ внизъ спускаетъ...“

Губернаторъ заключилъ еще свой разсказъ смѣхомъ. Не знаю, замѣтилъ ли онъ, какой крупный и неопрятный софизмъ вставилъ онъ въ свою службу. Мой барометръ его нравственности сталъ колебаться.

Потомъ онъ на вечерахъ игралъ въ карты, если не съ азартомъ, то съ значительнымъ увлеченіемъ, между прочимъ и съ откупщикомъ. Злоязычный Яновъ разсказывалъ, что „откупщику не везетъ въ игрѣ... съ Львомъ

Михайловичемъ", — добавилъ онъ съ комическимъ вздохомъ.

— Зачѣмъ же онъ не броситъ, если проигрываетъ?— спросилъ я.

Яновъ засмѣялся и похлопалъ меня по колѣнкѣ.

VIII.

Но все-таки Углицкій былъ въ долгу какъ въ шелку. У него были не мелкіе, а довольно крупные и притомъ стереотипные долги. Общую сумму своихъ долговъ онъ опредѣлялъ въ тридцать-семь тысячъ, т.-е. стереотипныхъ долговъ. Сумма же подвижныхъ, мелкихъ долговъ мѣнялась, то повышалась, то понижалась: послѣднее случалось, когда заимодавецъ попадалъ въ „денежную минуту", узнавалъ, что Углицкій получилъ кушъ. Онъ уплачивалъ, если не все, то хоть часть. Если же долгъ затягивался, то, послѣ извѣстнаго срока, причислялся къ стереотипнымъ. Правда, онъ возлагалъ упованіе на наслѣдство послѣ какой-то богатой бездѣтной тетки въ Петербургѣ,—но это наслѣдство было проблематическое, въ родѣ ожиданія пріѣзда богатаго дяди изъ Америки.

И такъ, онъ жилъ прежде всего долгами, какъ отецъ Онѣгина, по словамъ Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколѣніе пробавлялось этимъ способомъ: только „лѣнивый", по пословицѣ, не дѣлалъ долговъ. Когда, бывало, упрекнутъ кого-нибудь долгами, у виноватаго всегда былъ готовъ стереотипный отвѣтъ: „у кого ихъ нѣтъ?"

У Углицкаго дѣланіе долговъ было приведено въ систему, которую онъ прилагалъ къ дѣлу такъ же виртуозно, какъ юморъ и остроуміе къ разсказамъ. Система, очевидно, принадлежала воспитанію и нравамъ его

времени. Долги дѣлались и не платились какъ-то помимо всякихъ вопросовъ о нравственности, какъ хожденіе въ церковь и усердное исполненіе религіозныхъ обрядовъ у многихъ молящихся часто не вяжется съ жизнью. Напримѣръ, украсть у ближняго изъ кармана, изъ стола, тайно присвоить—никто и никогда изъ этихъ „джентльменовъ“ не рѣшался, скорѣй застрѣлится; а занять съ обѣщаніемъ отдать „при первой возможности“, „при удобномъ случаѣ“, и забыть—это ничего, можно!

Какъ могли эти господа жить и спать, что называется, на оба уха, беззаботно, не заглядывая изъ сегодня въ завтра—непостижимо для человѣка въ здравомъ умѣ и твердой памяти! А они жили и жили уютно, комфортабельно, изящно — и считали себя не шутя, джентльменами. Напримѣръ, Углицкій разсказывалъ мнѣ уже послѣ, когда мы пріѣхали въ Петербургъ (я забѣгаю впередъ), какъ онъ однажды за границей очутился „entre de mauvais draps“ и какъ выпутался. Послѣ отставки онъ поселился въ Парижѣ, конечно, съ подругой. Пенелопа его, Марья Андреевна, оставалась въ Петербургѣ, на маленькой квартиркѣ, „на антоніевой пищѣ“; дочь была помѣщена въ первокласный пансіонъ оканчивать воспитаніе, конечно, на чужой счетъ—тетки или другой благотворительницы—не помню. Въ Парижѣ онъ взялъ квартиру, завелъ мебель, разумѣется, изящную—все это на счетъ своей побочной, увлеченной имъ супруги. Жила эта чета не стѣсняясь, пользуясь всѣми парижскими благами и, наконецъ, черезъ годъ—прожились. Онъ сбылъ мебель и всѣ вещи за безцѣнокъ и уѣхалъ на Рейнъ, потомъ во Франкфуртъ—и въ одинъ день... „Figurez-vous,—говорилъ онъ:—у меня осталось всего 25 талеровъ“. Я вчужѣ ужаснулся, слушая его. „Что же вы сдѣлали?“ спрашиваю я. „Я ходилъ по

франкфуртскимъ бульварамъ и все думалъ, какъ извернуться... Тамъ есть павильонъ въ одномъ саду, съ статуей Аріадны „на тигрѣ", открытый для публики. Я отъ нечего-дѣлать зашелъ туда. Смотрю на эту Аріадну и думаю... думаю: „вѣдь этотъ садъ богатаго банкира... Пойду къ нему!"—и пошелъ.—Дома, принимаетъ. Какъ о васъ доложить?—„Gentilhomme russe". Банкиръ принялъ меня съ утонченной вѣжливостью, спросилъ, „чему онъ обязанъ честію", и т. д. Я ему очень слегка, небрежно, шутя, очертилъ свое критическое положеніе. „Figurez-vous, говорю: у меня 25 талеровъ въ карманѣ, а мнѣ до дома больше 300 миль... и мнѣ необходимо... „Сколько вамъ нужно?—спросилъ онъ, выслушавъ,—чтобъ доѣхать?"—„Тысячи двѣ франковъ, я полагаю, довольно"... Представьте, онъ подошелъ къ столу, отрѣзалъ чекъ на эту сумму и велѣлъ человѣку проводить меня въ кассу... „Но вѣдь ему надо было скоро заплатить: у васъ было что-нибудь въ виду?"—„Ни гроша въ виду"·—„Какъ же вы думали сдѣлать?"—„Никакъ не думалъ". Я смотрѣлъ на него въ страхѣ за него, а онъ отвѣчалъ мнѣ веселымъ взглядомъ. „Il y a une providence pour les malheureux...—продолжалъ онъ:—Figurez-vous: по Рейну въ это время ѣхалъ нашъ Дворъ; я бросился въ Эмсъ—нашелъ между придворными друзей, сослуживцевъ, и представилъ имъ свое положеніе живо, въ яркихъ краскахъ, даже прослезился. Обо мнѣ доложили... Тамъ вспомнили, что я когда-то танцовалъ на придворныхъ балахъ... и мнѣ выдали двѣ тысячи пятьсотъ франковъ. Я сейчасъ отвезъ деньги къ банкиру и поспѣшилъ въ Россію".

Здѣсь кстати приведу еще два разсказа самого Углицкаго и его пріятеля, отставного полковника Сланцова, другъ о другѣ. Сланцовъ былъ однополчанинъ Углицка-

го, жилъ съ нимъ вмѣстѣ, что называется, душа въ душу. То же воспитаніе, нравы, прекрасный тонъ, манеры, щегольство, та же бойкость французской и русской рѣчи на словахъ и таже малограмотность на письмѣ. Кажется, все ихъ поколѣніе какъ-то свысока смотрѣло на грамотность. Письменныя занятія презрительно назывались нѣкоторыми тогдашними военными: „купаться въ чернилахъ".

У Сланцова было порядочное имѣніе за Волгой, гдѣ онъ проводилъ лѣтніе мѣсяцы, а въ городѣ былъ гостемъ Углицкаго. Когда они были вмѣстѣ, для гостей просто былъ праздникъ слушать ихъ. Однажды, послѣ обѣда, мы сидѣли у камина въ кабинетѣ Углицкаго втроемъ, т.-е. они двое и я.

Они пустились въ откровенныя воспоминанія, удили изъ прошлаго другъ у друга ѣдкіе случаи и перекидывались ими, какъ шалуны, хлѣбными шариками за обѣдомъ между собой.

— Послушайте, что онъ со мной сдѣлалъ однажды!— разсказалъ, между прочимъ, Углицкій про Сланцова:

— Это было въ Германіи; мы (съ войскомъ) подвигались къ французской границѣ. Нашъ полкъ былъ въ... (я забылъ теперь, какое мѣстечко онъ назвалъ). Я былъ полковымъ адьютантомъ. Командиръ послалъ меня верстъ за сорокъ, къ дивизіонному генералу, съ бумагами и порученіями. Я взялъ троихъ людей изъ полка и отправился верхомъ. Денегъ у насъ—ни у него (онъ указалъ на Сланцова), ни у меня не было ни алтына, nous étions à sec, ждали все изъ дома. А изъ дома получали только слезныя письма: „послѣ французовъ все разорено, не поправились, дохода нѣтъ, чтобъ потерпѣли, пробавлялись казеннымъ" и т. п. канитель! Жили мы на одной квартирѣ, у старой нѣмки, обѣдали у ко-

мандира, да у офицеровъ, у кого были деньги. Между тѣмъ у насъ въ полку велась крупная игра. Былъ одинъ капитанъ Шлепковъ—такъ отшлепывалъ въ банкъ, что иногда всѣ деньги изъ полка соберутся у него,—и потомъ у него же занимаются. Усталый, злой, голодный, я воротился дня черезъ три домой. „Гдѣ Андрей Иванычъ?“ — спрашиваю у деньщика. „Къ Шлепкову, говоритъ, пошли, и всѣ господа тамъ“. Я сталъ раздѣваться, вдругъ вижу письмо за зеркаломъ: отъ матери. Я обрадовался до слезъ, сталъ читать, пропустилъ разныя домашнія подробности, съ поклонами отъ тетокъ, дядей, кузинъ, и добрался до живого мѣста: „посылаю тебѣ, милый Левушка, сто золотыхъ“. Я чуть не прыгнулъ до потолка. Дальше мелькомъ пробѣжалъ строки: разорены отъ французовъ... береги деньги... долго не пришлю... эти заняла“... и т. д. Я спряталъ письмо и сталъ искать денегъ на столѣ въ столѣ—нѣту. „Кто принесъ письмо?“ спрашиваю деньщика. „Андрей Ивановичъ, говоритъ, положилъ его за зеркало“. „Вѣрно, деньги спряталъ къ себѣ въ ящикъ: умникъ!“ подумалъ я—и, какъ блаженный, поужиналъ и легъ спать. У меня такъ и звенѣли въ ушахъ все золотые. Я мечталъ, какъ я разгуляюсь на завтра и... конечно, поиграю, обыграю Шлепкова. Утромъ рано кричу съ постели. „Андрей! Андрюша!“ Храпитъ. Черезъ полчаса опять зову. „Мм“... мычитъ. Потомъ, слышу, возится, встаетъ. „Гдѣ деньги спряталъ?—спрашиваю:—въ ящикѣ, что ли?“ Кряхтитъ. „Говори же!“ — „Погоди... сапогъ не лѣзетъ“. Опять кряхтитъ. „Давай же деньги?“ говорю. „Какія деньги?“—„Какъ, какія деньги? вѣдь ты вѣрно съ письмомъ и деньги изъ канцеляріи принесъ?“—„Ахъ, эти-то! Да, принесъ... Эхъ, другой сапогъ не лѣзетъ!“...—„Гдѣ же деньги? Не томи, говори и давай... въ столѣ, что

ли, у тебя?"...—„Нѣтъ, онѣ... у Шлепкова", говоритъ. Я ужаснулся. „Какъ такъ?"... „Отшлепалъ, братъ Лёвушка; такъ отшлепалъ... ахъ, проклятые сапоги!"...— „Ужели ты все спустилъ, безсовѣстный?" спрашиваю. А онъ въ отвѣтъ мнѣ только печально головой кивнулъ...

— Что-жъ ты не прибавилъ вздоха моего?—перебилъ Сланцовъ.—Я такъ вздохнулъ, что деньщикъ пришелъ, думалъ—зову его! „Ужели ты мнѣ хоть пяти золотыхъ не оставилъ?" горько упрекнулъ онъ меня, какъ теперь помню...

— И это все правда?—спросилъ я.

— Да, это... правда, — сознался Сланцовъ: — Que voulez—vous! Nous étions en guere, et à la guere comme à la guerre?

— Но погоди же: ты дискредитировалъ меня передъ молодымъ человѣкомъ—онъ подумаетъ, что я нахалъ, а ты великодушный другъ! Я тоже могу припомнить кое-что: какъ ты мнѣ отплатилъ. Figurez-vous,—обратился онъ ко мнѣ и продолжалъ по-французски, но потомъ перешелъ на русскую рѣчь.—Мы воротились въ Петербургъ, я вышелъ въ отставку, а онъ (указывая на Углицкаго) остался въ полку; жили мы вмѣстѣ. Я нанялъ квартиру, отдѣлалъ ее щегольски, накупилъ мебели, лампъ, вазъ, зеркалъ, картинъ, разныхъ дорогихъ bibelots—cela m'a couté les yeux de la tête—словомъ, промотался —конечно, пока въ долгъ. Сдѣлалъ также полный гардеробъ. Понадобилось мнѣ, однако, съѣздить въ деревню добыть денегъ. Съ этой войной, да съ походами, я не имѣлъ понятія о своихъ дѣлахъ, не зналъ, что̀ у меня есть, что̀ въ имѣніи дѣлается. Я поѣхалъ на какой-нибудь мѣсяцъ—осмотрѣться, распорядиться. Пріѣхалъ—и нашелъ хаосъ: денегъ въ конторѣ пять рублей, староста въ бѣгахъ. Я попробовалъ похозяйничать—вышло хуже. Зато

священникъ встрѣтилъ меня съ крестомъ и святой водой, а приказчикъ поднесъ хлѣбъ-соль. Я подумалъ, подумалъ, перебывалъ у всѣхъ сосѣдей, звалъ и угощалъ у себя уѣздную челядь, засѣдателей, исправниковъ и прочихъ и, наконецъ, нашелъ сосѣда — домосѣда, практическаго хозяина и скрягу,—честнаго и аккуратнаго, который всю жизнь просидѣлъ между пшеницей и овсомъ, самъ сѣялъ, жалъ и мололъ и самъ возилъ свой хлѣбъ на пристань, на Волгу. Онъ за пять процентовъ съ дохода взялъ всѣ мои дѣла на свои плечи. И теперь всѣмъ завѣдуетъ, конечно, лучше меня. Все это задержало меня вмѣсто мѣсяца—цѣлыхъ четыре. Осенью я воротился въ Петербургъ. Пріѣзжаю вечеромъ: его (указывая на Углицкаго) не было дома. Было еще не поздно, и я хотѣлъ поѣхать вечеромъ куда-нибудь къ знакомымъ. Обрился и велѣлъ дать одѣться. „Что прикажете подавать?“ спрашиваетъ каммердинеръ. „Дай синій фракъ“.— „Синяго фрака нѣтъ“...—„Какъ нѣтъ: гдѣ же онъ? Я его не бралъ съ собою“. Вижу, что Петрушка конфузится и молчитъ. „Пропилъ“, думаю. „Куда-жъ ты его дѣвалъ?“ грозно спрашиваю. „Левъ Михайлычъ,—говоритъ,—взяли“...—„Онъ мундиръ носитъ: зачѣмъ ему?“— „Да... заложили!“ Я молчалъ: что̀ было сказать? „Дай другой: тамъ былъ зеленый“...—„И тотъ... тоже-съ“...— „Ну, дай сюртукъ, что̀ есть“...—„Ничего не оставили“, говоритъ. Я отворилъ шкафъ: пустой! Осматриваюсь кругомъ: все голо! Беру свѣчку; иду въ гостиную, въ залу: ни картинъ, ни вазъ, ни серебра... „И это все заложилъ!!“ въ ужасѣ почти закричалъ я. „Точно такъ-съ“. Только портретъ моей покойной жены сиротливо висѣлъ на стѣнѣ подъ флёромъ! Я въ отчаяніи пожалъ плечами. Вотъ онъ каковъ! Теперь и судите, имѣлъ ли я право проиграть его золотые!—заключилъ Сланцовъ.

— Мнѣ слѣдуетъ спросить, имѣлъ ли я право заложить твои вещи?—добавилъ Углицкій.—Figurez-vous,—обратился онъ, въ свою очередь, ко мнѣ:—онъ (указывая на Сланцова) обѣщалъ выслать мнѣ изъ деревни — если не всѣ, такъ хоть половину проигранныхъ имъ моихъ ста золотыхъ—и въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ не только не прислалъ ни гроша, даже ни строчки не написалъ! Что̀ мнѣ было дѣлать! Мнѣ на обѣдъ не хватало: что̀, не правда?—обратился онъ къ Сланцову.—Я, закладывая твое добро, выручалъ только свои золотые: да! Я хоть портретъ твоей жены оставилъ тебѣ, а ты мнѣ ни одного золотого... за границей не приберегъ. Представьте—ни одного!...

— Ну, Левушка, этого недоставало, чтобъ ты еще этотъ портретъ заложилъ! сознайся—ты былъ бы, что называется, franche canaille!—возразилъ Сланцовъ.

— Что̀ вы скажете, молодой человѣкъ, слушая насъ?—спросилъ Углицкій:—Изверги?

— Нѣтъ, я ничего не скажу, а послѣ насъ современемъ будутъ пѣть: „Вотъ послушайте, ребята, какъ живали въ старину!“—замѣтилъ я, смѣясь.—Но, извините, мнѣ кажется, вы оба въ этихъ разсказахъ усиливаете колорить. Потомъ, меня не столько удивляетъ смѣлость этихъ вашихъ проказъ другъ надъ другомъ, сколько трогаетъ кротость, съ какою вы оба принимали это. „Ужели ты мнѣ пяти золотыхъ не оставилъ!“ мягко упрекнули вы за растрату денегъ въ критическую минуту—и только! А вы „лишь пожали плечами“, найдя пустую квартиру. „О, дружба, это ты!“ невольно скажешь!

— О, нѣтъ, мы дня три ненавидѣли другъ друга послѣ того, дулись, не говорили между собой, а потомъ сейчасъ же помирились, какъ только кто-то первый...

не помню, ты или я (Сланцовъ обратился къ Углицкому)—денегъ достали, конечно, въ долгъ... и замазали брешь. А съ нимъ мы не считались: *твое* и *мое* у насъ, какъ у допотопныхъ людей, не существовало! — заключилъ Сланцовъ.

Меня, новаго, свѣжаго молодого человѣка, удивляло и занимало все въ этихъ людяхъ. И это систематическое, искусное проживательство на чужой счетъ, и безцѣльная канитель жизни, безъ идей, безъ убѣжденій, безъ опредѣленной формы, безъ серьезныхъ стремленій и увлеченій, безъ справокъ въ прошломъ, безъ заглядыванія въ будущее. Если и было дѣло, оно тянулось вяло, сонно, какъ-нибудь.

Сколько пропадало, уходило ни на что̀ силъ и дарованій въ этомъ, тогда старомъ поколѣніи людей! Вотъ хоть бы эти два представителя своего времени, Углицкій и Сланцовъ, и сколько другихъ,—подобныхъ имъ,—были умные, живые, даровитые. Это видно было изъ каждаго слова, шага. Оба прошли строгую военную школу, сражались, дѣлали, что̀ имъ приказывали, и ни одинъ не вложилъ въ дѣло часть самого себя, что-нибудь свое. Изъ войны, походовъ, сраженій, они оба вынесли впечатлѣнія личной отваги, блеска, щегольства, разныхъ веселыхъ авантюръ за границей, изображали все это въ остроумныхъ, пикантныхъ разсказахъ. Серьезная, строгая сторона той великой эпохи отъ нихъ ускользнула. Они ея будто не видали, жили какъ-то внѣ ея. Дома у себя—та же беззаботность и безсодержательность жизни. Сланцовъ не умѣлъ распорядиться своимъ имѣніемъ и сдалъ на руки другому. Углицкій въ дѣлахъ по своей должности былъ очень чутокъ, наблюдателенъ и зорокъ, и былъ бы исполнителенъ, еслибъ... Вотъ это „еслибъ“! У меня была бабушка, ко-

торая говаривала: „если не *бы*, да не *но*, были бы мы богаты давно!“ Былъ бы исполнителенъ и Углицкій, еслибъ... хотѣлъ.

А былъ способенъ. Бывало, пришлютъ ему массу протоколовъ изъ губернскаго правленія для подписанія. Онъ самъ слушалъ чтеніе ихъ въ правленіи разсѣянно, безпрестанно отвлекался, разсказывалъ членамъ новости, анекдоты, шутилъ. А въ кабинетѣ у себя, когда его домашній чиновникъ, проживавшій у него чѣмъ-то въ родѣ лягавой собаки, бѣгавшій съ разными поносками, и иногда postillon d'amour, станетъ читать подробно, онъ нетерпѣливо вырываетъ у него бумагу и подписываетъ... „Я еще не дочиталъ, о чемъ протоколъ!“ замѣтитъ чиновникъ. „Хочешь,—скажу о чемъ?“ отвѣтитъ губернаторъ и скажетъ. По одному намеку въ началѣ протокола онъ зналъ, о чемъ говорится дальше, нужды нѣтъ, что въ правленіи слушалъ чтеніе въ полъ-уха.

Толпу просителей приметъ живо, бойко, разберетъ и отпуститъ въ какіе-нибудь полчаса. Осмотритъ тюрьму, какой-нибудь гошпиталь—все это на ходу, мимоѣздомъ, до завтрака, а между завтракомъ и обѣдомъ дѣлаетъ или принимаетъ визиты. Словомъ, снаружи дѣло такъ и кипѣло у него и около него,—и все-таки ничего новаго, живого, интереснаго во всей административной машинѣ не было. У него была тьма способностей, но живъ, бодръ, зорокъ и очень подвиженъ былъ онъ самъ, а дѣло оставалось такимъ же, какъ онъ его засталъ.

За то, какъ онъ былъ представителенъ, présentable, по его выраженію! Какъ красиво губернаторствовалъ въ пріемахъ у себя на дому, въ гостиныхъ у губернской знати, на губернаторскихъ выходахъ въ праздники, или въ соборѣ у обѣдни! Всякій въ толпѣ, не зная его,

скажетъ, что это губернаторъ. Когда онъ гулялъ одинъ пѣшкомъ по городу, незнакомые встрѣчные снимали шляпу, узнавая въ немъ „особу". Онъ пуще всего дорожилъ представительностью, и другихъ цѣнилъ по тону, позѣ, манерамъ. Онъ представительность смѣшивалъ съ добродѣтелью и снисходилъ, ради нея, къ чужимъ порокамъ, а къ своимъ и подавно, чувствуя себя présentable au plus haut degré.—„Très présentable!" было у него высшей аттестаціей новаго лица.

Я сказалъ, что новаго, живаго въ свое дѣло онъ не вносилъ: виноватъ. Онъ задумалъ ввести кое-что новое— именно прекратить „нештатные" доходы или поборы, о которыхъ не могъ не знать подробно. Excusez du peu! Онъ уже не разъ проговаривался объ этомъ въ обществѣ и наводилъ на коренныхъ губернскихъ служакъ пугливое недоумѣніе. Тѣ стали оглядываться и шептать между собою.

Мало-по-малу замыселъ этотъ сталъ проявляться у него и на дѣлѣ, пока еще тѣмъ, что онъ двухъ - трехъ „оглашенныхъ", и частію уличенныхъ въ мелкихъ поборахъ подчиненныхъ призывалъ къ себѣ и пригрозилъ имъ судомъ. Всѣ встрепенулись.

Къ исполненію этого своего замысла онъ вздумалъ привлечь... меня!! Я у него, въ качествѣ знакомаго, до наступленія осенняго сезона, почти не бывалъ, заѣзжалъ только изрѣдка, по настоянію Якубова, къ губернаторскому подъѣзду въ такіе часы, когда Углицкаго не было дома.

Все, что я говорю о немъ, между прочимъ и вышеприведенный разсказъ о разговорѣ его съ Сланцовымъ, происходило зимой, когда я у него въ домѣ близко ознакомился съ нимъ и со всѣмъ его домашнимъ бытомъ.

IX.

Я собрался совсѣмъ ѣхать въ Петербургъ и запасся рекомендательнымъ письмомъ отъ управляющаго удѣльною конторою—не помню теперь, къ какому вліятельному члену удѣльнаго департамента.

Пока я собирался, дѣлалъ прощальные визиты, губернаторъ вдругъ прислалъ просить меня къ себѣ. Я поѣхалъ. Онъ любезно встрѣтилъ (опять не подавая руки), повелъ меня въ кабинетъ и усадилъ рядомъ съ собой на диванѣ.

Онъ началъ съ того, что съ юношескою болтливостью раскрылъ предо мною, въ мастерскомъ разсказѣ, хронику служебныхъ „доходовъ" всѣхъ и каждаго въ городѣ, между прочимъ и тѣхъ, кто чуть не ежедневно ѣздили къ нему и принимали его у себя. Онъ не пощадилъ и своего секретаря, безъ котораго онъ, какъ ребенокъ безъ няньки, не дѣлалъ ни шагу. Цѣлый день, и часто ночью, секретарь этотъ не отходилъ отъ него, и чуть ли не спалъ въ вицмундирѣ. „Пожалуйте къ его превосходительству", то-и-дѣло звучало въ его ушахъ. Чиновниковъ особыхъ порученій, даже до мелкихъ канцелярскихъ чиновъ, онъ тоже перебралъ въ яркомъ характеристическомъ очеркѣ.

„Что же мнѣ-то до этого за дѣло!"—думалъ я, слушая. Я зналъ почти все, что̀ онъ говорилъ, да и весь городъ зналъ. Стоило только не зажимать ушей. Всѣ находили, что такъ и должно быть—и не могли понять, отчего губернаторъ вдругъ „взбѣленился", откуда это пошло, кто „началъ"; теперь сказали бы: по чьей „иниціативѣ" началось.

А по иниціативѣ того же самаго секретаря, котораго такъ живо расписалъ мнѣ губернаторъ, нужды нѣтъ,

что они другъ безъ друга, какъ сіамскіе близнецы, жить не могли.

— Вотъ каковъ персоналъ моихъ помощниковъ!—патетически заключилъ свой разсказъ губернаторъ. — Я молчалъ.—Согласитесь, что знать это и терпѣть долѣе было бы съ моей стороны не честно. Я хочу положить этому конецъ.

— Это вѣдь значитъ положить конецъ самой системѣ!—робко замѣтилъ я, а самъ подумалъ, что онъ года четыре уже „терпѣлъ" это.

— C'est juste, vous avez parfaitement, mille fois raison!—подтвердилъ губернаторъ.

— Какъ же это сдѣлать? — продолжалъ я.- Если вы удалите этихъ людей...

— Vous y êtes! Ихъ всѣхъ прочь!—вставилъ губернаторъ.

... Тогда надо пригласить другихъ: можетъ быть, тѣ то же станутъ дѣлать?..

— *Вы* развѣ станете это дѣлать? — вдругъ спросилъ губернаторъ, и самъ же отвѣтилъ:—конечно, нѣтъ.

— Я?! — съ удивленіемъ сказалъ я, даже всталъ съ мѣста.

— Именно вы!—перебилъ Углицкій, усаживая меня рукой на диванъ. — Я остановился на васъ. Вы только-что кончили курсъ въ университетѣ, готовитесь вступить въ службу: чего же лучше, какъ начать ее въ вашемъ родномъ городѣ, живя съ своими?.. и т. д.

Онъ очень искусно развивалъ передо мной заманчивую картину службы при немъ.

— Ваше воспитаніе, благородство, тонъ, манеры, знаніе языковъ, даютъ вамъ всѣ права и преимущества"... И пошелъ, и пошелъ;—„и свѣжій-то, и новый-то я человѣкъ, и новые взгляды" у меня и проч.

*

Почемъ онъ зналъ мое „благородство“ и мои „взгляды“—Богъ его вѣдаетъ! Вѣроятно потому, что я казался ему „prèsentable“. Онъ искусно воспользовался этими мотивами, чтобы склонить меня.

— Если это и такъ, какъ ваше превосходительство говорите, то позвольте напомнить французскую пословицу: „одна ласточка не дѣлаетъ весны“...

— Вы да я—вотъ уже двѣ,—живо перебилъ онъ:—найдемъ и еще, и мы перекукуемъ ночныхъ птицъ. Рѣшайтесь! Да?

— Позвольте спросить, на какую должность вамъ угодно пригласить меня?—спросилъ я.

— Ба! развѣ я еще не сказалъ? На мѣсто секретаря. Вы будете управлять канцеляріей...

Я—юноша—едва не пожалъ плечами отъ удивленія передъ легкомысліемъ этого—чуть не старика.

— Позвольте напомнить,—началъ я, помолчавъ,—что я только что со школьной скамьи и никакими дѣлами не занимался. Я совершенно неопытенъ. Какъ я могу управлять группой чиновниковъ, уже служившихъ, опытныхъ?.. Я могъ бы, пожалуй, принять въ губерніи мѣсто учителя въ гимназіи, какого-нибудь инспектора уѣздныхъ училищъ, что-нибудь въ этомъ родѣ, а дѣла губернской администраціи мнѣ вовсе незнакомы...

Здѣсь полился у него рядъ доводовъ, построенныхъ больше на софизмахъ, шаткихъ предположеніяхъ... — Подайте прошеніе,—заключилъ онъ.

— У меня и аттестата еще нѣтъ,—отговаривался я.—Изъ Москвы послано въ Петербургъ, и еще не получено утвержденіе министра. Я не могу поступить на службу...

Онъ вскочилъ съ мѣста, и я всталъ.

— Такъ вотъ что́ мы сдѣлаемъ, — горячо перебилъ Углицкій:—вы вступите въ отправленіе должности съ завтрашняго же дня, а когда получите аттестатъ, мы васъ утвердимъ съ этого числа.

„Экъ загорѣлось! Ужели онъ всѣ дѣла рѣшаетъ такъ проворно?“—думалось мнѣ.

— Позвольте подумать, — защищался я, — посовѣтоваться съ родными... У меня уже письма есть въ Петербургъ отъ Андрея Михайловича... Я еще не знаю!..

Мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось отдѣлаться отъ этого неожиданнаго предложенія. Меня тянуло въ Петербургъ. Родимый городъ не представлялъ никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свѣжихъ, молодыхъ силъ. Словомъ, я скучалъ, а тутъ вдругъ остаться и служить!

— Faites ça, je vous prie! — нѣжно, пѣвучимъ голосомъ упрашивалъ онъ меня, какъ балованный ребенокъ.— Вы до полученія аттестата уже привыкнете и будете въ дѣлахъ какъ дома. Вѣдь это все пустое!—съ презрѣніемъ заключилъ онъ, указывая на груду бумагъ на столѣ.

Я видѣлъ, что мысль заманить меня на службу гвоздемъ засѣла у него въ головѣ „Кто ему вбилъ этотъ гвоздь?“—думалъ я.

— А прежній секретарь, Добышевъ, развѣ покидаетъ службу?—спросилъ я, вспомнивъ про него.

— Какъ можно! Нѣтъ, онъ просится чиновникомъ особыхъ порученій при мнѣ — онъ утомленъ работой и часто болѣетъ... Скажу вамъ откровенно — онъ и указалъ мнѣ на васъ, чтобы замѣнить его...

— Онъ!—сорвалось у меня восклицаніе удивленія.

— Да, онъ! А что?

— Зачѣмъ это нужно ему?

Я задумался.

— C'est un grèdin, si vous voulez, mais il est versé dans les affaires. Онъ и будетъ вначалѣ помогать, руководить — и... я тоже! Вы поговорите съ вашими, и завтра—милости просимъ на службу, въ канцелярію! Да? Теперь до свиданія. Кланяйтесь Петру Андреевичу.

Я сталъ уходить. Въ дверяхъ показалась губернаторша. Я поклонился.

— Что же вы у насъ не бываете? — начальственно строго спросила она.—Я пригласила васъ, а вы ни разу не заглянули?

— Я хотѣлъ начать мои посѣщенія вмѣстѣ съ Петромъ Андреевичемъ,—оправдывался я,—звалъ его, просилъ патронировать меня...

— Чтó же, онъ все еще боится?

Оба, и мужъ, и жена, разсмѣялись.

— Поздравь меня, — сказалъ онъ:—j'ai fait une belle acquisition. И. А. поступаетъ съ завтрашняго дня ко мнѣ на службу и будетъ, bongrè-malgrè, нашимъ ежедневнымъ гостемъ.

— Такъ это состоялось? вы согласны?—съ живостью спросила она.

— Позвольте... Это еще не рѣшено, надо подумать...— защищался я, пятясь къ дверямъ и раскланиваясь.

Не даромъ я отнѣкивался отъ губернаторскаго предложенія. Потомъ до меня доходили слухи, что секретарь посовѣтовалъ опредѣлить на его мѣсто меня, не какъ „новаго, свѣжаго, безкорыстнаго“ и т. д., или если и такъ, то еще болѣе всего какъ неопытнаго молодого человѣка, именемъ котораго онъ могъ бы продолжать вести дѣла по губерніи, по-своему, какъ онъ велъ ихъ прежде, т.-е. плавать подъ чужимъ флагомъ въ тѣхъ же водахъ... „Шипы“ (предупреждали меня по секрету) доставались бы мнѣ, а „розы“ падали бы на его голову.

Я счелъ это за губернскую сплетню и не обратилъ на нее вниманія. Если же въ самомъ дѣлѣ таковы были его сокровенные замыслы на мой счетъ, то они ему не удались. Судьба рѣшила иначе.

X.

Alea jacta est! Я на другой день вступилъ, если не de jure, то de facto, на службу въ губернаторскую канцелярію. Роднымъ моимъ очень улыбалось удержать мени дома: мать мечтала со временемъ женить меня и няньчить внучатъ; сестры пріобрѣтали своего домашняго кавалера для вечеровъ; слуги радовались, сами не знали чему. Особенно няня утѣшалась, что я не пропаду изъ глазъ навсегда, и смотрѣла на меня кротко и любовно.

— Завтра тебѣ надо явиться къ губернатору уже какъ къ начальнику: надѣнь бѣлый галстухъ, — сказалъ мнѣ Якубовъ.

Я бѣлый галстухъ не надѣлъ, зато напустилъ на лицо нѣкоторую важность и явился прямо въ канцелярію. Предмѣстникъ мой, Добышевъ, былъ уже тамъ. Онъ представилъ мнѣ всѣхъ чиновниковъ по очереди.

— Это столоначальникъ Трусецкій, — говорилъ онъ, указывая на господина съ большими черными бакенбардами, въ синемъ поношенномъ сюртукѣ. („Полякъ, присланный сюда изъ западныхъ губерній“ [1]), — шепнулъ при этомъ). — Это Миліановичъ, сынокъ Марѳы Яковлевны, знаете?

---

[1]) Тогда, послѣ польскаго возстанія 1830 г., множество уроженцевъ польскихъ губерній было разослано, по распоряженію правительства, на службу по городамъ внутри Имперіи. Полагалось, что они обживутся съ русскими и сами обрусѣютъ. Вышло противное. Умные, вкрадчивые, большею частью образованные, во всякомъ случаѣ образованнѣе нашей провинціальной чиновничьей братіи, эти

— Какъ не знать! Мы знакомы.—Я поклонился, но руки, подражая губернатору, не подалъ: нельзя, подчиненный!

И такъ далѣе. Добышевъ перезнакомилъ меня со всѣми. Чиновники почтительно щелкали нога объ ногу и смотрѣли съ любопытствомъ на меня, и я на нихъ, не зная, чтó имъ сказать.

— А это сторожъ Чубукъ, — со смѣхомъ заключилъ Добышевъ, указывая на прямого, какъ палка, солдатика у дверей, съ полинявшими галунами.

— Здрравія желаю, ваше высокородіе! — провозгласилъ тотъ.

— Вотъ и дѣла у насъ здѣсь! — продолжалъ Добышевъ, отворяя старый шкафъ съ еле державшеюся дверью:— а эти, что на столѣ, теперь разсматриваются. Вотъ бумаги, заготовленныя къ подписанію его превосходительства. А это новыя входящія. Покажите, Иванъ Семеновичъ, входящій реестръ! Вотъ вамъ и ключъ отъ стола!

Добышевъ отдалъ мнѣ ключъ.—Тутъ, въ столѣ, есть двѣ секретныя бумаги съ губернаторской отмѣткой. Велѣно исполнить ихъ поскорѣе,—прибавилъ онъ.

— То-есть, какъ это исполнить бумаги?—наивно спросилъ я, вдругъ потерявъ всякую важность.

— Написать по губернаторской резолюціи исполненіе.

Тутъ Добышева позвали къ губернатору. Я сѣлъ за столъ.

пришельцы занесли съ собой польскій духъ и нравы, и вмѣстѣ съ тѣмъ прививали понятія о политическомъ режимѣ Польши, и вообще Запада. Эта тихая, самимъ правительствомъ созданная пропаганда не осталась безъ вліянія на развитіе политическихъ идей, даже въ дальнихъ углахъ Россіи, гдѣ до тѣхъ поръ о нихъ не было и слуху.

„Написать исполненіе!“—думалъ я, стараясь вникнуть въ смыслъ этой новой для меня фразы.

Вошелъ Чубукъ.

— Солдатъ пришелъ къ вашему высокородію, да еще женщина дожидается давно,—доложилъ онъ мнѣ.

Я вышелъ въ прихожую.—Чтб тебѣ надо?—спрашиваю солдатика.

— Егорья потерялъ, ваше высокородіе,—говоритъ.

— Какого Егорья?

— Хрестъ, значитъ, потерялъ.

Я сталъ въ тупикъ.

— Поищи хорошенько,—сказалъ я.

— Иди въ полицію а ты!.. Подай прежде объявленіе! Чтб лѣзешъ прямо сюда!—раздался изъ другой комнаты голосъ чиновника.

Солдатикъ посмотрѣлъ на меня, я на него.

— Слышь, въ полицію ступай!—сказалъ Чубукъ.

Онъ помялся, помялся, стукнулъ ногой, сдѣлалъ направо кругомъ и ушелъ. Баба жаловалась, что сыну не выходитъ „ослобожденіе“ отъ „некрутчины“. „Ослобонить ослобонили, потому — негодный, спина кривая, а бумаги изъ правленія не даютъ и сына не отпущаютъ, а она проѣлась, жимши въ городѣ“... и т. д.

— Пожалуйте къ его превосходительству!—раздалось сзади меня.

Я попросилъ—или, виноватъ, „поручилъ“ одному изъ чиновниковъ разобрать просителей и пошелъ наверхъ. Тѣмъ и заключился первый мой дебютъ на службѣ.

— C'est charmant! Это любезно, что послушались!—встрѣтилъ меня губернаторъ, не подавая руки. — Присядьте. Не хотите ли позавтракать?

Передъ нимъ стоялъ подносъ съ закусками: икрой, селедкой, дымилась котлетка. Я отговаривался, что завт-

ракалъ, да и предложеніе, казалось мнѣ, сдѣлано было такимъ голосомъ, чтобы его не принять,

Я сталъ каждый день являться въ канцелярію—и сдѣлался однимъ изъ колесъ губернской административной машины, да еще какимъ важнымъ! Недѣли черезъ двѣ мнѣ, дома со смѣхомъ, передали, что нашъ поваръ даже стращалъ моимъ именемъ какого-то несговорчиваго торговца мясомъ и дичью.

Но главнымъ, хотя и негласнымъ воротилой въ дѣлахъ остался все-таки Добышевъ. А я накупилъ побольше перчатокъ, бѣлыхъ галстуховъ и выписалъ еще пару платья изъ Москвы. Это оказалось самымъ важнымъ дѣломъ въ моей службѣ.

Мои утренніе, надо было бы сказать—дѣловые часы, еслибы было дѣло, оказались довольно пріятными. Лѣтнее сонное бездѣлье кончилось: я тогда не зналъ, куда время дѣвать, а теперь не зналъ, куда оно уходило. Лѣтомъ, бывало, я стрѣлялъ на волжскихъ отмеляхъ скворцовъ, трясогузокъ, излазилъ по всѣмъ обрывамъ крутого нагорнаго берега, купался, отправлялся со своими цѣлымъ домомъ на зеленый островъ, пить, между сѣномъ и осокой, чай, иногда обѣдать, удить рыбу.

И за всѣмъ этимъ времени оставалось пропасть. Оно уходило больше на чтеніе. Я перезнакомился со всѣми, у кого были библіотеки, за неимѣніемъ публичной, читалъ все, что́ выписывалъ Якубовъ, — и все-таки оставался досугъ, тратившійся на затрапезныя и чайныя бесѣды со своими, на прогулки „для воздуха“ съ крестнымъ и на блаженную дремоту, иногда среди бѣлаго дня.

Зимой все это бездѣлье кончилось: у меня просто не хватало времени. Утромъ ѣдешь въ канцелярію, прочитаешь присланную сверху, т.-е. отъ губернатора, почту, потомъ „исполняешь“ бумаги „къ подписанію его пре-

восходительства". Съ этими послѣдними, часовъ въ 12, являешься къ нему на верхъ, въ кабинетъ.

Какъ весело бывало тамъ наверху! Идучи по лѣстницѣ уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разыгрываемыя хорошенькой, граціозной Софьей Львовной. Она ласково, немного краснѣя, отвѣтитъ на поклонъ веселой улыбкой, съ оттѣнкомъ, легкой ироніи, которая, какъ скрытая булавка, нѣтъ-нѣтъ, да и кольнетъ. Дитя и вмѣстѣ не дитя: прелесть дѣвушка! Она мило краснѣла. Румянецъ вспыхнетъ и въ ту-жъ секунду спрячется, и опять покажется, глазки блеснутъ и прикроются рѣсницами.

Я большею частью угадывалъ, чтó у нея на умѣ, и скажу ей, а она мило вспыхнетъ и кивнетъ утвердительно, если угадаю. Иногда скажу какое-нибудь свое наблюденіе и разсмѣшу ее. Покажутся два бѣлыхъ чудесныхъ зубка.

На пути къ губернаторскому кабинету, она была для меня какъ сирена для Улисса. Перекинешься съ ней, сначала двумя-тремя словами, и иногда застоишься, заслушаешься сонаты, или просто засмотришься, какъ она застѣнчиво краснѣетъ и сверкаетъ веселыми агатовыми глазками.

А тутъ кругомъ лѣсъ тропическихъ растеній, попугай—то свиститъ, то оретъ, точно его рѣжутъ, двигаясь по мѣдной перекладинѣ изъ стороны въ сторону. Тамъ трещатъ канарейки. Не хочется уйти, а надо. Вонъ губернаторъ звонитъ. Ему поспѣшно пронесли подносъ съ завтракомъ. Секретарь, т. е. бывшій мой предмѣстникъ, оканчиваетъ свой докладъ.

У него какія-то особыя бумаги, которыя ко мнѣ не поступали. Случалось мнѣ заставать ихъ на разговорѣ о постройкахъ, заготовкахъ, подрядахъ. Но я въ это не

вникалъ вовсе, губернаторъ—очень мало; вникалъ одинъ Добышевъ.

— Чтб это у васъ, бумаги?—спроситъ, поздоровавшись, Углицкій.—Есть что-нибудь важное?—И, не дождавшись отвѣта, велитъ обыкновенно положить на бюро.—Мы ужб съ Егорьевымъ (домашнимъ чиновникомъ) разберемъ: я подпишу и пришлю въ канцелярію. А теперь давайте завтракать. Не хотите ли?—прибавитъ равнодушнымъ, лѣнивымъ голосомъ. Это повторялось ежедневно. Онъ приглашалъ постоянно и Добышева, и меня, а мы постоянно отказывались. Углицкій садился за завтракъ и съѣдалъ все до чиста. Ему приносили завтракъ на одного. Съ семьей онъ рѣдко завтракалъ: дѣла, вишь, не позволяли. Но однажды онъ принудилъ-таки меня попробовать, а Добышева никакъ не могъ склонить. Тотъ, застегнутый на всѣ пуговицѣ вицмундира, такъ и остался на ногахъ.

— Чтб это ты мнѣ принесъ? — спросилъ онъ камердинера, когда тотъ поставилъ подносъ на столъ.—Я велѣлъ почку, а это ris de veau! Какъ ris de veau по-русски?—спросилъ онъ меня.—Я не зналъ.—Какъ ris de veau по-русски?—спросилъ онъ Добышева.

— Не знаю, ваше превосходительство:—я вѣдь по-французски не говорю,—отвѣчалъ тотъ.

— Поди спроси повара, какъ это блюдо называется, и отчего онъ мнѣ не приготовилъ почку, sauce madère? Я съ утра заказалъ. Не угодно ли?—прибавилъ онъ, подвигая подносъ мнѣ и Добышеву.

Этотъ отказался изъ почтенія, а я изъ почтенія же попробовалъ.

— Чтб, вкусно?

— Очень,—сказалъ я.—У насъ дома часто готовятъ это блюдо, только я не знаю, какъ оно называется.

— И я попробую,—сказалъ Углицкій, а попробовавъ, съ аппетитомъ доѣлъ остальное.—Не дурно, только отчего не почка?

Камердинеръ воротился и сказалъ, что это называется „сладкое мясо“ изъ груди теленка.

— Отчего-жъ почку не приготовилъ?

— Онъ думалъ, что почку приказывали къ столу.

— А? какъ вамъ это покажется!—обратился онъ къ намъ: — почка къ обѣду! Кто ѣстъ почку за обѣдомъ? Вы любите почку?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ... ничего...

— Такъ пріѣзжайте сегодня обѣдать.

Я поклонился.

— А теперь вы пройдите туда, къ женѣ, или съ Сонечкой поговорите. Выберите ей что-нибудь, пожалуйста, по-русски читать: она любитъ. А я еще слова два скажу Ивану Ивановичу и потомъ приду.

Они остались вдвоемъ, какъ это часто случается, совѣщались о чемъ-то другъ съ другомъ, но меня въ эти совѣщанія не посвящали, а я не напрашивался.

XI.

Я шелъ туда, на женскую половину. Тамъ было весело. Въ гостиной сидѣла Марья Андреевна, принимала визиты и важничала среди губернскихъ дамъ. Она жила сознаніемъ, что она — первая дама въ губерніи. Только у нея, кажется, и было утѣшенія. Прочее все, съ лѣтами, измѣняло ей, начиная съ мужа. А если не было визитовъ и она сама не выѣзжала, около нея сидѣла Соня, ласкаясь къ матери, какъ кошечка.

Тутъ же постоянно присутствовали двѣ барышни, сестры, неопредѣленныхъ лѣтъ—не менѣе 25 и не болѣе

30 лѣтъ. Наружности у нихъ не было, т.-е. женской: это были два засохшіе цвѣтка. Одна круглолицая, съ наивными, цвѣта болотной воды, нейигающими глазами, съ широкой улыбкой. Другая, бѣлокурая, съ сѣрыми, прятавшимися подъ низенькимъ лбомъ глазами, съ хитренькимъ, высматривающимъ взглядомъ. По фамиліи ихъ никто никогда не называлъ. Губернаторша и дочь ея, и самъ Углицкій, звали ихъ Лина и Чуча, какъ сами сестры звали другъ друга. Онѣ были бѣдныя дворянки-сироты, жили съ нуждой, въ тѣсной квартиркѣ, въ мезонинѣ маленькаго деревяннаго домика, пробавляясь маленькой пенсіей за службу отца, да нѣкоторыми женскими работами: вышиваньемъ подушекъ, вязаньемъ шарфовъ, дѣланіемъ цвѣтовъ изъ воску, и другихъ ненужныхъ вещей, которыя покупались у нихъ знакомыми, ради ихъ положенія, для подарковъ.

Онѣ были стариннаго дворянскаго рода: бабка ихъ была изъ княжеской, впрочемъ давно угасшей фамиліи. Онѣ любили иногда поминать объ этомъ, кажется, единственномъ ихъ преимуществѣ. Ихъ въ нѣкоторыхъ домахъ принимали, въ другихъ смотрѣли на нихъ небрежно, ради ихъ бѣдности. Такъ было до пріѣзда Углицкихъ. Губернаторша приняла ихъ подъ свое крыло, сначала тоже ради ихъ положенія, ради сиротства и памяти о княжеской породѣ, потомъ онѣ мало-по-малу вошли въ штатъ дома ея превосходительства, и умѣли сдѣлаться необходимыми, собственно Лина, старшая. Онѣ были порядочно воспитаны, т.-е. умѣли въ дурномъ переводѣ съ русскаго говорить французскія фразы, прилично сидѣть въ гостиной и держать себя за столомъ. Прежде онѣ прихаживали къ обѣду, а вечеромъ уходили домой. Потомъ, когда губернаторша сдѣлала имъ приличный гар-

деробъ, онѣ, что называется, живмя жили у нея и постоянно исполняли ея порученія.

Впрочемъ, послѣднія возлагались собственно на одну старшую, Лину. Лина было сокращеніе ея имени Капитолина. Имя младшей сестры „Чуча“ передѣлали изъ ихъ фамиліи Чучины, потому что ея настоящее имя, Апполинарія, сокращенію не поддавалось.

Чуча оказалось неспособною ни къ какимъ порученіямъ, кромѣ одного—сидѣть въ гостиной, съ вѣчнымъ вышиваньемъ въ рукахъ какой-то безконечной тесьмы, не то для звонка, не то для каймы къ портьерѣ, „pour avoir une contenance“, говорили Углицкіе. Ея обязанность была принимать и занимать гостя или гостью, пока губернаторша оканчивала свой туалетъ или губернаторъ не выходилъ еще изъ кабинета. Пробовала-было Углицкая поручать ей другія дѣла, но ничего изъ этого не выходило.

Чего, кажется, проще—разлить чай? Когда гостей не было и чай не разносился изъ буфета лакеями, то пили его въ маленькой гостиной у камина, на маленькомъ столѣ—и поручили разливать ей.

Вотъ тутъ точно домовой тѣшился надъ ней. У нея чашки скользили изъ рукъ, ложечки летѣли на полъ, поднимался звонъ, громъ. То она нальетъ чаю въ сахарницу; кому вовсе не положитъ, кому переложитъ сахаръ. Ее удалили отъ этой обязанности.

И другое шло не лучше. Сонечка однажды заболѣла. Ее уложили въ постель и посадили около больной Чучу, когда Углицкой или няни не было въ комнатѣ, чтобы она въ срокъ подавала то или другое лекарство, и вообще смотрѣла бы за больной. Тутъ она чуть не надѣлала бѣды. Накапала въ рюмку, вмѣсто миндальныхъ капель, какого-то спирта, которымъ надо было натирать горло.

Къ ея счастью, больной показался противенъ запахъ, и она не приняла. Мать пришла въ ужасъ, и сама Чуча струсила. Она прижала ладони къ вискамъ, какъ всегда дѣлала въ критическія минуты, заохала и заахала.

Ее удалили за это изъ комнаты и изъ дома на двѣ недѣли, къ себѣ, на „Антоніеву пищу", какъ говорилъ Углицкій. Потомъ соскучатся. И гости привыкли видѣть ее въ уголку гостиной, съ вязаньемъ, тоже спрашиваютъ, почему ея нѣтъ? За ней и пошлютъ. Она явится какъ ни въ чемъ не бывало, садится на свое мѣсто въ гостиной и за столомъ, занимаетъ гостей до прихода губернатора или губернаторши. И какъ занимаетъ хорошо, прилично, съ своей неизмѣнной широкой улыбкой, открытыми настежъ глазами, съ вѣчно-ласковымъ взглядомъ. У нея установилась одна мина навсегда и для всѣхъ.

— Здравствуйте! — отчеканитъ она каждому входящему гостю, всегда съ сіяющими радостью глазами и съ улыбкой. — Прошу садиться, вотъ здѣсь, подальше отъ окна, тутъ дуетъ. Вчера Иванъ Ивановичъ посидѣлъ тутъ, потомъ цѣлый вечеръ жаловался, что зубъ ноетъ.

Гость или гостья сядетъ. Она не смигнетъ съ него: такъ и смотритъ, не нужно ли ему чего, пуще всего, не ушелъ бы онъ, не соскучился бы.

— Марья Андреевна принимаетъ? Не помѣшалъ ли я? — спросилъ тотъ.

— Нѣтъ, нѣтъ: подождите чуточку — она сейчасъ, сейчасъ будетъ! Она теперь въ буфетѣ, по хозяйству, поваръ пришелъ. Она заказываетъ, что обѣдать сегодня... и бранитъ его... — добавляетъ шопотомъ, все улыбаясь: — сейчасъ кончитъ.

— Бранитъ? За что?

— Вчера столько петрушки въ супъ навалилъ, что ѣсть нельзя...

Гость смѣется.

— Право. Вы не вѣрите? Вотъ спросите Сонечку, когда придетъ: точно мухи въ тарелкѣ плаваютъ!

Гость опять смѣется. И она тоже. Ей весело, что она умѣетъ занимать.

— Это вы на сѣрой лошади пріѣхали? Какая большая! — продолжаетъ она, глядя въ окно. — Ахъ, кажется, Наталья Николаевна подъѣхала: вонъ ея карета, вы видите?

— Да, вижу, — говоритъ гость.

— Надо встрѣтить ее въ залѣ! — И бѣжитъ съ сіяющимъ лицомъ встрѣчать гостью, какъ родную мать. Та, слегка кивнувъ ей, заговариваетъ съ гостемъ, а она удаляется въ свой уголъ и беретъ вышиванье.

— Что Марья Андреевна: занята? — спрашиваетъ гостья.

— Съ поваромъ бранится: сейчасъ придетъ, — говоритъ гость.

— Вы почемъ знаете?

— Да вотъ кто сказывалъ! — Онъ указываетъ на Чучу. Оба смѣются, и Чуча тоже.

Выходитъ Марья Андреевна. „Здравствуйте, здравствуйте!“ и т. д.

— Мы мѣшаемъ вамъ: вы по хозяйству...—говоритъ гостья.

— Кто вамъ сказывалъ?

— Чуча говоритъ, что вы повара бранили... Ахъ, эти повара!

Марья Андреевна смотритъ на нихъ вопросительно.

— Петрушки много въ супъ наклалъ! —шутитъ гость.

Лицо Углицкой свирѣпѣетъ.

— Подите къ Сонечкѣ въ комнату! — рѣзко командуетъ она Чучѣ.

Та, бросивъ вышиванье, быстро уходитъ, приложивъ дорогой ладони къ вискамъ. „Ахъ, ахъ, что это я надѣлала!“ — и разсказываетъ Сонечкѣ. Та вечеромъ разскажетъ мнѣ — и мы въ уголку весело хихикаемъ. Бѣдная Чуча!

Еще ее немного вышколили, старались преподать нѣсколько темъ для занятія гостей, а то она прежде доходила до геркулесовыхъ столбовъ въ дѣлѣ нескромности. Однажды какая-то значительная губернская дама застала ее въ сильномъ, непривычномъ для нея волненіи. На вопросъ гостьи, дома ли Марья Андреевна, принимаетъ ли, Чуча, послѣ обычной, неизмѣнной широкой улыбки и вопросовъ о здоровьѣ, о томъ, прошелъ ли „родимчикъ“ у маленькой и т. д., на вопросъ гостьи, что дѣлаютъ ихъ превосходительства, внезапно приложила ладони къ вискамъ и заахала.

— Ахъ, ахъ, не знаю!.. Что̀ у насъ дѣлается—ахъ, что̀ дѣлается...

— Что, что такое?—удерживая дыханье спрашивала любопытная гостья.

— Ахъ, ахъ не могу... не спрашивайте!

— Да говорите, милая, я никому не скажу, никому... никому...

Чуча, чтобъ занять гостью, боясь, что она, пожалуй, разсердится и уѣдетъ, начала разсказывать жестокую семейную сцену между Углицкимъ и женой.—Левъ Михайловичъ такъ разсердились, такъ кричали... ужасъ, ужасъ!..—шепчетъ она.—У Марьи Андреевны сдѣлалась истерика... Левъ Михайловичъ кричали, что лучше застрѣлиться... Сонечка заперлась у себя въ комнатѣ, плакала... ахъ!..

— Да изъ-за чего, изъ-за чего? Говорите скорѣй! — настаивала гостья.

— Еще вчера... — начала-было Чуча и прикусила языкъ. Въ дверяхъ явилась сама Марья Андреевна. Она изъ-за портьеры слышала кое-что изъ разговора и поспѣшила помѣшать продолженію. „Идите домой и глазъ больше сюда не показывайте!“ — прошипѣла она змѣинымъ шопотомъ.

Чуча отчаянно приложила ладони къ вискамъ и стремглавъ бросилась домой. „Ахъ, ахъ! — твердила она дорогой!—что̀ я надѣлала!“

Ее воротили изъ ссылки не прежде какъ черезъ мѣсяцъ, давъ ей нагоняй и подробную инструкцію, какъ и чѣмъ занимать гостей.

Когда никого не было около Углицкой, Чуча должна была сидѣть въ комнатѣ около нея. Губернаторша зѣвнетъ, и она зѣвнетъ, подставитъ скамеечку.

— Почитайте Чуча, вонъ изъ той книги, что въ спальнѣ. Чуча почитаетъ, но и тутъ перепутаетъ слова, не тамъ дѣлаетъ ударенія, гдѣ надо. „Однажды (мнѣ разсказывала Софья Львовна) maman попросила ее почитать путешествіе какого-то іеромонаха по св. мѣстамъ. Архіерей прислалъ. Она и читаетъ въ одной главѣ: „сей ядовитый подлецъ“... Я изъ своей комнаты слышу голосъ maman: „Ахъ, какая гадость! Какія выраженія! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, послушай, какая гадость!“ Я посмотрѣла въ книгу, а тамъ сказано: „сей ядовитый ползецъ“: это говорилось про скорпіона.

Чуча исполняла какія-нибудь несложныя порученія: сказать что-нибудь горничной, принести изъ другой комнаты ту или другую вещь, пойти въ кабинетъ къ Углицкому, передать что-нибудь, или просто посмотрѣть, кто тамъ у

него. Если же пошлютъ ее, напримѣръ, въ лавку, да дадутъ два-три порученія, купить то, отрѣзать аршинъ такой-то матеріи, заѣхать къ портнихѣ и т. п., она наполовину перепутаетъ, наполовину забудетъ.

Впрочемъ съ ней, кромѣ этихъ временныхъ ссылокъ домой „на Антоніеву пищу", обходились ласково, гуманно и шутили надъ ней весело, не оскорбляя ея. И прислуга обращалась къ ней, правда, безъ особой услужливости, но учтиво. Углицкій, если не для чего другого, то ради хорошаго тона, не допустилъ бы дикихъ нравовъ въ домѣ.

Но онъ подшучивалъ надъ ней безпрестанно и смѣшилъ на ея счетъ другихъ, но такъ безобидно, что та первая отвѣчала на его шутки своей широкой улыбкой. Только однажды она какъ будто сконфузилась, когда Углицкій спросилъ меня при ней:—Вамъ Чуча ничего не разсказывала о просвиркѣ.

— Нѣтъ, о какой просвиркѣ?

— Разскажите ему, Чуча...

— Ахъ, ахъ, Левъ Михайловичъ!..—заахала Чуча, приложивъ ладони къ вискамъ, и поспѣшила спрятаться въ уголъ гостиной, къ камину, за экранъ. Марья Андреевна съ насмѣшливой улыбкой смотрѣла на нее. Софья Львовна тоже покраснѣла отъ удовольствія. Въ это время Углицкаго позвали въ кабинетъ. Пріѣхалъ гость. Губернаторша ушла одѣваться и позвала Чучу съ собой. Мы остались съ Сонечкой.

— Какая это просвирка?—спросилъ я:—разскажите, Софья Львовна.

Дѣло вотъ въ чемъ. Губернаторшѣ за обѣдней въ соборѣ подносилась просвира, которую она передавала въ руки Линѣ или Чучѣ, обыкновенно сопровождавшимъ ее въ церковь. Эти просвирки приносились домой и благо-

говѣйно употреблялись на другой день, на-тощакъ. Иногда же отдавались по дорогѣ какой-нибудь бѣдной женщинѣ, или старику, ребенку, на кого укажетъ губернаторша, кто ей казался жалокъ, голоденъ. Однажды, въ дождливую погоду, садясь на паперти съ дочерью въ карету, Углицкая передала просвирку, за отсутствіемъ Лины, Чучѣ, чтобы она, по дорогѣ пѣшкомъ домой, отдала просвиру какому-нибудь нищему или нищей, да спросила бы прежде, не ѣли ли они что-нибудь утромъ, такъ какъ просвирка освященная.

— Отдала самому бѣдному!—хвасталась, съ сіяющими глазами, Чуча, пришедши домой, за завтракомъ. „Ничего, говоритъ, со вчерашняго дня не ѣлъ: вотъ, говоритъ, только на копѣечку луку купилъ, хотѣлъ-было поѣсть“... У него изъ за пазухи и лукъ торчитъ... Я и отдала... „Смотри же, говорю: прежде вотъ это скушай: это благословенная просвирка!..“ Какъ онъ благодарилъ! „Спасибо, говоритъ, спасибо“... кланяется до земли, даже ермолку снялъ...

— Какую ермолку?

— Онъ татаринъ,—вразумила Чуча.

— Татарину освященную просвирку!—Губернаторша всплеснула руками, губернаторъ откатился съ хохотомъ отъ стола; веселѣе всѣхъ было Софьѣ Львовнѣ. И теперь, разсказывая мнѣ, она смѣялась до слезъ.

— Maman зазвонила во всѣ сонетки, позвали людей, разослали искать татарина по окрестнымъ улицамъ...

— А Чуча что̀? Вотъ такъ—ладони къ вискамъ: ахъ, ахъ!—Я представилъ, какъ она дѣлаетъ.

Софья Львовна досказала, что татарина на̀шли и привели. Онъ успѣлъ съѣсть только верхнюю, т.-е. освященную половину, и закусывалъ лукомъ. Набожная губернаторша ужаснулась, хотѣла ѣхать къ архіерею, спро-

сить, что дѣлать: не надо ли окрестить татарина и прочее. Но губернаторъ отпустилъ его и цѣлую недѣлю тѣшилъ гостей этимъ анекдотомъ. Онъ сталъ еще ласковѣе и шутливѣе съ Чучей. Но Марья Андреевна приняла это серьезно и осудила Чучу на трехдневную ссылку домой.

Чуча была со мной любезна, старалась и меня занимать, когда никого не было въ гостиной, нужды нѣтъ, что я былъ уже свой въ домѣ.

— Вы довольны, что здѣсь остались, а не уѣхали въ Петербургъ: вамъ весело?—сладко спрашивала она меня.

— Да, я доволенъ: мнѣ очень весело.

— Когда же вамъ бываетъ весело у насъ?

— Да вотъ теперь, съ вами.

У нея засіяли глаза.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вы это взаправду говорите? Не шутя?

— Нѣтъ.

— А отчего-жъ смѣетесь? О, вы насмѣшникъ, я знаю

— Отчего-же вы знаете?

— Да ужъ знаю: кто изъ столицы заѣдетъ сюда—всѣ такіе насмѣшники! Вотъ и новый прокуроръ—тоже такой насмѣшникъ: все смѣется! Вы и съ Сонечкой все смѣетесь, шутите надо мной: я ужъ знаю, знаю... А мы, вотъ, такъ васъ очень любимъ!—прибавила, помолчавъ.

— Кто это „мы“?

— Да всѣ: Марья Андреевна, Левъ Михайловичъ—и Сонечка тоже... всѣ рады, когда вы придете... Всегда объ васъ говорятъ...

— Что же говорятъ?

— Левъ Михайловичъ вчера еще разсказывалъ Владиміру Петровичу... онъ недавно изъ деревни... вы знаете?..

— Нѣтъ, не знаю... Какой это Владиміръ Петровичъ?

— Онъ дороги да мосты строитъ, инженерный полковникъ. Его фамилія Алтаевъ... Вы видѣли его... Пузанъ такой...

Я засмѣялся.—Какъ?

Она сконфузилась.—Толстый такой!—поправилась она.

— Такъ что же Левъ Михайловичъ говорилъ про меня?

— Онъ сказалъ про васъ: „il est prèsentable, très-prèsentable“, раза три сказалъ. А Марья Андреевна говоритъ: „только дикарь“, говоритъ: „когда есть гости, тихонько уйдетъ. Надо, говоритъ, его вышколить: вотъ начнутся собранія—Сонечкѣ выѣзжать еще нельзя, такъ онъ будетъ моимъ кавалеромъ, въ собраніи... когда не будетъ другого...

Я засмѣялся.

— Право! Вы не вѣрите?

— Я спрошу у Марьи Андреевны, правда ли, что она мнѣ назначаетъ роль подставного кавалера?—шутилъ я.

— Что вы, что вы: я не сказала „подставного“! Ахъ, какъ это можно!

— Выходитъ такъ: если недостанетъ кавалера, такъ меня! Марья Андреевна разъяснитъ, кàкъ она сказала...

Она прижала ладони къ вискамъ:—Ахъ, ахъ, что это я надѣлала, зачѣмъ сказала вамъ? Ахъ, голубчикъ, не говорите Марьѣ Андреевнѣ... ради Бога! меня отошлютъ домой...

Я успокоилъ ее, но пересказалъ Софьѣ Львовнѣ, и мы посмѣялись.

XII.

Другая сестра, Лина, была совсѣмъ противоположнаго характера. Она была подвижная, живая, какъ ртуть,

въ постоянныхъ разъѣздахъ по городу, въ суетѣ, въ хлопотахъ. Въ гостиной у Углицкихъ она появлялась рѣдко, обѣдала у нихъ, когда не было гостей. Зато съ ранняго утра она присутствовала въ спальнѣ и будуарѣ Марьи Андреевны. Когда онѣ были вдвоемъ, къ нимъ не допускались ни Чуча, ни горничная. Даже Соня входила только поздороваться и уходила. Безъ нея губернаторша такъ же не могла обойтись, какъ мужъ ея безъ Добышева.

Уклончивая, ласковая до льстивости, всюду втиравшаяся, у всѣхъ что-нибудь выпрашивавшая, она знала все, что дѣлается въ каждомъ домѣ, начиная отъ крупныхъ помѣщиковъ, предсѣдателей, до купцовъ и мѣщанъ. Свѣдѣнія ея были до крайности разнообразны. Она знала, напримѣръ, кто какой кушъ получилъ и за какое дѣло, и куда этотъ кушъ былъ истраченъ. Знала, за что произошла размолвка между мужемъ и женой и почему гувернантка перешла на другое мѣсто. Первая узнавала о затѣвающемся сватовствѣ. Прежде полиціи узнаетъ о какой-нибудь покражѣ, о томъ, кто собирается у такого-то или у такой-то въ гостяхъ, что̀ говорятъ, у кого что̀ подаютъ за столомъ—словомъ, газета.

Все это съ живыми подробностями передавалось Марьѣ Андреевнѣ по секрету. У губернаторши въ рукахъ такимъ образомъ были нити всей губернской политики, и она иногда сама пользовалась этими свѣдѣніями, даже передавала кое-что мужу для его служебныхъ соображеній, и иногда озадачивала кого-нибудь безцеремоннымъ намекомъ на секретное семейное событіе, никогда не обнаруживая источника.

Лина была въ обхожденіи покорная, умѣвшая принимать какой-то фальшиво-застѣнчивый, даже робкій видъ. А услужлива какъ: до приторности. Марья Андреевна

не успѣетъ пожелать, она уже угадаетъ и бѣжитъ исполнить ея желаніе, прежде нежели слуга или горничная пошевелятся. „Позвольте мнѣ, я сейчасъ... Дайте, я сдѣлаю, принесу, достану...“ — безпрестанно слышится ея пискливый голосъ. Губернаторъ ищетъ чего-то около себя глазами—а она ужъ несетъ забытый имъ въ кабинетѣ платокъ. Губернаторша намекаетъ, что она видѣла въ окнѣ какого-то магазина вещь, да забыла гдѣ: черезъ полчаса Лина уже говоритъ ей, гдѣ.

Она отлично, до тонкости, исполняла порученія Углицкой, какъ бы они сложны ни были, по части женскаго туалета. Марья Андреевна пошлетъ ее по магазинамъ, и та, зная ея вкусъ, прихоти, капризы, превзойдетъ всѣ ея ожиданія. Благодаря ей, никогда ни одной, самой богатой губернской львицѣ, не удавалось, прежде губернаторши, выписать изъ Москвы что-нибудь новое. Она подъ рукой умѣла сбывать выгодно надѣванныя губернаторшины, но еще свѣжія и нарядныя для губернскихъ и уѣздныхъ барынь платья. Она знала, въ какихъ домахъ водились старинныя кружева, до которыхъ охотница была Марья Андреевна, и умѣла сходно выторговать ихъ. Безъ нея Углицкая не примѣритъ не только платья, шляпки, даже ботинокъ. Она рѣшала, какой цвѣтъ идетъ или не идетъ, что лучше къ лицу ей или Сонечкѣ.

И все это дѣлала съ наслажденіемъ, проворно, какъ будто все ея счастье заключалось въ томъ, чтобы угодить. А ея счастье, между прочимъ, заключалось и въ томъ, что когда замѣтили въ городѣ, какимъ фаворомъ она пользовалась у губернаторши, съ ней перестали обращаться небрежно. Кромѣ того, она пополнила свой гардеробъ, запаслась на многіе годы, чуть не до старости, бѣльемъ, даже двумя лисьими мѣхами. На тѣ

платья губернаторши, которыя ей нравились, она не находила покупательницъ, и платья дарились ей.

Сестру свою она втайнѣ презирала, но скрывала это, чтобы и другіе въ губернаторскомъ домѣ не заразились тѣмъ же, не охладѣли къ ней и не свалили ее на ея плечи. Презирала она сестру за ея абсолютную ненужность: за то, что изъ нея никакой пользы нельзя извлечь, что она виситъ у нея камнемъ на шеѣ. Она, въ припадкахъ желчи, обзывала ее „немогучкой". „Безъ нея, безъ этой „немогучки", — проговаривалась она по секрету,—она, Лина, давно была бы замужемъ. А какъ посмотрятъ насъ вмѣстѣ, послушаютъ ее, эту Чучу — всѣ прочь идутъ: думаютъ, что и я такая же безпомощная и неумѣлая, и буду въ тягость семьѣ. А у меня золотыя руки!"

Она еще и теперь, когда я видѣлъ ее, сказывали мнѣ, не потеряла надежды на замужество, хотя всѣ другіе давно потеряли ее. Она сама никого не любила: ни губернаторши, ни ея дочери, никого въ городѣ; не было у нея ни птички, ни собачки, ни цвѣтка на окнѣ, — никого и ничего. Углицкаго она немного боялась: она все подозрѣвала, что, заговаривая съ ней и глядя ей зорко въ глаза, онъ будто искалъ въ ней чего-то, къ чему прицѣпиться, что-нибудь замѣтить въ ней, обнаружить, поднять на смѣхъ, — и уклонялась отъ разговора съ нимъ, отдѣлываясь отъ его шутокъ визгливымъ смѣхомъ.

Она была некрасива: глаза, смотрящіе исподлобья, нависшій надъ ними лобъ и немного выдавшійся подбородокъ сообщали ей видъ моложавой старушонки. Увертливая, скользкая, какъ ящерица, она все торопилась, бѣжала, въ рукахъ у нея всегда было какое-нибудь дѣло, ей все было некогда. Когда ее остановятъ на до-

рогѣ, она торопливо отвѣчаетъ, не глядя никому прямо въ глаза, въ противоположность сестрѣ, глядѣвшей на всѣхъ немигающими глазами. Нельзя понять, на чемъ основывались ея надежды найти мужа. Развѣ на томъ, что у нея были „золотыя руки".

XIII.

Зимній сезонъ былъ въ полномъ разгарѣ. Городъ наполнился пріѣзжими изъ уѣздовъ. Начались балы въ собраніи, у губернатора, у дворянъ, вечеринки почти во всѣхъ семейныхъ домахъ. Я, какъ и всѣ тогдашніе молодые люди, катался какъ сыръ въ маслѣ — съ бала на балъ, съ вечера на вечеръ. Какъ я ни увертывался, но мнѣ не разъ приходилось играть роль, въ которую прочила меня губернаторша. Какъ я былъ подставной секретарь у ея мужа, такъ, если не былъ, то числился подставнымъ ея кавалеромъ. Танцовать съ ней мнѣ случалось очень рѣдко: всѣ наперерывъ старались ангажировать ее до бала. Мнѣ доставалась эта честь иногда на вечерахъ у нея самой, когда, уступая арену гостьямъ, она сама оставалась безъ кавалера.

Я чувствовалъ, что сталъ вростать въ губернскую почву. Меня тянуло самого, то въ тотъ, то въ другой домъ, гдѣ было поживѣе, повеселѣе, гдѣ меня больше ласкали. Но надъ всѣмъ этимъ губернскимъ людомъ царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигдѣ не горѣло, не было ни одного кружка, который бы интересовался какимъ-нибудь общественнымъ, ученымъ, эстетическимъ вопросомъ.

Мѣстные интересы сосредоточивались на выборахъ, этихъ потѣшныхъ каррикатурахъ на выборное начало. Дѣло было вовсе не въ выборахъ, а въ обѣдахъ, танцахъ, въ картахъ.

Оторванный отъ занятій университетской жизни — я читалъ въ-одиночку, сплошь, что попадалось подъ руку, и не съ кѣмъ было даже дѣлиться впечатлѣніями и мнѣніями о прочитанномъ. Въ городѣ ни библіотеки, ни театра. Приходилось плыть по теченію мѣстной жизни. Въ карты я не игралъ и не обнаруживалъ наклонности къ нимъ: за это многіе „солидные“ люди почти презирали меня. Но зато я, какъ всѣ молодые, развлекался на балахъ кадрильнымъ ухаживаньемъ, съ робкими комплиментами, за губернскими дѣвицами или „барышнями“ какъ ихъ тогда называли. И все это подъ строгимъ контролемъ маменекъ или тетушекъ, которыя, пуще всякой полиціи, съ материнскимъ разсчетомъ, слѣдили за каждымъ взглядомъ и движеніемъ танцующихъ паръ. Протанцуешь, бывало, съ какой-нибудь „барышней“, которая приглянется, мазурку на двухъ вечерахъ сряду, начнешь заѣзжать въ домъ — губернаторша уже посматриваетъ насмѣшливо.

— Вамъ нравится Лиза Р—вая?—безцеремонно, по-начальнически спроситъ.

— Да, она хорошенькая.

— А еще что?

— Еще?.. умна, любезна, держитъ себя просто...

— Прибавьте еще, не скупитесь...—И смѣется. Чуча смѣется во всю ширину своихъ большихъ щекъ. Лина всегда уползетъ изъ комнаты, если разговоръ коснется при ней. Вѣсти шли черезъ нее. И Софья Львовна лукаво посматриваетъ на меня мелькомъ, съ затаенной булавкой ироніи въ улыбкѣ, и очень мило краснѣетъ. Я оглядываюсь во всѣ стороны. Войдетъ губернаторъ.

— Правда ли, что вы влюблены въ Р—ую? — хватитъ вдругъ при всѣхъ.

— Я! помилуйте!

— Ужъ признайтесь лучше!—шутитъ губернаторша.

И три дня городъ говоритъ, что я влюбленъ въ Р—ую. И дома пытаютъ меня, шутятъ надо мной. Мать моя принимаетъ это серьезно, шопотомъ предупреждаетъ, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нея — эхидная, „и притомъ гордая, прочитъ дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача, и за тебя не отдастъ“.

— Вонъ куда пошло! Да развѣ я женихъ кому бы ни было! — Я готовъ былъ, какъ Чуча, приложить ладони къ вискамъ и бѣжалъ къ себѣ вверхъ, на „вышку“, прятаться за книгу.

Это повторялось раза три въ зиму, и я не зналъ, какъ бы мнѣ выбраться на свободу. Но вотъ зимній сезонъ кончился, прошелъ и Великій постъ. Изъ города стали разъѣзжаться, и къ празднику оставались почти одни только служащіе, купцы и другіе постоянные городскіе жители. Я съ тоской, чуть не съ ужасомъ, ждалъ наступленія лѣта, и, наконецъ, сталъ намекать губернатору, что мнѣ нужно бы съѣздить въ Москву, за аттестатомъ, и кстати повидаться съ братомъ и воротиться вмѣстѣ съ нимъ. Губернаторъ удерживалъ, говорилъ, что хотѣлъ самъ проситься въ отпускъ, обѣщалъ взять меня съ собой. Добышевъ настаивалъ, чтобы я поскорѣе подалъ прошеніе и выписалъ изъ университета аттестатъ. Я медлилъ, и слава Богу. Ни прошенія, ни аттестата не понадобилось.

Я продолжалъ свою службу, ѣздилъ въ канцелярію, „исполнялъ“, уже безъ руководства Добышева, текущія бумаги, носилъ ихъ къ подписанію его превосходительству, а часа въ три возвращался домой, къ обѣду.

Однажды, поднимаясь по обыкновенію около 12 часовъ, съ заготовленными бумагами, на лѣстницу, я

узналъ, что у губернатора уже съ 11 часовъ сидитъ гость, помѣщикъ Ростинъ, тотъ самый другъ Якубова, о которомъ я говорилъ выше. Онъ мнѣ коротко знакомъ: еще недавно у него, въ близкой къ городу деревнѣ, на масляницѣ, былъ трехдневный праздникъ, на которомъ я отплясалъ себѣ ноги. Я безъ церемоніи вошелъ съ бумагами прямо въ кабинетъ.

Губернаторъ и помѣщикъ сидѣли въ отдаленномъ углу и о чемъ-то съ жаромъ говорили. Увидя меня, Углицкій быстро, скороговоркой сказалъ:

— Послѣ, послѣ! Положите бумаги и пройдите къ Марьѣ Андреевнѣ, или въ канцелярію.

Я успѣлъ замѣтить, что онъ былъ сильно встревоженъ, на немъ лица не было. Ростинъ тоже былъ очень серьезенъ и, повидимому, что-то сообщалъ по секрету. Ростинъ наскоро поздоровался со мной. Углицкій съ нетерпѣніемъ ждалъ, чтобы я ушелъ. „Притворите, пожалуйста, за собой дверь, и скажите, чтобы никого не принимали!“ — попросилъ онъ меня. Я передалъ человѣку его приказаніе и пошелъ въ гостиную.

Въ залѣ никого не было. Въ гостиной сидѣла Чуча.

— Здравствуйте! — сказала она, улыбнулась на минуту и, обдернувъ сзади юбку, вильнула таліей и турнюрой, какъ она иногда дѣлала для граціи.

— Вы отъ Льва Михайловича теперь?—вдругъ серьезно, даже съ безпокойствомъ спросила она.

— Да, отъ него: а что?

— Что̀ тамъ дѣлается?

— Тамъ сидитъ Егоръ Степановичъ.

— Да, я знаю: я его видѣла. А еще?

— Еще — никого нѣтъ: а вамъ нужно кого-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ (она замотала головой), мнѣ не нужно! Марья Андреевна посылала меня къ нему: я отворила

дверь, а Левъ Михайловичъ такъ взглянули на меня, такъ взглянули... ахъ! — Она приложила ладони къ вискамъ.—И махнули рукой—вотъ такъ (она махнула), чтобы я ушла.

— Потомъ что́?

— Ничего. Марья Андреевна думала, что я перепутала что-нибудь и послала Сонечку посмотрѣть: онъ и ей махнулъ рукой. „Поди, говоритъ, къ себѣ и скажи, чтобы намъ не мѣшали“.

Услышавъ мой голосъ, вошла Софья Львовна, задумчивая, почти печальная.

— Вы были у папа́? — спросила она меня.

— Да. Тамъ Ростинъ сидитъ: они о чемъ-то по секрету разговариваютъ.

— Maman очень безпокоится.

— А гдѣ Марья Андреевна? — спросилъ я.

— Она посылала за Линой и теперь заперлась съ ней и что-то шепчутъ... Я боюсь!—печально прибавила она.

— Ахъ, и я боюсь! — повторила Чуча.

— Да чего: что̀ такое? — приставалъ я.

Отвѣта не было. Мы трое стояли и вопросительно глядѣли другъ на друга.

Скоро мы заслышали, что гость уходитъ изъ кабинета; губернаторъ проводилъ его до пріемной и вошелъ къ намъ.

— Гдѣ Марья Андреевна?—спросилъ онъ торопливо, и, не дождавшись отвѣта, пошелъ къ ней, а меня попросилъ идти въ канцелярію и позвать къ нему Добышева.

Я передалъ Добышеву приглашеніе и ожидалъ въ канцеляріи его возвращенія. Но въ три часа онъ не сходилъ, и я уѣхалъ домой.

— Ну, что́?—съ тревогой спросилъ меня крестный.— Правда это?

— Что̀ правда?

— Губернаторъ уволенъ?

Я остолбенѣлъ.—Я ничего не знаю, не слыхалъ, но похоже на правду... — Я разсказалъ ему о посѣщеніи Ростина, о смущеніи Углицкаго и всѣхъ въ домѣ.

Якубовъ разсказалъ мнѣ, что Ростинъ заѣзжалъ къ нему и показывалъ письмо изъ Петербурга, съ извѣстіемъ, что губернаторъ причисляется къ министерству, и прибавилъ, что теперь вѣроятно весь городъ знаетъ о томъ.

XIV.

Извѣстіе подтвердилось. На другой день я засталъ живые толки въ канцеляріи. Чиновники не сидѣли на своихъ мѣстахъ, а собирались кучками и шептались. Добышевъ хмуро встрѣтилъ меня, подтвердивъ, что дѣйствительно извѣстіе объ увольненіи губернатора получено, но указа еще нѣтъ.

— Подите вверхъ, — сказалъ онъ: — его превосходительство ждетъ васъ.

Я не зналъ, какъ показаться, и зашелъ прежде на женскую половину. Чуча, завидя меня, хотѣла улыбнуться, но вмѣсто этого ахнула и приложила ладони, сначала къ вискамъ, потомъ закрыла ими лицо и залилась слезами.

— Что́ вы? — спросилъ я съ участіемъ: — о чемъ вы плачете?

— Ахъ, какое горе! Развѣ вы не знаете?.. Левъ Михайлычъ... уво... уволенъ... уѣзжаетъ... и Сонечка тоже... — Слезы не дали ей договорить.

Вышла Софья Львовна, тоже со слѣдами слезъ. На мой вопросъ, правда ли это, она грустно шепнула: — Да... кажется... Мы... мы уѣдемъ... Прощайте!.. — И отвернулась.

— Какъ „прощайте“! Я не останусь здѣсь, я поѣду вслѣдъ за вами! — живо перебилъ я. — Я давно рвусь отсюда.

— Да? Merci... Я рада, — тихо сказала она. — Подите теперь къ папá, поговорите съ нимъ, успокойте его какъ-нибудь. Онъ ходитъ въ кабинетѣ одинъ, никого не принимаетъ...

Я вошелъ въ кабинетъ. Левъ Михайлычъ ходилъ большими шагами по кабинету. Онъ обрадовался мнѣ, точно другу.

— Слышали? — почти закричалъ онъ: — каковы молодцы! Добились-таки чего хотѣли!

— Кто? — тихо спросилъ я.

— Кому же, какъ не жандарму! Подслужился! въ генералы хочется, да въ столицу. Нѣтъ, этому не бывать, какъ Богъ святъ, не бывать! — Онъ даже перекрестился.—Я еще не выжилъ изъ ума, языкъ у меня есть, за словомъ въ карманъ не полѣзу. Я тамъ открою глаза на его „ревностную и неусыпную службу“!

— Что за причина? За что? — рискнулъ я спросить и раскаялся.

Онъ пролилъ цѣлое море жёлчи на жандармовъ, и на всѣхъ, кого онъ подозрѣвалъ изъ губернскихъ властей въ интригѣ противъ него. И надо отдать ему справедливость, мастерски освѣтилъ фигуры своихъ „враговъ“.

— Вотъ вы тянулись все въ Петербургъ, — заключилъ онъ: — я не только не удерживаю васъ, но настоятельно прошу уѣхать изъ этого болота! И чѣмъ

скорѣе, тѣмъ лучше! Вы здѣсь даромъ истратите свѣжія, молодыя силы, и ничего не пріобрѣтете, никакого опыта — ни въ службѣ, ни въ жизни. Васъ подведутъ, насплетничаютъ, очернятъ, испортятъ вамъ репутацію, и карьера ваша пропадетъ! Женятъ васъ на какой-нибудь Голендухѣ Поликакіевнѣ, и вы загубите вѣкъ свой въ глуши, среди чиновной челяди, взяточниковъ, тупоумныхъ помѣщиковъ...

И пошелъ, и пошелъ рисовать мнѣ картину, совсѣмъ противоположную той, какую рисовалъ, когда приглашалъ меня остаться.

— Я зналъ все это,—сказалъ я ему:—и не остался бы долго ни въ какомъ случаѣ, тѣмъ болѣе теперь, когда вы уѣзжаете...

Тутъ онъ наконецъ подалъ мнѣ руку и горячо пожалъ мою.

— Что же вы намѣрены дѣлать? — спросилъ онъ.

— Ѣхать вслѣдъ за вами...

— А отчего не съ нами? — почти нѣжно спросилъ онъ.

— Если это не стѣсняетъ васъ—и если я вамъ могу быть чѣмъ-нибудь полезенъ...

Онъ не далъ мнѣ договорить и стремительно обнялъ меня.

— Благодарю. Не только полезны, вы мнѣ будете необходимы: я многаго жду отъ вашей... дружбы,—нерѣшительно прибавилъ онъ. —Но объ этомъ послѣ. Теперь главное — выбраться изъ этой лужи! Поѣдемте. Я вамъ найду мѣсто въ любомъ министерствѣ. Сдайте дѣла Добышеву: пусть онъ управляетъ... губерніей!

Онъ ѣдко засмѣялся и тяжело вздохнулъ.

— Я подозрѣваю,—прибавилъ онъ,—между нами сказать, и самого Добышева въ этой интригѣ... да! И пред-

сѣдателя тоже... Яркина... Архіерей тоже послѣднее время что-то косился на меня... Вы не замѣтили, какъ онъ бывалъ сухъ?..

Я чуть не засмѣялся. Еще немного — и онъ, въ числѣ враговъ, назвалъ бы, пожалуй, Чучу. Перебирая своихъ враговъ, онъ забылъ помянуть главнаго: самаго себя.

— Пріѣзжайте ко мнѣ ужò вечеромъ: мы потолкуемъ. А теперь я еще въ ажитаціи... И онъ опять зашагалъ по кабинету.

Я сталъ раскланиваться. Въ это время распахнулась дверь, и въ кабинетъ стремительно вошелъ Андрей Петровичъ Прохинъ, чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Онъ былъ навеселѣ, въ возбужденномъ состояніи.

— Чтò я слышалъ, ваше превосходительство! Ужели это правда? — началъ онъ, подбѣгая къ губернатору и съ паѳосомъ складывая руки на груди. — Ужели это правда? — обратился онъ и ко мнѣ.—Кàкъ: нашъ добрый, благородный начальникъ покидаетъ насъ! Нѣтъ, это невозможно! скажите, что это неправда!

— Вы выздоровѣли?—вдругъ спросилъ его Углицкій вмѣсто отвѣта.

— Да-съ: проходитъ, прошло... Какъ только я услыхалъ убійственную вѣсть, у меня все какъ рукой сняло... Извольте видѣть.

Онъ вытягивался передъ Углицкимъ.

— Да, вижу...—сказалъ губернаторъ, глядя на него съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ.

— Побѣгу, — думалъ я, — узнаю: можетъ быть, неправда! — твердилъ Прохинъ.

— Правда!—заговорилъ губернаторъ.—Вы не ожидали этого? И никто не ожидалъ, и, надѣюсь никто не желалъ...

*

— Никто, клянусь честью, никто!—патетически повторилъ Прохинъ. — Вы такъ много сдѣлали для губерніи, для всѣхъ насъ, для купечества, для мѣщанства... для народа!.. И не признать, не оцѣнить этого! Позвольте, ваше превосходительство, написать объяснительную подробную записку... У меня уже планъ въ головѣ готовъ...

— Да, да, пожалуйста, — уцѣпился за предложеніе Углицкій:—я хотѣлъ объ этомъ просить, но вы были... нездоровы. Никто, кромѣ васъ, не напишетъ...

— Правда, ваше превосходительство, правда: никто, никто! И онъ (указывая на меня) ни за что не напишетъ. Онъ пишетъ чувствительно, но не дѣловито. Я сегодня же засяду...

— Мы возьмемъ записку съ собой въ Петербургъ,— перебилъ губернаторъ: — Вѣдь вы поѣдете со мной, не откажетесь?..

— Нѣтъ, ваше превосходительство! Отказаться! На край свѣта за вами...

Онъ поцѣловалъ его въ плечо.

— Вотъ и онъ ѣдетъ!—указалъ губернаторъ на меня.

— Вы благородный, благородный человѣкъ, человѣкъ съ сердцемъ! — съ жаромъ отозвался Прохинъ и бросился цѣловать меня.

Уфъ! меня точно въ винную бочку посадили!

Прохинъ сталъ изливаться передъ губернаторомъ въ чувствахъ, или „чувствованіяхъ“ преданности, какъ онъ выражался, а губернаторъ живо ухватился за предложеніе писать записку въ Петербургъ и быстро увѣровалъ въ ея неотразимость и силу. Они горячо заговорили. Углицкій кидалъ мысль за мыслью, оттѣнялъ ихъ живыми деталями.

— Слушаю, слушаю! Вотъ еще надо то включить, другое...—поддакивалъ Прохинъ. Оба они говорили въ одно время, перебивая другъ друга.

Я ушелъ. — До вечера!—сказалъ мнѣ вслѣдъ губернаторъ.

Я ничего не говорилъ объ этомъ Прохинѣ. Онъ былъ полненькій, кругленькій сорокалѣтній человѣкъ средняго роста, съ сѣроголубыми на выкатѣ глазами, съ одутловатыми отъ вина щеками, вѣчно съ влажнымъ подбородкомъ и руками, такъ что послѣ его рукожатія надо было обтирать руку. Впрочемъ, онъ былъ не непріятной наружности и пріятный въ обращеніи.

Онъ служилъ по особымъ порученіямъ, собственно по письменной части. А писать онъ былъ великій мастеръ. Его докладныя объяснительныя и оправдательныя записки были шедеврами. Онъ былъ извѣстное перо въ губерніи. Онъ воспиталъ свой стиль сначала въ семинаріи, потомъ въ казанскомъ университетѣ, на хріяхъ, періодахъ, тропахъ, фигурахъ, метафорахъ, свидѣтельствахъ отъ противнаго, подобіяхъ и прочихъ тонкостяхъ риторики. Никогда отъ нихъ не отступалъ и признавался мнѣ, что еслибъ и захотѣлъ, то не могъ бы отступить. „Ужъ очень втянулся, — говорилъ онъ. — Когда возьму перо въ руку, такъ первое является у меня — не что̀ писать, а ка̀къ писать? Ядро мысли вылупляется на другой страницѣ листа, а на первую просится вступленіе, потомъ занимаетъ меня соображеніе о числѣ посылокъ“ и т. д.

Слогъ у него былъ плавный, текучій, пріятный. Бывало, вникая въ дѣла, читаешь и зачитываешься этой его дѣловой литературой. Нигдѣ, что называется, ни сучка, ни задоринки. Такъ и льется рѣчь, какъ тихая рѣка. Ни нечаянныхъ оборотовъ, ни сильныхъ взмаховъ

и ударовъ пера, ни поразительныхъ неожиданностей. И какой тонкій, искусный казуистъ онъ былъ! Какъ онъ умѣлъ подсказанный ему Углицкимъ софизмъ развести въ сладкой водѣ фигуръ и троповъ.

Къ сожалѣнію, всѣми качествами его пера и пріятнаго характера не часто приходилось пользоваться. Онъ являлся у губернатора мѣсяца два-три сряду, потомъ мѣсяца на три пропадалъ, запирался дома и... пилъ запоемъ. Когда спросятъ, что его не видать, губернаторъ, пожавъ плечами, скажетъ, что онъ „dans les vignes du Seigneur", а другіе просто выражались: „запилъ". Потомъ отрезвляется, и какъ ни въ чемъ не бывало, является, пишетъ дѣловыя записки, со всѣми любезенъ, ласковъ, пріятенъ.

Но въ пьяномъ образѣ бывалъ свирѣпъ. Изъ оконъ своего невысокаго деревяннаго домика, гдѣ жилъ съ своимъ отцомъ, престарѣлымъ, заштатнымъ священникомъ, показывалъ прохожимъ языкъ, грозилъ кулакомъ или плевался. Иногда выходилъ въ сѣромъ халатѣ на улицу, въ галошахъ на босу-ногу, и шелъ въ кабакъ, если дома не давали пить.

Вотъ и весь Прохинъ, бывшій мой сослуживецъ и будущій спутникъ до Петербурга.

Ко мнѣ онъ очень благоволилъ, но слога въ моихъ бумагахъ не признавалъ, и весьма основательно, потому что его не было. Не любилъ онъ еще одного—зачѣмъ я зналъ иностранные языки, а онъ нѣтъ. Когда мнѣ случилось при немъ отвѣчать губернатору или губернаторшѣ по-французски на ихъ вопросы на этомъ языкѣ, онъ на меня дулся. Вообще въ немъ таилась заноза противъ всѣхъ знавшихъ языки. „Знай я ихъ, эти разпрепроклятые языки, — проговаривался онъ за пуншемъ, среди своихъ,—изъ меня бы вышла не та фигура!"

Оставивъ его съ губернаторомъ и сойдя внизъ, я сдалъ всѣ бумаги опять Добышеву и передалъ ему ключъ отъ шкафа съ дѣлами.

— Что̀ такъ торопитесь: успѣли бы!—сухо замѣтилъ онъ.

Съ чиновниками канцеляріи я простился дружелюбно, пожавъ имъ всѣмъ руки въ первый и послѣдній разъ: они были уже не подчиненные мнѣ. Сторожу Чубуку на его „прощенья просимъ"—я далъ рубль и пріѣхалъ домой отставнымъ-неслужившимъ чиновникомъ, и сталъ готовиться къ скорому отъѣзду въ Петербургъ.

Я не касаюсь здѣсь причины увольненія Углицкаго. Въ губерніи его жаловали мужчины, особенно безсемейные, любившіе весело пожить, да и всѣ охотно ѣздили къ нему, принимали у себя, благодаря его живому, веселому, любезному характеру, его свѣтскости. тону, обходительности. Дамы были отъ него безъ ума,

Для дѣлъ онъ не сдѣлалъ ничего, ни дурного, ни хорошаго, какъ и его предмѣстники. Были, правда, у него порывы, въ родѣ вышеописаннаго: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, замѣстить казнокрадовъ порядочными людьми, но онъ былъ не геркулесъ, чтобы очистить эти авгіевы конюшни. Гдѣ ему? У него вдругъ загорится порывъ, вспыхнетъ и скоро простынетъ.

Поводовъ къ его удаленію было, вѣроятно, найдено не мало: какихъ-нибудь мелкихъ чиновничьихъ придирокъ по дѣламъ. Но была и одна крупная причина, которая восходила до начальства дѣйствительно, какъ я слышалъ, стороной, черезъ жандармовъ.

Причина эта была посторонняя службѣ: она не подводила губернатора ни подъ какой формальный судъ и въ обществѣ вызывала только снисходительную улыбку

и насмѣшливые толки. Она касалась не дѣлъ, а самой личности его, не шла къ его сану и положенію.

Онъ былъ... женолюбивъ. Въ „наукѣ страсти нѣжной“ онъ, какъ Онѣгинъ, должно быть, находилъ „и муку, и отраду“. Я еще тамъ, на мѣстѣ, слышалъ кое-какія исторіи о его „любвяхъ“, но не придавалъ слухамъ тогда значенія. Въ Петербургѣ уже я, частію былъ самъ свидѣтель, частію по его собственнымъ разсказамъ, могъ убѣдиться, что не только все слышанное о немъ на Волгѣ было справедливо, но и въ томъ, какъ безвозвратно и неисцѣлимо онъ былъ преданъ этой „наукѣ“, т.-е. страсти нѣжной, и какой былъ великій стратегъ и тактикъ въ ней.

Можно бы было написать нѣсколько томовъ его любовныхъ исторій, въ родѣ мемуаровъ Казановы, еслибъ всѣ такія исторіи не были однообразны, до крайности ношлы и не пріѣлись всѣмъ до тошноты. Онѣ могутъ быть занимательны только для самихъ дѣйствующихъ въ нихъ лицъ и больше ни для кого.

Еслибъ Углицкій умѣлъ писать, онъ непремѣнно изобразилъ бы себя съ своимъ обширнымъ гаремомъ и обогатилъ бы всеобщую эротическую исторію еще однимъ многотомнымъ увражемъ, въ родѣ сочиненій маркиза де Сада, Брантома и вышепомянутаго Казановы.

Къ счастію для него и для читателей, онъ былъ слабъ въ грамотѣ. Онъ явился бы въ блескѣ своего фатовства и того „хладнокровнаго разврата“, которымъ, по свидѣтельству поэта, „славился“ старый вѣкъ. Углицкій, какъ и Казанова, его прототипъ, не годился въ Отелло, Ромео, даже въ Донъ-Жуаны, а прямо въ Фобласы. Онъ не зналъ никакихъ нѣжныхъ чувствъ, страстныхъ изліяній, слезъ и мукъ разлуки, ревности — всего того, чѣмъ красна человѣческая любовь. И если иногда при-

бѣгалъ къ этому, то единственно какъ къ средству для достиженія желаемой, извѣстной и скорой развязки.

А достигнувъ ея, искалъ новаго — и такъ безъ конца.

Все это стало въ провинціи выходить наружу. Мужья загораживали отъ него женъ, но онъ, своею вкрадчивостью, тонкой лестью, потомъ наружностью и манерами, успѣвалъ ловко вести и маскировать свою ловеласовскую политику, проникалъ въ замкнутые круги и имѣлъ успѣхъ, которымъ самъ же подъ рукой хвастался. Однако шило стало прокалывать мѣшокъ. Разсказывали, что его домашній чиновникъ тайкомъ провожалъ къ нему по вечерамъ одну „барыню, будто бы изъ порядочнаго семейства". Потомъ говорили, что жена одкого изъ его чиновниковъ пользовалась его благосклонностью, и что отъ этого, и ей, и мужу было хорошо. Наконецъ, говорили (это уже сплетня, должно быть), что женихъ одной красивой дѣвицы... побилъ его по секрету за... черезъ-чуръ явное и усердное поклоненіе своей невѣстѣ.

Вотъ это послѣднее обстоятельство — секретные побои — и послужило будто бы главнымъ мотивомъ доноса на губернатора и его отозванія. „Скандалъ, дескать: дурной примѣръ подаетъ!"

Я этому не вѣрилъ и до сихъ поръ не вѣрю, т. е. въ причину отозванія. Но вообще въ романахъ Углицкаго теперь уже сомнѣваться не могу: самъ видѣлъ ихъ потомъ въ Петербургѣ и за границею. Перомъ не коснусь ни одного изъ нихъ, по вышесказанной причинѣ. Всѣ они одинаково пошлы, и только въ живыхъ разсказахъ этого Фобласа казались остроумны и веселы. Онъ прикрывалъ свои романы лоскомъ хорошаго тона, наружнаго приличія, даже галантнаго рыцарства.

Тотъ ли или другой мотивъ повелъ къ удаленію Углицкаго, но онъ вскорѣ, въ маѣ мѣсяцѣ, оставилъ губернію, съ семействомъ, еще съ Прохинымъ, и убѣдительно пригласилъ ѣхать вмѣстѣ и меня. „Веселѣе ѣхать вмѣстѣ!"—прибавилъ онъ. Я охотно согласился.

Я простился съ родными надолго, а съ Якубовымъ навсегда. Мы крѣпко обнялись съ нимъ, не предчувствуя оба, что болѣе не увидимся. Я посѣтилъ родину ровно черезъ четырнадцать лѣтъ, но его уже не засталъ въ живыхъ.

XV.

Еслибъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ отъ С. до Москвы существовала желѣзная дорога, намъ понадобился бы цѣлый отдѣльный поѣздъ: такъ много насъ выѣхало изъ города.

Впереди ѣхалъ дормёзъ съ губернаторомъ и его семействомъ, т. е. ихъ собственно было трое: мужъ съ женой и дочь. А затѣмъ на полверсты растянулась вереница экипажей съ провожатыми обоего пола. Поѣздъ замыкался коляской-тарантасомъ, гдѣ помѣщались я и Прохинъ, съ лакеемъ на козлахъ. А сзади насъ—бричка съ прислугой: горничной, камердинеромъ, еще лакеемъ и мальчикомъ.

Углицкій пересаживался изъ экипажа въ экипажъ, отплачивая любезностями за проводы. Къ Марьѣ Андреевнѣ по очереди садились почетныя губернскія дамы. Въ бывшемъ губернаторскомъ городскомъ экипажѣ ѣхала, шептали тогда злые языки, la favorite en titre Углицкаго, жена его чиновника, да Чуча съ Линой.

Чуча была вся распухшая отъ слезъ, а Лина, сжавъ губы, смотрѣла на все злыми глазами, особенно на Чучу, и эхидно молчала. Горничная Марьи Андреевны разсказы-

вала уже въ Москвѣ, что губернаторша не хотѣла разставаться съ Линой, звала ее съ собой, но некуда было дѣть Чучу. Лина злобно жаловалась горничной, что сестра ея заѣдаетъ ей вѣкъ, что, не будь этой „немогучки“, она, Лина, была бы въ Петербургѣ, гдѣ, разумѣется, оцѣнили бы ея „золотыя руки“, и она вышла бы замужъ.

Кромѣ Лины и Чучи, всѣ въ поѣздѣ были крайне веселы, особенно самъ Углицкій, нужды нѣтъ, что онъ уѣзжалъ въ качествѣ опальнаго. Напротивъ, онъ веселился мыслью, что у него въ хвостѣ поѣзда ѣхалъ Прохинъ, уже съ готовой краснорѣчивой, неотразимой оправдательной запиской, прочтя которую, всѣ начальства примутъ его съ распростертыми объятіями, будутъ гладить по головѣ, жандарма изъ провинціи прогонятъ и прочихъ „враговъ“ прихлопнутъ, а ему дадутъ лучшую губернію на выборъ, или сдѣлаютъ его сенаторомъ.

Одѣтый щегольски, въ форменномъ сюртукѣ, со звѣздой, онъ, съ такими мечтами, весело оглядывалъ длинный поѣздъ провожатыхъ, садился то къ тѣмъ, то къ другимъ дамамъ, и даже нашелъ четверть часа посидѣть въ каретѣ наединѣ съ favorite en titre и... нѣжно, à la Казанова, съ нею проститься.

Это была какая-то увеселительная поѣздка, въ родѣ тѣхъ, судя по описаніямъ, какія совершались богатыми вельможами Екатерининскихъ временъ, ѣздившими изъ своихъ имѣній въ столицу. А тутъ ѣхалъ эксъ-губернаторъ, съ единственными шестью или семью тысячами рублей (ассигнаціями), вырученными отъ продажи мебели, экипажей, лошадей и всего движимаго имущества, но съ радужными надеждами на будущее. Онъ шутилъ, острилъ, смѣшилъ дамъ и самъ смѣялся.

Добышева въ числѣ провожатыхъ не было. Онъ терся уже около новаго губернатора. Я забылъ сказать, что послѣдній пріѣхалъ за нѣсколько дней до нашего выѣзда и вступилъ въ управленіе губерніей. Всѣ подчиненные оставались при немъ, и только на данномъ отъѣзжающему дворянствомъ завтракѣ выпили за его здоровье и разошлись.

На одной изъ станціи былъ заготовленъ обѣдъ, послѣ котораго бо́льшая часть провожатыхъ воротилась. Чуча разревѣлась на прощанье такъ, что тронула всѣхъ. Она положила голову на плечо Софьи Львовны и плакала навзрыдъ. Лина сердито оторвала ее, толкнула въ карету и, пошептавъ что-то на прощанье губернаторшѣ, сама юркнула въ экипажъ и сильно захлопнула дверцы.

Еще нѣсколько самыхъ веселыхъ изъ нашихъ провожатыхъ, близкихъ безсемейныхъ пріятелей Углицкаго, поѣхали дальше впередъ, и въ богатомъ барскомъ селѣ приготовили, въ домѣ управляющаго имѣніемъ, обильный ужинъ и ночлегъ. Углицкому съ семействомъ отведены были лучшія комнаты, а намъ, помнится, четверымъ, постлали постели на полу большой залы. Но Углицкій легъ съ нами. Прохина, за недостаткомъ мѣста, помѣстили на ночь въ крестьянской избѣ, до того обильной клопами, что онъ всю ночь, какъ разсказывалъ, только и дѣлалъ, что высовывался до пояса изъ оконъ отъ боли и бранился на все село. Спать было немыслимо. „А мужики, бестіи, говоритъ, знай-храпятъ себѣ около меня“.

Мы же всѣ, т. е. Углицкій, гости и я, спали въ повалку. Наслушались же мои молодые уши въ эту ночь разсказовъ и анекдотовъ полупьяной компаніи! Особенно отличались самъ Углицкій и его близкій пріятель, Брашинъ. Одинъ анекдотъ скабрёзнѣе и смѣшнѣе другого,

и одинъ особенно былъ такъ нечистъ и вмѣстѣ такъ смѣшонъ, что съ нашимъ хохотомъ вдругъ раздался хохотъ камердинера, которому все было слышно въ передней. Разсказчики не стѣснялись. Анекдоты Углицкаго изобиловали и кощунствомъ. Между тѣмъ, ложась спать, онъ снялъ съ груди тонкую металлическую, вершка въ два величиной, икону и просилъ меня положить на столѣ, рядомъ со мной, предварительно приложившись къ ней.

На другое утро, наконецъ, мы поѣхали уже одни, въ трехъ экипажахъ. Впереди дормёзъ съ Углицкимъ, его женой и дочерью, потомъ мы съ Прохинымъ въ коляскѣ, а сзади бричка съ прислугой. Погода была прекрасная, наше расположеніе духа тоже. Мой спутникъ, Прохинъ, совсѣмъ оправившійся отъ своего періодическаго „недуга", былъ шутливъ, веселъ, пріятенъ. Онъ острилъ надъ вчерашними проводами, и самъ Углицкій тоже. Послѣдній перссаживался изъ дормёза къ намъ въ коляску и почти все время ѣхалъ съ нами. Онъ мастерски изобразилъ въ каррикатурѣ прощанье и рѣчи, и между прочимъ, чего я никакъ не ожидалъ, самъ разболтался о нѣжномъ прощаньѣ въ каретѣ съ „дамой сердца".

— Вамъ жаль ее?—спросилъ я съ участіемъ.

— Мнѣ!—Онъ засмѣялся.—Я смотрю теперь на нее—вотъ какъ на этого барана!—сказалъ сѣдой фатъ, указывая на кучку лежавшихъ въ тѣни около дороги барановъ.

Прохинъ зло и остроумно подшучивалъ, когда, при переѣздѣ вбродъ черезъ рѣчку или черезъ ветхій, сомнительной прочности мостъ, Углицкій пропускалъ впередъ насъ, на случай опасности. Марья Андреевна ѣхала хмурая и кислая, вздыхая по роли первой дамы въ губерніи. Софья Львовна успѣла загорѣть и очень весело улыбалась мнѣ изъ окна, когда карета на поворотахъ

оборачивалась къ намъ бокомъ. На станціяхъ мы урывками мѣнялись съ нею нѣсколькими словами, смѣялись, если попадалось что̀ смѣшное. Углицкіе просили меня взять на себя роль казначея, платить прогоны, на водку ямщикамъ и за то̀, что̀ забирали на станціяхъ, такъ что мнѣ немного выпадало на долю поболтать съ этой милой, острой и веселой дѣвушкой.

Весело, покойно, въ трое сутокъ, докатились мы до Москвы. Углицкіе остановились у своей старой тетки, на Арбатѣ, а я отправился къ товарищу, съ которымъ жилъ и мой братъ. Углицкій предупредилъ меня, чтобы я дней черезъ пять-шесть навѣдался о днѣ отъѣзда и былъ готовъ. Долѣе недѣли онъ въ Москвѣ оставаться не хотѣлъ.

Проведя весело, съ друзьями и товарищами, нѣсколько дней, я въ назначенное утро поѣхалъ къ Углицкому навѣдаться, когда мы выѣзжаемъ.

— Мы всѣ готовы,—сказалъ онъ:—все уложено, завтра хотѣли выѣхать, да Андрей Петровичъ...

— А что съ нимъ?—спросилъ я.

— Развѣ вы не знаете? Вотъ пойдемте!

Онъ повелъ меня въ маленькій деревянный флигель съ большимъ окномъ, выходившимъ на улицу. Въ немъ была одна комната, безъ передней, съ печкой, кроватью и тремя соломенными стульями. Мы изъ переулка шагнули прямо въ комнату.

За маленькимъ столомъ, въ сѣромъ халатѣ, сидѣлъ Прохинъ, съ повязанной около шеи салфеткой, и обѣдалъ, т. е. старался обѣдать, но это ему не удавалось. Мальчикъ-лакей держалъ передъ нимъ тарелку съ супомъ. Прохинъ черпалъ ложкой изъ тарелки, подносилъ ко рту, но руки дрожали, и супъ проливался на салфетку и халатъ.

— Здравствуйте, Андрей Петровичъ!—сказали мы оба.

Онъ не обернулся, не посмотрѣлъ на насъ, продолжая неудачныя попытки попасть ложкой въ ротъ.

— Каковъ? — отчаянно, вслухъ, сказалъ мнѣ Углицкій.—Что съ нимъ дѣлать? Я не знаю, какъ быть!

И я не зналъ и ничего не сказалъ, разглядывая Прохина. Глаза у него были мутные, съ красноватымъ блескомъ, борода небритая. Лицо влажное, точно вымазано масломъ. Онъ не мигая, уставилъ глаза въ окно, на заборъ и канаву, заросшую крапивой.

— Когда это онъ успѣлъ?—спросилъ я. — Вѣдь онъ оправился совсѣмъ передъ отъѣздомъ!

— Первые три дня онъ былъ очень хорошъ, а потомъ встрѣтилъ какого-то пріятеля, сталъ пропадать, и третьяго дня вечеромъ его привезли домой безъ чувствъ. Ни везти съ собой нельзя, ни оставить здѣсь!—говорилъ въ печальномъ раздумьѣ Углицкій.—Il m'a joué un tour! А я думалъ, что онъ поможетъ мнѣ въ Петербургѣ перомъ! А онъ—вонъ что! Между тѣмъ, къ оправдательной запискѣ нужно бы сдѣлать нѣкоторыя дополненія... Развѣ вы поможете... вы не откажетесь?

— Конечно, нѣтъ!—успокоилъ я его, видя, что онъ все упованіе оправдаться возлагалъ на эту проблематическую записку. — Теперь пока надо рѣшить, что̀ дѣлать съ Андреемъ Петровичемъ...

— Вотъ что мы сдѣлаемъ! — вдругъ живо отозвался Углицкій, у котораго идеи, намѣренія вспыхивали внезапно, какъ искры.—Я отправляю камердинера съ бричкой назадъ: съ ними поѣдетъ назадъ и онъ.

Онъ указалъ на Прохина. — Вотъ и прекрасно: c'est une idée! Итакъ, рѣшено: завтра я отправлю его, а послѣ-завтра выѣдемъ и мы...

При этихъ словахъ, Прохинъ медленно поворотилъ голову къ намъ. Глаза у него блеснули. Онъ сорвалъ съ шеи салфетку и бросилъ на полъ.

— Да, и „прекрасно“!—обратился онъ къ намъ, передразнивая Углицкаго. — Вы хотите отправить меня, какъ куль съ поклажей, съ вашимъ лакеемъ: таковскій-дескать! Бросить его, какъ негодную клячу. „Пусть околѣваетъ!“ Что же, бросьте, ваше превосходительство...

Мы съ Углицкимъ переглянулись другъ съ другомъ.

— А знаете ли, чтó изъ этого выйдетъ?—продолжалъ Прохинъ.—Вы думаете, я приму ваше предложеніе, расшаркаюсь, поблагодарю и поѣду съ вашимъ холопомъ назадъ, домой? Ошибаетесь: я чиновникъ коронный, царскій слуга (онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь); состоялъ при васъ какъ при губернаторѣ, но лакеемъ вашимъ не былъ, любовныхъ вашихъ записокъ по городу не разносилъ: да! (Углицкій нервно почесалъ затылокъ.) Вы могли бы взять съ собой вашего Егорьева, или, пожалуй, Добышева, и потомъ отправить ихъ, какъ негодный хламъ, назадъ. Пусть они и служили бы вамъ перомъ! А я, Прохинъ, не унижусь до этого никогда! нѣтъ, никогда! Чтò вы оба уставили глаза на меня?—продолжалъ онъ.—Я хотѣлъ быть полезенъ вамъ своимъ перомъ, нужды нѣтъ, что вы не начальникъ мой больше. Но вы всегда были добры, ласковы со мной, снисходили къ моей слабости... А у меня благодарное, незабывчивое сердце—я и поѣхалъ съ вами! А теперь что: не нуженъ, такъ вонъ его, какъ негодную тряпку! Оставить!

Мы слушали этотъ, сказанный хорошимъ слогомъ, какъ изъ-подъ его пера вылившійся монологъ, и ушамъ не вѣрили. Прохинъ ли это, который, за минуту передъ тѣмъ, не могъ донести ложку до рта?

— Оставьте меня здѣсь, оставьте!—продолжалъ онъ съ пьянымъ паѳосомъ:—будетъ „прекрасно“! Знаете что будетъ? Вашего лакея, если онъ осмѣлится звать меня съ собой, я вытолкаю въ шею, и не поѣду, нѣтъ, не поѣду! Оставьте меня—„прекрасно будетъ“! Я уйду въ кабакъ, да, уйду: вотъ у меня двѣсти рублей здѣсь, въ ящикѣ... Я всѣ ихъ пропью, до копѣйки, заложу одежду до послѣднихъ штановъ, рубашку пропью — и лягу вонъ тамъ, въ канавѣ—и околѣю! „Прекрасно“ это будетъ, по-божески—какъ вы думаете?

Онъ опять впалъ въ свое забытье. А мы съ Углицкимъ молча, со страхомъ и недоумѣніемъ, глядѣли другъ на друга. Передъ нами разыгрывалась обыкновенная, но трагическая сцена.

— Что дѣлать?—растерянно вполголоса говорилъ Углицкій въ глубокомъ раздумьѣ: — какъ поступить! Ни взять съ собой, ни покинуть нельзя—вотъ положеніе!— Онъ скрестилъ руки на груди.

Вдругъ Прохинъ поднялся съ мѣста, сдѣлалъ два невѣрныхъ шага къ Углицкому и грохнулся передъ нимъ на колѣни.

— Не покидайте меня, не покидайте: я пропаду, какъ собака! — молилъ онъ, съ катящимися по щекамъ слезами.—Я знаю, что погибну; я вѣдь не мужикъ-пьяница, я сознаю свое положеніе и все безобразіе... Вашего лакея я не постыжусь и не послушаюсь... О, не покидайте меня... возьмите меня съ собой!

Мы оба были растроганы. Углицкій закрылъ лицо руками.

— Я не покину васъ, Андрей Петровичъ, — сказалъ онъ въ волненіи. — Будь что будетъ! Я хотѣлъ слѣлать какъ вамъ удобнѣе...

— Я заслужу, заслужу! — продолжалъ Прохинъ! — перомъ заслужу. Я дополню оправдательную записку, буду жить съ вами, пока нуженъ. А вы хотите дать пачкать мою записку ему (онъ съ гнѣвомъ указалъ на меня): да развѣ онъ можетъ? Куда ему! Онъ только— парлефрансе, а писать ему—развѣ стишки въ альбомы, да письма къ родителямъ въ именины. Развѣ онъ знаетъ дѣло?.. развѣ у него есть слогъ?

Начиналась опять комедія, и мы ушли. Углицкій успокоилъ Прохина, рѣшивъ взять его съ собой, и сказалъ, что мы выѣзжаемъ на другой день.

XVI.

Послѣ веселаго, съ примѣсью грусти, завтрака съ товарищами, я простился съ ними и съ Москвой. На дворѣ, гдѣ жили Углицкіе, я засталъ обычную дорожную суматоху. Укладывали чемоданы, подушки, мѣшки, узелки въ дормёзъ и коляску. Бричка съ камердинеромъ оставалась. Въ дормёзѣ ѣхалъ Углицкій съ женой, дочерью и горничной и лакеемъ на козлахъ. Въ тарантасѣ помѣщались мы съ Прохинымъ и другой лакей, тоже на козлахъ.

Прохина лакеи вывели и посадили, пока ямщики запрягали лошадей. Его обложили подушками, такъ что онъ занималъ почти весь экипажъ. Мнѣ оставалось небольшое пространство. Послѣ прощаній, лобзаній съ тёткой, сѣли наконецъ, и мы тронулись, трясясь по избитой мостовой. У Прохина лицо, какъ вчера, было безсмысленное. Онъ смотрѣлъ тупымъ взглядомъ впередъ, ничего не видя, сидѣлъ прочно между подушекъ, какъ монументъ. На мое „здравствуйте“ онъ не отвѣчалъ ни слова, даже, кажется, не замѣтилъ моего присутствія. Такъ покатились мы по петербургскому шоссе.

Углицкіе были озабочены состояніемъ, въ какомъ былъ Прохинъ, и на каждой станціи спрашивали меня, что̀ онъ дѣлаетъ, что̀ говоритъ, и вообще каковъ, приходитъ ли въ себя? Я самъ смотрѣлъ на своего спутника съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ и даже опасеніемъ: — а ну, какъ онъ... „съ безумныхъ глазъ“ набѣдокуритъ что̀-нибудь?— думалось мнѣ. Но онъ промолчалъ весь этотъ день. Ночь мы провели на станціи, поручивъ его попеченіямъ обоихъ лакеевъ, и на другой день, съ разсвѣтомъ, поѣхали далѣе.

Прохинъ сохранялъ свой монументальный видъ и неподвижную позу бронзоваго сфинкса, уставивъ глаза въ пространство. Онъ только безпрестанно вынималъ изъ-подъ подушки большую табакерку и набивалъ носъ табакомъ, которымъ запачкалъ себѣ и щеки, и небритую бороду. На мои вопросы онъ ничего не отвѣчалъ.

На вторыя сутки онъ сталъ обнаруживать признаки жизни—и отличился. Взглядъ его сталъ блуждать вокругъ себя; наконецъ онъ замѣтилъ и меня.

— А, и ты тутъ! не то грозно, не то насмѣшливо произнесъ онъ:—мой слогъ ѣдешь поправлять! ха, ха, ха! парлефрансе! Дай табаку!

Я подалъ ему табакерку. Зловѣщая живость разыгрывалась въ немъ все болѣе и болѣе. На вопросъ мой, знаетъ ли онъ меня, кто я такой, онъ взглянулъ на меня, и ѣдко отвѣтилъ:—Какъ не знать тебя, извѣстнаго пьяницу!

Я засмѣялся. Вотъ ужъ, что̀ называется, съ больной головы да на здоровую!

— Что̀ смѣешься! Дай табаку!—безпрестанно командовалъ онъ. Я спѣшилъ его удовлетворить, робко прижимаясь въ уголъ и сторонясь отъ его размаховъ руками.

*

Онъ къ вечеру третьяго дня совсѣмъ рехнулся: кричалъ, плакалъ, называлъ насъ разбойниками, говорилъ, что мы прячемъ отъ него письма отъ отца. Завидѣвъ одну бабу, шедшую по дорогѣ съ кузовкомъ, онъ закричалъ:—Стой, стой! — Ямщикъ придержалъ лошадей, а онъ въ одно мгновеніе выскочилъ изъ экипажа—откуда проворство взялось!—перебѣжалъ дорогу и выхватилъ у бабы кузовокъ изъ рукъ, прежде нежели мы съ лакеемъ успѣли догнать его. Баба не давала, а онъ отнималъ у нея кузовъ, крича: „Здѣсь письма отъ отца: онъ проситъ помощи, его рѣзать хотятъ!“

Онъ испустилъ вопль и залился горькими слезами. Углицкій, я, оба лакея—насилу сладили съ нимъ и усадили въ коляску.

Дамы, т.-е. собственно Марья Андреевна была въ ужасѣ, нюхала соли. Софья Львовна обращала любопытный вопросительный взглядъ на меня. Я украдкой прикладывалъ ладони къ вискамъ, какъ Чуча; она спѣшила отвернуться, пряча смѣхъ въ подушку. Углицкій твердилъ, что онъ давно не былъ въ такой „ажитаціи“. Онъ гналъ ямщиковъ, торопилъ станціонныхъ смотрителей, требуя лошадей, чтобы добраться скорѣй до Петербурга и сдать Прохина въ больницу.

А этотъ продолжалъ все чудить, терялъ сознаніе. Ѣхали лѣсомъ, попадались на встрѣчу мужики, бабы.—Невольницы, приближьтесь, пойте! — командовалъ онъ: — невольники, пляшите! Этотъ лѣсъ вырубить,—говорилъ дальше,—и засѣять табакомъ... Дай табаку!

— Кто же вы такой?—рискнулъ я спросить, подавая табакерку.

— Развѣ ты не знаешь, презрѣнный рабъ?—Потомъ задумался и вдругъ спросилъ меня тихо: — А скажи-ка мнѣ... только правду скажи... кто я такой?

— Развѣ вы не знаете?

— Ей богу, не знаю! Ты скажи, чьихъ я сынъ родителей? Откуда и куда ѣду? И ты самъ, тоже, кто такой? Лицо твое мнѣ что-то знакомо...

Я на все отвѣчалъ ему обстоятельно.

— А тамъ кто ѣдетъ впереди насъ?

— Левъ Михайлычъ Углицкій,—сказалъ я.

— Слыхалъ: имя знакомое...

На каждой остановкѣ я подбѣгалъ къ экипажу и наскоро сообщалъ Углицкимъ объ этой комедіи. Софья Львовна опять прятала смѣхъ отъ матери, которая приходила въ ужасъ, и самъ Углицкій, какъ ни былъ озабоченъ, не могъ удержаться отъ смѣха и ходилъ взглянуть на эту трагикомедію.

Мы не останавливались ни завтракать, ни обѣдать, и гнали, что̀ есть мочи. На одной станціи, пока запрягали лошадей, Софья Львовна, шопотомъ, мило краснѣя, сказала мнѣ, что ей „кушать хочется". Я вызвалъ ее на станцію и тамъ опустошилъ скудный буфетъ. Она покушала тайкомъ, и я поѣлъ съ нею, потому что у нихъ въ каретѣ всѣ были поглощены страхомъ и заботами, было не до ѣды. Всѣ молчали.

Наконецъ вечеромъ мы доѣхали до Новгорода и заняли нѣсколько нумеровъ въ большой гостинницѣ. Марья Андреевна съ дочерью и мужемъ помѣстились въ одномъ этажѣ, а мы съ Прохинымъ въ другомъ, въ большой комнатѣ, раздѣленной перегородкой на двѣ половины, съ двумя постелями.

Сейчасъ же по пріѣздѣ послали за докторомъ. Углицкій сталъ-было придумывать какую-то небывалую причину болѣзни, ссылался на нервы и прочее, чтобы не выдавать слабости Прохина. Но докторъ взглянулъ на больного, пощупалъ пульсъ, приподнялъ ему пальцемъ

вѣки и сухо, коротко сказалъ:—Совсѣмъ не то, что вы говорите: это отъ пьянства! У него delirium tremens, и нервы тутъ ни-при-чемъ.

Углицкій, нечего дѣлать, сознался, что Прохинъ пьетъ запоемъ, запилъ еще въ Москвѣ, а дорогой это разыгралось.

— Вѣрно вдругъ пересталъ пить; вотъ еслибъ вы ему постепенно уменьшали порцію водки, этого бы не случилось.

— Что же теперь дѣлать: оставить его здѣсь? спрашивалъ въ тоскѣ Углицкій.

— Зачѣмъ? Везите дальше; онъ мало-по-малу придетъ въ себя.

Онъ прописалъ успокоительное лекарство, которое обманомъ, подъ видомъ водки, заставили выпить Прохина.

Онъ бушевалъ всю ночь. Я легъ на постель, за перегородкой, и отъ усталости заснулъ какъ убитый. Прохина хотѣли уложить тоже въ постель, но не сладили; онъ упорно сидѣлъ на краю кровати, ходилъ по комнатѣ, нюхалъ табакъ. Къ нему приставили одного изъ лакеевъ и всѣ улеглись.

Несмотря на крѣпкій юношескій сонъ, меня на разсвѣтѣ разбудили отчаянные вопли Прохина. Я всталъ и выглянулъ изъ-за перегородки. Приставленный человѣкъ спалъ въ растяжку на полу мертвымъ сномъ, а Прохинъ, въ одной рубашкѣ, стоялъ у открытаго окна на колѣняхъ и раздирающимъ голосомъ кричалъ:—Рѣжутъ, отца моего рѣжутъ? вонъ, о!.. о!.. о!—И начиналъ рыдать.

Въ маѣ ночной темноты на сѣверѣ не бываетъ. Это было отчасти ново для меня, не бывшаго къ сѣверу дальше Москвы: такихъ свѣтлыхъ ночей я еще не ви-

далъ. Ночь была совсѣмъ бѣлая; сталъ показываться солнечный лучъ и золотилъ крыши домовъ. Все спало, на улицѣ никакого движенія. Только голуби, воробьи и галки раньше всѣхъ проснулись и перелетали съ крыши на крышу.

— Духи бѣлые! Духи черные! — оралъ во все горло Прохинъ, указывая на перелетавшихъ птицъ:—они терзаютъ грудь моего отца! Вонъ, вонъ, глядите, вонзили ножницы въ него!...

— Андрей Петровичъ!—звалъ я его:—успокойтесь!

— А? что̀?—обратился онъ ко мнѣ.

— Узнаете ли вы меня?—спросилъ я.

— Какъ не узнать: парлефрансе! — сказалъ онъ и опять принялся орать.

Я растолкалъ лакея и поручилъ ему смотрѣть за Прохинымъ, а самъ ушелъ за перегородку досыпать прерванный сонъ.

Утромъ часовъ въ девять меня разбудилъ Углицкій и сказалъ, что все готово, что послѣ завтрака мы уѣзжаемъ. Прохинъ спалъ. Я одѣлся и пошелъ пить чай къ дамамъ. Я разсказалъ имъ о ночномъ событіи. Марья Андреевна всплеснула руками.

— Что мы будемъ съ нимъ дѣлать! Боже мой, какое горе!

Я только переглянулся съ Софьей Львовной: и намъ было не до смѣху.

Прохина разбудили, напоили чаемъ, и мы поѣхали. Прохинъ хранилъ загадочное молчаніе. Мнѣ показалось, что онъ взглянулъ на меня, какъ на знакомое лицо. Онъ самъ уже доставалъ свою табакерку изъ-подъ подушки. Станціи черезъ двѣ онъ спросилъ, нѣтъ ли чего закусить. И когда я принесъ ему бутербродовъ съ телятиной и языкомъ, онъ поблагодарилъ меня. Послѣ то-

го часа черезъ два, онъ, не оборачиваясь ко мнѣ, вдругъ стыдливымъ шопотомъ спросилъ:—Что Левъ Михайлычъ: онъ очень недоволенъ мною? Какъ я безпокоилъ Марью Андреевну и Софью Львовну: мнѣ совѣстно глядѣть имъ въ глаза!—Онъ пряталъ лицо даже отъ меня.

— Ничего!—успокаивалъ я его, обрадованный перемѣною:—они всѣ дѣйствительно безпокоились, но не за себя, а за ваше здоровье...

— Какая я скотина: скажите откровенно — скотина? Вы, я думаю, смѣялись надо мной.

— Нѣтъ, Андрей Петровичъ,—съ участіемъ отозвался я.—Я глубоко жалѣлъ и жалѣю, что такой человѣкъ, какъ вы, съ умомъ, образованіемъ, дарованіями, съ перомъ...—прибавилъ я.

— И такая свинья!—досказалъ онъ.

— Полноте!

— А много я смѣшилъ васъ?

— Одинъ разъ только разсмѣшили.

— Когда, чѣмъ?

— Когда назвали меня пьяницей!

— Ужели? Этого только недоставало: свою шапку на васъ надѣлъ!

Онъ глубоко задумался и загрустилъ. Я на первой же станціи подбѣжалъ къ дормёзу Углицкихъ.

— Что Андрей Петровичъ?—спросили оба.

— Кланяться приказалъ!—обрадовалъ я ихъ.

Они не вѣрили. Левъ Михайлычъ выскочилъ изъ экипажа и побѣжалъ къ Прохину. Тотъ уже вылѣзъ изъ коляски и, завидя Углицкаго, закрылъ лицо руками.

— Скотина, скотина, свинья!—казнилъ онъ себя.—Не могу смотрѣть на васъ...

— Полноте, перестаньте, что вы! — успокаивалъ его Углицкій:—я такъ радъ, такъ радъ, что вы пришли въ

себя; я очень боялся за ваше здоровье. Но слава Богу!— Онъ даже перекрестился.

— Какъ вы добры, снисходительны! говорилъ сконфуженный Прохинъ, съ чувствомъ пожимая протянутыя ему Углицкимъ руки.—Я не буду больше... по крайней мѣрѣ, пока буду вамъ нуженъ... Я заслужу. Сегодня, когда я пришелъ въ себя, я уже обдумалъ, какія дополненія надо сдѣлать въ запискѣ...

— Объ этомъ послѣ, а теперь пойдемте на станцію пить вмѣстѣ чай. Какъ жена и Соня будутъ рады...

— Ахъ, нѣтъ!—отговаривался Прохинъ:—я не смѣю показаться имъ на глаза: ради Бога, позвольте подождать до Петербурга, когда совсѣмъ оправлюсь, обрѣюсь и умоюсь... тогда...

Онъ грустно и тяжело вздохнулъ.

Такъ мы мирно, покойно и прилично, какъ ни въ чемъ не бывало, въѣхали въ Петербургъ.

Августъ, 1887 г.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

(Изъ домашняго архива).

Вмѣсто предисловія. Мнѣ нерѣдко дѣлали и доселѣ дѣлаютъ нѣчто въ родѣ упрека или вопроса, зачѣмъ я, выводя въ своихъ сочиненіяхъ лицъ изъ всѣхъ сословій, никогда не касаюсь крестьянъ, не стараюсь изображать ихъ въ художественныхъ типахъ, или не вникаю въ ихъ бытъ, экономическія условія и т. п. Можно вывести изъ этого заключеніе, можетъ быть и выводятъ, что я умышленно устраняюсь отъ „народа", не люблю, т. е. „не жалѣю" его, не сочувствую его судьбѣ, его трудамъ, нуждамъ, горестямъ, словомъ—не болѣю за него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизмъ, любовь къ комфорту: этимъ нѣкоторые пробовали объяснять мое мнимое равнодушіе къ народу.

На это можно бы многое отвѣчать, но у меня есть одинъ отвѣтъ, который устраняетъ необходимость всѣхъ другихъ, а именно: я не знаю быта, нравовъ крестьянъ, не знаю сельской жизни, сельскаго хозяйства, подробностей и условій крестьянскаго существованія, или если знаю что-нибудь, то это изъ художественныхъ и другихъ очерковъ и описаній нашихъ писателей. Я не владѣлъ крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сѣялъ, не собиралъ, даже не жилъ

никогда по деревнямъ. Ребенкомъ девяти и десяти лѣтъ я прожилъ въ деревнѣ два года и ни въ какое общеніе съ крестьянами, конечно, входить не могъ.

Откуда же мнѣ было знать, такъ сказать, лично крестьянъ, ихъ жизнь, бытъ, нравы, горести, заботы, и какъ было заразиться живою (а не литературною), личною любовью и печалованіемъ о нихъ? Сознаніе человѣческаго долга къ ближнему, безъ сомнѣнія, живетъ въ сердцѣ каждаго развитаго человѣка — и въ моемъ также, — тѣмъ болѣе долга въ отношеніи „меньшой братіи".

Я не только не отрекаюсь отъ этого сознанія, но питаю его въ себѣ и — то съ грустью, то съ радостью, смотря по обстоятельствамъ, наблюдаю благопріятный или неблагопріятный ходъ народной жизни. Но отъ этого сознанія далеко до участія дѣломъ, особенно перомъ, въ народной жизни. Описывать, при томъ еще изображать художественно, типы и нравы крестьянъ, могутъ тѣ, кто жилъ среди нихъ, непосредственно наблюдалъ ихъ вблизи, рисовалъ ихъ съ натуры: тѣмъ и книги въ руки. Я вѣкъ свой провелъ въ городахъ, больше всего въ Москвѣ, гдѣ учился, потомъ въ губернскомъ городѣ на родинѣ, потомъ болѣе полувѣка живу въ Петербургѣ, откуда отлучался нерѣдко на многіе мѣсяцы, за границу, и года два провелъ въ кругосвѣтномъ плаваніи. Внутрь Россіи я заглядывалъ мало и не надолго.

Простой народъ, т. е. крестьянъ, земледѣльцевъ, я видалъ за ихъ работами мимоѣздомъ: то изъ вагона желѣзной дороги, то съ палубы корабля. Видѣлъ, какъ идутъ за плугомъ наши мужики, безъ шапокъ, въ рубашкахъ, въ лаптяхъ, обливаясь потомъ; видалъ какъ въ Германіи, съ коротенькой трубкой въ зубахъ, кре-

стьяне пашутъ, крестьянки жнутъ въ соломенныхъ шляпкахъ; во Франціи гомозятся въ поляхъ въ синихъ блузахъ, въ Англіи въ плисовыхъ курткахъ, сѣютъ, косятъ, или везутъ по дорогѣ продукты въ города. Далѣе, видалъ работающихъ въ поляхъ негровъ, индѣйцевъ, китайцевъ, на чайныхъ, кофейныхъ и сахарныхъ плантаціяхъ. Проѣздомъ черезъ Сибирь — видалъ нашихъ сибирскихъ инородцевъ, Якутовъ, Бурятъ и другихъ — и все это издали, со стороны, катясь по рельсамъ, ѣдучи верхомъ, или съ борта корабля, и не вступалъ ни въ какія сношенія: не приходилось, случая не было.

Слѣдовательно, описывать или изображать крестьянъ, было бы съ моей стороны претензіей, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность. Зачѣмъ же мнѣ было напрашиваться на явную, ненужную неудачу? „Зачѣмъ не шелъ въ народъ, не искалъ случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизмъ, чопорность, любовь къ комфорту мѣшали“, иногда слышались или чудились мнѣ обращенные по моему адресу упреки.

Что̀ на это сказать? Я знавалъ нѣкоторыхъ народниковъ, поэтовъ, повѣствователей. Они тоже любили больше сближаться съ народомъ издали, сидя у себя въ деревенскомъ кабинетѣ, заходили въ крестьянскія избы отдохнуть, спрятаться отъ непогоды, словомъ барски, привозя съ собой всѣ принадлежности такого утонченнаго комфорта, передъ которымъ блѣднѣлъ мой скромный „эпикуреизмъ“.

Въ ходившихъ въ народъ собирателяхъ пѣсенъ я видѣлъ—можетъ быть я грѣшу, говоря это — болѣе влеченіе къ самымъ странствіямъ. Они собирали и записывали, что̀ попадалось, иногда дѣйствительно втягивались въ крестьянскую среду. Собираніе пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, конечно, полезно. Многіе обогатили послѣд-

ними русскую литературу. И спасибо имъ! Но на это надо имѣть, не только охоту и своего рода подготовку, но и способности. А если послѣднихъ нѣтъ: что же дѣлать? Все-таки идти?

Упрекая меня въ невѣдѣніи народа и мнимомъ къ нему равнодушіи, замѣчаютъ, въ противоположность этому, что я не мало потратилъ красокъ на изображеніе дворовыхъ людей, слугъ.

Это правда. На это бы прежде всего можно было замѣтить, что слуги, дворовые люди, особенно прежніе крѣпостные — тоже „народъ", тоже принадлежатъ къ меньшой братіи. Стало быть я повиненъ только въ безучастіи собственно къ сельчанамъ, земледѣльческому и мелкопромышленному деревенскому люду. Это вѣрно: я его вовсе не знаю — какъ сказалъ — и отъ того не берусь не за свое дѣло, не описываю и не изображаю, чего не знаю.

Другое дѣло дворня, дворовые люди — теперь тоже явленіе отходящее мало-по-малу въ прошлое, вмѣстѣ съ помѣщиками и дворами.

Но слуги остаются и, повидимому, останутся навсегда или надолго. Отъ нихъ не отдѣлаться современному обществу. Говорятъ, въ Соединенныхъ Штатахъ уже почти совершилась отмѣна класса слугъ, демократія сама служитъ себѣ — всякій самъ себѣ слуга. Но вѣроятно тутъ есть огромныя исключенія. Богачи имѣютъ слугъ, и по многу, какъ видно изъ описаній. Потомъ торговыя и другія заведенія, разныя общества тоже, далѣе—рестораны, отели, кишатъ слугами, иначе вся общественная машина остановится. Слѣдовательно и тамъ слуги есть: только тамъ вчерашній лакей въ гостиницѣ—завтра, съ поворотомъ колеса фортуны, превращается въ господина и покупаетъ себѣ домъ, экипажи, нанимаетъ

слугъ, а разорившійся банкиръ, фабрикантъ, землевладѣлецъ, поступаетъ работникомъ на ферму, или лакеемъ къ состоятельному купцу. Это отчасти проникло и въ Европу.

У насъ слуги пока еще, какъ волны, ходятъ около насъ: и не только въ большихъ, богатыхъ домахъ, не только въ буржуазіи, въ зажиточныхъ семейныхъ хозяйствахъ, но даже у холостыхъ и небогатыхъ—есть слуга, такъ называемый лакей, или женщина для прислуги.

Я, родившійся при крѣпостномъ правѣ и воспитанный среди слугъ того времени, жилъ сначала дома въ провинціи среди многочисленной дворни, потомъ въ Петербургѣ, и какъ всѣ мнѣ подобные, имѣлъ постоянно слугу. Въ пятьдесятъ лѣтъ, что я прожилъ здѣсь, слуги не переводились, смѣняясь одинъ другимъ.

Въ большихъ домахъ слуги, лакеи, la valetaille, составляютъ родъ хора, которымъ управляетъ капельмейстеръ изъ нихъ же, старшій, или наемный дворецкій, иногда ловкій, плутоватый, но расторопный и услужливый передъ господиномъ — и полновластный шефъ лакейской команды. Она безлична и никакіе типы не выдѣляются изъ толпы. Шефъ смѣняетъ ихъ, нанимаетъ новыхъ по своему произволу и отвѣчаетъ за все.

Не такъ въ скромныхъ небольшихъ хозяйствахъ — и у холостяковъ особенно. Тутъ слуги на виду, каждый формируется въ типъ или характеръ и дѣлается, или врагомъ дома, или другомъ, смотря по своимъ качествамъ, но вообще онъ въ своемъ родѣ членъ семейства, близкій къ дѣламъ, заботамъ, горю или радостямъ дома, а у холостяка—невольный его сожитель, ближайшій свидѣтель всего, что у того дѣлается, участникъ въ его секретахъ, если они есть, иногда и кошелька, при беззаботности хозяина.

Я иногда отмѣчалъ на клочкахъ наиболѣе выдающіяся фигуры моихъ слугъ, ихъ характерныя черты, нравы, привычки — и забрасывалъ эти клочки далеко въ столъ, въ свой домашній архивъ, не думая дѣлать изъ нихъ какое-нибудь, всего менѣе литературное употребленіе. Когда клочки попадались подъ руку, я пробѣгалъ глазами эти портреты, припоминалъ черты лицъ, и смѣялся, хотя нѣкоторые оригиналы этихъ копій въ свое время не мало причиняли мнѣ заботъ, ставили меня въ критическое, иногда, какъ увидитъ читатель, беззащитное положеніе.

Клочки эти образовали довольно объемистую пачку. Я, правду сказать, еще не знаю, что̀ буду съ ней дѣлать. Прежде попробую прочитать кое-что пріятелямъ, „свѣдущимъ людямъ“ — и если они найдутъ въ нихъ нѣкоторую дозу общаго интереса, я могу иные, наиболѣе характерные наброски отобрать—и пожалуй напечатать, остальные бросить въ огонь.

Обработки почти никакой не требуется, такъ какъ я, старый домосѣдъ, сидя въ небольшихъ холостыхъ квартирахъ, съ-глазу-на-глазъ со своими слугами, рисовалъ ихъ, такъ-сказать, съ натуры. Они прямо выходили готовые изъ-подъ пера. Годятся-ли на что-нибудь эти эскизы, займутъ-ли кого-нибудь — пусть рѣшатъ „свѣдущіе люди“.

Впрочемъ въ наше, не строгое литературное время, многое и многимъ сходитъ легко съ рукъ: можетъ быть и мнѣ сойдетъ.

I.

Валентинъ.

Ко мнѣ явился, по рекомендаціи одного моего пріятеля, человѣчекъ низенькаго роста, плѣшивый, лѣтъ пятидесяти, съ просѣдью на рѣдкихъ волосахъ, оригинальной, даже смѣшной наружности.

У него былъ маленькій, едва замѣтный, величины и цвѣта вишни носъ, голубые безъ всякаго оттѣнка глаза и яркій старческій румянецъ на щекахъ. Голубые, безъ примѣси глаза, по моему наблюденію, были почти несомнѣнною печатью наивности, граничащей съ глупостью, чаще просто глупости.

Онъ вошелъ, поклонился, кокетливо шаркнувъ ножкой, которую тотчасъ поднялъ немного, прижалъ къ другой ногѣ и подалъ мнѣ свой паспортъ и рекомендательную записку отъ моего пріятеля. Послѣ обычныхъ объясненій о его обязанности у меня, уговора о жалованьѣ, я показалъ ему свою квартиру, его комнату, шкапы съ платьями, комоды съ бѣльемъ и прочія вещи, и предложилъ ему поскорѣе вступить въ должность.

Къ вечеру онъ водворился у меня и на другой день все вошло въ обычную колею. Онъ оказался очень учтивымъ, исправнымъ, хорошо выдрессированнымъ слугой. Красный носъ и румяныя щеки приводили меня въ нѣкоторое сомнѣніе на счетъ его воздержанія, но къ счастію—это не подтвердилось.

Проходили недѣли, мѣсяцы, на пьянство не было и намёка. Онъ исполнялъ свою должность аккуратно, шмыгалъ мимо меня по комнатамъ, какъ воробей, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола. Я думалъ, что она у него короче другой, но

потомъ замѣтилъ, что онъ дѣлалъ это, чтобъ придать своей походкѣ нѣкоторую грацію. Вообще онъ былъ кокетливъ; носилъ розовыя и голубыя шейныя косынки, вышитыя манишки съ розовой подкладкой, цвѣтные воротнички. Въ карманѣ онъ держалъ миніатюрное зеркальце съ гребенкой и я зачастую заставалъ, что онъ глядится въ него и старается собрать жидкія космы волосъ съ затылка и висковъ воедино. Проходя мимо зеркалъ въ моихъ комнатахъ, онъ непремѣнно поглядится въ нихъ и иногда улыбнется. Я изподтишка забавлялся этимъ невиннымъ кокетствомъ, но не давалъ ему этого замѣтить. Я даже поощрялъ его, отдавалъ ему свои, почти совсѣмъ новые галстухи, перчатки, обѣщая отдавать и всѣ свои отслужившія платья, что̀ впрочемъ дѣлалъ всегда и прежде.

Такъ мы привыкали все больше и больше другъ къ другу и наконецъ совсѣмъ привыкли. Онъ очень рѣдко отлучался со двора, у него я почти никого не видалъ въ гостяхъ, впрочемъ раза два-три, возвращаясь домой, замѣчалъ мелькомъ какихъ-то невзрачныхъ женщинъ, которыя при мнѣ исчезали. „Землячки“, говорилъ онъ, когда мнѣ случалось встрѣчать ихъ.

Словомъ, я былъ очень доволенъ имъ и не разъ благодарилъ своего пріятеля за рекомендацію.

Но вотъ чего я никакъ не подозрѣвалъ: что онъ былъ прикосновенъ къ литературѣ. Проходя черезъ его комнату въ ванну, я видалъ у него не помню какія - то старыя, полуразорванныя книги, съ остатками переплета, или вовсе безъ переплета, иныя въ листкахъ, пожелтѣвшихъ отъ времени и употребленія. Однажды я полюбопытствовалъ и протянулъ было руку, чтобъ взять и посмотрѣть одну изъ книгъ. Но Валентинъ (такъ звали

его) поспѣшилъ стать между ними и мной, повидимому недовольный моимъ любопытствомъ. Я не настаивалъ.

— Какія это у тебя тамъ книги на полкѣ? Вонъ и какія-то тетрадки? спросилъ я:—Ужь не сочиняешь-ли ты?

— Куда мнѣ! сказалъ онъ, отвернувшись въ сторону.—А книжки эти у меня отъ одного барина остались: старыя, ненужныя ему, онъ и отдалъ мнѣ.

При этомъ онъ отодвинулъ ихъ отъ меня подальше въ уголъ, чтобъ я не трогалъ ихъ.

Я и забылъ про это. Не бывая дома днемъ, я возвращался вечеромъ, садился работать и часто просиживалъ часовъ до четырехъ и до пяти утра. Онъ уже спалъ, и я не зналъ, какъ онъ проводитъ день, съ кѣмъ видится, какія „землячки“ ходятъ къ нему и какія книги онъ читаетъ.

Все мало-по-малу объяснилось случайно.

Бывали дни, когда у меня являлись сильные припадки дѣятельности. Тогда я обѣдалъ дома, или напротивъ моей квартиры въ клубѣ, спалъ послѣ обѣда, чтобъ освѣжиться на ночную работу, и запирался почти на всю ночь. Я—то садился за письменный столъ, то ходилъ взадъ и впередъ по своей небольшой залѣ, и опять брался за перо.

Въ залѣ было слышно, при ночной тишинѣ, что дѣлалось въ передней и за перегородкою въ ней, рядомъ съ помѣщеніемъ человѣка.

Однажды, прохаживаясь еще не поздно ночью, послѣ вечерняго чаю, я услыхалъ его голосъ. Онъ что-то говорилъ. Сначала я не обратилъ на это вниманія, думалъ, что онъ разсуждаетъ вслухъ, какъ есть у нѣкоторыхъ привычка, или молится. Но ступая по ковру легче, я услышалъ мѣрное, плавное чтеніе, почти пѣ-

ніе, какъ будто стиховъ. Я остановился у полуотворенной двери и вслушался.

«И зри-мо ей въ мину-ту ста-ло
Незри-мое съ давнишнихъ поръ»...

читалъ онъ нараспѣвъ, съ амфазомъ, почти всхлипывая.

Я сталъ припоминать, чьи это стихи, и наконецъ припомнилъ, что это романсъ Жуковскаго, только забылъ, какъ онъ начинается.

„Валентинъ читаетъ стихи, знаетъ Жуковскаго! Стало быть и Пушкина и другихъ! Да онъ развитой, образованный человѣкъ! Ужъ не инкогнито-ли онъ?“ мелькнуло у меня въ головѣ. И если-бъ не эти безтѣнные голубые глаза, не этотъ красненькій носъ, не розовенькіе галстучки и граціозные шажки, съ поджимаемой ножкой, я остановился-бы на своемъ предположеніи.

Я осторожно вышелъ въ переднюю, неслышно отворилъ къ нему дверь и остановился. Онъ сидѣлъ задомъ къ двери и за звуками своего голоса не слыхалъ моего прихода.

«Душѣ шепну-у-лъ привѣ-ѣтъ бывaа-лый
«Душѣ блеснуу-лъ знакомый вз-о-о-ръ...»

заливался онъ все нараспѣвъ.

И опять:

«И зри-и-мо ей въ мину-ту ста-а-ло
«Незри-и-мое съ давнишнихъ поръ...»

Онъ растягивалъ слова и ударялъ голосомъ на нѣкоторыхъ. Я сдѣлалъ шагъ къ нему, онъ вскочилъ, сконфузился, проворно снялъ очки и хотѣлъ закинуть книгу на полку. Но я удержалъ его и взялъ книгу. Это былъ небольшой томъ стихотвореній Жуковскаго, съ оторванными листами начала и конца.

— Чтб ты читалъ сейчасъ? спросилъ я.

— Да вотъ это самое.—Онъ указалъ на книгу:—сочиненіе господина Жуковскаго.

— Тебѣ нравится? спросилъ я.

— А какъ же-съ: кому такое не понравится!

— Почитай, пожалуйста, послѣднее, вотъ что ты сейчасъ читалъ, попросилъ я.

— Зачѣмъ вамъ: чтобъ смѣяться!..

— Нѣтъ, какъ можно! Напротивъ, я очень доволенъ, что ты занимаешься, читаешь, не такъ какъ другіе...

Онъ замѣтно смягчился: ему понравилось и польстило мое замѣчаніе. Онъ взялъ книгу и надѣлъ очки. Они еле держались на его крошечномъ носу. Онъ былъ невыразимо смѣшонъ—и мнѣ не малаго труда стоило удержаться отъ смѣха.

— Это самое, или сначала прикажете? спросилъ онъ.

— Пожалуй, сначала.

И онъ началъ:

«Мину-вшихъ дне-й очароваа-нье,
«Зачѣмъ (тутъ онъ взялъ высокую ноту почти вскрикнулъ) опя-ть вос-кре-сло ты?
«Кто (опять удареніе голосомъ) пробудилъ воспо-мина-нье
«И замолча-вшія мечты!
«Душѣ шепнулъ (тоненькимъ нѣжнымъ голоскомъ запѣлъ онъ) привѣ-тъ быва-лый,
«Душѣ блесну-лъ знако-мый взо-ръ
«И зри-и-мо ей въ мину-ту стало
«Незри-мое съ давни-шнихъ поръ.»

Послѣднія слова онъ съ умиленьемъ какъ будто допѣлъ и кончилъ почти плачемъ; голубые глаза увлажились; губы сладко улыбались.

Онъ поглядѣлъ на меня, что я? Я чувствовалъ, что мнѣ лицо прожигалъ смѣхъ, но я старался не улыбнуться.

— Ты все понимаешь? спросилъ я, любопытствуя узнать, какъ онъ объясняетъ себѣ отвлеченныя выраженія Жуковскаго.

— А вы понимаете? вдругъ скороговоркой спросилъ онъ. Онъ живо снялъ очки, положилъ книгу и пристально посмотрѣлъ на меня.

— Какъ-же: конечно понимаю! отвѣтилъ я, озадаченный его вопросомъ.

Онъ недовѣрчиво усмѣхнулся.

— Вы и это тоже понимаете? насмѣшливо спросилъ онъ, взялъ книгу, надѣлъ очки и порывшись въ листахъ, началъ читать:

«Земли жил-е-е-цъ безвы-ы-ходный—страд-анье,
«Ему судьбы на ча-сть насъ обрекли;
«Здѣсь ра-дости не наше облада-нье...

Я за него продолжалъ наизусть:

«Пролетные плѣнители земли
«Лишь по пути заносятъ намъ преданье
«О благахъ, намъ обѣщанныхъ вдали.»

— Вѣрно! сказалъ онъ, слѣдя по книгѣ за мной. — Чтожь, вы и это понимаете? насмѣшливо повторилъ онъ.

— Да разумѣется. Что-жь тутъ непонятнаго?

— А вотъ извольте-ка сказать, чтó это за „жилецъ“ такой „безвыходный“ и чтó это за „часть“ такая тутъ попала, да еще какое слово „обрекли ему“: кому „ему“? А тутъ вдругъ „радости“ пошли, да „обладанье“ какое-то! Вы такъ все это и понимаете? Полноте, сударь!

— А ты развѣ этого не понимаешь? спросилъ я озадаченный.—Зачѣмъ же ты читаешь?

Онъ оторопѣлъ на минуту и замялся.

— Если все понимать — такъ и читать не нужно: что тутъ занятнаго! отозвался онъ. — Иныя слова понимаешь—и то слава Богу! Вонъ тутъ написано „радости“, „страданье“—это понятно. А вотъ какіе-то „пролетные плѣнители“, еще „на часть насъ обрекли“ — поди-ка пойми кто!

— Постой, погоди! сказалъ я и взялъ съ его полки одну книгу, другую—онъ уже не мѣшалъ мнѣ: книги были больше безъ переплета, съ оторванными заглавіями. Тутъ были и календари, и духовнаго содержанія, и „новѣйшій“, но старый—престарый пѣсенникъ: все рухлядь. Наконецъ я увидалъ какую-то хрестоматію безъ заглавія, кажется Греча, поискалъ что-нибудь понятное и какъ разъ подвернулось стихотвореніе Шишкова, и я сталъ читать:

«Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и въ стужѣ
Намъ не хуже.
Въ долгу ночку
Къ огонечку
Всѣ сберутся,
Старый, малый,
Точатъ балы
И смѣются.
А какъ матки
Придутъ Святки,
Тутъ-то грохотъ,
Игры, хохотъ...» и т. д.

Я дочиталъ до конца.

— Вотъ, если ты любишь стихи, это бы и читалъ!

Онъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ слушалъ мое чтеніе.

— Это каждый мальчишка пойметъ, или деревенская баба! сказалъ онъ, глядя въ сторону.—Прочиталъ разъ, понялъ, да и бросилъ: что-жь тутъ занятнаго? То-ли дѣло это?

Онъ надѣлъ очки, схватилъ свою любимую книгу и началъ опять заливаться нараспѣвъ, съ чувствомъ:

«Земли жиле-е-цъ безвыходный—страд-а-нье,
«Ему судьбы на ча-а-сть насъ обрекли...

— Вотъ пойми-ка это? Какой такой „жилецъ“ — и кому ему „обрекли“ какія-то „судьбы“? Не угодно ли растолковать? вызывающимъ голосомъ добавилъ онъ.

— Изволь! снисходительно сказалъ я, наслаждаясь про себя его непониманіемъ. — „Жилецъ безвыходный земли“—и есть „страданье“: вотъ ему на „часть“, или на долю, что ли, и обрекла насъ „судьба“... Все понятно!

Онъ положилъ книгу и снялъ очки.

— Вы, можетъ быть, и Покалипсъ понимаете? ѣдко спросилъ онъ.

— Апокалипсисъ, хочешь ты сказать, поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ! съ неудовольствіемъ добавилъ онъ.

— А что же: понимаю, храбро сказалъ я, чтобъ посмотрѣть, что̀ онъ.

Я еще не успѣлъ кончить своего отвѣта, какъ мой Валентинъ завизжалъ пронзительнымъ смѣхомъ, воротя лицо, изъ почтенія ко мнѣ, въ сторону, къ стѣнѣ. „Хи-хи! хи-хи!“ визжалъ онъ. Потомъ оборотился мелькомъ ко мнѣ, взглянулъ на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжалъ, напрасно стараясь почтительно сдержаться.

— Что тутъ забавнаго? сказалъ я, самъ весело глядя на него.

— Какъ же-съ... хи... хи... хи... заливался онъ.

Наконецъ мало-по-малу унялся, отдышался, откашлялся.—Извините меня, сударь, право не могу... хи, хи, хи!

— Это у насъ въ селѣ былъ дьяконъ Еремѣй... началъ онъ съ передышкой. — Онъ не Еремѣй, а отецъ Никита, да его прозвали Еремѣемъ. Онъ тоже хвастался, что понимаетъ Покалипсъ...

— Апокалипсисъ! поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ, нехотя вставилъ Валентинъ.— Архіерей объѣзжалъ губернію, пріѣхалъ и въ наше село. Нашъ священникъ послѣ обѣдни, за завтракомъ, и указалъ на этого самаго Никиту: „вотъ", говоритъ, „святой владыка: дьяконъ нашъ Никита похваляется, что понимаетъ Покалипсъ..."

— Апокалипсисъ! поправилъ я.

Валентинъ только сморщился, но не повторилъ поправки.

— „Дерзновенно!" сказалъ архіерей: такъ и сказалъ „дерзновенно!" Дьяконъ не зналъ куда дѣться изъ-за стола: „провалился бы", разсказывалъ послѣ „лучше сквозь землю. И кулебяка, говоритъ, такъ и заперла мнѣ горло"... „А ну-ка, дьяконе, скажи"... это архіерей-то говоритъ дьякону: „скажи, говоритъ, что значитъ блудница, о который повѣтствуетъ св. Іоаннъ Богословъ въ Покалипсѣ"...

— Въ Апокалипсисѣ, поправилъ я.

— Вы не извольте сбивать меня съ толку, съ сердцемъ замѣтилъ Валентинъ:—а то я перепутаю архерейскую рѣчь. Я ее наизусть затвердилъ,—и всѣ тогда затвердили у насъ. Я буфетчикомъ былъ у господъ и меня послали служить за этимъ самымъ завтракомъ: нашъ поваръ и готовилъ. Вотъ дьяконъ — самъ послѣ сказывалъ—не разжевавши хорошенько, почесть цѣликомъ цѣлую корку кулебяки съ семгой проглотилъ. Чуть не подавился, весь покраснѣлъ, какъ ракъ. „Ну, говори, коли понимаешь!" нудилъ архерей.

— „Блудница... святой владыко... это... это..." мямлилъ дьяконъ,—это св. Іоаннъ Богословъ прорекаетъ о заблудшейся западной римской каѳолической церкви"...

— Мы всѣ слушаемъ, не дохнемъ, я за самымъ стуломъ архерейскимъ стоялъ, все слушалъ и запомнилъ

до слова... Такъ дьяконъ и замолчалъ. „А далѣе?“ говоритъ архерей. А у дьякона и дыханіе перехватило, молчитъ. Всѣ молчали, носы уткнули въ тарелки. Архерей посмотрѣлъ на него, да и проговорилъ, такъ важно проговорилъ, словно въ церкви изъ алтаря голосъ подалъ...

— Что-жъ онъ проговорилъ?

— „Всякій“, говоритъ, „Еремѣй про себя разумѣй“! Всѣ и замолчали, такъ и изъ-за стола разошлись. Вотъ съ тѣхъ поръ во всемъ селѣ всѣ, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремѣемъ, а подъ сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипсъ... Хи-хи-хи!

— Апокалипсисъ! поправилъ я. — Если дьяконъ не понималъ, это еще не причина, чтобы я не понималъ...

— Полноте, грѣхъ, сударь! не на шутку сердился Валентинъ.—Дьяконъ или священникъ, всю жизнь церковныя книги читаютъ—кому бы и понимать, какъ не священству? А вотъ никто не понимаетъ. Одинъ только святой схимникъ былъ: онъ въ кіевскихъ пещерахъ спасался, тотъ понималъ. Одинъ! Всѣ допытывались отъ него, и самъ митрополитъ уговаривалъ, да никому не открывалъ. Передъ кончиной его вся братія три дня на колѣняхъ молила открыть, а онъ не открылъ, такъ и скончался. А вы—понимаете!

Онъ опять захихикалъ въ сторону, глядя на меня почтительно и насмѣшливо. Это очень развлекало меня. Я пошелъ къ себѣ, порылся въ шкафѣ, чтобы подыскать что-нибудь подходящее для его пониманія, нашелъ между книгами „Юрія Милославскаго“, „Конька Горбунка“ и подарилъ ему.

— Вотъ читай и скажи мнѣ, какъ тебѣ понравится!

Онъ очень былъ доволенъ моимъ подаркомъ и обѣщалъ читать.

Пока онъ разсматривалъ книги, я взялъ съ полки у него какую-то тетрадку и прочелъ сверху кривую надпись: „Сенонимы“. Подъ этой надписью, попарно, иногда по три слова, тѣмъ же кривымъ, вѣроятно его почеркомъ, написаны были однозвучныя слова. Напримѣръ, рядомъ стояли: „эмансипація и констипація“, далѣе „конституція и проституція“, потомъ „тлетворный и нерукотворный“, „нумизматъ и кастратъ“, и такъ безъ конца.

— Что̀ это такое? спросилъ я.

— Тутъ написано что̀: сенонимы! сказалъ онъ.

— Да что̀ такое „синонимы“, ты знаешь?

— Это похожія другъ на друга слова.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Да тотъ же дьяконъ Еремѣй: онъ былъ ученый. Вотъ когда я завелъ эту самую тетрадку и сталъ записывать туда изъ книгъ непонятныя похожія слова, я и спросилъ его, что̀, молъ, значатъ похожія другъ на друга слова? Онъ и говоритъ „сенонимы, говоритъ, это называется“. Я такъ и записалъ и заношу туда такія слова.

— Да это совсѣмъ не то: онъ тебѣ не то сказалъ, или ты не такъ понялъ, замѣтилъ я. — Синонимы совсѣмъ не то значитъ...

Онъ рѣшительно взялъ у меня изъ рукъ тетрадку и положилъ на полку.

— Пожалуйте, сказалъ онъ: вы вѣдь все изволите лучше знать, чѣмъ другіе, даже лучше самаго господина Жуковскаго: вонъ и Покалипсъ понимаете...

— Апокалипсисъ! поправилъ я.

— А намъ гдѣ понимать!

Онъ ѣдко улыбнулся и смотрѣлъ на меня такъ, что-

бы я ушелъ. Я разсмѣялся и ушелъ, а онъ съ сердцемъ затворилъ за мной дверь.

Я потомъ не вмѣшивался въ его литературныя занятія, даже радовался, что они не отвлекаютъ его отъ дѣла и не ведутъ къ чему нибудь дурному. Лишь изрѣдка, среди вечерней тишины, доходило до моихъ ушей:

«И зри-и-и-мо ей въ мину-у-ту стало
Не зри-и-и-мое съ давнишнихъ поръ».

Не то онъ вдругъ громко заголоситъ:

«Боги гнѣва и Ерева,
Въ страшный часъ,
Ахъ, пошлите солнца лучъ,
Разгоните мраки тучъ.»

Въ другой разъ слышу:

Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ,
Кони блѣднаго Плутона
Быстро къ нимфамъ Пеліона
Изъ анда бога мчатъ....

„Вотъ поди-ко, пойми это!“ однажды насмѣшливо прибавилъ онъ вслухъ, вѣроято намекая на меня и не подозрѣвая, что я хожу по сосѣдней комнатѣ и что мнѣ слышно. „А еще хочетъ понимать Покалипсъ!

— Апокалипсисъ! поправилъ я, тихо отворяя дверь. Онъ сконфузился.

Такъ онъ читалъ все больше изъ той же хрестоматіи Греча, или другое что нибудь, лишь бы звучное и малопонятное ему.

Я тутъ убѣдился въ томъ, что наблюдалъ и прежде: что простой русскій человѣкъ не всегда любитъ понимать чтб читаетъ. Я видѣлъ какъ простые люди зачитываются до слезъ священныхъ книгъ на славянскомъ языкѣ, ничего не понимая, или понимая только „иныя

слова", какъ мой Валентинъ. Помню, какъ матросы на кораблѣ слушали такую книгу, не шевелясь по цѣлымъ часамъ, глядя въ ротъ чтецу, лишь бы онъ читалъ звонко и съ чувствомъ. Простые люди не любятъ простоты.

Валентинъ прожилъ у меня нѣсколько лѣтъ, и можетъ быть прожилъ-бы еще долго, еслибъ я не перемѣнилъ родъ службы и отчасти образъ жизни. Я сталъ большую часть дня, а иногда и вечера, заниматься дома.

Оказалось, что это стѣсняло его. Я никогда не справлялся, какъ онъ проводитъ время безъ меня, а теперь мнѣ открытъ былъ каждый его шагъ. „Землячки" не могли бывать у него свободно при мнѣ — и онъ оставался больше одинъ и скучалъ. Повидимому, онѣ безъ меня посѣщали его часто. Мало-по-малу открылось, что онъ отчаянный донъ-жуанъ, не смотря на свои пятьдесятъ лѣтъ слишкомъ.

Склонность его къ нѣжному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали въ гостяхъ дамы, особенно молодыя и красивыя, онъ какъ-то суетливо лебезилъ, подавая чай, фрукты, кокетливо поджималъ ножку, шаркалъ, приподнимался на цыпочкахъ, чтобъ придать себѣ росту, взглядывалъ мимоходомъ въ зеркало, украдкой зачесывалъ пальцами волосы съ затылка. Я перемигивался съ гостьями и мы нерѣдко награждали эти маневры дружнымъ хохотомъ. Тогда онъ злобно краснѣлъ и бросалъ на насъ гнѣвные взгляды.

Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошелъ внизъ спросить у дворниковъ, гдѣ онъ, и замѣтивъ около каретнаго сарая — кучку дворни, особенно женщинъ, пошелъ туда. И что же вижу: Валентинъ стоитъ посреди сарая, закинувъ голову вверхъ, разряженный въ желтые нанковые панталоны, черную пли-

совую жакетку, въ розовомъ галстухѣ и съ желтымъ цвѣткомъ въ петлицѣ, поетъ:

«Во селѣ-селѣѣ Покроо-вскомъ,
Среди уу-лицы большой...
Разыграа-лись, раа-сплясались
Дѣвки краа-сны межъ соо-бой...»

разливался онъ сладкимъ теноромъ, закатывая глаза подъ лобъ, разводя далеко въ стороны руками и притопывая.

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой, дѣвушки съ неудержимымъ хохотомъ. А онъ глядѣлъ на нихъ сладостно, какъ сатиръ. Я тоже захохоталъ. Увидавъ меня, онъ сконфузился, застыдился и опрометью бросился впередъ меня домой.

— Что́ это тебѣ вздумалось пѣть среди дворни? спросилъ я.

— Барышни просили, сказалъ онъ:—я хотѣлъ сдѣлать имъ удовольствіе...

— Какія барышни?

— А тѣ самыя, что́ тамъ стояли.

Это горничныя.

— Да вѣдь онѣ помирали со смѣху надъ тобой: развѣ ты не замѣтилъ?

Глядя на него въ его изысканномъ нарядѣ, я опять невольно засмѣялся.

— Онѣ смѣялись отъ удовольствія, а вотъ вы, сударь, не знаете сами чему смѣетесь! Нельзя повеселиться человѣку: развѣ это грѣхъ?

— Веселись сколько хочешь — это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя.

Я опять засмѣялся.

— Чему-жь вы смѣетесь? сказалъ онъ съ сердцемъ и ушелъ къ себѣ.

— А у тебя опять амуры завелись? сказалъ я ему.

— Какіе, сударь, такіе амуры?

— А вотъ смотри, какія письма пишутъ ко мнѣ.

Я прочиталъ ему прачкино письмо и показалъ его записку. Онъ вспыхнулъ, даже побагровѣлъ отъ смущенія и злости, и хотѣлъ вырвать у меня письмо. Я не далъ.

— Ишь ты, старый селадонъ! шутилъ я:—не унимаешься! Смотри, дождешься чего-нибудь!..

— Не ваше дѣло! почти грубо отрѣзалъ онъ:—а эту дрянь—вѣдь она мужичка—плетьми мало сѣчь! Пожалуйте мнѣ мою записку!

Я отдалъ ему.

— Я съ ними раздѣлаюсь, злобно ворчалъ онъ: — Я имъ дамъ „раздеру лицо“, я имъ всѣ косы истреплю! Раздавлю! кричалъ онъ разъяренно.—Онѣ за честь должны считать, что я съ ними обращаюсь..! Онъ вытянулся на цыпочкахъ и сердито загребалъ руками волосы съ затылка на темя.

— Послушай, дѣлай, какъ хочешь, сказалъ я:—я въ твои амуры не вмѣшиваюсь, но повторяю тебѣ: устраивай такъ, чтобъ до меня жалобъ не доходило и чтобъ никакого „тренанья косъ“ не было. Если выйдетъ какой-нибудь скандалъ, я держать тебя не стану.

— Хорошо-съ, я сдѣлаю, ядовито сказалъ онъ:—будутъ онѣ довольны! Если-бы она, эта Прохорова, не безпокоила васъ, а со мной поговорила-бы благородно и деликатно—я бы и ничего, отсталъ бы! А если она полѣзла къ вамъ, да еще грозитъ мнѣ, такъ нарочно, на зло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте безпокоиться: жаловаться не станутъ. Я же ей, дряни эдакой: погоди она у меня! ворчалъ онъ, уходя къ себѣ и потрясая кулаками.

Дон-жуанство Валентина добромъ не кончилось — ни для него, ни для меня. Онъ потерпѣлъ пораженіе, а я лишился въ немъ честнаго и усерднаго, хотя и смѣшнаго слуги.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этихъ писемъ, когда, возвратясь вечеромъ домой, я позвонилъ у дверей, Валентинъ, противъ обыкновенія, медленно отворилъ мнѣ дверь, не снялъ съ меня пальто и тотчасъ скрылся въ свою комнату. Я заглянулъ къ нему. Онъ лежалъ на постели.

— Что съ тобой: ты нездоровъ? спросилъ я съ испугомъ.

— Ничего-съ, я полежу немного, отдохну... голова болитъ немножко.

Подлѣ него былъ графинъ съ водой, пахло уксусомъ.

— Ты скажи, что такое? спрашивалъ я.

— Не безпокойтесь... извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдетъ...

— Гдѣ ушибся, какъ? доктора надо позвать...

— Ради Бога, не надо ничего-съ: завтра отдохну...

Я однако-жъ не удовольствовался этимъ, спустился внизъ и узналъ на дворѣ, что съ Валентиномъ случилась исторія. Дворники разсказали мнѣ, что онъ въ сумерки пошелъ-таки „какетничать“ съ Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвалъ ее на второй дворъ. Хозяйка замѣтила это — и исполнила надъ нимъ свою угрозу, съ помощію какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется, жениха Лизы, и если и не „разодрала ему всю лицо“, однако значительно исцарапала. Соперникъ тоже напалъ на него, ругался, сбилъ съ Валентина фуражку и старался схватить его за воротъ. Валентинъ мужественно отражалъ нападеніе, не давался, кричалъ.

Дворники старались рознять ихъ. Словомъ, вышелъ скандалъ.

Наконецъ ихъ розняли. Валентинъ, измятый, съ разорваннымъ платьемъ, съ расцарапаннымъ лицомъ, удалился, при общемъ хохотѣ дворни, къ себѣ въ комнату.

На утро онъ, по обыкновенію, принесъ мнѣ чай. Щеки и носъ у него побѣлѣли почти совсѣмъ, на одной щекѣ и на лбу была царапина, впалые глаза смотрѣли тускло.

— Что такое было вчера? спросилъ я.

— Пожалуйте мнѣ расчетъ и паспортъ! тихо сказалъ онъ въ отвѣтъ на мой вопросъ.

— Вотъ тебѣ на! Да ты разскажи, что такое...

— Позвольте мнѣ паспортъ, настойчиво повторилъ онъ:—Я сейчасъ извозчика приведу и уѣду...

— Дворники говорили, что у тебя вышла исторія... разскажи!

— Нечего разсказывать-съ: это мое дѣло. Только въ этомъ разбойничьемъ домѣ я и дня не проживу... Еще убьютъ, чего добраго! Позвольте расчетъ и паспортъ...

— Это рѣшительно?

— Да-съ, рѣшительно, уныло прибавилъ онъ.

— Но вѣдь я имѣю право задержать тебя три дня, пока пріищу кого-нибудь на твое мѣсто: нельзя же мнѣ оставаться одному!

— Я ужъ это сдѣлалъ: когда вы почивали, я сходилъ къ знакомому человѣку: онъ сейчасъ придетъ и побудетъ, пока вы пріищите другаго. А меня, сдѣлайте милость, отпустите сейчасъ-же.

Онъ почти со слезами кончилъ эту просьбу. Я съ глубокимъ сожалѣніемъ согласился, и когда пришелъ человѣкъ, я отдалъ Валентину паспортъ и сверхъ жа-

лованья прибавилъ награду. Онъ поцѣловалъ меня въ плечо и прослезился.

— Да ты подумай... можетъ быть, обойдется, я спрашивать не стану! ты такой исправный и честный слуга!.. Мнѣ жаль разставаться съ тобой, право! пробовалъ я уговорить его. — Исторія эта забудется. Ты получилъ жестокій урокъ и конечно больше за женщинами ухаживать не станешь...

— Какъ можно! Стану-съ. Только не съ такимъ необразованнымъ мужичьемъ, какъ здѣсь. Буду выбирать по себѣ, гдѣ благородно и деликатно...

— Подумай, удерживалъ я: все перемелется... Мнѣ жаль тебя!

— Покорнѣйше благодарю — нѣтъ, нѣтъ-съ, я уйду!

Онъ былъ такъ разстроенъ, что я больше не настаивалъ. Онъ быстро собралъ свои пожитки и уѣхалъ. Долго еще послѣ него, по привычкѣ, по вечерамъ, у меня иногда звучало въ ушахъ:

«И зри-мо ей въ минуту ста-ло
Незри-мое съ давни-шнихъ поръ..!!

II.

Антонъ.

Служившій у меня временно, вмѣсто Валентина, человѣкъ объявилъ дня черезъ три, что онъ долго оставаться не можетъ, что господинъ его вернется съ дачи и онъ вступитъ въ свою должность. Онъ обѣщалъ привести мнѣ другого слугу, недавно пріѣхавшаго изъ деревни, отпущенника изъ крѣпостныхъ.

— Да каковъ онъ? Здѣсь его не знаютъ: какъ же безъ рекомендаціи взять? сомнѣвался я.

Случаи донъ-жуанства стали повторяться и наконецъ доходили до меня въ видѣ жалобъ. Однажды вдругъ отворила ко мнѣ дверь въ переднюю молодая дѣвушка съ растрепанной косой, держа шейную косынку въ рукахъ.

— Чтó это, баринъ, отъ вашего лакея прохода нѣтъ! голосила она сердито, указывая на Валентина.

— Подите! подите! торопливо говорилъ онъ, стараясь выпроводить ее за дверь.—Не хорошо-съ!

Я остановилъ его.

— Чтó вамъ угодно? обратился я къ ней.

— Да вотъ онъ прохода не даетъ. Я живу вверху съ барыней, тихо и скромно, а онъ давно ужь — какъ встрѣтитъ на лѣстницѣ, сейчасъ начнетъ глупые „канплименты“ говорить, зоветъ на чашку щеколаду, — поди, да поди я къ нему сюда! Съ ума, что-ли, я сошла! За кого онъ меня принимаетъ! Воля ваша: это обидно!

— Я тутъ еще большой вины не вижу—сказалъ я,— что онъ скажетъ вамъ „канплиментъ“. Запретить это ему я не въ правѣ...

— А вы бы, барышня, заговорилъ Валентинъ,—чѣмъ барина безпокоить, поговорили-бы прежде со мной...

— Стану я съ вами разговаривать! остановила она его, измѣряя его съ ногъ до головы презрительно-насмѣшливымъ взглядомъ.

— За честь должны считать!.. съ азартомъ отгрызался Валентинъ, замѣтивъ этотъ взглядъ.

Я велѣлъ ему замолчать.

— Такъ что-же дальше? обратился я къ ней.

— Какъ только заслышитъ, что я по лѣстницѣ спускаюсь, продолжала она: — вынесетъ на подносѣ гостинцы, апельсины, орѣхи, изюмъ, и загородитъ мнѣ дорогу. Я прошу дать пройти, онъ не слушается. Одинъ

разъ я толкнула подносъ зонтикомъ, гостинцы его разсыпались по полу, а ему сказала, чтобъ онъ не безпокоилъ меня — скажу, молъ, барину. Такъ онъ не унялся: „баринъ мнѣ, говоритъ, не указъ!“ Пойдешь по лѣстницѣ, онъ подкараулитъ, да старается за руку поймать...

— Неправда, неправда! оспаривалъ горячо Валентинъ:—не вѣрьте ей, сударь, барышня вретъ!

— Сами вы врунъ! Афимья, чай, видала вонъ изъ тѣхъ дверей, какъ вы ловили меня за руку...

— Зачѣмъ-же ты безпокоишь ее, если она не хочетъ слушать твои любезности? сказалъ я ему.

— Я обращаюсь всегда благородно и деликатно... защищался онъ.—А вамъ, сударь, хорошему господину, надо-бы барышень въ шею отсюда, а не слушать, что онѣ врутъ!..

— Вы врете, а не я! вставила она.

— Это мои дѣла, а не ваши! обратился Валентинъ опять ко мнѣ.—Я службу мою справляю у васъ, какъ слѣдуетъ... Не пью, не шляюсь, господское добро берегу...

— Это такъ: твои амуры—не мое дѣло, да зачѣмъ жалобы доходятъ до меня?

— На что-же вы теперь жалуетесь? спросилъ я ее.

— Да вотъ сейчасъ, когда я мимо вашихъ дверей по лѣстницѣ шла, онъ подкараулилъ—и цапъ меня за шею, хотѣлъ обнять... Да не таковская: я не далась, попятилась. — Вонъ извольте посмотрѣть: коса у меня свалилась, и платокъ съ шеи... Не прикажите ему озорничать! Я живу скромно, всѣ знакомые мои, и въ домѣ здѣсь тоже меня знаютъ честной, аккуратной дѣвушкой: могутъ, пожалуй, подумать, что я нарочно слушаю его „канплименты...“

— Слышишь, Валентинъ—это правда, что „барышня“ говоритъ! Она скромна... дорожитъ своей репутаціей, не хочетъ чтобъ ее компрометтировали...“ заговорилъ было я, но остановился, вспомнивъ о его тетрадкѣ съ „сенонимами:“ слова „репутація“ и „компрометтировали“, какъ мудреныя и ему непонятныя, навѣрно попали-бы туда.—Она скромна, бережетъ себя, дорожитъ своимъ честнымъ именемъ: не безпокой-же ее! дополнилъ я въ новой редакціи.

Я успокоилъ ее какъ могъ—она поблагодарила меня, извинилась за „безпокойство“, прибавивъ, что и барыня ея посовѣтовала ей обратиться ко мнѣ. Она взялась за ручку двери, бросивъ опять на Валентина ядовито-насмѣшливый взглядъ.

— Чему смѣяться-то! шипѣлъ онъ на нее. — Такія дряни какъ вы — должны за счастье почитать, если съ ними благородно и деликатно обращается этакій кавалеръ!—Онъ поднялся на цыпочки и началъ руками собирать съ затылка волосы на макушку...

При словѣ „такой кавалеръ“ дѣвушка разразилась неудержимымъ, визгливымъ хохотомъ и бросилась вонъ. Онъ съ трескомъ заперъ за ней дверь.

Я тоже не утерпѣлъ и покатился со смѣху. Онъ ощетинился, какъ звѣрь, злобно посмотрѣлъ на меня, хотѣлъ что-то сказать, но удержался и ушелъ къ себѣ за перегородку, хлопнувъ дверью.

Все пошло своимъ порядкомъ. Верхнюю дѣвушку онъ, повидимому, не безпокоилъ, жалобъ не было, и я забылъ объ этомъ. Я замѣчалъ только, что когда я сидѣлъ въ теченіе утра дома, мой Валентинъ сталъ отлучаться куда-то: надо было изъ окна покричать дворника, чтобъ отъискалъ его. „Землячки“ при мнѣ тоже не являлись больше.

*

Но вотъ, однажды, недѣль шесть спустя, когда онъ вышелъ куда-то, ко мнѣ явился дворникъ и подалъ записку.

— Отъ кого это? спросилъ я.

— А вотъ отъ той жилицы, что напротивъ: у ней прачешное заведеніе, она хозяйка.

— Ко мнѣ-ли эта записка? Я вовсе не знаю этой жилицы: что́ ей нужно?

— Не могу знать: велѣла вамъ въ руки самимъ, а лакею, говоритъ, не давай.

Я взялъ записку. Она была не запечатана.

„Милостивый Государь“, читалъ я: „Вашъ лакей „Валентъ самый низкій мужчина: онъ все таскается „подъ окнами у насъ и какетничаетъ съ моими масте„рицами, мѣшаетъ имъ и дѣлаетъ разныя низости: вонъ „какую записку онъ подалъ Лизѣ—извольте прочитать. „Мы просимъ васъ унять его. Если онъ не перестанетъ „какетничать, ходить подъ окна и бросать записки—я то„гда приду сама и раздеру ему *всю* лицо.

„Готовая ко услугамъ
„Анна Прохорова
„прачешная хазяйка“.

Подъ фразой „раздеру всю лицо“ — была другая зачеркнутая редакція: „раздеру ему поганую харю“. Должно быть эта фраза показалась ей грубою относительно меня и она изъ учтивости смягчила ее. Къ письму приложенъ былъ клочекъ бумаги, на которомъ, должно быть, рукой Валентина написано: „О милое творенье, прости мнѣ восхищенье, Лизокъ, голубочка, ангелъ, чмокъ, чмокъ тебя. Приди, серафима моя, на второй дворъ подъ ворота. Принесу гостинцевъ много, много, и подарочекъ, чмокъ! чмокъ!“

Валентинъ пришелъ.

— Слушаю-съ, говорилъ онъ и „употреблялъ“. Такимъ образомъ установился порядокъ и по закусочной части.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ: все было хорошо. Тишина у насъ въ квартирѣ была невозмутимая. Отлучался Антонъ изъ дома рѣдко, недѣли въ двѣ разъ. Днемъ я его мало видѣлъ, а по вечерамъ онъ раздѣвалъ меня, уходилъ къ себѣ—я до утра его не видалъ и не зналъ, что онъ дѣлалъ. Скучалъ ли онъ, нѣтъ ли, безъ меня—ходилъ ли въ нему кто — я ничего не зналъ и былъ очень доволенъ. Но „на счастье прочно, всякъ надежду кинь!“ поетъ намъ неумолимую правду извѣстная пѣсня.

Воротясь какъ-то къ себѣ часовъ къ семь вечера зимой, помнится, въ декабрѣ, я сѣлъ за спѣшную работу и велѣлъ Антону подать мнѣ чай въ десять часовъ.

Долго я сидѣлъ за письмомъ, и до четверти одиннадцатаго Антонъ не являлся съ чаемъ. Между тѣмъ изъ передней доходилъ до меня какой-то шорохъ, шуршанье, будто тихіе шаги. Очевидно онъ не спалъ. Я позвонилъ, отвѣта не было. Черезъ пять минутъ я опять позвонилъ, и опять, и опять.

Наконецъ дверь тихо отворилась, вошелъ или скорѣе протискался въ нее совсѣмъ незнакомый мнѣ человѣкъ—и не весь, а только головой и плечами.

— Что прикажете-съ? спросилъ онъ почтительно.

— Какъ что? Чаю! Гдѣ Антонъ? Что онъ нейдетъ?

— Сейчасъ! былъ отвѣтъ и голова съ плечами скрылась.

Я думалъ, что Антонъ отлучился куда-нибудь, въ кухню, на лѣстницу, раздуваетъ тамъ самоваръ, что-ли, и что это входилъ какой-нибудь его знакомый, гость. Я опять углубился въ свое писаніе.

Прошло около получаса, никого нѣтъ. Я позвонилъ изо всей мочи. Опять послѣ нѣкоторой паузы полуотворилась дверь и показалась большая голова и плечи другого человѣка, не того, который входилъ прежде, и повторила вопросъ:

— Что вамъ угодно?

— Что же чай? Гдѣ Антонъ? съ нетерпѣніемъ повторилъ я.

— Сейчасъ! сказала голова и скрылась.

Когда черезъ десять минутъ ни чаю, ни Антона не показывалось, я скорыми шагами направился въ переднюю посмотрѣть, что тамъ дѣлается, и остолбенѣлъ.

Въ тѣсной комнатѣ Антона биткомъ набито было народу, человѣкъ шесть. Они сидѣли на двухъ стульяхъ, на табуреткѣ, на скамьѣ, одинъ взгромоздился на край стола, двое тѣснились на краю постели Антона, именно тѣ самые, которые входили ко мнѣ. На столѣ стояли штофы, бутылки, тарелки съ пирогомъ, ветчиной, колбасой, огурцами и прочей закуской. Тутъ же были яблоки, винныя ягоды.

Самъ Антонъ лежалъ навзничь во весь свой гигантскій ростъ на постели, безъ чувствъ, со свѣсившимися на полъ ногами, съ открытымъ ртомъ и открытыми глазами. Были видны только два бѣлка, зрачки закатились подъ лобъ.

— Ну! „употребилъ“ же ты! вырвалось у меня невольно. — Ахъ, ты, тихоня, тихоня! Что это, кабакъ, что-ли здѣсь? грозно вопросилъ я всю компанію:—Кто вы такіе? Зачѣмъ сюда пришли толпой?

— Именины сегодня Антона Тихоныча! сказалъ одинъ пьянымъ, сладенькимъ голоскомъ: — Мы и собрались... проздравить...

— Пирожекъ... пирожекъ... принесли! старался другой выговорить твердо, но ему не удавалось.

Третій указывалъ на сласти, яблоки, изюмъ, и молча тыкалъ себя въ грудь: „это, молъ, я принесъ“.

— Ступайте! ступайте!

Я указалъ имъ на дверь.

— Поми...луй...те... мы... силился говорить одинъ:— мы... не то... чтобы...

Я махнулъ имъ рукой.

Они похватали свои шапки и кучей тискались въ дверь, толкая другъ друга. По лѣстницѣ, какъ каменьями, стучали они сапогами, стараясь уйти въ перегонку.

— Дворника пришлите сюда скорѣе! крикнулъ я одному отставшему.

Пришелъ дворникъ. Я показалъ ему на Антона, лежавшаго все навзничъ, съ бѣлыми зіяющими глазами, открытымъ ртомъ, безъ чувствъ.

— Пожалуйста, приведи его какъ-нибудь въ себя: посмотри!

— Онъ мянинникъ ноньче, сказалъ дворникъ:—такъ и... подгулялъ. Давича и намъ съ Акимомъ поднесъ. Утромъ къ ранней обѣднѣ ходилъ.

— Уложи же его какъ слѣдуетъ, сказалъ я:—я тебѣ завтра на чай дамъ.

— Гдѣ же мнѣ, баринъ! Одному не сладить, вонъ онъ какой: безъ малаго сажень будетъ — я схожу за Акимомъ.

Дворникъ привелъ товарища. Они вдвоемъ принялись оправлять „мянинника“, облили ему голову водой, намочили виски и темя уксусомъ, раздѣли и уложили.

„О ты“, вздыхалъ я съ грустью про себя, ходя взадъ и впередъ по залѣ:—„о ты, зелено вино! ты иго, горшее крѣпостного права: кто и когда изведетъ тебя,

матушка Русь, изъ-подъ него? Князь Владиміръ великій сказалъ: „веселіе Руси — есть пити!“ и это слово стало тяжкою вѣчною заповѣдью для русскаго народа! Зачѣмъ онъ не прибавилъ: „пити, но не упиватися!“

На другой день Антонъ своимъ волчьимъ шагомъ вошелъ, клоня голову и мутные глаза внизъ. Я пристально поглядѣлъ на него. Онъ пошелъ было къ себѣ.

— Постой: что̀ это вчера было? спросилъ я его.

Онъ сталъ мяться на мѣстѣ.

— Именинникъ былъ! тихо сказалъ онъ.

— Хорошо, но ты мнѣ ничего не сказалъ, не предупредилъ, что назовешь гостей, что у васъ тутъ будетъ попойка! Я ушелъ бы куда-нибудь, не видалъ бы этого безобразія.

— Я не зналъ, что они придутъ. Это они принесли вина, закусокъ, пирога... я и...

— „Употребилъ“ это все... добавилъ я.

— Они почесть все сами употребили... тихо договорилъ онъ.

— Я не зналъ, что у тебя такое обширное знакомство! Что̀ это за люди?

— Это со мной на квартирѣ жили до мѣста, а теперь они всѣ по мѣстамъ живутъ.

— Ты часто такъ употребляешь?

— Никакъ нѣтъ-съ: въ рѣдкость. Вотъ именины случились, они и пришли. Кабы не пришли, такъ я бы не того-съ...

Я подумалъ, что именины бываютъ однажды въ годъ — и рѣшилъ оставить дѣло безъ послѣдствій, а его опять до именинъ.

— Чтобъ это было въ послѣдній разъ, сказалъ я: — не то уволю тебя. Ты одинъ здѣсь—пожалуй, бѣда какая-нибудь случится. Ступай!

— Онъ на вольной квартирѣ уголъ нанималъ до мѣста: тамъ одобряютъ, говорятъ деревенскій, смирный, непорченый. Изъ себя видный, Антономъ зовутъ.

— Ну, хорошо!

На другой же день онъ прислалъ мнѣ молодца колоссальнаго роста, брюнета лѣтъ сорока пяти, съ лохматой головой, съ здоровыми, длинными мускулистыми руками, съ такими же здоровыми крѣпкими ногами. Онъ былъ одѣтъ въ длинномъ, широкомъ нескладномъ сюртукѣ, очевидно сшитомъ не по немъ. Онъ сталъ у дверей, какъ вкопаный, смотрѣлъ на меня покорно, почти со страхомъ, тупымъ, апатичнымъ взглядомъ, изъ котораго не только не прорѣзывалось иглы, луча свѣта, по даже искры не было.

— Тебя Антономъ зовутъ? Ты изъ деревни? спрашивалъ я, разсматривая его билетъ.

— Точно такъ-съ, тихо, покорнымъ голосомъ отвѣчалъ онъ: — у господъ служилъ, теперь отпущенъ на оброкъ.

— Въ какой ты должности служилъ?

— При столѣ-съ, съ господами тоже выѣзжалъ по гостямъ и по егерской части...

— Ты, значитъ, хорошій стрѣлокъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Дичъ стрѣляли другіе у насъ, тѣ и по псовой части служили, а я больше на счетъ волковъ...

— Волковъ! Да развѣ ихъ много у васъ?

— Страсть сколько въ нашемъ уѣздѣ! Все лѣса, вотъ они и разводились: много скота рѣзали! Баринъ насъ троихъ — здоровыхъ, какъ я же... Онъ мелькомъ взглянулъ на свои руки и шевельнулъ кулаками слегка:—и посылалъ, да человѣкъ пять изъ мужиковъ, тоже которые поздоровѣе—на этихъ самыхъ волковъ...

— Вѣдь съ ружьями же посылали васъ, не съ голыми руками?

— Никакъ нѣтъ-съ: съ дубьемъ.

— Какъ же на волковъ съ дубьемъ?

— Такъ точно-съ. Какъ услышатъ, что волки прибѣжали въ наши лѣса, насъ и пошлютъ съ тенетами. Мы человѣкъ пять кругомъ раскинемъ тенета и ждемъ. А съ другой стороны ихъ начнутъ пужать трещотками, свистками, они и бросаются, словно угорѣлые, да въ тенетахъ и запутаются. Тутъ мы ихъ и примемъ въ дубье... вонъ такъ...

Онъ вытянулъ руку, точно бревно, и махнулъ. Вылитый Илья Муромецъ! Кого ударитъ, у того рука прочь. „Ну“, думалъ я, „если онъ не приметъ меня самого въ дубье, то будетъ надежнымъ моимъ тѣлохранителемъ и стражемъ дома: этакій съ цѣлой шайкой воровъ справится.

— Какъ же съ волками: тутъ же и убивали ихъ? спрашивалъ я дальше.

— Точно такъ-съ: по головѣ надо наровить его, а то, если по чему другому, такъ не ошалѣетъ сразу и мечется: того и гляди обдеретъ скрозь тенетъ.

И много на твою долю приходилось убивать?

— Много-съ, до полста я считалъ, а послѣ ужь и счетъ потерялъ!..

— Ну, оставайся у меня, и если волки заведутся, такъ ты ихъ... хорошенько...

— Какіе здѣсь волки! наивно замѣтилъ онъ и какъ будто хотѣлъ улыбнуться, но улыбки не вышло.

— Другой породы, сказалъ я:—здѣшніе волки забираются на чердаки, проникаютъ въ комоды, шкапы, въ карманы...

Я оставилъ его у себя, и онъ, какъ по машинѣ, сталъ исправлять немудреную службу.

Ходилъ онъ, не смотря на громоздкость свою и на огромную ступню, тихо, ступалъ мягко, осторожно, какъ котъ, или пожалуй какъ волкъ, убиралъ комнаты не слышно, пока я спалъ, и дрова приносилъ, прижимая къ груди какъ родныхъ дѣтей, и складывалъ каждое полѣно у печки, какъ перышко, какъ мать кладетъ дитя въ колыбель: ни одно полѣно у него не стукнетъ. Никогда не заговаривалъ самъ и на вопросы мои всегда отвѣчалъ тихо и робко.

„Есть же за нимъ какія-нибудь художества: но какія?“ спрашивалъ я боязливо слѣдя, какъ онъ тихо, въ видѣ тѣни, скользилъ по комнатамъ.

— Не пьешь ли ты, Антонъ? спросилъ я его однажды мягко, ласково.

Онъ помолчалъ немного.

— Нынче курица — и та пьетъ-съ, уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Да, еслибы пить только тó, что пьетъ курица...

Я не кончилъ потому, что онъ, подъ предлогомъ взять щетку, тихо ускользнулъ въ переднюю, къ себѣ.

Проходили недѣли, наконецъ мѣсяцы, я ничего не замѣчалъ, никакихъ „художествъ“ — и про себя радовался пріобрѣтенію смирнаго и исправнаго слуги.

Иногда я замѣчалъ неважныя уклоненія отъ исправности, свойственныя особенно крѣпостнымъ людямъ, въ барскихъ дворняхъ. Я не обѣдалъ дома, но иногда завтракалъ, т. е. пилъ чай съ какой-нибудь холодной закуской, сыромъ, икрой и т. п. Велишь, бывало, на другой день, когда Антонъ подавалъ чай, принести вчерашній сыръ или икру.

— Сейчасъ, скажетъ онъ и пойдетъ въ буфетъ.

— Сыру тамъ нѣтъ-съ... скажетъ тихо, воротясь.

— Гдѣ же онъ? Вчера большой кусокъ оставался...

— Я... употребилъ... стыдливо скажетъ, потупивъ глаза.

Точно также въ другой разъ бывало и съ икрой, съ сардинками, холоднымъ мясомъ. Когда спросишь, сначала всегда пойдетъ какъ будто справиться, а потомъ тихо скажетъ: „Употребилъ!“

Я совѣстился замѣчать что-нибудь о неумѣстности такого „употребленія“, думалъ, что ради своего скуднаго питанія гдѣ нибудь въ лавочкѣ, или сосѣдней харчевнѣ, онъ дополняетъ свой столъ моей закуской — и молчалъ. Я охотно готовъ былъ дѣлиться съ нимъ этими кусочками.

Но однажды остались отъ вечерняго чаю варенье, фрукты, печенье. Я на другой день, вечеромъ, вспомнилъ о нихъ и велѣлъ подать себѣ къ чаю. Онъ по обыкновенію пошелъ въ буфетъ, позвенѣлъ тамъ посудой и принесъ двѣ штучки печенья и банку, гдѣ на днѣ едва осталась чайная ложка варенья.

— Вчера я только-что почалъ банку и печенья былъ цѣлый подносъ! замѣтилъ я.—Гдѣ же это все?

Онъ помялся на мѣстѣ, помолчалъ.

— Употребилъ-съ... чуть слышно прошепталъ онъ.

Мнѣ все-таки совѣстно было дѣлать ему замѣчаніе, и я придумалъ другую мѣру. Когда мнѣ хотѣлось оставить что-нибудь отъ закуски до другого раза, я ему говорилъ:—Вотъ это оставь мнѣ, не „употребляй“!

Онъ на это приказаніе не отвѣчалъ мнѣ ни слова и не „употреблялъ“ никогда. А что я не считалъ нужнымъ оставлять, я говорилъ ему: — Вотъ это употреби, если хочешь!

Все пошло попрежнему, но я уже не довѣрялъ этому тихому омуту—и не даромъ.

Прошла зима, стало таять, въ воздухѣ запахло весной, т. е. навозомъ съ каналовъ и грязью съ улицъ. Тогда еще не скалывали ледъ заблаговременно и по улицамъ стояли цѣлыя моря грязи, съ горбами, провалами — ни конному, ни пѣшему не было пути. Въ апрѣлѣ наступила жара на улицахъ, а на рѣкѣ и въ каналахъ еще держался ледъ.

Такова была и Святая недѣля. Я въ четвергъ предложилъ Антону воспользоваться цѣлымъ днемъ, предупредивъ, что вернусь поздно вечеромъ. Съ пятницы у меня начинались занятія по службѣ и надо было сидѣть дома, принимать пакеты, письма, газеты, посѣтителей по дѣламъ и прочее. Онъ отнѣкивался, сказалъ, что дойдетъ развѣ до балагановъ, которые тогда были на Адмиралтейской площади, посмотритъ, да и домой.

— Какъ хочешь! сказалъ я и далъ ему денегъ, чтобъ онъ побывалъ и въ балаганахъ.

Вечеромъ, часу въ двѣнадцатомъ, когда я возвращался, дворникъ, сидѣвшій у воротъ, сказалъ мнѣ, что въ дворнической есть казенный пакетъ на мое имя. — Вотъ я сейчасъ принесу...

— Отъ чего въ дворнической, а не у меня? спросилъ я.

— Должно быть вашего человѣка не было, такъ разсыльный и отдалъ намъ.

— Я взялъ пакетъ и сталъ подниматься на лѣстницу. Я жилъ тогда въ томъ же домѣ, гдѣ и теперь живу. У меня былъ особый ходъ на улицу, ни швейцаромъ, и никѣмъ не охраняемый и никогда не запираемый. По этой лѣстницѣ, подъ моей квартирой, жила какая-

то древняя старушка-фрейлина, должно быть „Екатерины первой“—и никого больше.

Я безпечно поднимался вверхъ, позвонилъ, но никто не пошевелился, дверь не отпиралась. Я еще позвонилъ и еще. Никого. Я тронулъ за ручку и дверь отворилась. Я вошелъ: въ передней никого. Рядомъ въ комнатѣ Антона видѣнъ былъ свѣтъ. Я отворилъ къ нему дверь и ахнулъ.

На столѣ догорала, вся оплывши, свѣча, надъ нею, въ близкомъ разстояніи, висѣли на протянутой веревкѣ полотенца, платки, какія-то тряпки.

Самъ Антонъ лежалъ въ растяжку на полу діагонально, навзничь, опять съ открытымъ ртомъ, съ закатившимися подъ лобъ зрачками, безъ чувствъ.

— „Употребилъ“! не выдержалъ! сказалъ я съ тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный трудъ: онъ не шевелился, не подавалъ голоса, не открывалъ глазъ. „Это называется праздникъ, Святая недѣля! Святая! Вотъ ужь, что̀ называется, „святыхъ вонъ выноси!“ думалъ я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня.

Но сюрпризъ этимъ не кончился. Я взялъ со стола свѣчку, вышелъ въ переднюю и второй разъ ахнулъ, вошелъ въ залу, въ кабинетъ, въ спальню—и все ахалъ и ахалъ.

„Что это, погромъ!“ Всѣ мои чемоданы, картонки, корзинки, узлы, были вытащены въ залу и переднюю, всѣ набиты моими платьями, бѣльемъ, разными вещами. Изъ корзинъ съ бѣльемъ торчали подсвѣчники, лампы, посуда, на полу валялись зеркала, мелкія вещи. Въ кабинетѣ мой письменный столъ былъ взломанъ, также книжный шкафъ и шкафчикъ съ папками. Все это было сдвинуто съ мѣста и стояло посреди комнаты.

По полу разсѣяны были письма, пакеты, бумаги, и между послѣдними до тридцати большихъ тетрадей „Обломова“, приготовленнаго совсѣмъ для печати.

Полное разрушеніе! Волки были, какъ я предсказывалъ Антону. А онъ лежитъ, какъ мертвый: и дубье не помогло! У меня сердце сжалось тоской. Я чувствовалъ, что не живу подъ знаменемъ охраны, благоустроенности, порядка. Я предоставленъ самому себѣ, я беззащитенъ. Будь я помоложе, я, можетъ быть, заплакалъ бы. Никого около меня — нѣтъ опоры, нѣтъ защиты!

— Вотъ не женились—и наказаны! Вотъ вамъ прелести холостой жизни! „Свобода, независимость!“ говорила мнѣ потомъ одна пріятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы.—Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка — еще время не ушло! я бы вамъ славную невѣсту сосватала!

— Еслибъ женился, можетъ быть, забрались бы другіе волки, злѣе этихъ! меланхолически отвѣтилъ я.

— Ну-у! протяжно и нерѣшительно протестовала она загадочнымъ тономъ, глядя не на меня, а куда-то въ пространство, съ загадочной улыбкой и съ загадочнымъ же взглядомъ.

Я замѣчалъ, что такой взглядъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, умныхъ и неумныхъ, потертыхъ жизнью и непорочныхъ, начиная отъ многоопытныхъ матронъ, до „пола нѣжнаго стыдливыхъ херувимовъ“ включительно. Онъ является въ разные моменты ихъ жизни: когда, напримѣръ, онѣ хотятъ замаскировать мысль, чувство, секретное желаніе или намѣреніе, или когда имъ говорятъ о какомъ-нибудь чужомъ грѣшкѣ, который и

за ними водится, или когда надо выразить кому-нибудь участіе, а участія нѣтъ и т. д.

Тогда взглядъ становится стекловиднымъ, точно прозрачнымъ; глазная влага, выразительница психическихъ процессовъ, куда-то исчезаетъ — и взглядъ ничего не говоритъ,—становится, какъ я выше назвалъ, загадочнымъ, или, если угодно, дипломатическимъ. Назвать его фальшивымъ не хочу: это грубо противъ милыхъ дамъ.

Такимъ взглядомъ и сопровождалось восклицаніе Анны Петровны — „ну!“ Я позволилъ себѣ угадывать въ этомъ ея дипломатическомъ взглядѣ затаенный отвѣтъ: „да, конечно, это бываетъ (т. е. „волки“, нарушители супружескаго спокойствія), можетъ случиться и съ вами — да что же мнѣ до этого за дѣло, когда вы ужь женитесь“!..

Прошу извинить меня за это отступленіе — и обращаюсь къ своему „инциденту“.

Я ничего не тронулъ изъ моего разбросаннаго добра, только собралъ тетради „Обломова“, повѣрилъ, что онѣ всѣ цѣлы, и успокоился. Воры шарили вездѣ, очевидно искали денегъ, и не нашли. А деньги были: нѣсколько крупныхъ ассигнацій были разложены между листами разныхъ старыхъ рукописей, плотно уложенныхъ въ небольшой шкафикъ съ папками. Ворамъ долго бы пришлось добираться до нихъ.

Они очевидно были застигнуты врасплохъ и разбѣжались. Ихъ засталъ, какъ я послѣ узналъ, тотъ самый разсыльный, который принесъ мнѣ пакетъ. Онъ не дозвонился у дверей и, полагая что Антона нѣтъ, отдалъ пакетъ дворникамъ, а воры, услыхавъ неоднократный звонокъ, подумали, что воротился хозяинъ квартиры, т. е. я, бросили все собранное въ чемоданы и узлы, и скрылись заднимъ ходомъ, черезъ дворъ.

Мнѣ худо спалось. Я проснулся раньше Антона и, услыхавъ, что онъ тоже всталъ, я вышелъ въ переднюю. Онъ пришелъ въ себя, намочилъ голову, одѣлся — и ждалъ, когда войти ко мнѣ. Увидя меня, онъ привсталъ съ постели, стараясь не смотрѣть на меня.

— Гдѣ ты былъ вчера, Антонъ? спросилъ я.

— Въ балаганѣ-съ, какъ вы приказали, невнятно шепталъ онъ.

— А еще гдѣ?

Онъ молчалъ.

— Кто у тебя былъ въ гостяхъ?

— У меня никого-съ, довольно живо отвѣчалъ онъ.

— Не та ли твоя зимняя компанія, что на именины къ тебѣ приходила?...

— Никакъ нѣтъ-съ: я ее съ тѣхъ поръ и не вижу-съ! твердо говорилъ онъ.

— Такъ волки, что-ли, приходили?

— Какіе волки-съ? Никого не было.

Онъ съ недоумѣніемъ поглядывалъ на меня. Видно было, что онъ дѣйствительно не понимаетъ моего вопроса.

— Поди сюда, полюбуйся: это что̀?

Я вывелъ его въ переднюю и въ залу, указывая на узлы, чемоданы съ моимъ добромъ, разбросаннымъ по полу, на мебель...

— Господи, Боже Ты мой — Господи! Господи Владыко! говорилъ онъ, оборачиваясь около себя, тараща глаза и разводя руками, потомъ вдругъ заплакалъ и сталъ на колѣни.

— Самъ Христосъ видитъ: вѣдать не вѣдаю, сударь! Виноватъ тѣмъ, что захмѣлѣлъ...

— Встань и разскажи, что̀ было вчера, а я запишу и дамъ знать полиціи.

Онъ разсказалъ, что ходилъ въ балаганъ, тамъ, рядомъ съ нимъ, сидѣли какія-то три личности, не то торговцы, не то служащіе у господъ. Сначала читали вмѣстѣ афишку, потомъ разговорились, потомъ гуляли около качелей, и наконецъ пошли въ трактиръ и его позвали, пили чай и прочее... Они разспрашивали его, кто онъ, гдѣ живетъ, у кого служитъ, каково ему на мѣстѣ, бываетъ-ли баринъ дома, богатъ-ли онъ?—и все вывѣдали. А сами все угощали его и сами пили. Одинъ простился и ушелъ, а вмѣсто его пришли еще двое — и опять стали пить и пить, и его угощали—пока...

— Я къ вечеру очень охмѣлѣлъ, заключилъ Антонъ: — и... и... не помню, что было... какъ попалъ домой...

Онъ опять съ ужасомъ сталъ осматриваться кругомъ и опять хотѣлъ стать на колѣни. Я удержалъ его и велѣлъ разобрать и уложить платье, бѣлье и всѣ вещи по мѣстамъ.

Пропавшими оказались дюжины двѣ столовыхъ ложекъ, дешевые деревянные столовые часы и отличный тулупъ на бѣличьемъ мѣху, привезенный мною изъ Сибири, крытый китайскимъ атласомъ.

Все украденное оказалось мнѣ ненужнымъ. Я дома не обѣдалъ, и ложки, стариннаго фасона, семейныя, взятыя мною изъ дома такъ, на всякій случай, лежали у меня безъ употребленія въ письменномъ столѣ. Столовые часы ходили невѣрно и мало служили мнѣ. Тулупъ изъ отборныхъ бѣлокъ, сдѣланный въ Якутскѣ, я тоже никогда не надѣвалъ, чтобъ не пріучать тѣло къ излишнему теплу. Но мнѣ все-таки было жаль его: такъ онъ былъ хорошъ.

Такимъ образомъ пропажа была нечувствительная, но я все-таки объявилъ о ней полиціи, больше для острастки, чтобы знали хоть на дворѣ, что есть живые люди въ квартирѣ.

Ничего изъ этого, какъ водится, не вышло. Пришелъ квартальный надзиратель, снялъ показаніе, Антона вызывали къ допросу. Потомъ вызвали въ часть и меня, показали какіе-то окрашенные въ черную краску столовые часы, спросили не мои ли? Я отозвался, что мои были пальмовые, желтаго цвѣта. Предъявили тоже столовую ложку, съ вопросомъ, не моя ли? А я своихъ ложекъ лѣтъ десять не вынималъ изъ стола и забылъ, какія онѣ—и потому и ложку не призналъ своею.

Тѣмъ все и кончилось. Съ Антономъ я простился, убѣдившись окончательно, что онъ не воръ, что его напоили мошенники, привезли замертво домой и хотѣли обокрасть квартиру.

Я перекрестился, что дешево отдѣлался.

III.

Степанъ съ семьей.

Гдѣ вы, мои слуги, мои тѣлохранители, „и денегъ, и бѣлья моихъ рачители?“ „Иныхъ ужь нѣтъ, а тѣ далече.“ Но какъ только остановлюсь памятью на которомъ-нибудь изъ нихъ, предо мною изъ тьмы предстанутъ, какъ живыя, лица Михеевъ, Егоровъ, Максимовъ, Павловъ и т. д.

Вотъ я ихъ вижу передъ собой, съ подносомъ или чашками, щетками въ рукахъ, слышу будто ихъ говоръ.

Пропускаю мимо нѣсколько человѣкъ, служившихъ у меня неподолгу: они слишкомъ однообразны.

Ихъ можно свести въ одну группу—пьющихъ. Много портили они у меня крови и отравляли мою холостую жизнь. Подъ пару Антону возьму для образчика два-три силуэта.

Былъ Петръ, который, отслуживъ свой день, запиралъ меня на ночь на ключъ и уходилъ куда-то—пить водку и играть въ карты. Я узналъ объ этомъ случайно отъ старухи, которой давался у меня въ кухнѣ уголъ, чтобы квартира не оставалась совсѣмъ пустою, когда не было меня и слуги дома.

Я вызывалъ его на откровенность, чтобы дознаться, правда-ли это. Онъ упорно отрекался, особенно отрицалъ водку.

— Ни-ни! твердилъ онъ:—я уходилъ раза два, только не водку пить, нѣтъ!

— Зачѣмъ-же? Чтб ты дѣлалъ?

— Не водку пить ходилъ, утверждалъ онъ упорно:— я за другимъ, за дѣломъ уходилъ.

— Зачѣмъ?

— За другимъ только не водку пить!

Однажды я хотѣлъ повѣрить, правду-ли говоритъ старуха, и заработавшись долго ночью, вышелъ въ переднюю, хотѣлъ пройти чрезъ его комнату въ кухню. Его не было и дверь оказалась запертой.

Я еще не успѣлъ лечь, какъ услышалъ, что онъ пришелъ и возился у себя въ темнотѣ. Я вышелъ къ нему со свѣчкой. Онъ раздѣвался, готовясь лечь.

— Гдѣ ты былъ? строго спросилъ я.—Скоро три часа.

— А вамъ что за дѣло! дерзко отвѣчалъ онъ. Онъ былъ очень въ возбужденномъ состояніи.

— Какъ что за дѣло: у меня живешь и бродяжничаешь по ночамъ.

— Какъ вы смѣете называть меня бродягой! вскинулся онъ на меня съ крикомъ, съ азартомъ, такъ что изъ кухни, услышавъ крикъ, пришла старуха. Онъ продолжалъ кричать и грубить.

— Ну, ложись спать! покойно сказалъ я уходя.

— Лягу и безъ васъ, не дамъ куражиться надъ собой! Я не бродяга, я хожу въ хорошіе люди, не водку пить: нѣтъ, нѣтъ! кричалъ онъ мнѣ вслѣдъ.

Утромъ я позвонилъ. Онъ какъ ни въ чемъ не бывало принесъ мнѣ чай, газеты. Я отдалъ ему паспортъ, зажитое жалованье и сказалъ, чтобы онъ немедленно уходилъ. Онъ оторопѣлъ немного, переступилъ съ ноги на ногу.

— Помилуйте, за что-же?.. тихо сказалъ онъ.

Я ничего не отвѣчалъ. Онъ взялъ паспортъ, деньги и ушелъ.

— Позвольте только оставить пожитки мои здѣсь на день или на два, пока пріищу мѣсто, сказалъ онъ оборотясь при выходѣ.

— Хорошо, скажи старухѣ, чтобы она поберегла ихъ. Ты понимаешь, что ты не можешь больше оставаться у меня?

— Это точно-съ... тихо сказалъ онъ и ушелъ понуря голову.—Простите за вчерашнее! еще тише прибавилъ онъ, отворяя дверь. Я махнулъ рукой и онъ вышелъ.

Старуха сказывала мнѣ, что когда онъ узналъ, что́ и ка́къ онъ говорилъ со мною ночью, то онъ схватилъ себя руками за голову. „Неужели это правда? И я это все сказалъ!“

Онъ былъ очень тихій, приличный и расторопный слуга, представительной наружности, блондинъ лѣтъ тридцати, съ грубоватыми, но правильными чертами лица.

Когда онъ дня черезъ два явился за пожитками, я спросилъ, зачѣмъ онъ уходилъ по ночамъ.

— За какимъ такимъ дѣломъ, котораго упорно назвать ты не хотѣлъ?

— Водку пить-съ! откровенно, со вздохомъ сознался онъ, потупляя глаза.

Послѣ него черезъ день явился другой слуга, Максимъ, рябоватый, здоровый, крѣпко сложенный, мускулистый человѣкъ невысокаго роста.

Этотъ отличился черезъ три мѣсяца. Воротясь однажды поздно домой, я засталъ дверь незапертою. Максимъ не спалъ, но былъ тоже въ возбужденномъ состояніи. Такъ какъ онъ былъ на ногахъ, помогъ мнѣ раздѣться, взялъ платье, сапоги, я не обратилъ на это вниманія. На другое утро онъ заявилъ мнѣ, что мое пальто съ бобровымъ воротникомъ пропало.

— Какъ, куда пропало? Ты дома былъ, или уходилъ со двора? Приходилъ къ тебѣ кто-нибудь?

— Нѣтъ-съ... должно быть я не уходилъ... Кажется, что дома былъ... И у меня никого не было... что-то не помню... Кому быть у меня! лепеталъ онъ какъ ребенокъ.

— Отчего-же дверь вчера была не заперта, когда я пришелъ?

— Не помню-съ... была-ли она заперта, или нѣтъ... отговаривался онъ, глядя въ сторону.

— Поищи, спроси: если у тебя кто-нибудь былъ — сходи узнай... Я въ полицію дамъ знать, погрозилъ я.— До завтра даю тебѣ сроку...

Онъ ничего не сказалъ. Утромъ первый мой вопросъ былъ о пальто.

— Никакъ нѣтъ-съ: нигдѣ не могъ отыскать. Спрашивалъ у дворниковъ, не входилъ-ли кто, не выносили-ли пальто?.. Они никого не видали...

— Ну, надо въ полицію объявить: тамъ, можетъ быть, ты вспомнишь, отчего дверь не была заперта... сказалъ я.

— Ваша воля, какъ вамъ угодно! отвѣтилъ онъ равнодушно.

Но полиціи я не объявилъ, зная, по множеству примѣровъ, какъ это бываетъ безполезно, а Максима немедленно уволилъ.

Я рѣшилъ, что одному человѣку „не добро быти“ даже и у одинокаго холостяка. Онъ будетъ скучать и уходить со двора, какъ Петръ, или къ нему заберутся, пожалуй, непрошенные посѣтители, какъ уже и случалось съ моими слугами.

Мнѣ посовѣтовали взять женатаго, такъ какъ въ кухнѣ у меня мѣста было довольно хоть на цѣлую семью.

Мнѣ рекомендовали старика, лѣтъ 65, но еще бодраго, хотя съ нѣсколько помятымъ лицомъ и мелкими морщинами. Онъ былъ отпущенный на волю, жилъ по мѣстамъ поваромъ, но состарѣлся, по словамъ его, для этой службы всегда у огня, въ жару, и предпочелъ другую должность, попрохладнѣе.

Онъ стоялъ передо мною, смотрѣлъ на меня добродушно и зорко своими карими глазами, не смигнувъ, какъ собака, ожидающая приказанія своего хозяина. „Все сдѣлаю, что̀ прикажете“, читалъ я въ этихъ глазахъ и его позѣ: „а чего не прикажете—ни за что̀ не стану дѣлать“! дополнилъ я про себя сокровенный смыслъ его взгляда.

Онъ на другой же день переѣхалъ съ женой Матреной, женщиной за пятьдесятъ лѣтъ, съ крѣпкими, точно изъ гуттаперчи щеками, носомъ и подбородкомъ. Глаза у ней глядѣли не прямо, а стороной; губы она поджимала. Она поклонилась мнѣ въ поясъ и подала хранившійся у нея паспортъ мужа.

Дня черезъ два, заглянувъ въ ихъ помѣщеніе, я изумился множеству навезенной всякой всячины. Постель съ перинами и подушками горой, почти до потолка, множество разной посуды, кастрюль, печныхъ горшковъ

и т. п. утвари. Но всего болѣе было иконъ, лампадъ, пасхальныхъ яицъ, сухихъ просфоръ и вѣтокъ вербы въ кіотѣ и около.

Матрена была русская, набожная женщина — и заняла кіотомъ со священными предметами, не только весь передній уголъ своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату съ ванной. Долго я слышалъ стукотню прибиваемыхъ иконъ и картинъ религіознаго содержанія. Это меня нѣсколько успокоивало на счетъ добропорядочности этой четы. У нихъ былъ сынъ, Петруша, лѣтъ 17, обучавшійся слесарному ремеслу и ходившій къ отцу и матери только по большимъ праздникамъ.

Водворились они и все пошло обычнымъ порядкомъ. Но прежняго безмолвія не было. Когда я проходилъ въ свою гардеробную, я постоянно слышалъ молвь: это и натурально, когда живутъ двое вмѣстѣ. Но молвь эта была задорная, съ крикомъ, возгласами—иногда бранью—все со стороны Матрены.

Степанъ—такъ звали новаго слугу, — можетъ быть Михайловъ, можетъ быть Петровъ — теперь забылъ: у нашихъ крѣпостныхъ и дворовыхъ—такъ называемыхъ „фамилій“ не бывало; ихъ звали по отцу, или давали „прозванія“, т. е. прозвища,—Степанъ, говорю я, все отмалчивался, или отрывисто огрызался на задиранья жены.

— Да ну тебя, замолчишь-ли ты, о, чертовка!

— Нечего молчать-то! Еще лаяться чертовкой! ѣдко пилила она его:—а ты что сидишь, протянулъ ноги-то, ходить негдѣ!

Онъ убиралъ ноги, вставалъ и направлялся въ мои комнаты.

— Куда, куда? ядовито останавливала она:—что дровъ не несешь: мнѣ что-ли идти за дровами? Я стряпай, ты будешь жрать, а самъ ни съ мѣста! Погоди, не такую дуру нашелъ: я не раба тебѣ досталась!

— Господи Боже мой! Что это за дьяволъ баба! охая говорилъ Степанъ и шелъ за дровами.

— Я тебѣ дамъ „дьяволомъ“ звать! шипѣла она крестясь:—Господи, спаси меня! навязалъ Ты мнѣ эдакій кладъ на шею!

А когда онъ, исполненный усердія, пробовалъ помочь ей:

— Дай-ко сковороду, я картофель поджарю.

Она на него обрушивалась:

— Не суйся, не спрашиваютъ! кричала она.

— Я бы тертымъ сухаремъ посыпалъ, да сметанки подлилъ, да лучку тебѣ поджарю — вотъ какъ вкусно будетъ, пальцы оближешь! договаривалъ онъ.

— Слышишь, я тебя кочергой огрѣю, если будешь соваться—вотъ Пресвятая Матерь, огрѣю! грозила она.

— Ну, чортъ съ тобой, лѣшій тебя дери!

Сидя въ ваннѣ, почти рядомъ съ кухней, одѣваясь и раздѣваясь, я постоянно слыхалъ эти перебранки и другаго не слыхалъ. Она, что называется, „поѣдомъ ѣла его“, а онъ принималъ все это равнодушно, отгрызаясь, или встряхнетъ головой, усмѣхнется и идетъ ко мнѣ въ переднюю, если ему становилось уже не въ мочь. Видно было по его равнодушію, что онъ привыкъ.

Между прочимъ она просила меня отдавать жалованье не Степану на руки, а ей.

— Отчего? спросилъ я:—развѣ онъ...

— Мотаетъ, замѣтила она, поджимая губы и косясь на мужа. Онъ небрежно тряхнулъ головой и усмѣхнулся.

— На пустяки тратитъ, прибавила она.

— Я не имѣю права давать никому, кромѣ его: если онъ согласится...

— Пожалуй, извольте ей отдавать: она у меня казначей! охотно согласился онъ, и опять усмѣхнулся.

— У меня цѣлѣе будетъ! вполголоса прибавила она, глядя въ сторону. Я тогда не зналъ, что̀ это значитъ.

Такъ шло дѣло до зимы, до Рождественскихъ праздниковъ, безъ всякихъ особыхъ событій. Были кое-какія неудобства. Напримѣръ, черезъ мѣсяцъ по водвореніи у меня этой четы, появились тараканы. Они наполняли не только кухню, но и мою гардеробную, и ведущій въ нее корридоръ, и переднюю. Наконецъ стали появляться у меня въ комнатахъ. Я указалъ имъ на это.

— Что̀ это такое за гадость? говорю.

— Это... тараканы-съ! почти въ одинъ голосъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, отвѣчали они оба. Степанъ при этомъ сгребалъ ползавшихъ на виду насѣкомыхъ горстью и бросалъ, или въ форточку, или куда-нибудь въ лохань.

— Чтобъ ихъ не было! сказалъ я: — надо вывести. До васъ я никогда ни одного не видалъ!

— Какъ это можно! сказала Матрена, косясь на меня:—мы не съ собой ихъ привезли. Гдѣ ихъ нѣтъ! Гдѣ мы ни жили, вездѣ были—что клопы, что тараканы!

— Не было до васъ, строго подтвердилъ я: — надо вывести: я порошку куплю.

Но порошокъ не помогалъ и тараканы оставались все время, пока они у меня жили. А они жили около двухъ лѣтъ.

Иногда я пробовалъ искусство Степана готовить столъ, такъ какъ онъ хвастался, что былъ хорошимъ поваромъ.

Онъ не даромъ хвастался: въ самомъ дѣлѣ онъ хорошо готовилъ. Я иногда приглашалъ пріятелей отвѣ-

дать его стряпни—и всѣ не могли нахвалиться вкусными русскими блюдами.

Я сталъ было привыкать къ домашнему столу и подумывалъ обратить Степана къ его прежнему ремеслу, сдѣлать своимъ поваромъ, прибавить жалованья и обѣдать у себя, словомъ жить домомъ. Онъ, казалось, и самъ не прочь былъ отъ этого.

— Что же-съ—могу! съ самоувѣренностью говорилъ онъ.—Я все умѣю: и супы—пюрэ, и какіе угодно, и соусъ къ рыбѣ и спаржѣ, пирожное тоже всякое: вафли, кремъ шеколадный или съ ванилью...

Онъ перебралъ цѣлую поваренную книгу.

— Только надо кастрюль, сковородъ и другой посуды купить, прибавилъ онъ.

— Все купимъ.

— Погреба нѣтъ, вдругъ спохватился онъ: — желе, заливное, тоже что̀ останется отъ стола, въ холодъ некуда поставить...

— И погребъ найму, говорилъ я.

— Что же-съ: я готовъ! Хозяйство у васъ не Богъ знаетъ какое большое, семейства нѣтъ, гости рѣдко: управлюсь...

И жена его поддакивала, но нерѣшительно, и ядовито косилась на него при этихъ переговорахъ. Я не зналъ, отчего это, но потомъ узналъ.

Подходилъ праздникъ Рождества. Я изрѣдка, все еще въ видѣ опыта, обѣдалъ дома—и всегда хорошо, вкусно. Я успѣлъ прикупить столоваго бѣлья, посуды, вилокъ, ножей. Однажды я позвалъ двухъ пріятелей попробовать моего хозяйства, далъ Степану денегъ, заказалъ, что̀ купить и приготовить, и ушелъ со двора до обѣда.

Воротясь домой часовъ въ пять, я узналъ, къ ужасу моему, что печь не топилась, стола не готовили и что Степана—съ утра нѣтъ.

— Какъ ушелъ за провизіей, съ тѣхъ поръ и не бывалъ! прибавила Матрена, не то съ тоской, не то злобно.

— Какъ-же быть: сейчасъ гости придутъ! говорилъ я.—Обѣдъ не поспѣетъ, если онъ и придетъ сей-часъ: когда готовить!

— Онъ не придетъ сегодня: развѣ къ ночи! сказала она въ сторону.

— Что-же это значитъ? спросилъ я. — Куда онъ ушелъ?

— А вы зачѣмъ ему деньги на руки дали? вдругъ ѣдко упрекнула она: — я просила мнѣ отдавать. Я бы сходила съ нимъ на рынокъ и провизіи-бы купила: теперь кушали-бы, и деньги были-бы цѣлы...

— Развѣ онъ всегда такъ дѣлалъ?

— Всегда-съ. Онъ, бывало, когда служилъ поваромъ, получитъ рублей двадцать жалованья, зайдетъ въ трактиръ... и ни копѣйки домой не принесетъ...

— Уже-ли-же всѣ двадцать рублей промотаетъ? Что-жъ онъ, шампанское, что-ли, пьетъ...

— Какое, сударь: онъ съ двухъ рюмокъ ужь пьянъ! А начнетъ угощать всякаго, а чтó останется — у него вытащатъ...

— Гдѣ же онъ? Отыскать бы его да привести! говорилъ я растерянно.

— Гдѣ ему быть: въ кабакѣ, или харчевнѣ! Можно отыскать — да зачѣмъ? Пусть тамъ и остается! Боже оборони, лишь-бы не пришелъ! Я его не пущу! Онъ, пьяный, злущій, презлущій! Пусть ночуетъ хоть на улицѣ, или въ части...

— Такъ онъ пьетъ: вотъ вашъ секретъ!

Она молча косилась въ уголъ.

— Кабы не пилъ запоемъ, развѣ его отпустили бы отъ мѣстовъ! Да его бы обѣими руками держали! У какихъ генераловъ живалъ онъ; въ княжескомъ домѣ жилъ! Поживетъ, поживетъ, мѣсяцъ-другой — и откажутъ. Тогда ко мнѣ опять на шею, сокровище эдакое, явится! Я на старости, горемычная, мыкаюсь, мыкаюсь съ нимъ...

Она пробовала заплакать, но слезъ не было и она утирала сухіе глаза.

— Хоть бы сгинулъ, окаянный! заключила нѣжная супруга.

Такъ кончилась моя иллюзія на счетъ домашняго стола.

Степанъ до ночи не приходилъ, а ночью силою стучался въ дверь кухни, но впущенъ не былъ и провелъ ночь въ дворнической, слѣдующую ночь въ холодномъ сараѣ. И какъ оставался живъ этотъ щедушный старикъ послѣ такихъ ночей, зимой, въ сараѣ, или на сѣновалѣ—понять нельзя!

Онъ не являлся ко мнѣ на глаза пока длились праздники. Прислуживала мнѣ Матрена и пришедшій на праздникъ сынъ ея, Петруша. Этотъ мнѣ подтвердилъ, что „тятенька его запиваетъ, какъ только получитъ деньги. И тогда озорничаетъ, дерется въ мамкой, таскаетъ и его за вихры, бьетъ и ломаетъ что̀ попадетъ подъ руку“. Словомъ, изъ кроткаго, смирнаго старика обращается въ звѣря. „Мы съ мамкой запираемся отъ него на ночь, не пущаемъ!“ добавилъ онъ.

Потомъ онъ, когда пропьетъ деньги, или у него утащатъ ихъ изъ кармана товарищи попойки, мало-по-малу перестаетъ пить, ходитъ дня три какъ шальной, мелетъ про себя несвязный вздоръ и постепенно приходитъ въ

себя, принимаетъ свой кроткій образъ, съ добродушнымъ взглядомъ и улыбкой.

Такимъ онъ и появился ко мнѣ послѣ праздниковъ и принялся за свое дѣло, какъ ни въ чемъ не бывало.

На масляницѣ произошло то же самое. Между прочимъ онъ особенно разбушевался въ послѣдній день, ломился въ дверь кухни, и когда его не пустили, онъ ходилъ по двору, кричалъ, ругался, такъ что дворники кое-какъ увели его силою. Я слышалъ этотъ шумъ.

Когда онъ послѣ того явился ко мнѣ, уже отрезвившійся, я замѣтилъ ему, что я буду искать себѣ другаго слугу, и пригрозилъ, что если онъ будетъ такъ кричать по двору, дѣлать скандалъ—я пошлю за городовымъ и препровожу его въ полицію. Онъ сталъ передо мной на колѣни, скрестилъ руки на груди и голосомъ глубокаго убѣжденія и съ чувствомъ произнесъ:

— Нѣтъ, вы этой низости со мной не сдѣлаете!

Я дѣйствительно не сдѣлалъ этой „низости", ради его добродушія,—и продолжалъ иногда пользоваться его поварскимъ искусствомъ, обѣдая изрѣдка дома. Денегъ на провизію я конечно уже ему на руки не давалъ — и все шло хорошо.

Были мнѣ иногда досады другаго рода. Когда случалось два-три дня праздника, Степанъ обыкновенно исчезалъ изъ дома, покидая всѣ заботы на жену и сына Петрушу. Иногда мнѣ случалось не заставать никого дома, кромѣ Петруши, который, или игралъ въ бабки въ углу двора съ мальчишками, или спалъ дома такъ, что его не добудиться и не дозвониться. А однажды онъ сидѣлъ на крыльцѣ и плакалъ.

— Что ты плачешь? спросилъ я.

— Да всѣ ушли, я одинъ... боюсь!

— Гдѣ же отецъ и мать?

— Тятенька въ кабакѣ, а мамка ушла къ обѣднѣ, да вотъ нейдетъ...

Къ вечеру она явилась и, какъ показалось мнѣ, тоже на-веселѣ. Я уже о мужѣ не спрашивалъ, гдѣ онъ.

— Гдѣ ты была, Матрена? Всѣ разошлись: домъ пустой! Какъ же это можно!

— Ныньче Ильинская Пятница: я на Пороховыхъ заводахъ была! обидчиво отозвалась она. — Нельзя же: всѣ люди, какъ люди—я точно не человѣкъ! На мнѣ, чай, крестъ есть!

Это случалось очень часто. То Родительская суббота придетъ, то Троицынъ, Духовъ, или Успеньевъ день, то она на Смоленское кладбище пропадетъ на цѣлый день. Великимъ постомъ особенно отсутствія эти были часты.

— Гдѣ была? спросишь бывало.

— На стояніи Маріи Египетской, или ко Кресту ходила: нонче середо-крестная недѣля!

Отлучалась тоже и въ Лазареву субботу, за вербами, и въ Лазарево воскресенье, и ко всенощной съ двѣнадцатью Евангеліями и т. д.

Всѣ эти праздники служили ей болѣе предлогами къ угожденію „мамонѣ“, какъ я замѣчалъ, а не проявленіемъ благочестія. Когда она приходила домой, отъ нея не святостью пахло. Мужъ и сынъ сидѣли, во время этихъ отлучекъ, не ѣвши — и первый тоже уходилъ въ свою очередь, и я оставался сиротой, безъ прислуги, и квартира пустая.

Послѣдніе три дня передъ большими праздниками меня почти выгоняли вонъ. Начиналась возня, чистка, уборка, печенье куличей, крашенье яицъ—и особенно чистка иконъ. Когда, бывало, зимой или осенью, замѣтишь паутину по угламъ, или соръ какой-нибудь и

пыль на шкапахъ, вообще запущенность и неопрятность, и предложишь поубраться, всегда получишь въ отвѣтъ: — „Вотъ ужо, къ празднику (иногда мѣсяца за три) станемъ образа чистить, уберемъ все, и паутину снимемъ, и пыль сотремъ".

Я замѣтилъ, что никто изъ моихъ слугъ, ни одинъ, никогда, по своему почину, безъ положительнаго и настойчиваго моего приказанія, не оботретъ пыли, напримѣръ, съ мебели, съ разныхъ вещей. Полъ еще выметутъ, а затѣмъ уже надо, что называется, посомъ ткнуть, чтобъ русскій слуга увидѣлъ безпорядокъ, пыль, и убралъ.

Наконецъ я сталъ замѣчать, что у Степана съ Матреной начались, вмѣсто перебранокъ, лады. Я заставалъ ихъ всѣхъ троихъ за чаемъ — и тутъ же видѣлъ иногда стаканы и штофъ. Они всѣ трое бывали въ веселомъ настроеніи. Я сталъ чуять что-то недоброе въ этомъ семейномъ согласіи и побаивался. Боязнь моя оправдалась.

Однажды, въ глубокій зимній вечеръ, заглянувъ къ нимъ, я засталъ веселую семейную сцену, какъ будто съ картины Теньера. Степанъ сидѣлъ совсѣмъ пьяный, жестикулировалъ и командовалъ Петрушѣ.

— Пляши, Петька, пляши, собачій сынъ!

— Развѣ мать-то у него собака? Вотъ ты — такъ старый песъ! говорила Матрена.—Постой, я тебя! Не пляши, Петя... не слушай!

— Пляши, подлецъ! командовалъ Степанъ,—я приказываю!

— Не пляши! запрещала она:—на, вотъ, лучше выпей!..

Она дрожащею рукой наливала ему стаканъ.

— И я выпью, и мнѣ дай! говорилъ совсѣмъ осовѣвшій Степанъ.

Она проворно отставила вино въ сторону.

— Будетъ съ тебя, не дамъ: смотри, какъ нагрузился, на недѣлю!..

— Наливай, раба! Ты раба моя! Что̀ сказано въ Писаніи: „прилѣпись къ мужу, повинуйся“. Наливай-же, а то я вотъ тебя...

Онъ всталъ и съ поднятой табуреткой, шатаясь, двигался къ ней, мимоходомъ сшибъ свѣчку со стола на полъ. Мальчишка заревѣлъ: — „Ай, тятька, не трогай мамку!“

Я все это видѣлъ, стоя въ дверяхъ, и поспѣшилъ прекратить безобразную сцену.

Я увидалъ, что всѣ трое были пьяны.

Я скоро послѣ того уволилъ ихъ—и потомъ уже, года черезъ два, слышалъ отъ своихъ пріятелей, знавшихъ Степана въ лицо, что они видали его въ Казанскомъ соборѣ, просящимъ милостыню. Еще черезъ годъ или два зашла ко мнѣ однажды Матрена попросить „на бѣдность“, а затѣмъ вскорѣ и на похороны старика. Она разсказала, что онъ все пилъ, пилъ, наконецъ „ослабъ“, не могъ выходить, руки и ноги стали трястись, потомъ окоченѣли, и онъ умеръ тихо, мирно, принявъ Св. Таинъ, и передъ самой смертью произнесъ: — „Проклятъ тотъ, кто выдумалъ водку пить!“

IV.

Матвѣй.

Я всегда смотрѣлъ косо на пьяницъ—во всякомъ быту. А мнѣ, какъ нарочно, выпало терпѣть ихъ около себя. Я никогда не былъ покоенъ: пьянство — вѣдь это пере-

межающееся умопомѣшательство, иногда опасное, разрѣшающееся какой нибудь неожиданной катастрофой, какъ уже отчасти и было съ Антономъ, а нерѣдко и большой бѣдой.

Мои безпокойства длились слишкомъ два года: мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось сбыть это домашнее иго. Для этого прежде всего нужно было рѣшить вопросъ—гдѣ искать трезваго слугу?

Задумчивый, печальный, направился я къ Аннѣ Петровнѣ, своей пріятельницѣ, охотницѣ устраивать свадьбы.

— Что это васъ давно не видать? встрѣтила она меня.— Да что вы такой невеселый?

Я молча опустился на диванъ, подлѣ нея, около ея рабочаго столика.

— Отъ чего быть веселымъ? вяло замѣтилъ я, въ раздумьѣ о томъ, какъ мнѣ устроить свой уголъ такъ, чтобъ не мучаться—въ ожиданіи то воровъ, то пожара отъ пьяной прислуги. Меня занималъ одинъ вопросъ: есть ли непьющіе слуги на свѣтѣ?

— Вы чѣмъ-то поглощены, сказала она, пристально глядя мнѣ въ глаза:—у васъ есть какая-то забота...

— Это правда: я ищу феномена...

— Ахъ, какъ вы хорошо сдѣлали, что зашли! вдругъ встрепенулась она, отложила свое вязанье въ сторону и подвинулась поближе ко мнѣ. — Представьте, у меня именно есть настоящій феноменъ! Красота, грація, воспитаніе, и какая душа, какое сердце!..

— И не пьетъ? разсѣянно спросилъ я—и самъ разсмѣялся.—Не можетъ быть!

— Да вы о комъ? Какой вамъ нуженъ феноменъ? спросила она, равнодушно отодвигаясь отъ меня на свое мѣсто.

— Мнѣ нуженъ... трезвый, совсѣмъ не пьющій слу-

га. Я сомнѣваюсь, чтобы нашелся такой — и въ этомъ моя забота и печаль.

— Женитесь, помолчавъ запѣла она свое:—и тогда...

— Прислуга не будетъ пить, вы думаете?

— Вы не будете замѣчать этого: напьется лакей и уйдетъ, тамъ будетъ поваръ или кухарка, не то такъ горничная: домъ никогда не останется пустымъ.

— Значитъ, мнѣ надо жениться, кромѣ жены, еще на горничной, на кухаркѣ, на лакеѣ... „Огромная опека!“.. Не шутя, Анна Петровна, не знаютъ ли ваши люди такого человѣка? Домъ у васъ большой, семейный, людей много: у нихъ между прислугой есть знакомства. И если найдутъ такой феноменъ, я назначилъ бы премію.

— Хорошо, я скажу, и если чтó найдется, дамъ вамъ знать, а вы дня черезъ три зайдите. Да вотъ, въ среду, придите обѣдать. У меня будутъ Катринь, Иванъ Карлычъ—мы составимъ вистикъ, а я между тѣмъ разспрошу.

Я ушелъ.

Но еще до среды, ко мнѣ какъ-то утромъ пришелъ отъ нея буфетчикъ, степенный, сѣдовласый, почтенной наружности слуга.

— Отъ Анны Петровны, сказалъ онъ: — кланяться приказали. Вы изволили спрашивать на счетъ слуги, чтобъ не пилъ?

— Да, а развѣ есть такой? спросилъ я.

— Есть-съ... только...

— Мало пьетъ?

— Ничего-съ, ни капли въ ротъ не беретъ, только...

— Только что? Скажите откровенно: грубіянъ, или лѣнивъ... не воруетъ ли?..

— Нѣтъ-съ, нѣтъ! съ усмѣшкой говорилъ буфетчикъ.—Только, пожалуй, посмотрите на него и не возьмете... Смѣшной ужъ очень!

Я удивился.

— Смѣшной! Чѣмъ же смѣшной?

— Такъ, ужъ очень смѣшной...

— На видъ, собой, что ли? допытывался я.

— И собой, да и такъ: смѣшно говоритъ, и все не по-людски дѣлаетъ.

— Да умѣетъ ли онъ служить, быть въ комнатахъ, убирать, подавать чай, чистить платье, сапоги... словомъ, знаетъ ли должность слуги?

— Умѣетъ-съ: какъ не умѣтъ. Онъ у господина своего долго служилъ. Онъ крѣпостной; кажется, и до сихъ поръ еще не освободился. А только смѣшной! И жаденъ тоже.

— До пищи, что ли?

Буфетчикъ засмѣялся.

— Никакъ нѣтъ-съ, онъ не ѣстъ совсѣмъ.

— Какъ не ѣстъ? подлинно феноменъ!

— На деньгу жаденъ: копитъ!

— Это не бѣда: „скупость, говорятъ, не глупость". Если онъ свои деньги бережетъ и не беретъ чужихъ...

Буфетчекъ опять засмѣялся.

— Никакъ нѣтъ-съ: свои скорѣй отдастъ, чѣмъ чужія возьметъ. Онъ честный - пречестный, серьезно прибавилъ онъ:—только смѣшной. Выходили ему мѣста — посмотрятъ, посмотрятъ господа на него и не берутъ. Мы послали за нимъ; если угодно пришлемъ, только врядъ ли и вы возьмете, сударь. Смѣшной ужь очень!

— Пожалуйста, пришлите! Я возьму, какой бы ни былъ, лишь бы трезвый: я безъ слуги въ настоящую минуту. Мнѣ пока прислуживаетъ женщина отъ сосѣдей.

Буфетчикъ пошелъ было.

— Да-съ, вотъ забылъ сказать, прибавилъ онъ:— Матвѣй... этотъ самый человѣкъ — не русскій, а изъ поляковъ, и господинъ его въ Польшѣ живетъ. Только Матвѣй по-польски не разговариваетъ, молиться ходитъ въ свою церковь, на Невскомъ...

— Ну, это все равно. Пришлите, пожалуйста, поскорѣе. Благодарите Анну Петровну, и я васъ благодарю. Не пьетъ, не воруетъ—это кладъ!

На другой день утромъ явился и Матвѣй. Я готовился засмѣяться, судя по описанію буфетчика, но когда посмотрѣлъ на него, смѣхъ замеръ у меня на губахъ.

Это былъ довольно длинный, лѣтъ сорока пяти, человѣкъ, худощавый, даже чахлый, будто только-что вставшій со смертнаго одра: кости да кожа. Небольшая голова, глаза впалые, бѣлесоватые, какъ у чухонца, безъ выраженія; большія, настежъ отворенныя губы, которыхъ онъ, кажется отъ слабости, не могъ сжать, лицо съ повисшими складками—точно пожелтѣвшей отъ ветхости лайки; волосы жидкіе, подъ цвѣтъ старой рогожки. Одѣтъ въ сѣрый, длинный, поношенный сюртукъ, съ полинялымъ бархатнымъ воротникомъ. На шеѣ былъ старый вязаный шарфъ.

У меня сердце сжалось, глядя на него. Онъ, казалось, едва держался на ногахъ. Онъ прямо смотрѣлъ на меня — и будто съ трудомъ мигалъ и тяжело дышалъ. Ноги у него, начиная съ колѣнъ, были какъ будто не свои, не натуральныя, а деревянныя, приставленныя вмѣсто оторванныхъ. Руки длинныя не по корпусу, какъ у орангъ-утанга.

„Смѣшной! Онъ не смѣшной, онъ жалкій!“ думалъ я, осматривая его.

— Ты боленъ? спросилъ я.

Онъ точно проснулся.

— Никакъ нѣтъ-съ! торопливо сказалъ онъ.—Я, слава Богу, здоровъ.

— Отчего же ты такой худой и блѣдный? Развѣ ты всегда былъ такой?

Онъ широко улыбнулся, губы распахнулись и обнаружили блѣдныя десны. Въ нижней челюсти недоставало зуба.

— Съ измалу, можетъ быть, былъ другой, говорилъ онъ тихо, съ передышкой, пещернымъ голосомъ, какъ умирающій.—А съ тѣхъ поръ, какъ сталъ помнить себя—я все такой, какъ теперь...

— Ты не пьешь, сказываютъ? продолжалъ я.

— Нѣтъ-съ, не пивалъ и не пью ничего, кромѣ чаю да воды!

— Это хорошо, а вотъ, говорятъ, что ты и не ѣшь: это ужь не хорошо. Оттого ты и такой худой...

— Нѣтъ-съ, это не отъ того, съ жалкой усмѣшкой замѣтилъ онъ: это отъ другого...

— Отъ чего же?

— Битъ больно бывалъ.

Онъ какъ-то жалко, болѣзненно взглянулъ на меня.

— Кѣмъ битъ?

— Извѣстно, бариномъ.

— А кто твой баринъ?

Онъ назвалъ польскую фамилію, которую я теперь забылъ.

— Онъ служилъ въ военной службѣ, въ гусарахъ, продолжалъ Матвѣй: — денщиковъ не бралъ, получалъ за нихъ деньгами, а я былъ у него вмѣсто денщика. Вотъ онъ и бивалъ меня, крѣпко бивалъ!

Онъ съ трудомъ, всей грудью дохнулъ, точно въ изнеможеніи.

— За что же?

— Такъ: вздумается и побьетъ. Извѣстно, баринъ за все можетъ бить, отвѣта нѣтъ ему. Чуть что не потрафишь, и начнетъ: и кулаками, по головѣ, и колѣнками тоже, а иной разъ саблей ударитъ, или сапогомъ...

Я съ ужасомъ слушалъ этотъ разсказъ и повѣрялъ, глядя на него, жестокую правду этихъ истязаній.

— Иной разъ не въ мочь было ѣздить съ нимъ на перекладной телѣгѣ по тряской дорогѣ, онъ спихнетъ съ телѣги и велитъ придти до мѣста пѣшкомъ... Я съ годами и ослабъ. Вотъ онъ и взялъ казеннаго денщика, а меня отпустилъ на оброкъ. Пятьдесятъ рублей оброку положилъ...

Все это онъ разсказывалъ съ передышкой, умирающимъ голосомъ, медленно открывая и закрывая глаза.

„Боже мой, какой жалкій! А тѣ находятъ его смѣшнымъ!“ думалъ я, съ глубокимъ состраданіемъ слушая его.

— Все хочу откупиться на волю, да дорого проситъ, продолжалъ онъ: — семьсотъ рублей! Я давалъ четыреста—не беретъ.

— А у тебя есть столько денегъ? спросилъ я.

— Теперь ужъ нѣтъ: осталось меньше трехсотъ, почти шепотомъ прибавилъ онъ.—Безъ мѣста долго былъ, платилъ за уголъ, и въ долгахъ тоже рублей шестьдесятъ пропадаетъ: не отдаютъ.

Онъ вздохнулъ.

— Да я прикоплю и выкуплюсь! довольно живо заключилъ онъ. У него даже глаза засвѣтились. Видно было, что выкупиться на волю было его завѣтной мечтой.

„Такъ вотъ отчего онъ жаденъ на деньги!“ думалъ я: „свободу хочетъ купить! Бѣдный, жалкій, жалкій!“

— Ты не торопись: можетъ быть и даромъ отпустятъ. Теперь идутъ толки объ этомъ... сказалъ я.

Тогда дѣйствительно въ высшихъ сферахъ былъ затронутъ этотъ вопросъ. Но наступившія политическія событія въ Европѣ отодвинули его на второй планъ. Но онъ не заглохъ — и толки принимали уже довольно опредѣленный характеръ. Пока тихо, подъ спудомъ, но что-то готовилось...

— Богъ съ нимъ, съ бариномъ: я внесу, вотъ только понакоплю денегъ! заключилъ Матвѣй. — Можетъ быть баринъ и правовъ-то не имѣетъ: никакихъ, говорятъ, бумагъ у него на насъ нѣтъ, а держитъ!

Онъ тяжело вздохнулъ.

Жалкій! Жалкій!

— Гдѣ же накопить такую большую сумму? спросилъ я. — Изъ жалованья трудно, не ѣсть совсѣмъ — нельзя...

— Я наживу, баринъ, наживу: годокъ, другой— третій, семьсотъ рублей, и больше наживу...

— Чѣмъ же? спросилъ я въ недоумѣніи. — У тебя ремесла никаго нѣтъ...

— Процентами, тихо, почти съ лукавой улыбкой, сказалъ онъ.—Въ долгъ деньги берутъ, подъ залогъ—и хорошіе проценты платятъ. Кому 50, кому 70 рублей нужно: даютъ по два, иногда по три процента въ мѣсяцъ.

„Ты... мелкій ростовщикъ!..“ хотѣлъ я сказать, но удержался. Онъ былъ такъ жалокъ. Я даже мысленно оправдывалъ его: онъ искалъ свободы!

— Какъ же ты можешь служить! сомнѣвался я.— Хоть у меня и не Богъ знаетъ какая служба, однако все же надо и дровъ въ печку положить, и затопить, и убрать комнаты, чистить платье. Случается иногда

послать куда-нибудь... А ты такой слабый, щедушный... гдѣ же тебѣ?..

Къ удивленію моему, Матвѣй вдругъ ожилъ, точно я его своими словами вспрыснулъ какъ живой водой. Глаза и лицо просіяли, губы раздвинулись въ широкую улыбку, обнаруживъ десны. Онъ зорко осмотрѣлъ всю комнату, мебель, шкафы съ книгами, зашевелилъ руками, ногами.

— Все это могу-съ, все сдѣлаю: и печки буду топить, комнаты убирать, платье чистить, самоваръ ставить и чай готовить, и въ лавочку ходить, за булками, и куда еще пошлете—и все прочее... все исправлю...

Онъ говорилъ не прежнимъ потухшимъ голосомъ, а твердо, скороговоркой. При этомъ губы и носъ его, съ каждымъ словомъ, описывали круги. Онъ даже молодцовато тряхнулъ головой.

— Ну, я очень радъ. Вотъ тебѣ денегъ, ступай, вези свои вещи, сказалъ я.

Онъ отступилъ.

— Нѣтъ-съ, баринъ, покорнѣйше благодарю... у меня есть... Какъ можно спервоначалу, еще не заслужилъ, а вамъ убытокъ! Нѣтъ-съ, нѣтъ! сказалъ онъ и къ удивленію моему денегъ не взялъ. Это какъ-то противорѣчило съ его жадностью къ наживѣ.

— Я часа черезъ два на извощикѣ все привезу... заключилъ онъ.

Я ему показалъ его помѣщеніе и всѣ мои комнаты.

— Вотъ твои, я это мои владѣнія. Держи въ порядкѣ, чистотѣ. Ты часто ходишь со двора?

— Только въ церковь, въ воскресенье, не каждое, а то никуда-съ.

— А знакомые есть?

— Есть кумъ у меня женатый: онъ рѣдко, въ мѣсяцъ разъ зайдетъ, больше никогда, никого-съ...

— Вотъ и бѣлье мое, и шкафъ съ платьемъ. Тамъ, въ той комнатѣ, посуда, серебро...

— Пожалуйте „ерестрикъ“: я все повѣрю и приму, сказалъ онъ.

— У меня никакого реестра нѣтъ: я тебѣ вѣрю.

— Такъ я самъ все запишу; безъ ерестра нельзя: Боже оборони — пропадетъ что нибудь! сказалъ онъ и ушелъ, двигая ногами въ стороны, какъ деревянными.

Устроившись самъ, онъ дня два-три все разбиралъ мое добро. Записалъ платье, бѣлье, серебро, каждую чашку, ни одной тарелки не забылъ, и скрѣпилъ своей подписью: „такого-то числа принялъ Матвѣй“.

Онъ принесъ мнѣ этотъ „ерестръ“. Я хотѣлъ было бросить его въ корзинку, подъ столъ. Но онъ сдѣлалъ такую умоляющую мину и такъ жалостно просилъ меня провѣрить, такъ ли и все ли онъ записалъ, и спрятать въ столъ, что я на послѣднее согласился, а провѣрять отказался на-отрѣзъ.

— Если что износится, или разобьется, вы извольте отмѣтить на „ерестрикѣ“, приставалъ онъ ко мнѣ:—а если я что̀ разобью или потеряю, такъ изъ жалованья у меня вычтите...

— Если ты меня будешь безпокоить этими пустяками, такъ я твой „ерестрикъ“ въ клочки разорву—слышишь? внушительно сказалъ я ему.—Я даю тебѣ полную свободу бить посуду, ломать или терять вещи — и никогда съ тебя за то ни гроша не взыщу. Прошу только объ одномъ: не пей!

— На этотъ счетъ будьте покойны, баринъ! сказалъ онъ, показавъ улыбкой обѣ десны.

„На этотъ счетъ: а на какой счетъ мнѣ не слѣдуетъ быть покойнымъ?“ подумалъ я.

Наблюдая за нимъ еще нѣсколько дней, я видѣлъ, что онъ все какъ-то двоился: когда молчалъ, не двигался, слушалъ что̀ ему говоришь—онъ сохранялъ свой видъ изнеможеннаго, забитаго человѣка. Не сжималъ губъ, отвѣчалъ будто съ трудомъ и еле дышалъ. То вдругъ просыпался точно отъ сна и обнаруживалъ признаки жизни. Каждый вечеръ я однако ложился съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ: доживетъ ли онъ до утра?

Я сказалъ ему, между прочимъ, чтобы онъ убиралъ мои комнаты по утрамъ, когда все тихо кругомъ, пока я еще въ спальнѣ.

Утромъ слѣдующаго же за тѣмъ дня, вставши, я только хотѣлъ позвонить, какъ услыхалъ ужасную суматоху, возню, стукотню въ комнатахъ. Падали вещи, что-то звенѣло, валилось.

Я заглянулъ туда. Вижу, мой Матвѣй, безъ сюртука, въ одномъ жилетѣ, раскидывая нескладныя ноги врозь и простирая длинныя руки въ стороны, бѣгаетъ, скачетъ по моему кабинету, точно ловитъ курицу по двору. Въ комнатѣ все было не на своемъ мѣстѣ: мебель сдвинута, все раскидано, книги въ кучѣ на полу, мелкія вещи на окнахъ и т. д.

— Что ты дѣлаешь? спросилъ я.

— Убираю-съ! сказалъ онъ, оборачиваясь ко мнѣ и обнаруживая десны.—Вотъ лѣстницу у дворниковъ досталъ, печку вымылъ, со шкаповъ соръ смелъ, теперь лампы перетру, остались только книги!.. хвастался онъ.

Я отвернулся, чтобъ не захохотать: такъ онъ былъ смѣшонъ! Ни изнеможенія, ни вялости, ни мертваго вида,—просто смѣшонъ, невыразимо смѣшонъ!

— Что же тутъ стукнуло, зазвенѣло? спросилъ я.

— А вотъ, какъ я шкапы обтиралъ, такъ книжки свалились сверху, да вотъ еще стекло отъ лампы упало, разбилось... Я, баринъ, другое куплю, на свой счетъ...

Онъ схватилъ одной рукой щетку, другой тряпку и началъ опять бѣгать, скакать, ловить курицу, сшибъ со стола пепельницу, щеткой стукнулъ по зеркалу.

— Оставь! довольно убирать! сказалъ я, опять отворачиваясь, чтобъ не захохотать. Но онъ какъ будто не слыхалъ и долго еще возился, ставилъ все на свое, или лучше сказать, не на свое мѣсто. Тяжелые фоліанты грудой навалилъ на хрупкую этажерку, назначенную для фарфора и разныхъ легкихъ вещей: она гнулась подъ тяжестью книгъ. А легкія вещи, между прочимъ статуэтки, пресъ-папье, занесъ на шкафъ.

— Такъ лучше, баринъ: тамъ цѣлѣе будутъ! хвастливо прибавилъ онъ и очень удивился, когда я велѣлъ сію же минуту сдѣлать все наоборотъ: снять книги съ легкой этажерки и поставить опять на шкафы, а легкія вещи разложить на столѣ.

— Видишь, что̀ ты надѣлалъ: почти совсѣмъ раздавилъ этажерку,—вонъ она шатается!

Онъ посмотрѣлъ на погнувшуюся этажерку, въ недоумѣніи, разиня ротъ, вздохнулъ и поставилъ нехотя все, какъ я велѣлъ.

Въ воскресенье, часа въ четыре дня, онъ попросился у меня въ свою церковь.

— Какая же у васъ служба теперь, въ эти часы? спросилъ я.

— Сегодня у насъ „супликація“ будетъ.

— А кромѣ супликаціи, еще что бываетъ?

— А въ слѣдующее воскресенье будетъ „наука“, потомъ, черезъ недѣлю, еще „проповѣдь“.

Кромѣ этихъ выходовъ въ церковь, онъ не отлучался ни шагу. О винѣ и помину не было. Къ сожалѣнію, онъ воздерживался, повидимому, и отъ пищи: по крайней мѣрѣ я не замѣчалъ у него ничего съѣстнаго, кромѣ остатка селедки, огурца, рѣдьки, такъ что я почти принуждалъ его „употреблять“ остатки моего завтрака, совѣтовалъ протапливать печь, варить себѣ какой-нибудь супъ, предлагалъ ему денегъ купить мяса. Мнѣ хотѣлось, чтобъ онъ вошелъ что называется въ тѣло.

— Нѣтъ съ, баринъ, нѣтъ, зачѣмъ стану я вамъ убытокъ дѣлать! Богъ дастъ проживу! говорилъ онъ медленно, съ передышкой, и денегъ на провизію не бралъ.

— Вотъ дождемся праздника, тогда запеку окорочекъ, весело прибавлялъ онъ: — сдѣлаю пасху на сметанѣ, накрашу яицъ: придетъ кумъ и разговѣемся!

У него даже глаза блестѣли и явилась смачная улыбка. Онъ почти облизывался. Чуть румянецъ не заигралъ на щекахъ. Потомъ онъ внезапно опять принялъ свой мертвый видъ.

Жалкое и смѣшное мѣшалось въ немъ такъ слитно, что и мнѣ приходилось поминутно двоиться въ моемъ взглядѣ на него. Только что расхохочешься невольно, глядя на его ужимки, прыжки, на эту наивную улыбку съ обнаженными деснами, какъ вдругъ сердце сожмется отъ боли, когда онъ прерветъ свою рѣчь тяжелымъ вздохомъ и закроетъ потухшіе глаза. На этомъ, обвисшемъ въ складкахъ, блѣдно-желтомъ лицѣ, опять прочтешь неизгладимую исторію перенесенныхъ имъ истязаній.

— Ты много страдалъ, Матвѣй? сказалъ я ему однажды, когда онъ принесъ мнѣ подносъ съ чаемъ, и съ участіемъ глядя на него.—Какія жестокія боли ты

вынесъ, ты просто мученикъ! Тебя надо въ календарь, въ Святые включить: вонъ какъ худъ! Преждевременно сколько морщинъ!

— Нѣтъ-съ, баринъ, это что за боли: это ничего! молодцовато отговаривался онъ. — Такія-ли бываютъ! Это легко... а тѣ вотъ страшныя!

— Какія-же еще есть такія страшныя боли? спросилъ я.

— Ихъ три, три мученическія муки, сказалъ онъ съ убѣжденіемъ.—Нашъ ксёндзъ, отецъ Іеронимъ, сказывалъ: „Нѣтъ, говоритъ, тяжелѣ этихъ самыхъ мукъ: когда, говоритъ, зубы болятъ, когда женщина родитъ и когда человѣкъ помираетъ“.

— А онъ почему-же знаетъ, твой ксендзъ? Про зубную боль, пожалуй, еще такъ, если у него болѣли зубы. А про рòды, или про смерть, какъ онъ можетъ знать: вѣдь онъ не родилъ самъ и не умиралъ тоже?

— Ксендзы все знаютъ! съ благоговѣніемъ произнесъ Матвѣй, закрывая глаза: — Все-съ. Знаютъ, за чѣмъ каждый человѣкъ родится на свѣтъ, а когда помираетъ, знаютъ чтò съ его душой въ шестой и девятый день послѣ смерти дѣлается и по какимъ „мутарствамъ“ ходитъ она. Да-съ! со вздохомъ заключилъ онъ.

Кто-то въ эту минуту позвонилъ. Матвѣй мой вдругъ вспрянулъ, куда дѣвалось изнеможеніе! почти бросилъ подносъ съ чаемъ, однимъ прыжкомъ очутился въ передней и отперъ дверь.

— Дома-съ, пожалуйте! бодро и живо говорилъ онъ и такъ усердно стаскивалъ съ гостя пальто, точно грабилъ его. Тотъ, входя, покосился на него съ улыбкой.

— У васъ новый слуга? спросилъ онъ.

— Да. И не пьющій, подивитесь!

— Въ самомъ дѣлѣ? Поздравляю: это рѣдкость. Только, какой онъ... смѣшной! заключилъ онъ, глядя, какъ Матвѣй ухватилъ съ обезьяньимъ проворствомъ подносъ со стола и, раскидывая ноги врозь, понесъ въ буфетъ, задѣвъ плечами за дверь.

Я вскорѣ къ свойствамъ „жалкій", найденнымъ въ Матвѣѣ мною, и „смѣшной", какимъ находили его другіе, долженъ былъ прибавлять новые эпитеты, по мѣрѣ того какъ наблюдалъ его. Онъ становился для меня весьма сложнымъ и любопытнымъ этюдомъ характера. Я затруднялся найти въ немъ преобладающую черту, чтобы подвести его подъ какую-нибудь категорію общечеловѣческихъ видовъ. Пока я замѣтилъ выдающимся— страхъ передъ „убытками". Это слово являлось чаще всего у него въ рѣчи.

Между прочимъ онъ былъ неумолимо аккуратенъ и безпощадно честенъ. Первымъ онъ причинялъ мнѣ не мало досадъ. Потомъ былъ еще упрямъ, какъ волъ, и этимъ иногда выводилъ изъ себя. Я понималъ, какъ это должно было бѣсить его барина, молодаго, горячаго гусара.

— Поди отнеси эту книгу и отдай швейцару, скажешь ему:—тутъ недалеко, въ такомъ-то домѣ.

— Я, баринъ, лучше ужо̀ снесу, вотъ когда посуду перемою и когда вы уйдете...

— Теперь, сейчасъ снеси! надо приказать строго. Иначе не пойдетъ.

— Отнеси эти письма и посылку на почту, приказалъ я ему разъ: — сдай, потомъ зайди къ портному и заплати ему по этому счету: вотъ деньги, да не забудь взять росписку.

Воротясь вечеромъ, я нашелъ посылку и письма въ передней на столѣ. Я удивился.

— Что-же ты не отдалъ? строго спросилъ я.

*

— Опоздалъ, баринъ, жалкимъ голосомъ оправдывался онъ: — портной какимъ-то господамъ примѣривалъ платья: я, почесть, часъ ждалъ. На почтѣ пріема ужь не было...

— Вѣдь я тебя прежде на почту послалъ!

— Я думалъ — по дорогѣ зайду прежде лучше къ портному...

И такъ на каждомъ шагу: какая-то страсть къ противорѣчіямъ!

Однажды, имѣя спѣшную работу—это было уже мѣсяца четыре спустя, какъ онъ поступилъ ко мнѣ, — я на-строго велѣлъ ему никого не принимать въ теченіи нѣсколькихъ дней. Я слышалъ не разъ звонокъ: приходили, онъ отказывалъ, подавалъ потомъ мнѣ карточки—все какъ слѣдуетъ.

Но вдругъ слышу однажды онъ кого-то усердно проситъ. „Пожалуйте, дома-съ!“ говоритъ.

Я съ изумленіемъ жду. Входитъ одинъ скучный, болтливый господинъ, котораго я и въ свободное время избѣгалъ. Когда онъ ушелъ, я спросилъ Матвѣя, почему онъ, несмотря на мое приказаніе, принялъ гостя?

— У него двѣ звѣзды на обѣихъ грудяхъ: какъ-же эдакаго барина не принять: онъ „винералъ!“ оправдывался Матвѣй. Генераловъ онъ называлъ „винералами“ и питалъ къ нимъ какое-то суевѣрное почтеніе, или боялся, какъ большихъ собакъ, Богъ его знаетъ!

Послѣ того пропустилъ нѣсколько человѣкъ въ теченіе двухъ-трехъ дней. Я работалъ въ тишинѣ неутомимо, никто не мѣшалъ. Вдругъ опять слышу однажды громкій звонокъ, въ самый разгаръ моей работы, и опять приглашеніе Матвѣя: „Дома-съ, пожалуйте!“

Раздался шумный шелестъ женскаго платья, точно

вѣтеръ пробѣжалъ по лѣсу, влетѣла барыня, frou—frou, и разсѣлась, закрывъ юбками весь диванъ.

— Что̀ вы тутъ дѣлаете, такая погода — а вы сидите за работой! Бросьте, бросьте! зачастила она. — Я пріѣхала похитить васъ; дачу ѣду смотрѣть: поѣдемте, поѣдемте безъ отговорокъ!

У меня утро пропало. Я, какъ только воротился, сейчасъ обратился съ вопросомъ къ Матвѣю, зачѣмъ онъ принялъ гостью?

— Барыня! говорилъ онъ въ свое оправданіе: — я думалъ, какъ-бы вы не разгнѣвались, если не приму...

— На канунѣ однако ты не принялъ одной барыни: зачѣмъ-же эту пустилъ? Кто тебѣ позволилъ? строго приставалъ я.

— Та, баринъ, пѣшкомъ приходила, одѣта не важно: я думалъ, на бѣдность просить пришла... боялся, вамъ убытокъ будетъ—и не принялъ...

— Вѣдь тебя твой баринъ, пожалуй, побилъ-бы за это непослушаніе, какъ ты думаешь? спросилъ я.

Онъ горестно вздохнулъ.

— Голову-бы проломилъ, съ жалкой улыбкой отозвался онъ.

— Зачѣмъ-же не слушаешься: принялъ барыню!

— Да у ней, баринъ, на козлахъ кучеръ въ ливреѣ сидитъ и по-русски не говоритъ: англичанинъ, что-ли, какой... Я и подумалъ, какъ не принять!

Я сталъ привыкать и къ этой новой чертѣ. Но вотъ къ чему нельзя было привыкнуть—это къ его аккуратности. Дашь ему рублей десять, двадцать, на расходы: чай, сахаръ, булки, сливки и прочее. Когда деньги израсходуются, онъ является ко мнѣ съ запачканнымъ листкомъ на сѣрой бумагѣ, гдѣ все записано до послѣдней мелочи, и требуетъ, чтобъ я повѣрилъ. Тутъ-

же принесетъ и остатокъ, какой-нибудь двугривенный, или мѣдныя. При этомъ никогда не преминетъ помянуть, что̀ стало дороже, что̀ дешевле.

— Сахаръ двумя копѣйками на фунтъ дешевле, баринъ! съ сіяющими глазами скажетъ, или, наоборотъ, съ уныніемъ объявитъ, какъ о сердечной утратѣ:—на черный хлѣбъ, баринъ, копѣйку набавили!

Онъ переносилъ все: — и побои своего барина, терпѣлъ постоянную голодуху, падалъ силами отъ работы, но не падалъ духомъ. Только страхъ „убытковъ" превозмогалъ въ немъ все.

Я дѣлалъ видъ, будто просматриваю счетъ, потомъ дамъ опять денегъ, а счетъ брошу тихонько подъ столъ. Но онъ замѣтитъ, достанетъ его и тихонько-же подложитъ ко мнѣ въ бумаги, пока я не разорву.

Иногда вдругъ онъ суетъ мнѣ подъ носъ 10 или 20 копѣекъ. „Это лишекъ" скажетъ: „въ прошломъ счетѣ ошибкой два раза записано у меня за однѣ булки, такъ вотъ извольте..."

Взглядывая иногда мелькомъ въ эти счеты—я не могъ воздержаться отъ улыбки отъ его орѳографіи, а онъ принималъ эту улыбку за одобреніе и тоже улыбался отъ удовольствія. Орѳографія эта была своеобразная. Онъ признавалъ буквы *ѣ* и *ы*, но никогда не употреблялъ ихъ гдѣ надо: напримѣръ, писалъ „свѣкла", „смѣтана", „свечы", а слова „хлѣбъ", „хрѣнъ" писалъ „хлеб", „хрен" и т. п. Букву *ъ* онъ считалъ, кажется, совершенно лишнею, или „игноривалъ", какъ говорятъ у насъ печатно нѣкоторые... знатоки французскаго языка.

Иногда Матвѣй лѣзъ ко мнѣ съ этими счетами среди занятій. Я молча смахивалъ со стола, и счетъ, и мелочь, и взглядывалъ на него, должно быть, звѣроподобно, потому что онъ тотчасъ со вздохомъ удалялся къ себѣ.

Онъ жилъ у меня уже года два—и я все болѣе и болѣе успокоивался. Онъ былъ вѣрнымъ моимъ, хотя и смѣшнымъ хранителемъ и опорою моего холостаго гнѣзда. Мои гости тоже привыкли къ нему и только улыбались, глядя на него, и особенно на его длинный, сѣрый сюртукъ. Я ему отдавалъ всѣ свои платья, но никогда не видалъ, чтобъ онъ носилъ какое-нибудь изъ нихъ. Куда онъ ихъ дѣвалъ, я не зналъ и теперь не знаю. Я настоялъ, послѣ упорной борьбы, на одномъ, чтобъ онъ при гостяхъ иначе не входилъ въ комнаты, какъ въ черномъ, почти новомъ сюртукѣ, который я подарилъ ему, вмѣстѣ съ панталонами, галстухами — и даже далъ перчатки, чтобъ подавать чай. Насилу я добился этого. Но когда онъ одѣлся во все это, я долженъ былъ сознаться, что онъ сталъ еще смѣшнѣе.

Были въ немъ еще нѣкоторыя, несвойственныя ему, такъ сказать, эпизодическія черты, какъ-то мало идущія къ его измученному, больному организму. Это были какія-то шаловливыя, почти ребяческія выходки, но онѣ мгновенно, гальванически, пробуждали тлѣвшую въ больномъ тѣлѣ искру жизни и тоже превращали этотъ ходячій трупъ — въ живое, прыгающее, скачущее, какъ обезьяна, существо.

Бывало онъ, когда я одѣваюсь, держитъ передо мной сапоги, или полотенце, или готовится подать сюртукъ— или несетъ подносъ съ завтракомъ — словомъ въ полномъ отправленіи своей обязанности, и вдругъ услышитъ ударъ барабана съ улицы, проходящую мимо музыку,— онъ мгновенно бросаетъ все, что̀ у него въ рукахъ, и исчезаетъ. Я только слышу стукъ будто катящихся съ лѣстницы каменьевъ—это его убѣгающихъ ногъ. Я остаюсь съ однимъ сапогомъ въ рукѣ, или съ намыленной щекой и жду.

Окликнуть его, воротить—былъ-бы напрасный трудъ: онъ, какъ испуганная, закусившая удила лошадь, ничего не видитъ и не слышитъ. Минутъ черезъ десять онъ возвращается, почти всегда сіяющій, удовлетворенный.—„Винерала“ (т. е. генерала) или князя такого-то везутъ хоронить, донесетъ онъ и разскажетъ, какой полкъ шелъ провожать, или „антирерія“, кто ѣхалъ верхомъ, кто шелъ пѣшкомъ, сколько каретъ было и т. д.

Я пробовалъ сердиться, увѣщевать—ничего не помогало. Заиграетъ завтра музыка, онъ опять исчезаетъ. Однажды онъ такъ же исчезъ, хотя и музыки не было. Но у него былъ такой чуткій слухъ, что онъ мигомъ схватывалъ ухомъ всякое необычное движеніе или звукъ, шумъ на улицѣ, или на дворѣ. Онъ прибѣжалъ все-таки сіяющій, потому что какое-то зрѣлище было, но и съ недоумѣніемъ на лицѣ.

— Что тамъ такое случилось? спросилъ я: — и зачѣмъ ты бросился, какъ мальчишка?

— Арестантовъ казнить повезли! выпалилъ онъ, сіяя отъ новости небывалаго случая.

Я смотрѣлъ на него, не сошелъ ли онъ съ ума.

— Какъ казнить: какихъ арестантовъ? Что ты городишь!

— Правда, баринъ: — жандары, казаки, полиція съ ними, а они въ зеленыхъ каретахъ ѣдутъ... женщины кучей идутъ за каретами, все сморкаются, потому плачутъ: жалко мужей, сыновьевъ...

Это оказалось отчасти правда. Дѣйствительно по Литейной улицѣ провезли партію осужденныхъ, только не на казнь, какъ говорилъ Матвѣй, а просто ссыльныхъ.

Еще другое обстоятельство вызывало жизнь въ моемъ мертвенно-блѣдномъ слугѣ. Это ловля воровъ и расправа съ ними. Никогда, ни въ какомъ охотникѣ,

ни прежде, ни послѣ, мнѣ не случалось замѣчать такой лихорадочной страстности въ погонѣ за самой интересной дичью, какъ у Матвѣя за ловлей воровъ, и главное за битьемъ ихъ.

Не разъ онъ, сіяющій, блещущій жизнью, какъ внезапно расцвѣтшій цвѣтокъ, доносилъ мнѣ, что въ домѣ, иногда по сосѣдству, поймали гдѣ-нибудь на чердакѣ, въ подвалѣ, или застали въ квартирѣ, или въ лавкѣ, вора.

— Что же, въ полицію отвели? спрашивалъ я равнодушно.

— Нѣтъ, баринъ, какъ можно: изъ полиціи его завтра выпустятъ. Нѣтъ, мы сами его отколошматили: будетъ помнить!

— „Мы“: да развѣ ты былъ тамъ?

— Какъ же-съ, баринъ, былъ! одушевленно, скороговоркой, добавлялъ онъ, показывая десны.—Какъ только дворники схватили, я, почесть, первый прибѣжалъ и помогалъ держать. Славно „наклали“ ему: въ кровь все лицо!

— И ты билъ? спросилъ я, самъ боясь отвѣта.

— Самую малость, баринъ: я больше за шею его держалъ, за галстухъ, вотъ такъ, чтобъ не убѣгъ!

— И тебѣ не стыдно, не грѣхъ? наступалъ я на него.

— А онъ зачѣмъ чужое беретъ, баринъ? Какой „убытокъ“ тому, кого обокралъ! Такъ ему и надо! энергически подтверждалъ онъ.

Случилась такая ловля однажды на дачѣ, на Выборгской сторонѣ. Я занималъ съ однимъ пріятелемъ верхъ на дачѣ протоіерея, а хозяинъ съ семействомъ жилъ внизу. Домъ стоялъ среди густаго сада. У насъ вверху было четыре комнаты и въ сторонѣ особое помѣщеніе для Матвѣя.

Мы съ пріятелемъ сидѣли однажды у длиннаго стола, передъ открытымъ окномъ, въ темную ночь, въ концѣ августа. Въ домѣ и въ саду была безмятежная тишина. Хозяинъ отбывалъ въ городѣ свою очередную недѣлю. Семейство было съ нимъ, и домъ былъ пустъ.

Я читалъ, сожитель мой сидѣлъ за казенными бумагами. Ночь тихая, ни зги не видать. Только я вижу, пріятель мой пристально всматривается во что-то изъ окна въ темноту. Наконецъ спрашиваетъ кого-то:—Что ты тутъ дѣлаешь? что тебѣ нужно? Зачѣмъ ты влѣзъ на дерево?

— Съ кѣмъ вы разговариваете? спросилъ я.

— Да вотъ кто-то на деревѣ сидитъ.

Я выглянулъ въ окно и ничего не могъ разглядѣть.

Но этотъ разговоръ моего пріятеля съ кѣмъ-то въ темнотѣ—и мои вопросы уже разбудили вниманіе Матвѣя. Онъ почуялъ что-то необычное. „Воръ, воръ!“ проговорилъ онъ, вихремъ мчась мимо насъ, почти неодѣтый, въ рубашкѣ, съ накинутымъ сверху своимъ сѣрымъ сюртукомъ, затопалъ по лѣстницѣ и скрылся въ саду.

Я шутилъ надъ моимъ сожителемъ, обратившимся къ вору съ вопросомъ: „зачѣмъ онъ влѣзъ ночью на дерево и что тамъ дѣлаетъ?“

Черезъ добрые полчаса вернулся Матвѣй, радостный, торжествующій, и донесъ, что вправду воры были. Онъ разбудилъ сторожа, двухъ садовниковъ—и всѣ погнались за ворами, но двое убѣжали, а третій зацѣпился полой за плетень и былъ ими захваченъ.

— Что же вы? спросилъ я.

— „Наклали“ порядкомъ! хвастался онъ: — будетъ помнить! Какъ выпустили, такъ и бѣжать не могъ...

Идетъ по переулку, да проситъ: „отпустите, Христа ради!“ А мы идемъ, да кто его въ шею, кто по скулѣ...

Онъ показывалъ какъ били.

— И ты тоже? спросилъ я съ омерзѣніемъ.

— Нѣтъ, баринъ, я только за шиворотъ его крѣпко держалъ и велъ, а вотъ сторожъ, тотъ больно билъ...

— И тебѣ не грѣхъ это?

— Они, баринъ, собирались у насъ внизу всю дачу обокрасть: тутъ и тачка у нихъ была припасена... изъ сосѣдняго сада взяли, и мѣшки принесли... Еслибъ обокрали дачу, на сторожа подумали бы... Ему досталось бы. Попъ-то строгій, скупой... Какой ему убытокъ!

Пріятель мой засмѣялся.

— Какой смѣшной этотъ Матвѣй! сказалъ онъ.

А мнѣ онъ казался нераздѣльно—и смѣшной, и жалкій, а въ этой ловлѣ воровъ отчасти и гадкій.

Шли годы. Я жилъ точно семейный: безопасно, уютно, не заботясь о цѣлости своего гнѣзда и добра, и благословлялъ случай, пославшій мнѣ такого друга — слугу. Да, друга, потому что въ немъ обнаруживались признаки—хотя рабской, т. е. лакейской, оставшейся отъ крѣпостного права, но живой преданности ко мнѣ и къ моимъ интересамъ, матеріальнымъ разумѣется. Другіе интересы были не по его разумѣнію и онъ въ нихъ не могъ входить. Ему, напримѣръ, непонятно было, какъ это я, сидя за „книжкой“, или за какой нибудь „бумагой“, могу пренебрегать его „ерестромъ“, или счетомъ изъ лавокъ, гдѣ забрано разнаго товара рублей на двадцать, и не отрывая глазъ отъ книги, рву счетъ и бросаю подъ столъ, а сдачу, иногда 20, 30 копѣекъ, смахиваю ладонью со стола, какъ соръ! Убытокъ!

Еще онъ частенько надоѣдалъ мнѣ, кромѣ своего упрямства и подачи счетовъ, тѣмъ, что старался втягивать меня въ интересы своей наживы или копленья денегъ. Нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ явится съ золотыми часами и цѣпочкой спрашивать, можно ли дать „подъ нихъ“ 25 или 30 рублей. Стоютъ ли они того? Не то принесетъ брошку съ каменьями.

— Баринъ, стоитъ ли брошка 75 рублей? Клара проситъ подъ нее 30 рублей на три мѣсяца?

Клара—это какая-то жилица того же дома, гдѣ жилъ и я—жившая, по словамъ Матвѣя, богато. Я ее никогда не видалъ.

Я забылъ сказать, что у него была цѣлая кладовая разнообразныхъ предметовъ, напримѣръ, шубъ, женскихъ платьевъ, офицерскихъ пальто, лисьихъ салоповъ, бархатныхъ мантилій, развѣшанныхъ по стѣнамъ его комнаты и по корридору, тщательно прикрытыхъ простынями, частью лежащихъ на полкахъ, иногда на полу. То англійское сѣдло высовывается изъ-подъ кровати, то пара пистолетъ виситъ на гвоздяхъ. Золотыя и серебряныя вещи, онъ хранилъ — кажется — въ моихъ шкапахъ съ платьемъ и посудой.

Онъ принялъ за какое-то роковое правило тащить ко мнѣ и показывать всякую закладываемую ему вещь.

— Можно ли, баринъ, дать за эту шаль 25 р.: говорятъ, она стоитъ 100 рублей? спрашивалъ онъ.

Или: „Вотъ просятъ 70 рублей подъ эту шубу: соболья ли она, не крашеная ли? Можно ли дать до зимы? Зимой хотѣли выкупить!“ и т. д. Такъ, что я приблизительно зналъ, что̀ у него хранится подъ залогомъ.

На его стереотипные вопросы о стоимости вещей, получался мой стереотипный отвѣтъ:—Пошелъ вонъ, не

мѣшай! Или:—Я твои вещи въ форточку выкину, если станешь приставать!

Но, не смотря на мой, въ нѣкоторомъ родѣ, собачій отвѣтъ, черезъ день, черезъ два, его вопросы повторялись, и мои отвѣты тоже.

— Ты вѣдь незаконное дѣло дѣлаешь, говорилъ я ему не разъ:—на право давать въ ссуду деньги подъ закладъ надо имѣть особое свидѣтельство! Кромѣ того, тѣ, которые берутъ у тебя деньги, могутъ подумать, что и я съ тобой участвую въ этомъ дѣлѣ, или покрываю тебя. Вѣдь это гадость!

Онъ какъ будто немного терялся.

— Этого никто не знаетъ: я по знакомству даю, жаловаться никто не пойдетъ, торопливо, шопотомъ оправдывался онъ.—И господа это дѣлаютъ, тихонько, черезъ человѣка. Въ Гороховой одинъ баронъ этимъ занимается: онъ „винералъ", а потихоньку, черезъ своего камердинера, даетъ взаймы подъ залогъ. Говорятъ въ годъ тысячъ шесть наживаетъ! съ восторженнымъ ужасомъ добавилъ онъ.—У него страсть сколько денегъ!

— Вотъ видишь, про него уже говорятъ, а я не хочу, чтобъ, по твоей милости, даже подумали на меня! Ты, Матвѣй, лучше прекрати эту наживу, а то я, пожалуй, побоюсь держать тебя: это гадость!

— Это не грѣхъ, баринъ: и нашъ ксендзъ—я исповѣдался ему—сказалъ: „ничего, говоритъ, если не жмешь очень! Только на церковь не жалѣй!" Я, что-же, самую малость беру: 2% въ мѣсяцъ и впередъ вычитаю только половину.

— Вотъ ты какой!

— Да-съ, это немного: другіе сто на сто берутъ... Одинъ купецъ—онъ торгуетъ въ лавкѣ, и деньги тоже даетъ...

Я махнулъ ему рукой, чтобъ шелъ вонъ.

— У меня ужь опять четыреста накопилось! торжествующимъ шепотомъ прибавилъ онъ, уходя.

Вниманіе его ко мнѣ, заботливость о моемъ спокойствіи и добрѣ, его неподкупная честность — онъ, не смотря на жадность, не продалъ бы меня ни за какіе милліоны — потомъ его трезвость и аккуратность — все это, если не привязывало, то располагало меня къ нему и заставляло дорожить имъ. Потеряй я его, онъ былъ бы незамѣнимъ.

Однако, я чуть было не лишился этого примѣрнаго слуги. И это по милости праздниковъ. Праздники, конечно, святое дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ и великое зло для Руси. Святые дни омрачаются такою тѣнью, позорятся такою грязью, какой не смоютъ никакія молитвы и посты. Это всѣ знаютъ—и всѣ покорно несутъ добровольное иго.

Однажды наступала Пасха. Я замѣтилъ еще на Страстной недѣлѣ какую-то особую суетливость и оживленіе у Матвѣя. Онъ куда-то уходилъ, что-то приносилъ, опять уходилъ: я постоянно слышалъ его скаканье по лѣстницѣ. Постъ онъ держалъ, не только католическій, но строже православнаго: буквально ничего не ѣлъ. Пилъ только послѣ меня чай съ булкой.

— Что ты суетишься? спросилъ я его.

— Окорочекъ купилъ, далъ запечь, и пасху тоже заказалъ на томъ дворѣ повару „винерала“ такого-то. Можетъ, баринъ, откушаете моей пасхи и окорочка!

Я далъ ему денегъ, чтобъ онъ купилъ и мнѣ яицъ, заказалъ куличей, пожалуй, пасху, чтобъ избавить его отъ „убытка“.

— Куличъ, если приказываете, закажу, а пасхи моей покушайте! почти умолялъ онъ. — Ветчина, колбаса и

пирожекъ будетъ: и кумъ обѣщалъ придти. Вамъ не нужно заказывать: вы дома не кушаете!

— Да ты теперь, до Пасхи-то ѣшь: постъ для католиковъ не обязателенъ. Ты можешь ѣсть яица, молоко... Смотри, на что ты похожъ!

— Не долго, два дня всего осталось! отвѣчалъ онъ, обнажая десны.

Дѣйствительно, пасха его была хорошая, т. е. менѣе запирающая горло, чѣмъ другія, и ветчина не совсѣмъ жесткая. Онъ былъ внѣ себя отъ радости, что я попробовалъ того и другого.

Въ праздники меня съ утра до вечера не бывало дома, и я не зналъ, что̀ онъ дѣлалъ. На четвертый день вотъ что случилось.

Я, проснувшись, позвонилъ. Снурокъ отъ звонка висѣлъ подлѣ моей постели. Матвѣй не являлся, по обыкновенію, на мой зовъ. Я думалъ, что онъ вышелъ куда-нибудь, и подождалъ немного, потомъ опять позвонилъ сильнѣе. Никого. Только до меня донесся какой-то стонъ, издали, казалось, со двора. Я не обратилъ на это вниманія и позвонилъ еще сильнѣе. Стонъ послышался явственнѣе, какъ будто у меня въ квартирѣ. Въ то же время что-то шелестило въ корридорѣ, кто-то будто медленно двигался. Я быстро вскочилъ съ постели, накинулъ шлафрокъ и ждалъ. Шелестъ приближался. Дверь медленно отворилась и на фонѣ темноты явилась фигура...

Кто это: ужели Матвѣй?.. Нѣтъ, это... Лазарь, грядущій изъ гроба въ пеленахъ...

— Что̀ ты, что съ тобой? едва я могъ проговорить, охваченный ужасомъ.

— У...и...а...ю!.. стоналъ онъ, шатаясь, трясясь, и держась за обѣ стѣны руками.

Губы у него не сжимались, отъ слабости онъ не могъ выговорить согласныхъ буквъ.

„Умираю“ хотѣлъ онъ сказать и не могъ, и съ этимъ словомъ пошелъ было къ себѣ, и тоже дойти не могъ. Я его довелъ и онъ безъ чувствъ рухнулъ на постель. Я наскоро одѣлся и побѣжалъ вверхъ, къ доктору, который жилъ этажемъ выше, и иногда пользовалъ меня. Мы съ нимъ сбѣжали внизъ, подняли шторы, занавѣсы. Онъ осмотрѣлъ больнаго и нашелъ, что у него начало горячки, только не могъ еще рѣшить, какой горячки и отъ чего: простудился ли онъ, или отъ невоздержанія.

Обличители, то есть „окорочекъ“, пасха, колбасы, были отчасти тутъ, на лицо. Я вкратцѣ объяснилъ доктору объ аскетическомъ воздержаніи Матвѣя и потомъ о разговѣньѣ.

— Я зайду ужо̀, послѣ обѣда, сказалъ докторъ,—я ныньче дежурный въ больницѣ. Если онъ разнеможется —ему здѣсь неудобно, тѣсно и воздуху мало, надо его къ намъ, въ палату...

— Ради Бога! сказалъ я:—сдѣлайте все, докторъ, какъ для меня самого—ничего не жалѣйте!

— Будьте покойны, а покуда вотъ дайте ему принять это питье. Онъ наскоро начертилъ рецептъ. — Въ пять часовъ я зайду, а теперь велю въ больницѣ оставить свободную кровать.

Между тѣмъ мы кос-какъ привели Матвѣя въ чувство. Увидя меня, онъ заплакалъ.

— Какое вамъ безпокойство, баринъ, я надѣлалъ! Господи! стоналъ онъ, хватаясь за голову, за животъ.— Умираю, умру! Дворника бы ко мнѣ, Егора! молилъ онъ.

Я сошелъ внизъ, отъискалъ Егора и привелъ, а самъ пошелъ въ аптеку, за лекарствомъ, купилъ мяты, гофманскихъ капель, и того что̀ велѣлъ докторъ.

Дворникъ поставилъ самоваръ и по просьбѣ Матвѣя куда-то ушелъ. Оказалось, что Матвѣй, среди своей агоніи, позаботился опять-таки обо мнѣ.

Дворникъ привелъ какого-то, очень приличнаго молодаго лакея, пріятеля Матвѣя, который соглашался на время заступить его мѣсто.

Послѣ обѣда докторъ осмотрѣлъ больнаго и рѣшилъ что его надо перенести въ больницу. Боли въ животѣ не унимались, также, какъ и рвота и поносъ.

— Умру, умру! стоналъ Матвѣй, и когда заступившій его мѣсто человѣкъ пошелъ за извощикомъ перевезти его въ больницу, онъ подозвалъ меня къ себѣ, вытащилъ изъ-подъ тюфяка у себя пакетъ и едва шевеля губами, говорилъ мнѣ чуть слышно:

— Здѣсь, баринъ, 443 р. — пересчитайте, спрячьте эти деньги, и когда я умру...

Онъ залился слезами.

— Перестань! почти строго сказалъ я: — отъ чего умирать? Вздоръ какой! Объѣлся и умирать!

— Нѣтъ, баринъ, умру, охъ, охъ—у меня всѣ жилы тянетъ!.. Онъ хватался за животъ, за грудь.

— Что же съ деньгами дѣлать? спросилъ я, пересчитавъ наскоро.

— Какъ умру... половину ксендзамъ, баринъ, отдайте, на поминовеніе души... а другую... куму: онъ знаетъ...

Онъ схватилъ меня за руку, старался цѣловать, плакалъ, какъ ребенокъ. Къ вечеру его увезли и положили въ Маріинскую больницу, на Литейной. Я жилъ тогда рядомъ.

На другой день я пошелъ навѣстить его. Онъ плохо провелъ ночь, метался, бредилъ. Докторъ еще не могъ опредѣлить, какой оборотъ приметъ болѣзнь, выдержитъ-ли горячку его истощенный организмъ? Надъ кроватью его на дощечкѣ написано было: dyssenteria.

Я старался ободрить его, но онъ плакалъ, твердилъ, что умираетъ, просилъ прислать новаго человѣка, чтобъ разсказать ему, гдѣ что̀ лежитъ, ка̀къ надо мнѣ служить, что̀ и когда подавать.

Я чуть самъ не заплакалъ отъ этой заботливости обо мнѣ въ его положеніи.

„Нѣтъ, онъ не смѣшной“! думалъ я, удерживая слезы.

Черезъ три недѣли онъ, блѣдный, шатающійся, пришелъ домой и, не смотря на мои увѣщанія, вступилъ въ должность, чтобъ избавить меня отъ „убытка“ платить лишнее его замѣстителю. За эту „жадность“, онъ поплатился вторичною болѣзнью: опять припадки, больница, лекарства. Онъ оправился совсѣмъ, когда уже наступило лѣто, съ ясной и теплой погодой.

Онъ жилъ у меня долго послѣ того, лѣтъ шесть, если не больше. Онъ снарядилъ меня и въ дальнее кругосвѣтное плаваніе.

Тонкость его вниманія ко мнѣ простиралась до мелочей. Корабль нашъ не сразу вышелъ въ море. Насъ, собиравшихся въ путь, созывали въ Кронштадтъ, и потомъ откладывали выходъ въ море на два, на три дня— и мы уѣзжали въ Петербургъ. Мой небольшой багажъ былъ уже на кораблѣ и я поручилъ Матвѣю сдать мою городскую квартиру. Мебель моя и разныя вещи были отданы — теперь не помню кому. Оставался въ пустой квартирѣ одинъ Матвѣй.

Какую суету и усердіе выказывалъ онъ, когда я внезапно являлся, за отсрочкой отплытія, въ мои опустѣвшія комнаты! Онъ не допустилъ никоимъ образомъ, чтобъ я ночевалъ въ гостинницѣ. Онъ, Богъ его знаетъ, гдѣ и какъ, досталъ мнѣ постель, тюфякъ, подушки, одѣяло, даже принесъ откуда-то, какъ теперь помню, какую-то женскую горностаевую кацавейку, вмѣсто шлафрока, устроивалъ мнѣ ложе, поилъ утромъ и на ночь чаемъ, и съ тоскливой, жалкой миной, опять прощался со мною, такъ что я готовъ былъ заплакать. Но тутъ-же онъ прибавилъ сквозь слезы:—Я помолюсь за васъ, баринъ, и отца Іеронима попрошу помолиться, чтобъ воротились... здорово, благополучно... „винераломъ!“

Я проплавалъ два года, да возвращаясь Сибирью, ѣхалъ около полугода, и рѣками, и сухимъ путемъ, съ августа до февраля. Съ дороги, помнится изъ Казани, я писалъ друзьямъ въ Петербургъ, чтобы отыскали мнѣ квартиру, нашли какого-нибудь слугу и дали-бы мнѣ знать въ Москву.

Это было въ 1855 году. Тогда уже открыта была Николаевская желѣзная дорога. Я получилъ извѣстіе, что подходящая мнѣ квартира найдена на Невскомъ проспектѣ, съ обозначеніемъ № дома.

Не безъ волненія подъѣзжалъ я съ багажемъ, въ наемномъ экипажѣ, къ означенному дому, думалъ о томъ, сколько мнѣ предстоитъ хлопотать устраиваться на новой квартирѣ, заводиться тѣмъ, другимъ — вмѣсто отдыха послѣ такого длиннаго пути!

Робко я позвонилъ у двери новой своей квартиры, сопровождаемый дворникомъ. Дверь отворилась и на порогѣ явился—Матвѣй!!

Я ахнулъ отъ изумленія, отъ радости.

*

— Баринъ! Баринъ! оралъ во все горло, обнажая десны, Матвѣй, какъ будто кричалъ: „пожаръ! караулъ!“ и бросился цѣловать мнѣ руки, плечи, смѣялся, скакалъ, рвалъ у дворника и у меня мѣшки, пледъ, вещи изъ рукъ.

— Все готово-съ, пожалуйте баринъ! Богъ услышалъ мои молитвы—отецъ Іеронимъ... обѣдню ему закажу... И постель уже пятый день готова... дровъ купилъ... уголь, свѣчи... все есть... чай, сахаръ два фунта...

Проговоривъ это скороговоркой, разинувъ ротъ, задыхаясь, онъ опять скакалъ около меня, буквально рвалъ съ меня платье.

— Успокойся, другъ мой? просилъ я, но напрасно.

— Вещи гдѣ, чемоданъ, платье, бѣлье?..

— Тамъ, въ каретѣ все... дворники принесутъ, погоди! унималъ я.

— Пойдемъ, пойдемъ, Василій! тащилъ онъ дворника. Насилу я могъ сунуть ему деньги заплатить за карету.

Все принесли. Черезъ часъ я уже сидѣлъ за чаемъ, въ своемъ креслѣ, съ сигарой — какъ будто никуда не выѣзжалъ.

А Матвѣй разбиралъ мое платье, бѣлье, разложилъ груды по стульямъ, столамъ, диванамъ.

Просто умилительно!

„Добрый, славный, честный, но и какой смѣшной Матвѣй!“ думалъ я, глядя какъ онъ суетится. Не даромъ лакеи смѣялись надъ нимъ! Какъ же не смѣшной: не лжетъ, бережетъ и свои, и чужія деньги и все что ему довѣряютъ, мало ѣстъ, не пьетъ вина, не обманываетъ, преслѣдуетъ воровъ, и не съ злобой, а съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о побояхъ барина, да еще ищетъ свободы! Какъ-же не смѣшной! Такимъ, глядя не него,

и считаютъ его всѣ: но не замѣчаютъ въ немъ эти всѣ тó не-смѣшное, чего у нихъ самихъ нѣтъ, что свѣтится въ этомъ чахломъ, измученномъ тѣлѣ и неожиданными искрами прорывается наружу. Донъ-Кихотъ тоже былъ смѣшной!

Матвѣй разложилъ платье, бѣлье, вещи, конечно не на свои мѣста, руководствуясь не моими, а своими соображеніями. Но я просилъ его отложить все до утра. Утромъ, лишь только я всталъ, онъ явился... съ „ерестромъ" привезеннаго мною платья, бѣлья и вещей и со счетомъ купленнаго имъ къ моему пріѣзду сахару, чаю, дровъ и прочаго. „Хлеб", „свечы", „мило (мыло)" опять запестрѣли въ глазахъ.

— Дрова 75-ю копѣйками дороже прошлогодняго! горестно замѣтилъ онъ.—За то сахаръ и свѣчи дешевле, прибавилъ онъ и просіялъ, суя мнѣ счетъ и „ерестръ".

Я въ отчаяніи всплеснулъ было руками, потомъ расхохотался. И онъ показалъ десны.

— Ты все такой-же, Матвѣй: неисправимъ!

Онъ стоялъ передо мной, все въ своемъ сѣромъ сюртукѣ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, но съ примѣсью тихой радости въ глазахъ, о томъ, что я опять у себя, а онъ у меня. Онъ, кажется, любовался мною.

— Тебѣ цѣны нѣтъ: знаешь-ли ты, Матвѣй?

Онъ понялъ это буквально.

— Баринъ мой сбавилъ цѣну, соглашается теперь на пятьсотъ! живо, захлебываясь отъ радости, сказалъ онъ:— Прикащику велѣлъ писать ко мнѣ, а я послалъ письмо, что скоро деньги вышлю... Четыреста у меня ужь есть, довѣрчиво, шепотомъ прибавилъ онъ: — мѣсяца черезъ три, Богъ дастъ, прикоплю и остальное.

— Какъ четыреста: вѣдь у тебя еще до моего отъѣзда

была ужь эта сумма! Теперь должно быть вдвое. Развѣ ты не копилъ безъ меня, или прожилъ?

Лицо у него помрачилось, и приняло такой мертвый видъ, какого я и прежде не замѣчалъ.

— Тѣхъ денегъ ужь нѣтъ, баринъ... сказалъ онъ съ передышкой, глядя въ сторону.

— Куда же онѣ дѣлись: украли что ли, воры были?

Онъ вдругъ ожилъ, десны показалъ.

— Никакъ нѣтъ, баринъ: куда ворамъ! Я бы изловилъ ихъ... и вотъ какъ...

Онъ показалъ руками, какъ бы онъ истерзалъ вора.

— Ногъ бы не унесли, не токма денегъ...

— Куда-жъ онѣ дѣлись?

Онъ помолчалъ минуту.

— Кумъ пропилъ! съ глубокимъ вздохомъ, зажмуривъ глаза, прошепталъ онъ.

— Пропилъ! Зачѣмъ же ты давалъ: ты бы въ банкъ положилъ...

— Въ банкѣ нельзя держать: деньги часто нужно давать взаймы — куда въ банкъ бѣгать! Я и отдалъ куму на сбереженіе: они съ женой живутъ одни на квартирѣ, комната у нихъ не бываетъ пустая: то онъ, то жена всегда дома. У нихъ я и мои закладныя вещи держалъ. Только я да они двое и знали объ деньгахъ... Самъ я уголъ нанималъ; въ углу, извѣстно, баринъ, всякій народъ толчется... утащатъ. Я и отдалъ куму спрятать!.. прибавилъ онъ шепотомъ, съ тяжкимъ вздохомъ.— Онъ держалъ ихъ въ трубѣ въ горшечкѣ, чтобъ не замѣтили, да не украли—и все таскалъ, съ начала понемногу, а потомъ взялъ все и мѣсяца три пропадалъ... все пилъ!

Опять глубокій вздохъ и изнеможенный видъ. „Жалкій, жалкій!“ ворочалось у меня въ душѣ...

— Такъ и не отдалъ? спросилъ я.

— Гдѣ отдать! Обнищалъ весь: я ему, какъ пришелъ, свои старые сапоги далъ, да отъ васъ панталоны оставались, нечего надѣть ему, отдалъ, деньгами тоже рубль далъ... добавилъ онъ, закрывъ глаза.

— Какіе же это теперь у тебя четыреста рублей— гдѣ ты взялъ?

Онъ вдругъ ожилъ, глаза засвѣтились...

— Опять накопилъ, баринъ! торжествуя, скороговоркою, обнажая десны, сказалъ онъ.—Дѣла шибко, хорошо пошли. Въ домѣ, гдѣ я жилъ, молодые господа были: вотъ они часто бирали, проценты, какіе хочешь, давали. Иногда брали безъ залога и все отдавали аккуратно! Года въ полтора я все, почесть, воротилъ. Теперь опять много заложенныхъ вещей здѣсь у меня лежатъ...

Прошелъ съ годъ, Матвѣй мой сталъ поговаривать, что онъ хочетъ снять квартиру, пускать жильцовъ... Я съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ на него.

— Ты хочешь покинуть меня! почти горестно воскликнулъ я.

— Теперь нѣтъ-съ, нѣтъ! заторопился онъ говорить,— а вотъ къ осени, баринъ, отпустите меня (это было въ апрѣлѣ)!.. Онъ такъ жалостно просилъ.—Къ осени прикащикъ мнѣ вышлетъ отпускную, когда я деньги пришлю въ контору, не всѣ, половину, а другую послѣ... У меня еще пятьсотъ останется, таинственно прибавилъ онъ.

Я вздохнулъ.

— Что жъ дѣлать—простимся! сказалъ я.

— Я вамъ другого поставлю, баринъ, такого же...

— Нѣтъ, Матвѣй, такого мнѣ не найти!

Тутъ онъ повѣдалъ мнѣ неожиданную вѣсть, что у него есть женщина на примѣтѣ и что она не прочь за него замужъ...

Я не дослушалъ и всталъ въ изумленіи съ креселъ.

— Ты... жениться хочешь?.. Неправда!..

Я не договорилъ и закатился хохотомъ.

И онъ показалъ десны.

— Правда, баринъ, правда... заторопился онъ и будто застыдился.

— Ты—семейный человѣкъ, съ женой, съ дѣтьми... Я опять захохоталъ.

— Богъ съ ними, съ дѣтьми! Какія, баринъ, дѣти: стану ли я такимъ пустымъ дѣломъ заниматься! Это баловство, тьфу!

Онъ пошелъ, плюнулъ въ уголъ и воротился.

— Она почти старушонка! прибавилъ онъ.

— Тебѣ-то что за охота связать себя!

— У ней деньги есть, шопотомъ говорилъ онъ;—говорятъ, за тысячу будетъ и больше, двѣ можетъ быть. Она знаетъ, что и у меня тоже есть... Мы будемъ вмѣстѣ дѣла дѣлать: снимемъ большую квартиру, кухмистерскую откроемъ, жильцовъ пустимъ. Залу станемъ отдавать подъ свадьбы, подъ балы... Какъ наживемся—страсть! Вотъ, баринъ, безъ хозяйки этихъ дѣловъ нельзя дѣлать.

Осенью мы съ нимъ простились—оба съ сожалѣніемъ. Онъ дѣйствительно женился, открылъ заведеніе, столовую, приходилъ звать меня „откушать“ его стряпни. Но я не былъ, а слышалъ отъ знакомыхъ, что кухня у него недурная и дѣла идутъ, хотя онъ еще не выкупился у барина. Залу снимали дѣйствительно подъ свадебные балы и ужины.

Въ Новый Годъ и Пасху онъ года три сряду являлся ко мнѣ, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ часами. Боже мой, какъ онъ былъ смѣшонъ! Когда я, по старой памяти, вынималъ изъ бумажника ассигнацію и хотѣлъ подарить „на красное яичко"—онъ, какъ раненый волкъ, отскочилъ и съ упрекомъ обращается ко мнѣ.

— Я не затѣмъ, баринъ, не затѣмъ. Боже оборони! Я молюсь за васъ... и никогда васъ не забуду!

„За что!" думалъ я, глядя на него, и со смѣхомъ, и со слезами.

Въ послѣдній разъ онъ пришелъ ко мнѣ, услыхавъ что меня произвели въ чинъ. Какъ онъ вскочилъ ко мнѣ, какъ прыгалъ, какими сіяющими глазами смотрѣлъ на меня!

— Я вамъ говорилъ, баринъ, говорилъ: я зналъ что будете „винераломъ"—я молился! торопливо и радостно поздравлялъ онъ меня, цѣлуя въ плечо.

— Графомъ дай Богъ вамъ быть! почти съ визгомъ произнесъ онъ, уходя.—Я помолюсь!

Очень сожалѣю, что я не дослужился до этого титула, хотя бы затѣмъ, чтобъ опять увидать Матвѣя (онъ бы прибѣжалъ, если живъ еще) и посмотрѣть, что̀ онъ сдѣлаетъ, какъ будетъ прыгать и что̀ скажетъ.

P. S. Я послѣ слышалъ, что Матвѣй откупился, внесъ деньги и получилъ отпускную, незадолго до Манифеста 19 февраля.

Конецъ.